ISSN 0130-6545

2.1994

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ЛЮЧАНО ДЕ КРЕШЕНЦО
Диалоги Беллависты

ГОЛДА МЕИР
Моя жизнь

УЛЛА ХАН
Лирика

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

Главный редактор

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, С. К. АПТ, М. Н. ВАКСМАХЕР,
Е. Ю. ГЕНИЕВА, А. А. ГЕНИС, В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА,
А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, А. М. ЗВЕРЕВ, Вяч. Вс. ИВАНОВ,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, А. С. МУЛЯРЧИК,
М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ, М. А. ФЕДОТОВ,
Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

2 **февраль**

1994

СОДЕРЖАНИЕ

УЛЛА ХАН — Лирика *(Перевод с немецкого Е. Соколовой и Л. Керчиной)* 5

ЛЮЧАНО ДЕ КРЕШЕНЦО — Диалоги Беллависты *(Перевод с итальянского Э. Двин)* 9

КОНСТАНТИН ПАВЛОВ — Стихи *(Перевод с болгарского и вступление Маи Тарасовой)* 46

РОМЕН ГАРИ — Воздушные змеи *(Роман. Окончание. Перевод с французского Е. Штофф)* 49

Документальная проза

ГОЛДА МЕИР — Моя жизнь *(Главы из книги. Перевод с иврита Р. Зерновой. Послесловие М. Горелика)* 145

Публицистика

ЕВГЕНИЙ МАЕВСКИЙ — LINGUA UNIVERSALIS, или Поучительная История Одной Попытки Усовершенствовать Природу 239

Критика

Западная литература: взгляд изнутри

ЛЕВ НАВРОЗОВ — Алек Деруэнт Хоуп, поэт страны «самой последней, самой пустой» 247

Курьер «ИЛ» . 251

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1994

В следующем номере «ИЛ»

Мартовский номер журнала будет тематическим. Его тема — **«Запад: сны 68-го»**, и посвящен он великим иллюзиям и горьким разочарованиям последнего в новой истории антикапиталистического бунта, а также наследию этой несостоявшейся революции, тень которой во многом определила облик западной цивилизации конца века..

Читайте:

Роман ХУЛИО КОРТАСАРА **«Книга Мануэля»**, написанный на волне молодежной контестации. Место действия — Париж. В центре повествования — группа нонконформистски настроенных интеллектуалов, часть которых участвует в террористическом движении. Их девиз — «Свобода, любовь, эротика, искусство».

Стихи кумиров «культуры протеста» АЛЛЕНА ГИНСБЕРГА и ДЖИМА МОРРИСОНА.

Эссеистику УЛЬРИКИ МАЙНХОФ, вписавшей одну из самых трагических страниц в историю войны бунтарей-одиночек с буржуазным истеблишментом.

Статью британского публициста ДОНАЛЬДА РЕЙФИЛДА **«Как нас лишили последней невинности».**

На обложке — работы израильского художника ЦВИ ЛИВНЕ.

По всем вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в «Доме книги» на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Художественный редактор **С. И. МАРТЕМЬЯНОВА**

Технический редактор **С. В. БЕЙЛЕЗОН**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41, телефон 233-51-47, факс 233-50-61

Сдано в набор 09.11.93. Подписано в печать 11.01.94. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная. Бумага типографская. Усл. печ. л. 22,40. Усл. кр.-отт. 23,80. Уч. изд. л. 27,36. Зак. № 4172

Тираж 70 000 экз. Цена по подписке 330 р.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

УЛЛА ХАН

Лирика

С немецкого

Красивая ложь

Это лето — ласточка
из твоего письма.

Это лето — музыка Моцарта
на любимой кассете.

Это лето — твой голос
по телефону.

Этим летом лежу я под соснами
с почтовых открыток.

Этим летом вплетаю сама
вечером в волосы
розу.

Ожидание

Предано продано все
нареченная
ногти кусает
Кровь в туфлях кровь
в бокал рамбуа
Еще один будьте любезны
Спасибо. Осталось
слушать гудок телефонный
Линия освободилась

Как это начинается

На каждый звонок беру телефонную трубку
Голос услышав его говорю добрый день все нормально
Спрашиваю его любит ли он картофель
и как он относится к эмансипации

Он любит бродить по горам говорит говорю что я тоже
Он советует мне прочитать книгу читаю
Я ругаю погоду. Он прощается рад был вас слышать
Я протираю свой телефон он ночью и днем блестит

Хватит с меня

Хватит с меня
телефону молиться прирастать к окну
за порог ни на шаг видеть тень одну
Хватит с меня

© Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart, 1981.

Хватит с меня
письма слезами закапав комкать
что-то слева колет до ногтей больно
Хватит с меня

Хватит с меня
Черти бы взяли тебя.
И принесли. Сейчас же.
Этого хватит с меня

Осторожность

Вновь моя жажда любви обретает имя
меня наполняя
болью и счастьем
Ничего как будто не изменилось
я живу день за днем улыбаясь
он проникает в меня
своим запахом голосом
обликом чеканя мое желание
телом которое обволакивает мое
Я собираю все силы
чтобы не сказать
приди или уйди или останься

Предопределение

Это желание
имя твое назвать
Этот страх
имя твое назвать

Это желание
слово сдержать
Этот страх
удержать только слово

Это желание жить
не делая жизнь строкой
Этот страх пред строкой
в которой уже вся жизнь

Чуть не

Мартовский вечер. Волшебная музыка
трелей дроздов и напевов лютни.
Он позвонил. Я ему чуть не
сказала три запретных слова

Игра в кости

Входит с усталыми глазами
зелеными
когда смотрит он на меня
они огромны. Кто знает где мы лежим
розы и астры из одного куста вырастают
за окном у сорок игра
встряхивать в горле кости
и ставить на нас бросая:
чет или нечет

Лучшие годы

Из каждого облака птица мертвая падает
втянуты в ложь цветы простодушные травы
дождь идет дождь в сырости чахнет земля.
И я вижу как я одиноко стою там
все понимая в лучшие годы иссушена страхом
что он может встать и уйти.

Слезы

С сухими глазами
проходишь
одетый в бархат и шелк
чувствуешь
плачу я плачу
но пиджак у тебя
сухой

Итог

Игра была последней. Слезы близко
Кто не блефует тот не победит
Смотрящие сквозь черные очки
так говорят нос потирая пальцем

и тычут в тех кто с головой ушел
в игру и проигрыш
Но слезы навернутся на глаза
лишь тем кто без очков глядит на солнце

Перевод Е. Соколовой

Свет

Трепет света рисует предметы
вырывает их из плена теней
ближних дальних
возникают ощутимые запахи камни
теряют четкие очертания. Мраморный бог
растворяется в небесах
исчезает

Наконец-то свободна

Когда ты ушел
я обрадовалась
долгожданному одиночеству

Я пила пиво
в пивной
с женщинами
которые радовались
своему одиночеству

Иногда кто-то как и ты
садился за наш столик
одна из нас
ласкала его своими волосами
тянулась к нему каждой клеткой
бросала ему свое сердце

Каждый раз он с улыбкой
принимал это
платил за пиво
и уходил

И себя

Стоит тебе захотеть
и я все возьму назад
слезы
выступают на моих глазах
моя улыбка отчужденно
прячется в уголках губ
которые боятся тебя
ты берешь назад
все чего я хочу
больше жизни

Все поезда торопятся к тебе
еду назад мимо
равнин зеленых едва
май. Каждая встреча
с тобой увеличивает расстояние
каждое мое слово
застревает в горле
назад
беру все
что не нужно тебе
и себя

Под занавес

Еще раз написать красиво
Без вымученности строк
ветреный светловолосый влекущий
и на цыпочках гортанный крик
переходит в вибрирующее бельканто
ты сидишь в первом ряду
и аплодируешь

Прощание

Я не закрываю тебе глаза
Не складываю тебе руки на груди
Не подвязываю тебе челюсть

Ты можешь еще что-то сказать
И сделать знак рукой чтобы тронулся поезд.

Перевод Л. Керчиной

■

ЛЮЧАНО ДЕ КРЕШЕНЦО

Диалоги Беллависты

Перевод с итальянского Э. ДВИН

Важность диалога в значительной мере зависит от различия взглядов его участников. Если бы Вавилонской башни не существовало, ее следовало бы выдумать.

Карл Р. Поппер

От автора

Моего папу звали Эуджено Де Крешенцо. Он родился в 1879 году и во время войны 1914—1918 гг. в чине капрала участвовал в албанской кампании. Единственный его военный подвиг, о котором мне известно (вероятно, потому, что забывать о нем не давали), заключался в том, что папа остался в живых, хотя и питался одним мышиным пометом. Всякий раз, когда я в детстве оставлял что-нибудь на тарелке, он поднимал крик: «Я в Албании, понимаешь, мышиный помет ел, а этот привереда такое добро переводит!» Надо сказать, что под «таким добром» подразумевались кусочки жира, который я старательно вырезал из тонкого ломтика мяса, подававшегося у нас к столу по воскресеньям.

В молодости папа мечтал стать художником. Художником, впрочем, был и его отец — Джузеппе Де Крешенцо, ученик самого Де Ниттиса. Однако именно мой дед в один прекрасный день пресек его пустые мечтания. Застукав прогуливавшего уроки сына с коробкой красок под мышкой в Художественной галерее, он так его отлупил, что оба оказались в участке. Дед был вынужден дать полицейскому комиссару честное слово, что бить сына больше не будет, а папа обещал навсегда выбросить из головы мысли о палитре. «Хочешь умереть с голоду — становись художником!» — так синтезировал дед свое представление о профессии, которой сам же и занимался. На следующий день отца забрали из лицея имени Виктора Эммануила и определили простым рабочим на перчаточную фабрику нашего родственника — кавалера Мартушьелло. В ту пору никаких законов о правах трудящихся еще не было, так что, несмотря на родственные узы, связывавшие деда с хозяином, ему пришлось выложить две лиры из собственного кармана, чтобы купить папе ножницы для раскроя кожи. Правда, можно считать, что деньги эти дед дал сыну просто в долг, поскольку в конце первой рабочей недели он явился в кассу и забрал папин заработок.

Шли годы, папа стал старшим мастером и однажды решил завести собственное дело — открыть магазинчик на виа Кьяйя с маленькой мастерской в заднем помещении. Однако надежды его оправдались не сразу: концы с концами сводить еще кое-как удавалось, но не более того. Мама считала, что во всем виноваты жулики — рабочие и продавщицы, воровавшие товар прямо у него из-под носа. Когда же магазином занялась сама мама, все пошло по-иному. Первым делом семья перебралась на пьяцца деи Мартири — в «шикарный» район, который охотно

Фрагменты книг «Диалоги Беллависты» (1985) и «Так говорил Беллависта» (1986).

© Mondadori, 1985, 1986.

посещали английские туристы; потом сменили всех мастеров и продавщиц, а под конец мама — единая в двух лицах, как святой Антоний,— взяла под свой неусыпный контроль и мастерскую с продавщицами, и самого моего отца, у которого была дурная привычка дарить хотя бы по одной паре перчаток любому, кто заглядывал в магазин со словами: «Я художник».

Время от времени папа восклицал: «Эх, мне бы миллион!» Но собрать миллион ему так и не удалось — еще и потому, что во время знаменитой бомбежки Неаполя 4 августа 1943 года ровно в тринадцать часов тридцать минут американская бомба разорвалась прямо в нашем магазине на пьяцца деи Мартири, в результате чего дальнейшая коммерческая деятельность отца стала абсолютно невозможной. К счастью, он потерял магазинчик, а не жизнь, так как за несколько месяцев до этого бедствия решил перебраться в спокойное местечко подальше от войны — туда, куда, как он любил повторять, даже газеты не приходят. В Кассино [1].

Моя мать, Джулия Панетта, родилась в 1883 году на виа Манчини. В сорок лет она еще не была замужем. Соседи говорили: «Не везет человеку! Бедняжка!» Но когда она уже совсем смирилась со своей участью, на горизонте вдруг появился мужчина среднего возраста с матримониальными намерениями. Коммерсант с седыми волосами; голубыми глазами и «прекрасной репутацией». Семейные осведомители говорили: «Ну до чего ж хороший человек — даже долгов у него нет!» Поженившись, мои родители обосновались в Неаполе, в квартале Санта-Лючия.

Когда я родился, папе было пятьдесят лет, а маме около сорока пяти. Из-за такой разницы в возрасте между моими родителями и мной ни папа, ни мама не могли стать свидетелями перипетий моей взрослой жизни. Папа умер, когда я только-только поступил в университет, а мама — когда мне еще не пришло в голову уволиться из Ай-би-эм («Интернэшнл бизнес мэшинз»). Не знаю, существует ли рай и заслужили ли мои родители честь пребывать в нем, но я очень на это надеюсь. Относительно мамы никаких сомнений быть не может: если рай где-то существует, она, конечно же, в него попала, ибо место там, по-моему, принадлежит ей по праву. Дом, магазин, церковь; церковь, магазин, дом! Ничего, кроме работы и молитвы, мама в своей жизни не знала. Что до отца, то тут кое-какие сомнения у меня есть: взять хотя бы его привычку в трудные минуты жизни грешить на Всевышнего. Правда, назвать это богохульством в прямом смысле слова нельзя. Стоило ему начать: «А чтоб...» — как тут же вступала мама: «Да святится имя Его», перекрывая таким образом папино проклятие.

Вероятно, рай все-таки существует; мы не знаем об этом из первых, так сказать, рук потому только, что обретающиеся в нем ангельские души не имеют возможности общаться с нами и не ведают, как обстоят дела у нас. Они живут в такой изоляции, что когда прибывает очередная партия душ, мои родители спешат к воротам и засыпают вопросами всех новичков-неаполитанцев:

— Вы откуда?

— Из Неаполя.

— А из какого квартала?

— Из Вомеро.

— Может, слышали что-нибудь о Лючано Де Крешенцо?

— О писателе, что ли?

— Нет, мой сын — инженер,— наверняка не без гордости говорит мама.— Он у меня инженером работает, в УПИМе [2].

Около двадцати лет я проработал в компании Ай-би-эм, но моя мать, не знаю уж почему, никак не могла освоить это название и постоянно путала его с УПИМом.

— По правде говоря, есть один Лючано Де Крешенцо — инженер, ведущий по телевидению передачи о компьютерах,— вероятно, отвечает ей вновь прибывшая душа,— но он, как я говорил, еще и писатель. Волосы у него с проседью и борода белая. У вашего сына есть борода?

— Да что вы, какая борода! — восклицает мама.— Разве в УПИМе ему

[1] Небольшой городок на юге Италии, оказавшийся с осени 1943 г. и до мая 1944 г. ареной ожесточенных боев между союзными войсками и остатками немецких частей. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] УПИМ — разветвленная сеть фирменных универсальных магазинов в Италии.

разрешили бы отпустить бороду? И вообще, мой сынок такой робкий, он не из тех, что выступают по телевидению. Он у меня умница!

— Прошу прощения,— продолжает чья-то душа,— но ваш сын случайно не режиссер фильма «Так говорил Беллависта»? Знаете, почему я спрашиваю? Очень уж мне этот фильм понравился. Трижды его смотрел, представляете?

— Нет-нет, это не мой сын. Вы говорите о ком-то другом.

Потом в один прекрасный день (а может, и не прекрасный, если взглянуть на это дело под другим углом зрения) я тоже, возможно, появлюсь в раю.

Какая встреча! Объятия, поцелуи, слезы матери, вопросы отца вперемешку с моими: ведь целую жизнь непременно надо рассказать за несколько минут.

— Ну как ты?

— В общем, неплохо, если не считать того, что я пару дней назад умер.

— Но чем ты занимался все это время? Рассказывай же! И не беспокойся, не спеши: если чего здесь и не хватает, так только не времени.

И я расскажу родителям, как жил после их смерти: работа инженера, увлечение компьютерами, уход из Ай-би-эм, первые книги, телепередачи, фотоальбом о Неаполе, «История греческой философии», фильмы, переезд в Рим и т. д. и т. п.

— Прости, пожалуйста,— удивится отец,— но разве ты не собирался стать инженером-гидравликом? А работать почему-то стал с компьютерами!

— Да, тогда я выбрал гидравлику. Считалось, что в Италии с гидравликой плоховато. Нужно было строить плотины, следить за дамбами, а все эти наводнения, оползни, провалы, отсутствие канализации в целых районах... В общем, в то время я был уверен, что специалисты-гидравлики необходимы...

— И что же?

— А то, что получить постоянное место мне удалось, лишь переквалифицировавшись в электронщика.

— Ну-ну?

— Потом, когда я уже занимал руководящую должность, мне надоело каждый день ходить на работу, и я уволился.

— Господи Боже мой! — воскликнет мама.— Ты же мог остаться без куска хлеба!

— Вот тогда-то я и начал писать.

— Ага, значит, прав был синьор, прибывший сюда в прошлом году. Джулия, помнишь того синьора из Милана, который оказался здесь со всей своей семьей после того, как они попали в катастрофу?

— Ну как же, как же! Он говорил: «Синьора, уверяю вас, ваш сын писатель», а я ему: «Да не может этого быть, вы шутите». А он: «Какие могут быть шутки после того, что со мной приключилось!»

— Но неужели можно жить писательским трудом? — спросит отец.

— Да как сказать... Вот если удастся состряпать какой-нибудь бестселлер... Только из тех, что держатся долго... Тогда, пожалуй, действительно можно неплохо заработать.

— Сколько же заработал ты?

Я уже открою рот, чтобы назвать цифру, но мама опередит меня:

— Тс-с-с-с... Говори потише, тебя же могут услышать... Здесь все такие завистливые!

— Разве мы не в раю?

— В раю. Но посторонних в свои дела лучше не посвящать,— твердо скажет она, оглядевшись по сторонам.

— Ну, например, на «Греческой философии», которую где только не перевели — даже в Японии,— я заработал что-то около...— и, следуя маминому совету, я тихонько назову общую сумму.

— Миллионов?!! — воскликнет совершенно потрясенный отец.

— Разумеется, миллионов,— повторю я.

— Так ты, значит, миллионер?

— Папа, сегодня в Италии почти все миллионеры!

— Господи помилуй! С ума сойти! Сколько же там теперь перчаток продается!

— По правде говоря, перчаток продается мало.

— Это в каком смысле — мало?

— В том смысле, что почти никто перчаток больше не носит.

— Ты слышишь, Джулия? — скажет отец маме.— Миллионы у них есть, а вот элегантности... Что поделаешь! Я всегда говорил: элегантными рождаются. На каждого может свалиться богатство, но если у него нет настоящего шика, в нем сразу распознаешь нищего.

— Да, кстати, папа, здесь, наверху, вам не встречался человек по имени Сократ?

— Это какой? Безобразно одетый, маленький, коренастый, с бульдожьей физиономией?

— Да-да, совершенно верно!

— Бродит тут один такой, но если хочешь послушать моего совета, держись от него подальше. Как прицепится, от него уже не отвязаться. Даже если скажешь: «Да, Сократ, конечно, ты прав», он все равно будет гнуть свое: «Раз ты считаешь, что я прав, значит, тебе известно, на чьей стороне истина?» В общем, сынок, хочешь жить здесь спокойно, обходи стороной четырех человек: Сократа, Цицерона, Сильвио Пеллико [1] и Камбронне [2].

Сальваторе

В Неаполе все живут в состоянии опьяняющего самозабвения. В таком состоянии пребываю и я. Сам себя перестаю узнавать: вроде бы превратился совсем в другого человека. Вчера я подумал: «То ли ты был безумцем вчера, то ли стал им сегодня».

Иоганн-Вольфганг Гёте.
«Путешествие в Италию».

Привратницкая на виа Петрарка, 58. Вокруг стола кроме меня сидят: заместитель помощника привратника Сальваторе Коппола, доктор Пассалакуа (4-й этаж, первая дверь налево) и незнакомый синьор, который, заглянув, чтобы навести справки о свободной квартире, решил задержаться.

— Да вы же совсем ничего не смыслите в политике! — восклицает заместитель помощника привратника Сальваторе Коппола.— И чему вас только учили в ваших институтах?

— При чем здесь институты,— говорю я,— у каждого человека свои политические взгляды, но это не означает, что не надо уважать и взгляды других.

— Дорогой мой инженер, речь ведь не о чьих-то политических взглядах: перед нами проблема международного масштаба! — продолжает Сальваторе.— Пора вам наконец сообразить, что хочешь не хочешь, а всем нам, неаполитанцам, надо голосовать за Итальянскую коммунистическую партию и сразу же после этого выйти из НАТО и вступить в союз с Россией.

— Но почему, Сальвато́? — спрашивает Пассалакуа.— Ты так уверен, что Россия сильнее Америки?

— Да не все ли мне равно, кто сильнее — Америка или Россия, дотторе, меня лично это совершенно не интересует. Давайте ближе к сути, давайте смотреть в корень. Что нас ждет, если начнется третья мировая война и мы попадем в плен? — С этими словами Сальваторе, словно сдаваясь, поднимает руки.— Итак, если начнется третья мировая война, а мы будем союзниками американцев, к кому мы попадем в плен? К русским! Верно я говорю? Если нет — можете меня поправить. Так вот, я считаю, что нам, неаполитанцам, попадать в плен к русским никак нельзя. Шутка сказать! Во-первых, мы — народ, непривычный к суровому сибирскому климату. Там холодно, так уж холодно! Во-вторых, у нас нет подходящей экипировки. Короче говоря, дотторе, мы там передохнем от зверских морозов. А вот если мы станем на сторону России, дело обернется совсем по-другому. Ну да! В этом случае мы автоматически попадем в плен к американцам и нас сразу же отправят в Америку. А там, с божьей помощью и понемножку приторговывая, можно выучить даже их язык. В общем, пока идет война, мы себе потихонечку подыскиваем теплое местечко.

[1] Сильвио Пеллико (1789—1854) — итальянский писатель. Карбонарий. 15 лет провел в крепости. Автор записок «Мои темницы» (1832).

[2] Французский генерал, сподвижник Наполеона Бонапарта, прославившийся не только своими ратными делами, но и тривиальными фразами.

— А если нас возьмут в плен китайцы? — спрашивает синьор, пришедший справиться насчет квартиры.

— Ничего хуже не придумаешь, дорогой мой синьор! Представляете, что там ждет нас, бедных пленных? Одна жалкая рисовая лепешечка в день! Мать честная! Ну скажите, как я, Коппола Сальваторе, с моим волчьим аппетитом смогу продержаться на одной рисовой лепешке?

К вашему сведению, Сальваторе Коппола — заместитель помощника привратника в многоквартирном доме, что на виа Петрарка, 58. Официальный привратник там — дон Армандо, а его помощник Фернандо Амодио — личность, можно сказать, мифологическая, поскольку до пояса он человек, а ниже — стул. Чтобы избежать недоразумений, скажу сразу, что он абсолютно здоров, хотя мне еще никогда не доводилось видеть его стоящим на ногах. Он не отрывается от стула даже когда на Рождество ему дают праздничные чаевые. Дающий сам должен к нему подойти.

Дон Армандо же вообще, по его собственному определению, синьор. Просто как официальный привратник он бесплатно занимает в доме 58 на первом этаже квартиру № 1, и каждому новому жильцу сразу же растолковывает суть столь необычной ситуации:

— Видите ли, дотторе, я в этом доме одновременно и привратник и не привратник. Сейчас я вам все объясню. К сожалению, в жизни мне не везло. Родился я в аристократической семье — мой дед вообще не работал, а папа был бухгалтером городского водопровода. Наша семья жила прилично еще и потому, что у нас было три собственных дома в Борго Лорето. Но в один злополучный день мой дедушка связался с каким-то адвокатом — специалистом по гражданскому праву, и с того момента из нашего дома во все стороны полетели иски и заявления на гербовой бумаге. Короче говоря, очень скоро я остался без деда, без папы и без всех наших домовладений. Но вернемся к делу. Всю жизнь у вашего покорного слуги было одно только желание: переехать на виа Петрарка, в квартиру с хорошим видом из окна. Скажите сами, ну как мог бедняк вроде меня, без единого чентезимо за душой, сделать так, чтобы это его желание исполнилось? Я уже было смирился с мыслью, что суждено мне коротать свой век в жалких двух комнатушках на виа Нуова Баньоли, 17, где круглые сутки приходится дышать дымом с заводов «Ильва». И тут вдруг такой случай! Место привратника на виа Петрарка, 58, жалованье и бесплатное жилье с видом на море! Вы скажете: как же так? Работать привратником! Ну и что? Привратником так привратником. Вы скажете, что мне пришлось опуститься по социальной лестнице. Ну и опустился, подумаешь! Да плевать я хотел, дотто́, на эту социальную лестницу, если здесь я могу сесть у окна и, глядя на Капри и на Везувий, чувствовать себя почетным кавалером, да какое там кавалером, президентом республики, вот кем я могу себя чувствовать! А что касается привратницкой работы, то я отдал часть своего жалованья Фернандо Амодио, который теперь выполняет мои привратницкие функции. Наш Фернандо — лучший профессиональный привратник в Неаполе! Уж он-то никогда не оставит своего стула в подъезде: что бы ни случилось, Фернандо, можете быть уверены, сидит на месте, как каменный, и наблюдает.

Ввиду врожденной «статичности» Фернандо «динамические» функции привратника выполняет его заместитель — Сальваторе Коппола, получающий за это часть жалованья дона Армандо.

Сам Фернандо, как бы оправдываясь, объясняет мне причину такого разделения труда:

— Понимаете, синьор инженер, я же холостяк. А раз жены у меня нет, кто будет мыть лестницы?

Вы только не спрашивайте у меня, как могут жить на одно-единственное жалованье привратника трое взрослых мужчин, двое из которых содержат семью. Вот уже целый век больше миллиона неаполитанцев ухитряются жить на ничтожное жалованье, ежедневно «округляя» его приработками, добываемыми самыми фантастическими способами.

Вышеупомянутые привратники, например, пользуются своего рода правом обложения налогом всего, что бы ни происходило в пределах вверенного им многоквартирного дома, а именно замены служанок, всяких домашних работ, выполняемых третьими лицами, купли-продажи недвижимости, старых

автомобилей и катеров, смены жен, приватной и коммерческой информации. Все это помогает нашей троице, вполне, впрочем, оправдывающей получаемую ею «долю», проявлять поразительную компетентность в самых разных областях.

Для примера скажу, что Фернандо получает твердую ежемесячную «ставку» за то, что прикидывается спящим, когда мимо него проходит стеснительная любовница архитектора Скалезе.

— Ну что ж,— говорит доктор Пассалакуа,— придется, к радости Сальваторе, всем нам голосовать за итальянскую компартию, тогда он в случае войны сможет отбывать плен в Майами-Бич.

— Ну при чем здесь это? Я просто хотел пошутить. У вас, дорогой мой дотторе, просто какая-то аллергия на слово «коммунист», и, услышав его, вы сразу выходите из себя. Да-да, дотто́, стоит вам услышать слово «коммунист», как вы сразу выходите из себя!

— Сальвато́, сколько раз я тебе говорил, что не намерен толковать с тобой о политике,— отвечает Пассалакуа.

— Ну, еще бы! Вы у нас аристократ, либерал, а я представляю народ, но с народом вы разговаривать не желаете.

— Зато ты народ обожаешь. Да, Сальвато?

— Ну, я, конечно, не скажу, что я в него прямо-таки влюблен, но, во всяком случае, уважаю его больше, чем вас, либералов.

— Сальваторчик, все дело в том, что вы, коммунисты, на словах любите народ, а по-моему, вы просто-напросто ненавидите богатых.

— Ну уж нет, дотторе, позвольте с вами не согласиться. Неужели, по-вашему, у меня, человека, который, как белка в колесе, крутится с утра до вечера, чтобы заработать кусок хлеба, еще остается время на то, чтобы их ненавидеть?

— Вот демагогия! Вот демагогия!

— Где? Где? — спрашивает Сальваторе, оглядываясь по сторонам. Он прекрасно знает, что такое демагогия, просто ему нравится играть роль непонимающего.

— Что — где? — спрашивает Пассалакуа.

— Да то, что вы сказали.

— Сальвато́, я сказал «демагогия», потому что вы, коммунисты, талдычите только одно: немножко хлеба, кусок хлеба, хлеб и работа! И так далее.

— А что я, по-вашему, должен говорить? Что я ежедневно мою лестницы на шести этажах за кусочек лангуста?

— Сальвато́, не говоря уже о том, что лестницы ты никогда не моешь, даже раз в месяц, а шестого этажа вообще в глаза не видел, я думаю, всем понятно, что коммунисты ничего не признают, кроме своей песенки о народе, умирающем с голоду. Давай, Сальвато́, посмотрим друг другу в глаза и скажем, что в Италии никто с голоду больше не умирает.

— А вам, либералам, так хотелось бы время от времени видеть на улице человека, умершего с голоду.

— Сальвато́, хватит шуток. Я — технарь и верю в цифры, верю в статистику. Ты знаешь, что такое статистика?

— Приблизительно — поскольку в школе я никогда особенно не переутомлялся. В общем, дотто́, думаю, я правильно вас понял, если нет — можете меня поправить. Допустим, что меня сажают задом на раскаленную плиту, а голову суют в холодильник, и при этом я должен считать, что по статистике в среднем я чувствую себя хорошо.

Все хохочут. Зрителей за это время прибавилось. В Неаполе они размножаются простым делением: никаких особых приглашений не требуется. Слушатели беспристрастны и если склоняются на сторону того или иного спорщика, то не столько из-за его идей, сколько желая воздать должное его ораторскому искусству. Сальваторе — коммунист и утверждает, что участвовал в освобождении Неаполя, хотя в то время ему не могло быть больше восьми лет. Пассалакуа же именует себя либералом, но по существу склоняется, пусть и бессознательно и беззлобно, к идеям монархо-фашизма.

— Сальвато́, я тебя люблю, но ты все-таки последи за моей мыслью,— выходит из терпения доктор Пассалакуа.— Мы здесь пытаемся решить серьезные вопросы, а тебе бы только острить.

— Но что все же показывает статистика, дотто́? — спрашивает синьор, пришедший справиться о квартире.

— Так вот, статистика показывает, что в Италии средний годовой доход, то есть доход на душу населения, равняется 1 000 000 лир и что Италия, следовательно, одна из самых богатых стран в мире.

— Глубокоуважаемый дотто́,— говорит Сальваторе, вскакивая со стула и церемонно кланяясь.— Благодарю вас. Теперь понятно, что я как итальянский гражданин — один из самых богатых людей в мире, хотя, клянусь вам всеми святыми, почему-то до сих пор этого не замечал. Наверно, потому, что сейчас, как заместитель помощника привратника я получаю всего только 30 000 лир в месяц, любезно выплачиваемых мне моим работодателем Фернандо Амодио, который сидит вон там, снаружи, и, конечно, слышит меня. Но, как вы справедливо заметили, в Италии есть еще и дон Джованни Аньелли, который получает по миллиарду лир в месяц. Так что со статистикой у нас все в порядке — и у меня, и у Аньелли, и у Фернандо.

— Вот оно! Вот это я и хотел от тебя услышать,— возбужденно восклицает доктор Пассалакуа.— Я знал, что ты сейчас заговоришь о распределении доходов, но если ты проявишь хоть немножечко терпения, дорогой мой Сальваторе, то не сможешь в конце концов не согласиться со мной. Итак, статистика показывает также, что в Италии каждый человек потребляет 3200 калорий в день, хотя для поддержания жизни, и притом хорошей жизни, достаточно и 2700 калорий. И ты, пожалуйста, мне тут не рассказывай, что дон Джованни Аньелли садится завтракать и заглатывает 800 или 900 тысяч калорий. Да, конечно, он ест и икру, и лангуста, и еще какую угодно дрянь, но желудок у него такой же, как у тебя, и должен же он чем-нибудь его наполнять! Теперь ты не можешь не согласиться, что если по статистике каждый итальянец потребляет 3200 калорий в день, их, эти самые калории, действительно кто-то потребляет, следовательно, у нас в стране никто больше не умирает с голоду.

— Видите ли, дотто́, у вас, конечно, есть диплом и вы лучше меня разбираетесь во всей этой цифири. Я бы ни за что не осмелился сказать, что вы все прямо на ходу придумываете. Но что я могу вам ответить? Если дела обстоят так, как говорите вы, тогда эти самые мои 3 200 калорий — ужасная гадость. Они хуже всех других калорий, которые потребляются в Италии. А иначе чем объяснить, что каждый вечер, когда я ложусь в постель, мне еще немножечко хочется есть?

— Между прочим, статистика показывает,— невозмутимо продолжает доктор Пассалакуа,— что, поскольку в Италии сейчас насчитывается около пятнадцати миллионов автомобилей, каждая итальянская семья в среднем имеет одну машину.

— А я в среднем ее не имею,— парирует Сальваторе.

— Только ты мне, пожалуйста, не рассказывай, что когда дон Джованни Аньелли отправляется за своими девятью тысячами калорий, которые ему необходимы, чтобы заморить червячка, за ним следует колонна из девяти тысяч автомобилей.

— Вся беда в том, высокоуважаемый доктор, что вы все меряете на автомобили и на котлеты.

— Вся беда в том, уважаемый Сальваторе, что ты любишь поплакаться, как это делают кошки на крыше. Тебе хорошо известно, что они плачут и занимаются любовью одновременно.

— Ну ладно, значит, плакаться я перестану. Буду заместителем помощника привратника без права на жалобы.

— Да ну тебя к черту! Разговаривать с коммунистами — только нервы себе портить,— говорит доктор Пассалакуа, ища сочувствия у присутствующих.— До чего бы мне хотелось хоть пять минут побыть хозяином мира. Всего пять минут! Я бы сказал: «Ты что утверждаешь, Сальваторе Коппола? Что коммунизм — это замечательно? Тебе нравится Россия? Тебе нравится Китай? Пожалуйста! Я беру и переношу тебя в Китай, а китайца, которого выгнали из Китая, переношу на твое место в Неаполь».

— Ну да, нам здесь только заместителя помощника привратника — китайца не хватало!

— Я что хочу сказать? Прежде чем произнести лозунг: «Да здравствует Мао! Да здравствует коммунизм!» — человек должен испытать этот «коммунизм» на себе.

— Согласен с вами,— отвечает Сальваторе,— пока мы успели испытать на себе фашизм и христианскую демократию. Давайте же испытаем немножко коммунизма, а потом поговорим.

— Вся беда в том, что если этот самый коммунизм нам не понравится, мы не сможем сказать: «Извините, пожалуйста, мы пошутили и теперь снова хотим вернуть демократию»,— говорит Пассалакуа.— Но представим себе на минуточку, что я еще не родился. Вот сижу я девятый месяц во чреве матери и жду, когда наступит день моего рождения, а тут вдруг является ангел и говорит: «Доктор Пассалакуа, вас вызывает Всевышний на пару слов».

— Как же так? Вы что, были доктором еще до своего рождения?

— Всевышний смотрит на меня и говорит: «Пассалакуа, сейчас ты должен родиться, и поскольку я питаю к тебе симпатию, скажи, в какой стране ты хотел бы жить,— там ты у меня и появишься на свет». И тогда я с радостью подумаю: «Вот удача так удача. Сейчас я выберу себе страну со всеми удобствами. Давайте прикинем. Азия отпадает сразу же, потому что азиаты только и знают, что воюют. Ближний Восток, Дальний Восток, Корея, Вьетнам! Нигде не найти покоя. То и дело кто-то их захватывает, и что еще хуже, время от времени находится кто-то другой, который хочет их освободить».

— Совершенно верно,— замечает Сальваторе.— Надо признать, что Азии немного не везет.

— Но можно родиться в Африке, на этом чудесном загадочном континенте, у которого, если хорошенько подумать, есть один большой недостаток.

— Какой именно? Там слишком жарко, да?

— Нет, я имею в виду независимость. Раньше африканские государства были колониями, но потом демократы всего мира справедливо возмутились: «Какая гадость эти колонии! Смерть колонизаторам! Независимость народам черного континента!» Ну и дали им эту самую независимость. А теперь, став независимыми, несчастные африканцы рвут друг другу глотки в бесконечных междоусобных войнах и в постоянных государственных переворотах. Все равно как если бы я сказал своему четырехлетнему сынишке Лукарьелло: «Лукарьé, ты свободный человек, делай все что хочешь», а потом страшно бы удивился, как это он попал под машину.

— Ну хорошо,— замечает кто-то из присутствующих.— Значит, Африка тоже отпадает.

— Но есть еще Америка,— продолжает Пассалакуа.— Соединенные Штаты Америки! Самая богатая страна в мире, такая богатая, что она даже помогает бедным странам, и не только экономически. Если какой-нибудь стране угрожают коммунисты, Америка, чтобы освободить ее, сразу же устраивает хорошенькую войну прямо там, на месте. Американцы стали официальными защитниками планеты Земля. Так что, если вы не возражаете, Америку я бы тоже отмел.

— Тут я с вами совершенно согласен,— отзывается Сальваторе,— пусть эти самые американцы больше занимаются своими делами.

— Ну вот, отказываясь от одного, отказываясь от другого, мы добрались, наконец, и до Европы. Теперь для начала давайте разберемся с Европой коммунистической. Как живут в России, признаться, никто толком не знает. Одни говорят одно, другие — другое. На мой непросвещенный взгляд, очень уж хорошо там быть не может.

— Почему?

— Сейчас объясню. Во-первых, им время от времени приходится вставать ужасно рано и строиться в колонны для участия в грандиозных народных демонстрациях на Красной площади... Во-вторых, их руководители при встречах всегда целуются. Представляете? Мужчины! Из-за одного этого я там не смог бы сделать никакой политической карьеры.

— Какая гадость! — подает голос Фернандо, который не сидит вместе с нами, но не пропускает ни единого слова из нашей беседы.

— Таким образом, остается только Западная Европа: Англия, Швеция, Германия, Франция. Тут, уж хотя бы из-за климата, я предпочел бы Италию, но чтобы, не дай Бог, не попасть в Милан, сразу уточню: Южную Италию. Наконец, для надежности и если, конечно, это не затруднит Всевышнего, я бы попросил, чтобы он позволил мне родиться в Неаполе. А что я сделаю после того, как он удовлетворит мою просьбу и я появлюсь на свет в Неаполе? Неужели же мне захочется протестовать?

Партер аплодирует. Синьор, пришедший справиться насчет квартиры, встает и пожимает руку доктору Пассалакуа.

— Ну и ладно,— говорит Сальваторе.— Допустим, вы меня убедили, что в Италии живется замечательно, а Неаполь — лучший город в мире. Мне было также приятно узнать, что все мы, итальянцы, едим вдоволь, но позвольте заметить: да, конечно, всем неаполитанцам вечером что-то перепадает на ужин, беда в том, что до самой последней минуты мы не уверены, что не ляжем спать голодными, и эта неуверенность нас почему-то тревожит.

«Спящий красавец»

Кавалер Сгуэлья — человек в высшей степени пунктуальный. Этот сорокапятилетний холостяк вместе со своей сестрой — синьорой Розой Сгуэлья (в замужестве Галлучи) держит магазин скобяных и лакокрасочных товаров на виа Торретта, 282, буквально в нескольких шагах от вокзала Мерджеллина. Как я уже говорил, кавалер Сгуэлья — человек твердых привычек: вот уже на протяжении чуть ли не двадцати лет, а вернее, с тех пор как умер его отец — царствие ему небесное,— он каждое утро в восемь двадцать выходит из дому, выпивает чашку кофе с бриошем в кафе «Фонтана» и ровно в девять поднимает жалюзи в своем магазине. А синьора Роза может не спешить, поскольку утром ей надо еще проводить на работу мужа — в муниципалитет и троих сорванцов — в профессиональное училище.

Придя в магазин, она садится за кассу, откуда бдительно следит за покупателями и за всяким жульем, которое может растащить весь товар.

— Мой брат слишком добрый человек,— говорит она,— и не понимает, что в наше время, при нынешних-то ценах, дать унести один гаечный ключ — значит, попрощаться с пятью тысячами лир.

В час дня кавалер Сгуэлья не уходит из магазина, а только низко опускает жалюзи. Синьора Роза, приготовив ему на плитке в подсобном помещении «первое», бежит домой, чтобы накормить свою умирающую с голоду ораву. А бедняжка кавалер дремлет полчасика на раскладушке среди банок с красками, мотков проволоки, кранов и прочих товаров.

Ровно в восемь вечера он запирает магазин, выезжает на забитую машинами виа Позилиппо, миновав площадь Сан-Луиджи, паркует в темном тупичке свой двухцветный «фиат-1100» с откидными сиденьями, который за все четыре года, что он им владеет, намотал не более десяти тысяч километров, и идет домой. Затем следует почти всегда один и тот же примитивный ужин, который он, разумеется, готовит себе сам. Полчасика перед телевизором — и на боковую: «Благодарю тебя, Мадонна, за день сегодняшний и завтрашний; не забудь о нас, грешных, и ты, Бог-отец, Бог-сын, Бог — Дух святой. Аминь».

Вы, конечно, можете спросить: «Ну и что интересного в этой истории? Какое нам дело до вашего пунктуального кавалера Сгуэльи?»

Да вы только послушайте! Пунктуальность кавалера как раз и сыграла решающую роль в истории, которую вы сейчас услышите. Да-да, поскольку обычный день кавалера Сгуэльи всегда был именно таким на протяжении почти двух десятков лет! Ни тебе в кино сходить, ни в гости к друзьям или к каким-нибудь родственникам — никогда никому не наносил он визитов и никого не принимал у себя. Только по воскресеньям в час дня кавалер ходил обедать к сестре: воскресная месса в церкви, пирожные в кафе «Фонтана», ромовая баба, профитроли в креме, пара сладких блинчиков, газета «Маттино», партия в картишки с зятем (пока донна Роза возится на кухне) — и домой. А там программа «90 минут», второй тайм футбольного матча, эстрадный концерт «Карусель» и воскресное спортивное обозрение.

Но вернемся к делу. В прошлый четверг, около половины второго ночи, крепко спящего кавалера будят настойчивые телефонные звонки. Кто может звонить в такое время? Кавалер вылезает из постели и идет к телефону, заранее ожидая дурной вести. И действительно: зять сообщает ему, что его сестре, то есть донне Розе, стало плохо и ее с сильными болями в животе пришлось отвезти в больницу «Лорето», откуда он и звонит и где донну Розу, как только придет профессор, скорее всего будут оперировать по поводу аппендицита.

Кавалер отвечает:

— Сейчас оденусь и приеду.

Еще не стряхнув с себя сон, он кое-как натягивает одежду, выходит из дома, спускается в переулок, где всегда стоит «фиат-1100». Но сегодня машины там почему-то не оказывается. Больше того, на месте, где он ее оставляет, стоит какая-то другая, покрытая темным брезентом. Кавалер, к которому еще не совсем вернулась способность мыслить логически, потерянно ходит вокруг, потом осторожно приподнимает край брезента и — о Боже, уж не приснилось ли ему это! — видит под ним собственную машину, а в ней — спокойно спящего человека.

Вот уже три года, как безработный Дженнаро Эспозито в половине двенадцатого ночи неизменно находит себе приют в «фиате» кавалера Сгуэльи. Пользуясь пунктуальностью и верностью кавалера своим привычкам, Дженнаро не только откидывает спинки сидений, чтобы устроить себе ложе, но, открыв большой чемодан, который он потом прячет в багажнике, вытаскивает все для этого необходимое: подушку, одеяло, простыни и даже будильник. Будильник он ставит на 6 час. 30 мин., так как принадлежит к категории «жаворонков». Поднявшись, Дженнаро приводит в порядок салон машины, у него есть даже специальная щетка, чтобы заметать малейшие следы своего присутствия. Скажем прямо, что-то «этакое» в машине все же остается — а именно его запах. Но за столько лет кавалер привык к запаху Дженнаро Эспозито и с самого начала принимает его за запах «фиата».

Но вернемся к той знаменательной ночи. Мы оставили кавалера онемевшим от неожиданности. Он долго смотрел на спящего Дженнаро Эспозито — безработного без определенного места жительства. Ну, что касается места жительства, то это, конечно, сильно сказано, ибо оно, в сущности, у него было и служил им «фиат» кавалера Сгуэльи с номерным знаком НА 294082. Придя в себя, возмущенный до предела кавалер громко заорал и разбудил Дженнаро, который удивился больше самого кавалера и не без основания спросил:

— Синьор кавальé, а что вам надо в такое время на улице?

— Моей сестре стало плохо, и ее увезли в больницу «Лорето»,— ответил тот.

— Кому стало плохо? Донне Розе? А что с ней?

— Да вы-то кто такой? И что делаете в моей машине? Кто вам...

— Кавальé, неужели мы будем сейчас выяснять, кто я такой? Лучше скажите, что с донной Розой, ведь я беспокоюсь...

— Да я и сам толком не понял. Кажется, у нее аппендицит. Но кто вы такой и кто вам позволил...

— Дорогой мой кавалер, неужели в такую минуту вы станете терять время и выяснять, кто я и что я!.. Обо мне не беспокойтесь, просто я несколько раз воспользовался вашим гостеприимством... Сейчас нам нужно думать о донне Розе — ей же, бедняжке, плохо... Так куда, вы говорите, ее отвезли?

— В больницу «Лорето».

— Прекрасно. Я провожу вас.

— Как вы можете меня проводить? Не понимаю...

— Кавальé, сейчас у вас в голове все перепуталось, и это естественно: вас вырвали из постели, сообщили такое о сестре! Но можете не беспокоиться: ваш Дженнаро с вами, он вас не бросит. Считайте меня членом семьи.

— Членом семьи?!

— А как же иначе, мой дорогой кавалер? Я просто обязан вас сопровождать!

Весь остаток ночи кавалер Сгуэлья и Дженнаро проводят в больнице «Лорето». Дженнаро всячески подбадривает кавалера, и тот представляет его всем как «соседа» с виа Позилиппо. Вместе они выбирают хирурга, которому можно доверить аппендикс донны Розы, вместе с тревогой дожидаются благополучного завершения операции. Прощаясь, кавалер Сгуэлья заставляет Дженнаро поклясться жизнью его гипотетических детей, что он никогда больше не станет использовать «фиат-1100» в качестве спальни. Однако, по здравом размышлении и невзирая на торжественные заверения Дженнаро, кавалер вскоре продает машину и покупает новую — спортивную, двухместную.

Саверио

Деревня издали — просто деревня, но чем ближе мы к ней подходим, тем больше она превращается в дома, деревья, черепицу, листья, траву, муравьев, муравьиные лапки, и так — до бесконечности.
И все это обозначается одним словом: деревня.

Блез Паскаль, «Мысли».

— А профессора Беллависту вы знаете?

— По правде говоря, не имел чести...

— Господи, да как же это? Так любить Неаполь и не водить знакомства с профессором Беллавистой, человеком, который знает Неаполь как свои пять пальцев! Он вам его нарисует! Он вам гладью его вышьет! Инженер, я не хочу вас обидеть, но профессор Беллависта, если, конечно, он не выпьет лишку, может ответить вам на любой вопрос по истории или географии Неаполя. Однажды мы хотели послать его на телевикторину «Удваивай ставку или сдавайся», но он не захотел поехать, говорит, что терпеть не может телевидение.

— А он профессор чего?

— Беллависта — профессор философии, но сейчас на пенсии. Кроме того, у него три квартиры на Ривьера ди Кьяйа и собственный дом на спуске Сант-Антонио. Там он как раз и живет сейчас с женой, синьорой Марией, и дочкой — синьориной Патрицией, которая вообще-то Аспазия, но так ее зовет только профессор, потому что синьорине Патриции это имя не нравится.

— Ах, так он женат?

— Считается, что женат, синьор инженер, хотя на самом деле он почти не знается с семьей. Живут-то они в одном доме, но не разговаривают друг с другом, поскольку он мужчина, а они — женщины. Профессор говорит, что не понимает женского языка.

— Похоже, он действительно интересная личность!

— Еще какая интересная! Если вы не верите, Саверио, вот он как раз пришел, может подтвердить. Савé, скажи, интересная личность профессор Беллависта или нет?

— Саверио Сантопеццуло к вашим услугам,— представляется вошедший.— Вы насчет профессора Беллависты? Если сомневаетесь, значит, ничего не поняли. Профессор — это же настоящая прорва знаний, когда он что-нибудь говорит, никакой кассационный суд с ним не сравнится. Слушать его — одно удовольствие, не в обиду вам будет сказано, но говорит он и впрямь как по писаному. Истинная правда: только бы и слушал его, хотя, признаться честно, редко понимаю, о чем речь. Но это ничего не значит, он же не виноват, что я мальчонкой отлынивал от учебы, хотя отец и заставлял меня ходить в школу. А теперь ничего не поделаешь — не могу я поддержать умную беседу!

— Дело в том,— уточняет Сальваторе,— что наш дон Саверио любит пропустить стаканчик красного, а профессор всегда рад нас угостить.

— Признаться честно, в хорошую погоду я еще люблю подышать свежим воздухом у него на балкончике. Оттуда такой вид на море! И цикламенами пахнет.

— Ну да, когда летом мы ходим к профессору, то беседуем у него на терраске. Он говорит, а мы винцо потягиваем и еще кладем в стакан нарезанный персик.

— Профессор говорит, что в прошлом веке так делал сам Сократ.

— Да помолчи ты, Савé.

— А когда мы сможем навестить этого вашего профессора?

— Когда угодно, только не сегодня, потому что сегодня четверг, а по четвергам у синьоры играют в карты, и профессор на весь день запирается у себя в туалете.

— Так и сидит целый день в туалете?

— Да что вы, инженер, разве у него туалет, как у всех? Такого туалета не было даже у его величества Виктора Эммануила Третьего [1]! У профессора настоящий старинный неаполитанский дом с большущими комнатами, каких теперь не строят. И вот профессор, которому нравится подолгу сидеть, прошу прощения, в уборной,

[1] Виктор Эммануил Третий (1869—1947) — последний король Италии.

решил в одной из таких комнат устроить себе, прошу прощения, туалет: провел трубы, поставил ванну, унитаз и биде. Короче, как говорит он сам, организовал себе туалет для размышлений. Он даже стереофоническую музыку туда провел и постоянно слушает ее, сидя, еще раз прошу прощения, на унитазе.

— А какие там картины, инженер! — добавляет Саверио.— Произведения настоящих художников с табличками, на которых можно прочитать их имя и фамилию! Это в уборной-то! И получился у него такой туалет, дорогой мой инженер, такой прекрасный туалет, что я иной раз говорю: «Почему бы нам, вместо того чтобы сидеть в гостиной, не устроить как-нибудь выпивон в этом самом туалете?»

— Профессор считает, что человечество делится на тех, кто моется под душем, и на тех, кто принимает ванны.

— По правде говоря,— встревает Саверио,— некоторые не принимают ни душа, ни ванны.

— Да помолчи ты, Саве'! Ну так вот, профессор считает, что миланцы, люди практичные, предпочитают душ: и воды, и времени меньше уходит, да и отмываешься лучше. Для неаполитанца же, если он решает помыться, больше подходит ванна. Он в ней нежится, не спеша обдумывает свои дела. Ну, вы сами понимаете: чтобы хорошенько подумать, нужно побыть одному, и удобства нужны тоже, а дома обязательно кто-то к вам пристает: то им одно подай, то другое. То ли дело ванная комната! Человек закрывается, ложится в ванну и ждет, пока остынет вода.

— Теперь,— говорю я,— вы окончательно разожгли мое любопытство, и мне не терпится свести знакомство с профессором. Что будем делать? Может, позвоним ему?

— Бесполезно. Профессор к телефону не подходит, а его жена не очень-то нас жалует.

— А знаете что, инженер,— находит выход Саверио,— мы пойдем туда просто так, и никаких разговоров. Послезавтра и пойдем. День будет субботний, и мы заодно познакомим вас с Луиджино. Луиджино — наш домашний поэт, как говорит профессор.

— А вообще кто он такой?

— Луиджино,— поясняет Сальваторе,— библиотекарь барона Санмарцано, у которого он живет. Правда, библиотеки у барона больше нет, потому что когда ему понадобились деньги, он продал ее каким-то богатым туринцам, но поскольку барон успел привязаться к Луиджино, он держит его при себе, и Луиджино составляет ему компанию всю неделю, за исключением воскресенья, когда барон навещает свою мать — старую баронессу.

— У барона нет детей, так что мы надеемся на наследство.

— Но почему вы называете этого Луиджино поэтом?

— Потому,— поясняет Сальваторе,— что когда Луиджино что-нибудь рассказывает, вы забываете обо всех своих неприятностях.

— Мне лично,— говорит Саверио,— рассказы Луиджино всегда напоминают о моей первой любви, об Ассунтине Дель Веккьо, которой было тогда восемнадцать и которая одна только и повинна в том, что я нынче помощник безработного. Ну да, я ж подмастерье плотника дона Альфонсо, а он сейчас без работы сидит. Чтоб мне никогда не видеть своих детей! Если бы не восемнадцатилетняя Ассунтина Дель Веккьо, я бы сейчас о-го-го кем мог уже быть! Должен вам сказать, дорогой мой инженер, что брат моей мамы, дядюшка Фернандо, хотел взять меня с собой в Лондон — это в Англии — и сделать своим помощником в пиццерии: известно, что научиться делать пиццу — плевое дело. Но я, черт бы меня побрал,— не зря ж говорят, что сердцу не прикажешь,— втюрился в эту Ассунтину Дель Веккьо, которой было тогда восемнадцать лет, и дядюшке Фернандо пришлось делать пиццу самому.

— Что же случилось с Ассунтиной Дель Веккьо?

— А что с ней могло случиться? Вышла за меня замуж. Но разве она похожа на ту восемнадцатилетнюю Ассунтину Дель Веккьо? Да когда она шла по виа Корначчоло, мне приходилось давать по морде всем штатским и военным, которые оборачивались ей вслед.

— Профессор говорит,— добавляет Сальваторе,— что у Саверио две крайности: обвинять жену во всех своих бедах и требовать возмещения убытков.

— И я бы выиграл процесс, инженер! Достаточно принести в суд фотографию Ассунтины Дель Веккьо. Пусть посмотрят, какой она была в восемнадцать лет.

— Не слушайте его, инженер, ведь Саверио до сих пор влюблен в свою жену. Такой подкаблучник! Он, конечно, ни за что не признается в этом, чтобы угодить профессору, но у них трое детей, и если бы не синьора Ассунтина, домашняя портниха, я просто не знаю, как бы они сводили концы с концами.

— Ну да, да, жена-портниха и трое детей! — вздыхает Саверио.— Но откуда вы знаете, как сложилась бы у меня жизнь в Лондоне, если б я уехал туда с дядюшкой Фернандо? Я бы выучил там английский, и все английские девчонки в меня бы повлюблялись. Я, конечно, не хочу бросить тень на присутствующих, но в любовных делах мало кто может со мной потягаться. Так что какая-нибудь английская мисс запросто могла обратить на меня внимание и стала бы приходить каждый день есть пиццу к дядюшке Фернандо. Пицца сегодня, пицца завтра, и мисс втюрилась бы в вашего покорного слугу. «Ах мой Саверио! Саверио здесь, Саверио там», и дело кончилось бы свадьбой. А заведись у меня деньжата, я бы и до кино добрался, до Голливуда этого самого. Так что в Неаполе вы бы видели меня только на афишах: «Последнее танго в Париже» с Саверио Сантопеццуло и Марией Шнайдер в главных ролях».

— Саве',— прерывает его Сальваторе,— ну что за чепуху ты несешь! Самое большее, на что бы ты сгодился в «Последнем танго», так это на роль дублера Марии Шнайдер в главной сцене.

— А вы вообще видели «Последнее танго»?

— Нет, но нам рассказывали.

Воришка

— Что тут случилось?

— Не знаю, я сам только что подошел.

— Но в чем дело?

— Если не ошибаюсь, поймали вора.

— Нет-нет! Его едва не поймали, но он улизнул.

— Господи! От этих воров у нас просто житья не стало.

Огромная толпа — человек сто, а может, и больше — собралась на Базарной площади перед игрушечным магазином. Я задержался на работе и спешил домой, но моя неаполитанская душа взыграла и не позволила мне уйти, так и не выяснив, что все-таки случилось. Интересно было узнать, о чем хоть речь.

— Простите, вы не знаете, что случилось?

— Дорогой мой синьор, вы у меня уже второй раз спрашиваете. Видите же, что я сам собираюсь что-нибудь узнать! Уфф! Имейте немножко терпения, и через пару секунд я смогу сообщить все, что вас интересует!

И верно, «суть дела» во всех подробностях была известна только тем, кто находился в центре толпы, а мы с синьором, к которому я обращался за разъяснениями, находились еще с самого краю и могли слышать только то, что говорили люди, в свою очередь узнавшие кое-какие подробности от других, но тоже не самих «действующих лиц», а как бы их «заместителей», то есть тех, кто первым что-то узнал от участников происшествия. Но разнобой версий побудил нас, прорвав крайние ряды, протиснуться ближе к первоисточнику, которым оказался небольшого роста рыжий мужчина с раскрасневшимся лицом. Наш бедолага, держа под мышкой футбольный мяч, что-то выкрикивал и жаждал сочувствия от каждого, кто готов был выслушать его излияния.

— Вы же понимаете, если бы этот тип не убежал, я запросто мог бы его убить! Да-да!

— Но что случилось? — спросил еще один только что подошедший синьор.

— Что случилось? А то, что наш Неаполь уже больше не Неаполь, а какой-то Дикий Запад, дорогой мой синьор! Нам нужно ходить теперь по городу, как Гэри Куперу,— с пистолетом у пояса! Вы только представьте себе: я на минуточку отлучился, чтобы купить вот этот мяч — под елочку моему племяннику Филуччо, и оставил машину незапертой...

— Ну знаете, сами же напрашиваетесь на неприятности. Оставили машину незапертой, а потом еще возмущаетесь, что в Неаполе полно воров!

— Да при чем здесь это? Я только на минуточку вошел в магазин, а поскольку я знал, что машина не заперта, то не спускал с нее глаз!

— Ну и что? Незапертая машина — это всегда приманка,— настаивал на своем все тот же синьор.

— В Швеции вообще не существует запоров,— вмешался кто-то,— но там не воруют. Тюрьмы стоят пустые.

— Так я же вам объясняю: я пошел купить игрушку вот в этот магазин, а поскольку машина была не заперта, я одним глазом следил за ней, а другим — искал мяч для моего племянника Филуччо. Вот эта синьора может подтвердить: она стояла впереди меня, когда я подошел к кассе. Я даже попросил ее оказать мне такую любезность и пропустить меня вперед, потому что машина у меня не закрыта. Попросил я вас или не попросил, а, синьо́?

— Да,— ответила призванная в свидстельницы синьора.— Именно так он и сказал, и я пропустила его.

— Но в этот самый момент, когда я расплачивался, то есть когда в одной руке держал деньги, а в другой — мяч, я вдруг увидел, что какой-то здоровенный мерзавец влезает в мою машину! У меня в глазах потемнело! Я отстранил синьору...

— Ничего себе «отстранил»! Так двинул, что я даже упала,— отзывается синьора, уже вошедшая в роль «главного свидетеля».— Если бы не этот любезный молодой человек...

— ...Я отстранил синьору, бросил мяч и кинулся к машине, чтобы схватить этого вонючего босяка. Но разве можно справиться с ужом или угрем? Я ухватил его за пятку, а он стал биться у меня в руках, как припадочный. И еще лягал меня в лицо! Он был такой вонючий, такой скользкий, что я не смог его удержать: он вывернулся и убежал. Влез, понимаете, в одну дверь, а выскочил из другой!

— Все было точно так, как говорит синьор,— подтвердил один из очевидцев,— вор уже скрылся в переулке, а этот синьор все еще барахтался на заднем сиденье.

— Но если бы я его удержал! Мадонна! Если бы только я его удержал! Что бы я с ним сделал! Вы даже представить себе не можете, что бы я с ним сделал! Пять раз у меня из машины утаскивали радиоприемник! Пять раз! В страховом агентстве со мной уже и дела иметь не хотят. Им осточертели мои заявления! А в последний раз мне так прямо и сказали: «Дотто, вы себе радио в мащине лучше не устанавливайте. Если его украдут, все равно вы от нас ничего больше не получите». Лишили меня невинного удовольствия слушать музыку, заставили убрать приемник! Ну что ж, сейчас я мечтаю только об одном: добраться до одного из этих воришек и так его измордовать!.. Если у меня его не отнимут, не знаю даже, что я с ним сделаю!

— Вы совершенно правы. Пока государство не введет наконец смертную казнь, правосудие придется вершить нам самим.

— Да будет вам! Что ж, прикажете и мелких воришек приговаривать теперь к смерти?

— У вдовы Саноянни,— вступает в разговор еще один синьор,— вчера вырвали из рук сумочку прямо перед самой церковью. Подумать только: бедную семидесятилетнюю старуху волокли по земле, как какую-то тряпку.

— Спрашивается, куда смотрит полиция? Когда она нужна, ни одного полицейского не найдешь!

— Конечно! Штраф брать за стоянку в неположенном месте — так это сколько угодно, а заметив вора, прикидываются слепыми.

— Вот и неправда, синьора, неправда. Они воров тоже ловят, только вот суды в Италии ничего не делают. Как берут воров, так и отпускают.

— Что тут случилось? — спрашивает еще один подошедший любопытный.

— Да вот у синьора хотели машину угнать!

— Чей это ребенок?

— Паскуали́, деточка, что ты делаешь?

— Синьора, держите, пожалуйста, ребенка за руку и объясните ему, что чужие игрушки трогать нельзя.

— Но вора все-таки схватили?

— Какое там! Он вырвался из рук.

— А что тут случилось? — спрашивает еще кто-то.

Рыжий синьор, к которому обращен вопрос, все еще держа мяч под мышкой, на несколько сскунд умолкает, чтобы вызвать у слушателей новый прилив интереса.

— Я вошел в игрушечный магазин, чтобы купить вот этот мяч для своего племянника Филуччо, и оставил машину перед магазином незапертой...

— Ну знаете! Оставлять машину незапертой на Базарной площади!

— Да Господи Боже ты мой, я же почти не отошел от нее! И все время не спускал с нее глаз! А чтобы не задерживаться, я попросил вот эту синьору, которая стояла передо мной в очереди в кассу, оказать мне такую любезность и пропустить меня вперед, потому что машина у меня не заперта.

— Да, синьор, именно так он и сказал,— подтверждает дама.— И как раз в эту минуту, когда синьор расплачивался, он и заметил вора.

— Когда я его заметил, то бросился к машине. Отстранил синьору...

— Ну да, «отстранил»! Вы меня так двинули, что я упала. Если бы не этот любезный молодой человек, который помог мне...

— Так вот, я отстранил синьору, выпустил из рук мяч и набросился на вора. Мне даже удалось схватить его за ногу. Но этот сукин сын прямо в угря превратился — никакой возможности не было его удержать...

Потерпевший в очередной раз рассказывает, как все произошло, но тут вдруг в толпе воцаряется непонятная тишина. Все расступаются и пропускают вперед «вора» — мальчонку лет четырнадцати, которого ведет, положив ему руку на плечо, верзила ростом под два метра.

— Дотто,— говорит мужчина спокойным тоном признанного грозы квартала,— во время этой истории мальчик потерял в вашей машине золотую цепочку — память о покойной маме. Машина открыта, дотто?

— Да,— отвечает рыжий синьор.

— Чиччи́, иди и бери свою цепочку. Дотторе разрешает.

Профессор

— А вот и мы! Как поживаете, профессор? — говорит Сальваторе, входя в дом Беллависты.— Вот, привели к вам инженера Де Крешенцо, важного неаполитанского ученого. Если не ошибаюсь, он изобрел американские электронные мозги.

— Да ты что? — пытаюсь я прервать Сальваторе.— Никакой я не ученый и ничегошеньки не изобрел.

— Не слушайте его, профессор,— невозмутимо подхватывает Саверио.— Наш инженер скромничает. Говорят, когда он окончил университет, из Америки пришел приказ заманить такого специалиста любой ценой, пока его не перехватила какая-нибудь вражеская страна.

— Господи Боже ты мой! — протестую я.— И как только вы сумели нагородить такую кучу глупостей!

— Не мешайте им, инженер,— говорит, улыбаясь и пожимая мне руку, профессор Беллависта.— Пусть болтают. Они любят вас и хотят это доказать. А вообще-то часть вины и на вас лежит. Ведь доучись вы только до чертежника, вас, ко всеобщему удовольствию, звали бы инженером, но поскольку вы действительно инженер, как прикажете величать вас бедняге, желающему выразить вам все свое уважение и симпатию? Как минимум ученым!

— Профессо́, пока вы тут рассаживаетесь, можно мне сходить за вином?

— Молодец, Саверио. Ты знаешь, где оно стоит, сходи за ним и заодно попроси у синьоры стаканы. Но подожди-ка, может, инженер предпочитает чашечку кофе?

— Нет, спасибо, пожалуй, я тоже выпью вина, о котором так лестно отзывался Саверио.

— Ну хорошо, ведь, по правде говоря, кофе, приготовленный синьорой,— не бог весть что.

— Известное дело: разве можно дома приготовить такой кофе, как в баре?

— Ну это не совсем так,— возражает профессор.— Если кофе приготовить с любовью, он может получиться отличным. Видите ли, кофе еще в кофейнике чувствует, насколько симпатичны друг другу тот, кто его варит, и тот, кто его будет пить.

— У моей Ассунтины, например, не кофе получается, а бурда,— говорит Саверио, внося бутылки и стаканы.

— Должен вам сказать, дорогой инженер, что кофе — это ведь не просто жидкость, а некая летучая субстанция, в общем, нечто такое, что, вступив в контакт с нёбом, сублимируется и, вместо того чтобы спуститься в желудок, восходит вверх и, достигнув мозга, задерживается там, оставаясь с вами. Бывает, что человек даже после долгих часов работы думает: «До чего же хороший кофе я выпил утром!»

— А у нас на работе,— говорю я,— почти никто не ходит в бар: на каждом этаже стоят автоматические кофеварки. Опустишь сто лир, нажмешь кнопку — и, пожалуйста, получай кофе — черный или с молоком, с сахаром или без сахара.

— Кофеварки небось американские, правда, инженер? — спрашивает Сальваторе.

— Нет,— смеюсь я.— Обычно миланские.

— Миланские или американские, какая разница,— возражает профессор.— И те и другие годятся для тех, кто считает, будто кофе — это напиток, который пьют, и все. Господи! Да неужели вы не понимаете, что увлечение всякими автоматическими кофеварками — дело очень серьезное?! Это же оскорбление чувств индивида. Так и хочется подать жалобу в комитет по охране прав человека.

— Ну зачем так уж преувеличивать!

— Да кто преувеличивает? Уважаемый синьор инженер, вы имеете право протестовать и можете объяснить своему начальству, что когда порядочный человек берет чашку кофе, он делает это не потому, что хочет *выпить* кофе, а потому, что у него возникла потребность восстановить контакт с окружающими. Для этого он должен прервать свою работу, пригласить двух-трех коллег и пойти с ними по солнцепеку в свой любимый бар, одержать победу в маленьком споре из-за того, кто будет платить за всех, отпустить комплимент кассирше, обменяться спортивными новостями с барменом, ни намеком не показывая, какой именно кофе вам нужен, потому что настоящий бармен сам должен знать вкусы своих клиентов. Все это — настоящий ритуал, священнодействие, и его не может заменить ваша автоматическая кофеварка, которая с одной стороны заглатывает сто лир, а с другой — выпускает струйку какой-то непонятной безвкусной жидкости! Ну представьте себе, что Ватикан поставит во всех учреждениях автоматы, у которых в любую минуту можно исповедаться и причаститься! Правоверный христианин подходит, становится на колени, сует в щель столировую монету, а механическая рука кладет ему в рот облатку, предварительно включив — по выбору — какой-нибудь григорианский гимн или «Аве Марию» Шуберта.

— Ваша правда, профессор,— говорит Сальваторе.— Кофе надо пить уважительно, с расстановкой. Помню, как мой бармен из кафе, что у собора Девы Марии, отчитал меня за то, что я, прихлебывая кофе, просматривал спортивную газету. «Что вы делаете?! Вы же отвлекаетесь!» — сказал он.

— Кто-то пришел,— говорит Саверио, услышав звонок у двери.— Пойду открою, наверно, это Луиджино.

И действительно, входит Луиджино. Следуют представления, приветствия. Саверио берет еще один стул для Луиджино и наливает еще один стакан вина для себя.

— Как дела, Луиджино? — спрашивает профессор.— Что-то ты целую неделю не показывался.

— Ну да, на этой неделе мы были очень заняты. Во вторник у нас был профессор Буонанно, тот самый, из консерватории, который на скрипке играет. Он очень дружит с бароном и время от времени приходит сыграть нам что-нибудь. Но на этот раз, скажу я вам, он превзошел самого себя — исполнил какую-то вещь Баха, я сейчас не помню, какую именно, но совершенно замечательную, совершенно... Видите ли, по мере того как мы распродаем обстановку, квартира барона становится все просторнее и все больше походит на церковь, так что скрипка звучит в ней замечательно, иногда ее звук наполнял собой весь дом, а иногда, наоборот, становился таким слабеньким, что мы слушали затаив дыхание — боялись, как бы он совсем не оборвался. Даже мурашки по телу бегали.

— Луиджино,— говорит Сальваторе,— а не согласился бы этот профессор иногда и сюда заглядывать? Нам же тоже охота послушать.

— Я, конечно, могу его спросить.

— Но нужно поторопиться: наш инженер приехал в Неаполь только на рождественские праздники.

— Кстати, о праздниках. Мы с бароном, как обычно, уже начали устанавливать

рождественский вертеп: целых два дня понадобилось на то, чтобы распаковать все коробки с фигурками пастухов, стереть с них пыль и приклеить гуммиарабиком отвалившиеся руки и ноги.

— Для нас, неаполитанцев, вертеп — это очень важно. Простите, инженер, вы за вертеп или за елку?

— Конечно, за вертеп.

— Очень рад,— говорит профессор и пожимает мне руку.— Видите ли, все люди делятся на вертепистов и елочников, ибо мир разделяется на мир любви и на мир свободы, но это долгий разговор, и нам лучше отложить его до другого раза. А сейчас мне хотелось бы поговорить о вертепе и вертепистах.

— Ну-ну, профессор, говорите! — восклицает Сальваторе.— Мы, ваши ученики, хотим послушать о вертепе.

— Так вот, как я уже сказал, деление на вертепистов и на елочников настолько важно, что, по-моему, должно найти какое-то отражение в удостоверении личности как пол или как группа крови его обладателя... Вам может показаться, что я преувеличиваю, но елочник руководствуется в жизни совсем иной шкалой ценностей, чем вертепист. Первый наибольшее значение придает Форме, Деньгам и Власти, второй же, наоборот, на первое место ставит Любовь и Поэзию.

— В этом доме все вертеписты,— говорит Саверио.— Правда, профессор?

— Нет, не все. Моя жена и дочь, как, впрочем, все женщины,— елочницы.

— Ассунтине тоже нравится елка,— тихо шепчет Саверио.

— Между двумя этими категориями не может быть согласия: один говорит, а другой его не понимает. Жена видит, что муж делает вертеп, и удивляется: «К чему заванивать весь дом этим гнусным клеем? Почему не пойти и не купить готовый вертеп в магазине?» Муж не отвечает. Он думает о том, что в магазине можно купить елку, которая радует глаз только тогда, когда на ней зажигают огни. А вертеп нет, вертеп хорош уже тогда, когда еще только начинаешь его делать и даже когда просто думаешь: «Скоро Рождество, можно будет заняться вертепом». Те, кому нравится рождественская елка, просто-напросто потребители, а вертепист, даже самый плохонький,— творческая личность, созидатель, его Евангелие — «Рождество в доме синьора Купьелло» [1].

— Я видел этот спектакль, профессор, и помню, как Эдуардо говорит: «Я сам сделал вертеп, своими руками, наперекор всей семье».

— Пастухи,— продолжает Беллависта,— должны быть глиняные, ручной работы, пусть и страшноватенькие, но только не пластмассовые, которые продаются во всех магазинах и выглядят какими-то фальшивыми. Фигурки должны храниться из года в год, и ничего, если они немножко попорченные,— главное, чтобы отец семейства помнил всех пастухов по имени и мог рассказать о каждом какую-нибудь забавную историю: «Вот это Бенито, который вечно отлынивал от работы и знай себе дрых, а это — отец Бенито, который пас овец в горах, а это пастух, первым увидевший чудо» — и так, вынимая одну фигурку за другой из коробки, мог представить их всех. Отец познакомит с пастухами младших детей, и на следующее Рождество дети уже будут их узнавать и любить как членов семьи. Ведь это все персонажи, взятые прямо из жизни, хотя исторически они не все достоверны, как, например, «монах» или «охотник с ружьем».

— Профессор, там же есть еще и повар, и стол, за которым сидят две парочки, и торговец арбузами, зеленщик, продавец жареных каштанов, хозяин винной лавки, мясник.

— А как же! — замечает Сальваторе.— В те времена тоже приходилось вкалывать до поздней ночи, чтобы сводить концы с концами.

— И еще там есть прачка,— продолжает Саверио,— крестьянин с цыплятами и даже рыбак, который ловит рыбу в настоящей воде: она вытекает из клизмочки, прикрепленной позади вертепа.

— Мой папа,— говорит Луиджино,— так ловко пристраивал поломанные фигурки! Никто даже не замечал, что у некоторых из них не хватает руки или ноги. Он говорил: «Бедный пастушок без ноги остался» — и ставил его за забор или за каменную оградку. И еще я помню, была у нас одна фигурка пастуха, от которой постоянно что-нибудь отваливалось: под конец от нее осталась одна голова, и тогда папа пристроил ее в окошке одного из домиков. Он делал эти домики из коробочек

[1] «Рождество в доме синьора Купьелло» — пьеса Эдуардо Де Филиппо.

от лекарства и даже лучинки в них зажигал. Когда я не хотел принимать какое-нибудь лекарство, например, противную микстуру, он брал в руки коробочку и говорил: «Луиджино, эту коробку мы сохраним до Рождества и сделаем из нее хорошенький домик для вертепа, только ты, сынок, должен выпить все лекарство, а то как же папа домик-то сделает?»

— Потом, когда наступала полночь,— подхватывает Сальваторе,— мы всей семьей устраивали процессию, ходили по дому, распевая «Ты нисходишь со звезд». Самый младший шел впереди и нес младенца-Иисуса, а за ним уже все остальные с зажженными свечками в руках.

О, вертеп! Запах гуммиарабика, пробка, из которой делались горы, и мука вместо снега...

Твердая цена

Деловые люди гордятся своей ловкостью и хитростью, но когда речь идет о философии, они — что малые дети.
Похваляясь в кругу друзей своими удачными махинациями, они не задумываются о конечном предназначении тела и никогда не узнают о великом Учителе истины, который увидел весь огромный мир на дне нефритовой чаши.

Чэнь Цзы (656—698 н. э.)

— Я ходил сегодня на рынок Дукеска — купил новый телевизор,— торжественно сообщает Саверио.— Кинескоп — двадцать три дюйма, восемь каналов, стереоскопический экран.

— Ну и зря,— говорит профессор.

— Да вы шутите, профессо! Мне удалось буквально вырвать его у торговца за полцены и в рассрочку на пять лет с оплатой векселями и вычетом только банковских процентов!

— Ты что, в кассе взаимопомощи его купил, что ли? — интересуется Сальваторе.

— Да нет, все же знают, что денег у нас нет. Либо нам вещи уступают по дешевке, либо мы их вовсе не покупаем.

— Я не цену имел в виду, Саве,— возражает профессор,— я говорю о вреде, который может принести телевизор тебе, твоей жене и твоим детям.

— Это не имеет никакого значения, профессор, потому что один телевизор у нас все равно уже есть, только он не принимает вторую программу. Должен вам сказать, что этот телевизор нам подарила синьора Боттацци, когда угадала в телелотерее три цифры, которые ей подсказал во сне покойный дядюшка Рафеле. Помните дядюшку Рафеле? Ну того, который умер в семьдесят лет, в ту самую минуту, когда он занимался любовью в пансионе «Эмилия»? Как я уже вам сказал, у нашего телевизора были дефекты: вместо голов какие-то тыквы, и звук все время пропадал.

— Как это? — спрашиваю я.

— Саверио хочет сказать,— переводит мне профессор,— что его телевизор искажал картинку и головы на экране выходили приплюснутыми, как тыквы. Правильно я говорю, Саве?

— Ну да, профессор, тыквы какие-то.

— В общем, тебе отдали телевизор за сходную цену?

— За отличную, профессор. Но как я бился! Первые атаки начались в середине прошлого месяца. Я прохаживался мимо лавки и просто так, словно меня это вовсе не интересует, справлялся о цене, а хозяин спокойно так отвечал, что вообще телевизор стоит двести тысяч, но поскольку речь идет обо мне, а моя двоюродная сестра к тому же работает в одной трикотажной мастерской с его сестрой, он готов отдать мне ящик за сто тридцать тысяч наличными. Я, не показывая виду, отвечал, что за такие деньги пусть оставит его себе, но если он все-таки хочет, чтобы телевизор достался именно мне, то я могу наскрести тысяч пятьдесят. А он говорил,

что за пятьдесят тысяч я, ожидая, когда синьора Боттацци еще раз выиграет в лотерею, могу поставить себе на крышу неплохую антенну. В общем, торговаться мы начали, можно сказать, очень издалека. Но вы же сами сколько раз говорили, что главное — терпение. Так вот, всякий раз, когда я проходил по Дукеске, он спускал свою цену на тысячу лир, а я набавлял свою на пятьсот. И так продолжалось до конца ноября. Когда этот бандит дошел до ста пяти тысяч, а я до семидесяти, он уперся и сказал, что не уступит больше ни лиры. Понял, хитрец, что мне очень хочется сделать сюрприз жене к Рождеству, и рассчитывал содрать с меня свою сотню тысяч. Не буду скромничать: Саверио Сантопеццуло совсем не дурак. Я сразу повел атаку с фланга и стал для виду приценяться в лавке, что напротив, к какому-то подержанному ящику — громоздкому, устаревшей модели. А сегодня я наконец нанес главный удар: прихватил с собой складной метр, измерил этот старый телевизор и громко так говорю: «Как раз встанет на столике в столовой,— а потом неожиданно поворачиваюсь и спрашиваю в упор: — За восемьдесят тысяч отдаете?», а тот, не задумываясь, отвечает: «Восемьдесят пять и пятьсот лир моему приказчику». Профессо́, завтра вечером в доме Сантопеццуло впервые все будут смотреть вторую программу. Не окажете ли нам честь и вы?

— Спасибо, Саве, ты же знаешь, что я телевизор не смотрю. Но должен признать, что главное в этом деле у тебя получилось блестяще. Я имею в виду твое умение торговаться. Представляешь, что было бы, если бы ты родился швейцарцем и вздумал купить себе телевизор в Цюрихе, например. Там никаких резонов не признают: какая цена назначена, такую и плати.

— Да, но твердая цена в Швейцарии ниже, чем обычная у нас, в Неаполе.

— Не имеет значения. Твердая цена — это еще одно из достижений свободного мира. Вы можете сказать, что это только справедливо, когда все платят одну и ту же цену. Никто и не спорит. Справедливо-то оно справедливо, но в конечном счете за такую привилегию приходится расплачиваться отказом от очередной порции любви.

— А что это значит, профессо, «очередная порция любви»? — спрашивает Сальваторе.

— Да, дорогой мой Сальваторе. Сегодня ты можешь зайти в большой универсальный магазин и купить там совершенно неожиданную вещь... Ну, скажем, банку красной краски... и никто не спросит, зачем тебе эта краска. Почему именно красная, а не голубая? И дело кончается тем, что ты отходишь от прилавка, ни с кем не поговорив, кассирша смотрит на цену, выбивает тебе чек, ты платишь и идешь домой.

— А что должна была сказать продавщица?

— Как это — что?! Ты меня просто удивляешь! Представь себе, например, что я сейчас пойду за банкой красной краски к кавалеру Сгуэлье в магазин скобяных изделий возле вокзала Мерджеллина. Первым делом мы с кавалером минут пятнадцать поговорим о том о сем, узнаем друг у друга, как дела, как здоровье, как семья. Потом, наконец, кавалер спросит, чем он может быть мне полезен, а я отвечу: «Дайте мне, пожалуйста, пять кило красной клеевой краски».— «Красной краски?! Да зачем она вам?» — удивится он. «Представляете, один мой жилец решил покрасить комнату в красный цвет».— «Простите, профессо, но этот ваш жилец нормальный?» — «Да что вы,— отвечу я.— Прекрасный человек, и брат у него работает в Центральном Неаполитанском банке!» — «А, тогда другое дело». После этого разговор, наконец, заходит о цене, и тут уже затрагиваются не только факты личной жизни, но и проблемы международной политэкономии: растущие цены и налоги, война на Ближнем Востоке, мой квартиросъемщик и его оригинальный вкус. В общем, в ход идут любые аргументы, позволяющие одной стороне повышать цену, а другой — сбивать ее. Люди разговаривают и в процессе разговора проникаются добрыми чувствами друг к другу.

— Теперь,— замечаю я,— в больших продовольственных магазинах тоже введены твердые цены. Взять хотя бы груши, яблоки, апельсины. Сначала их взвешивают в целлофановом мешке, потом кладут туда чек с указанием веса и цены, так что покупатель не может даже сказать: «Мне полтора кило апельсинов, и притом одних «корольков».

— Ничего себе! — удивляется Саверио.— Когда моя Ассунтина покупает на рынке фрукты, она каждую штуку разворачивает и оглядывает так, что у нашего

зеленщика иногда нервы не выдерживают и он вышвыривает все из сумки обратно в ящик: мол, если хочешь брать, бери все подряд.

— У меня есть один друг в Милане,— вступает в разговор Луиджино,— который торгуется даже в «Ринашенте» [1].

— Он что, псих?

— Нет. Неаполитанец, уже пять лет живущий в Милане. Его зовут Джованни Пеннино. Я сам от него слышал эту историю. Заходит однажды он в «Ринашенте» и видит штуковину, которая ему нравится, ну, скажем, тостер ценой в десять тысяч пятьсот лир. Он спокойненько так подходит к продавщице и говорит: «Синьорина, я хотел бы купить этот тостер, но больше десяти тысяч дать за него не могу».— «Нельзя,— отвечает продавщица,— цены у нас твердые». А он знай гнет свое: «Я понимаю, но один-то разок цену можно и округлить».— «Простите, синьор, округлить никак невозможно: «Ринашенте» — магазин твердых цен».

— О, это уже становится интересно. Ну а дальше что было?

— А дальше мой друг потребовал, чтобы ему вызвали заведующую отделом,— продолжает Луиджино, который, изображая продавщицу, старается говорить высоким, «женским», голосом. «Да поймите же, синьор, звать заведующую отделом совершенно ни к чему: цены у нас твердые, и сэкономить вы все равно ничего не сможете». Но Джованни продолжал настаивать и, когда заведующая все-таки подошла, начал рассказывать ей целую историю: «Видите ли, синьорина, у меня дома уже есть точно такой же тостер, только он у меня перегорел. Я отнес его сегодня утром к электрику, но оказалось, что починка обойдется в пять тысяч лир. Как же так, удивился я, целых пять тысяч, когда новый стоит десять! Вот я и решил купить себе новый в «Ринашенте», только что же получается: прихожу к вам, а вы, оказывается, подняли цену, и тостер стоит десять тысяч пятьсот. Теперь я вас спрашиваю: что мне делать? Купить новый за десять тысяч пятьсот или починить старый за пять тысяч?» — «Дорогой мой синьор,— отвечает заведующая,— ну что я могу вам сказать? Делайте как хотите. Можете починить свой старый тостер, можете купить у нас новый, но в «Ринашенте» цены стандартные, и никаких скидок мы не делаем». А Джованни твердит свое: «Но, синьорина, должен вам сказать, что я — друг синьоры Ринашенте».— «Да никакой синьоры Ринашенте на свете нет!» — «Есть, синьорина, есть, только вы ее не знаете».

— И чем же дело кончилось? — спрашивает Сальваторе.

— Джованни купил-таки тостер за десять с половиной тысяч.

— Прости, Луиджи, но какая ему от этого радость?

— Ну как же, теперь, когда он заходит в «Ринашенте», все узнают его, называют другом синьоры Ринашенте и улыбаются.

Уличный газетчик

Сегодня после обеда я встретил своего старого школьного приятеля Де Ренци. Я стоял на автобусной остановке, а он сидел напротив меня в своей застрявшей в дорожной пробке машине.

Благодаря нулевой скорости уличного движения мы успели узнать друг друга и даже обменяться воспоминаниями о школьных годах и неизменными фразами вроде: «Не знаешь, куда подевался Боттацци?» — «А помнишь нашего учителя Аваллоне?» — «Как же звали ту девчонку из первого «Е»?» При этом я продолжал стоять на остановке, а он — сидеть в своем красном «фиате-127» с катанийским номерным знаком.

Наконец Де Ренци спросил:

— А тебе, собственно, куда?

— В сторону пьяцца Национале.

— Так садись, я тебя подвезу.

Вот так, скорее из охоты продолжить наши воспоминания, чем с надеждой быстрее попасть в нужное мне место, я оказался в машине рядом с Де Ренци.

— А чем ты сейчас занимаешься, где работаешь? — поинтересовался я.

— Я — директор катанийского филиала фирмы «САМП-Италия», выпуска-

[1] «Ринашенте» — сеть разбросанных по всей Италии крупных магазинов стандартных цен. (В буквальном переводе — «Возрождающийся».)

ющей пластмассовые детали для жилищного строительства. Живу в общем-то прилично. А сюда приехал на Рождество. Скучаю, конечно, по Неаполю, ведь уже семь лет, как я уехал отсюда. В Катании и женился, и детишками обзавелся: старшему пять, младшенькому три года. Так вот получилось. У нас свой круг друзей, на здоровье мы, слава Богу, не жалуемся. А чем занимаешься ты?

Только я хотел ему ответить, как раздался крик мальчишки — разносчика газеты «Коррьере ди Наполи». Он орал во все горло:

— Страшная катастрофа в Катании! Страшная катастрофа!..

Взволнованный Де Ренци тотчас купил газету и стал быстро ее просматривать. Но не было ни единого заголовка, который мог бы навести на мысль о какой-то ужасной катастрофе. Мы все еще продолжали искать это важное сообщение, как снова подошел мальчишка-разносчик:

— Да вы не беспокойтесь, дотторе! Уж если в газете об этом ничего не пишут, значит, ничего особенного не случилось.

Сказав это, он направился к машине с номерным знаком Казерты.

Превышение скорости

— Вот видите, дотто,— говорит мне таксист, когда наша машина застревает в очередной пробке,— дело совсем не в дорогах! Вся беда в том, что неаполитанец пользуется машиной даже тогда, когда ему нужно обогнуть дом, чтобы купить себе пачку сигарет. Он рассуждает так: «Я всю жизнь горбатился, чтобы заработать на автомобиль, и теперь, когда он у меня есть, сам черт мне не брат!» Вы можете мне не поверить, но знаете, что делает средний неаполитанец по воскресеньям часов в пять, в полшестого? Сажает всю семью в машину и едет на прогулку по виа Караччоло. Да-да: от вокзала Мерджеллина до виа деи Милле, потом до виа Криспи и опять к тому же вокзалу Мерджеллина: три поворота, и он дома. Как раз поспевает к передаче «Карусель». Езда по улицам для него развлечение!

— Да, но, по-моему, тут есть и вина регулировщиков, которые не заставляют водителей соблюдать правила уличного движения. Взять хотя бы звуковые сигналы. В Неаполе сигналят все и без всякой надобности...

— Дотто, ну при чем здесь сигналы? Человек сигналит, чтобы чувствовать, что он не один. Беда в том, что все мы стали автомобилистами. Ну вот! Вы только посмотрите на этого нахала: надо же так пролезть! — вдруг восклицает он, осыпая проклятиями водителя «подрезавшей» его малолитражки.— Хотел бы я посмотреть, что это за дерьмо такое! Господи! Да это же женщина! Ну, знаете! Только женщин здесь и не хватало! Сидели бы дома, вместо того чтобы шляться по улицам, проститутки! Дотто, вы свидетель: если бы я вовремя не затормозил, сегодня здесь произошла бы катастрофа!

— По правде говоря, вы сами, разговаривая со мной, отвернулись.

— Да вы шутите, дотто! Двадцать два года я за баранкой, и ни одной неприятности! Даже не штрафуют никогда! Разве только изредка — за стоянку в неположенном месте. У меня дядя по материнской линии до последнего времени в муниципалитете работал, так он все штрафы просто аннулировал. А теперь, не про нас будь сказано, Господь Бог призвал его к себе, и мне приходится парковать машину с оглядкой. Что касается штрафов, дотто, так знайте: ваш покорный слуга — единственный в мире водитель, которого оштрафовали за превышение скорости во время похорон.

— Как это,— спрашиваю я со смехом,— во время похорон?

— Да, вот так,— говорит он, снова поворачиваясь ко мне.— В тот день я участвовал в похоронной процессии и вез следом за катафалком вдову и двух племянников усопшего. Но когда мы выехали на виа Фориа, вдова вдруг перестала плакать и, завопив: «Джованни, я тоже хочу умереть!» — открыла правую заднюю дверцу и чуть не выпрыгнула прямо под колеса ехавшего за нами городского автобуса. Вы же знаете неаполитанцев: от горя мы теряем голову и бываем способны на всякие глупости. К счастью, племяннику, сидевшему рядом с вдовой, удалось ухватить ее за подол. Несмотря на вопли и причитания, мы с племянниками и пассажирами автобуса кое-как успокоили безутешную вдову. Естественно, что

в этой суматохе я потерял из виду катафалк с нашим дорогим покойником, и мне пришлось начать свою первую гонку. На мою беду, за рулем ехавшей впереди машины с неаполитанским номером явно сидел какой-то чужак, потому что он останавливался на каждый красный свет. Я потратил из-за него уйму времени, так что гонка закончилась не сразу: только на площади Карла Третьего мне удалось наконец пристроиться в хвосте похоронной процессии и опять включить малую скорость. Но тут вдруг сидевший рядом со мной племянник как заорет: «Да это же вовсе не дядюшка Джованнино!»

Оказывается, я спутал катафалк и присоединился к чужой похоронной процессии!

— Не покидай меня, мой дорогой Джованнино! — кричала вдова.

— Да перестаньте же, тетя! — кричали племянники.

Из-за гвалта в машине ничего нельзя было понять, но тут вдалеке я увидел другой катафалк. Тогда я изо всех сил нажал на акселератор и обошел чужого покойника. Так на́ тебе: прямо передо мной вырос на мотоцикле регулировщик со своим жезлом. Что было делать? Я остановился, вышел из машины, чтобы объяснить ему, что за ужасная вышла история, и уже почти убедил его, как вдруг вдова, воспользовавшись тем, что племянники на минуточку отвлеклись, решила броситься вниз с моста, на котором мы стояли. И я, пытаясь спасти жизнь вдовы, нечаянно подставил подножку господину сержанту. Сам я тоже упал и здорово зашиб коленку. Вообще все, кто там был, покалечились или ушиблись. С одной только вдовой ничего не случилось.

Папочкин Манчини

— Самой высокой концентрацией художников отличалась Греция между 460 и 430 годами до н. э., в эпоху знаменитого Перикла...

— Приятеля Ахилла, что ли? — спрашивает Сальваторе, желая продемонстрировать свою эрудицию.

— Да нет же,— сокрушенно вздохнув, отвечает профессор Беллависта.— То был Патрокл. Сальвато́, с некоторых пор ты стал какой-то невнимательный. А сегодня вообще то и дело отвлекаешься: сначала тебе кофе захотелось, потом ты вскочил, услышав во дворе шум, а теперь вот спутал Перикла с Патроклом, как ни в чем не бывало проскочив шесть веков истории!

— Прошу прощения, профессо́,— смущенно оправдывается Сальваторе,— просто у меня из ума не идет ваш позавчерашний рассказ. Помните? Как Ахилл оплакивал Патрокла? Странно, здоровенный парень так убивался из-за какого-то «голубого».

— А кто тебе сказал, что Патрокл был «голубым»?

— Вы сами, профессо́. Из вашего рассказа я понял, что у Ахилла и Патрокла была, как говорят сегодня, нежная дружба.

— Послушай, Сальвато́! Хотя в Древней Греции гомосексуализм считался самым обычным явлением, Ахилл и Патрокл были просто друзьями и часто проводили время вместе, совсем как ты с Саверио.

— Минуточку, профессо́,— вмешивается Саверио,— я действительно друг Сальваторе, тут все ясно. Но прежде чем делать такие сравнения, давайте разберемся. Отношения между Ахиллом и Патроклом всегда были, как бы это лучше сказать, немного двусмысленные, что ли. Но если уж вы решили нас сравнивать, тогда уточните, пожалуйста, что Ахилл,— это я, а Сальваторе — Патрокл.

— Интересно, что ты имеешь в виду? — спрашивает заподозривший неладное Сальваторе.

— Мне лучше знать,— отвечает Саверио.

— Послушайте,— прерывает их потерявший терпение профессор Беллависта.— С вашего позволения, я намерен продолжить лекцию. Но если у вас другие планы, скажите сразу, и мы прекратим занятие!

— Нет-нет, профессор, ради бога, продолжайте! — восклицает полковник Сантанна и, обернувшись к нарушителям спокойствия, уже другим тоном добавляет: — Вечно вы с вашими штучками!

— Так вот, как я уже говорил,— продолжает Беллависта,— в пятом веке до

Рождества Христова в Греции наблюдался необычайный расцвет искусств. В афинских гостиных постоянно встречались художники, скульпторы, архитекторы, философы и комедиографы.

— Чем же это можно объяснить? — спрашивает Сальваторе, явно стараясь загладить свою вину.

— Не знаю. Загадка природы,— отвечает профессор.— Одни считают, что катализатором этого расцвета искусств был политический лидер Афин Перикл... По мнению других, все дело в характере афинян: представляете, они были такими страстными поклонниками всяких пари, что по любому поводу устраивали разные состязания. Сводили, например, двух художников, двух певцов, а иногда даже двух ораторов, чтобы узнать, который из них искуснее.

— Совсем как в теннисе,— комментирует Саверио.

— Кстати, насчет тенниса. Я лично не выношу Макинроя,— скорчив гримасу, замечает Сальваторе.— Вчера видел его по телевизору: грубый и наглый!

Присутствующие строго смотрят на Сальваторе, опять отвлекшегося от темы.

— Однажды состоялось знаменитое состязание двух художников — Зевксида и Паррасия,— продолжает Беллависта, испепелив Сальваторе взглядом.— По этому случаю посреди агоры[1] был воздвигнут деревянный помост, чтобы все присутствующие могли увидеть картины и вынести свое суждение. По условиям состязания обе картины до самого последнего момента нужно было скрывать под красными полотнищами. Победителя ждали более громкие аплодисменты. По жребию первым должен был откинуть полотнище Зевксид. Он изобразил на своей картине гроздь винограда. Хотите верьте хотите нет, но она была так похожа на настоящую, что пролетавшие в небе птицы садились на картину, чтобы поклевать ягод.

— Надо же, черт возьми! — восклицает полковник.

— Зевксид, уже чувствуя себя победителем, обратился к сопернику с такими словами: «Мне очень жаль, Паррасий, но думаю, что на сей раз ты потерпел поражение. Откинь-ка свое полотнище и покажи, что ты там намалевал».— «Не могу,— ответил Паррасий,— ведь мое полотнище нарисовано!»

— Ну надо же! — комментирует Сальваторе.— Вот оно, настоящее искусство! Это вам не наши современные художники!

— Да, кстати,— вступает в разговор Луиджино,— один мой кузен, профсоюзный деятель с фирмы «Энел», сказал, что в следующее воскресенье у них будет экскурсия на выставку современного искусства на Вилле Пиньятелли. У него осталось три или четыре свободных места, так что если мы хотим присоединиться,— пожалуйста! Он сказал еще, что в час дня всем выдадут даже пакеты.

— Какие такие пакеты? — спрашивает Сальваторе.

— Пакеты с завтраком,— отвечает Луиджино.

— А что будет на завтрак? — снова интересуется Сальваторе.

— Сальвато́,— вспыхивает Луиджино,— слишком много ты хочешь знать! Вся экскурсия бесплатная: его довозят на автобусе до самой Виллы Пиньятелли, показывают современное искусство, кормят завтраком, а он еще спрашивает, что там будет в пакете! Хотелось бы знать, если меню тебе не подойдет, ты что, не поедешь?

— Да нет, поеду, конечно,— невозмутимым тоном отвечает Сальваторе.— Но поскольку современные художники мне вообще не нравятся, пусть бы хоть завтрак понравился.

— Профессо́,— говорит Саверио,— признайтесь честно, ведь и вам ближе художники XIX века, правда?

— Ну... да,— кивает Беллависта.— Надо иметь в виду еще, что я вырос среди неаполитанских «морских пейзажей». Мой отец был страстным любителем школы Позиллиппо. Время от времени он являлся домой с очередной «находкой» — так он это называл. Первые дни он прятал свое новое приобретение: боялся моей матери, которой не нравилось, когда «деньги бросают на ветер». Потом показывал его только нам, детям. Ставил картину на маленький мольберт у задней стены гостиной, направлял на нее свет и требовал, чтобы мы вошли в комнату с зажмуренными глазами. Скомандовав: «Открыть глаза!» — он смотрел на нас и улыбался, мол, видали, какая удача мне привалила?

— Да, кстати, профессо́,— говорит Сальваторе,— вчера в баре у Мерджеллины я слышал, что одна обедневшая семья продает картину Манчини.

[1] Торговая площадь и место народных собраний в древнегреческих городах.

— Антонио Манчини?

— Не знаю, говорят только, что картина прекрасная. Да все дело в том, что глава семьи за то, чтобы ее продать, а жена упирается, твердит, что это память об ее отце.

— И что же?

— А то, что если хотите купить картину, идти туда надо, когда синьоры нет дома. Я могу навести справки.

Филиберто Бонайуто — специалист в области геральдики и учитель фехтования — часто повторял: «Я отстал от поезда XIX века! Пришлось сесть в следующий — в поезд века компьютеров». Его любимым ругательством было: «К черту электричество и того, кто его выдумал! Скажите сами, кем были бы сегодня «Роллинг стоунз» без электричества? Никем! Пустым местом!»

Бонайуто («Прошу вас, через «и» краткое») в своей области был неоспоримым авторитетом: любая фамилия в его руках приобретала необычайную престижность. Меньше чем за месяц он мог докопаться до чьего угодно седьмого колена и гарантировать заинтересованному лицу родственную (даже если и побочную) связь с одним из самых благородных, но разорившихся семейств Италии. Какой-нибудь Гаудиосо в результате тщательного исследования превращался в Клаудиосо, затем трансформировался в Клавдия и под конец оказывался несомненным потомком рода Клавдиев и лично императора Тиберия. Все это подтверждалось пергаментом, заверенным одним бывшим нотариусом и украшенным дворянским гербом. Пергамент торжественно вручался заинтересованному лицу с искренними поздравлениями Филиберто Бонайуто. Однако дела у него шли неважно, и время от времени ему приходилось продавать что-нибудь из домашних вещей: то ковер, то картину. Теперь дело дошло до Манчини.

— Ну что могу я, простой учитель фехтования? Неужели, дорогой профессор, вы полагаете, что кто-то сейчас нуждается в уроках фехтования, чтобы драться на дуэли? Нет? Конечно, нет: сегодня в моде засады, киллеры, сведение счетов с помощью автоматов, а я в этой области, скажу честно, полный профан — из «калашникова» стрелять не умею. Конечно, я мог бы преподавать хорошие манеры... искусство целовать даме ручку... Основы рыцарского кодекса... Но кому? Синьоре Амматуро, которая держит лавку электротоваров на рынке Дукеска, или ее дочке, вечно пропадающей в дискотеке со своими дружками-панками? Нет уж, увольте, как-нибудь перебьемся! Что поделаешь, я родился не в том веке и расплачиваюсь за это.

Беллависта выслушивает излияния эксперта-геральдиста и с нетерпением ждет, когда тот покажет ему знаменитую картину Манчини. В столовой ее что-то не видать. На стенах серыми прямоугольниками выделяются лишь две не представляющие никакой ценности гравюры и еще более тусклый календарь с видом на Везувий.

— Может, вы мне все-таки покажете этого вашего Антонио Манчини? — приступает к делу Беллависта.

— Сию минуточку! — отвечает старый джентльмен, поднимаясь со стула.— Соблаговолите последовать за мной...

Бонайуто открывает дверь, ведущую в гостиную, и замирает на пороге. В темной комнате горит одна маленькая лампочка, освещающая картину на задней стене.

— Вот она. Манчини: «Сестра милосердия». Масло. Картина датирована 1883 годом: маэстро находился тогда в сумасшедшем доме. Женщина на картине — его медицинская сестра.

Филиберто Бонайуто зажигает центральную люстру и снимает картину со стены, чтобы профессор мог лучше ее рассмотреть.

К чему скрывать? Профессор всегда мечтал иметь работу кисти Антонио Манчини. К сожалению, нынешние рыночные цены не позволяли ему осуществить эту мечту.

— Не знаю, смогу ли я себе позволить...— говорит Беллависта озабоченно,— во всяком случае, за спрос не дают в нос... Так сколько же вы за нее хотите?

— Профессор, позвольте быть с вами откровенным. Чем раньше мы обо всем договоримся, тем раньше заключим сделку. Перед вами подлинный Манчини. Картина подарена им лично моему тестю, навестившему его в сумасшедшем доме. Конечно, это наша семейная реликвия, но вам-то что до этого...

— Да-да, я понимаю. Но если она стоит очень дорого...

— На ваше счастье,— продолжает Бонайуто,— это всего лишь эскиз и, может быть, даже не совсем законченный, так что цена будет умеренная: два миллиона — и Манчини ваш. Конечно, если бы картина была законченная, как говорится, завершенная, вам бы и ста миллионов не хватило. Но, насколько я понимаю, вы не из тех, кого может смутить такая мелочь: картина или эскиз — какая разница? Манчини остается Манчини! Рука гения, который, быть может, именно в годы безумия создал самые лучшие свои вещи.

— Я так и думал, что она окажется слишком дорогой для меня,— вздыхает искренне огорченный Беллависта.— Боюсь, придется от нее отказаться! Манчини или не Манчини, а я сейчас не могу потратить на картину больше миллиона.

— Миллиона? — разочарованно тянет Бонайуто.— По правде говоря, маловато. Мне не хватит даже на самые необходимые расходы. К тому же вы и представить себе не можете, какими семейными неприятностями мне придется расплачиваться за продажу этого Манчини! Вы бы в ужас пришли. Жена всегда была против. Я, кажется, так и слышу ее: «Эта картина — память о моем отце. Можешь продать все. Но папочкиного Манчини!..» Я потихоньку день за днем уговаривал ее и уже почти уговорил... И вот сегодня, когда бедная женщина вернется домой и увидит на стене светлое пятно... Профессó!

Беллависта разглядывает картину и не слушает Бонайуто.

— Профессó,— повторяет Бонайуто, стараясь привлечь внимание Беллависты,— вы видите это светлое пятно на стене? Так можете мне поверить: сегодня вечером из-за него разгорятся такие страсти!

Наконец Беллависта отрывает глаза от картины и переводит взгляд на стену. Как ни хочется ему приобрести Манчини, он не может не испытывать угрызений совести перед синьорой Бонайуто.

— Да, между прочим,— продолжает специалист по геральдике,— если мы хотим завершить сделку, давайте поспешим: надо успеть до прихода жены. Мария может нагрянуть с минуты на минуту, а мне бы не хотелось торговаться в ее присутствии.

— Послушайте,— извиняющимся тоном говорит Беллависта,— я не сомневаюсь в том, что картина очень дорога вам и вашей жене. Но все равно в настоящий момент мои личные обстоятельства не позволяют мне заплатить больше, чем я уже сказал. Ну, самая последняя цена — миллион двести тысяч.

— Да как вы можете предлагать мне миллион двести, профессó!— стонет Бонайуто.— Это же Манчини! Прошу вас, посмотрите внимательнее на портрет. Сюда посмотрите: видите мазок безумца?

— Где?

— Здесь, профессó. Взгляните на халат. Это не просто мастерство. Это же яростный удар сабли, ослепление цветом! Так вот, дорогой мой профессор, перед вами воплощенное в краске безумие, крик о помощи узника, рвущегося на свободу. Представьте себе вулкан за минуту до извержения, и вы поймете, в каком состоянии был Манчини в тот день.

— Послушайте,— бормочет Беллависта, явно начиная сдаваться,— ладно, пусть будет миллион триста тысяч, и кончим этот разговор. Скоро лето, и мне еще надо подумать о даче...

Не успевает профессор кончить фразу, как за его спиной внезапно появляется синьора средних лет, одетая в поношенное темно-серое пальтецо с облезлой горжеткой из лисьего меха, в руках у нее черная кожаная сумочка. Женщина застывает в дверях. Несколько секунд она смотрит полными слез глазами на мужа и профессора, потом неожиданно спокойно произносит:

— Филиберто! Ты продаешь папочкиного Манчини!

— Нет,— отвечает Филиберто,— я только показываю его синьору.

— Мерзавец! — восклицает синьора Мария — на этот раз значительно громче.— Ты продаешь папочкиного Манчини!

— Мы только обсуждали...

Тут синьора Мария, решительно отшвырнув сумочку, бросается к мужу, чтобы вырвать картину у него из рук.

— Подлец, ты не продашь Манчини! Только через мой труп!

Бонайуто, ловко увернувшись, быстро передает картину профессору, хватает жену и, прижав ее к стене, кричит:

— Профессор, положите чек на полтора миллиона на столик и уносите картину... Да поскорее... Уходите же, а то мне ее не удержать... Картину заберите!..

— А теперь перед нами один из крупнейших представителей модернизма — Альберто Бурри...

Профессор Салеми, специалист по модернистскому искусству и волей случая экскурсовод группы с предприятия «Энел», останавливается метрах в двух от произведения, представляющего собой кусок мешковины с десятком заплат.

— Для тех, кому это неизвестно, скажу,— продолжает Салеми,— что Альберто Бурри вместе с Баллокко, Капогросси и Коллой считается основоположником первой подлинно итальянской школы нефигуративного искусства...

— Простите, профессор,— спрашивает один из экскурсантов,— а как называется эта картина?

— «Большой мешок». Работа относится к началу пятидесятых годов,— отвечает, оживившись, Салеми.

Найдя, что название вполне соответствует сути произведения, все удовлетворенно кивают. Кто-то даже прищуривает глаза, чтобы лучше постичь смысл «картины». Между тем профессор Салеми продолжает свою лекцию:

— Как воспринимать творчество Бурри? Дорогие мои, прошу вас сосредоточить свое внимание так, чтобы до глубины души прочувствовать всю тоску, вложенную художником в эту работу. Обратите, пожалуйста, внимание на рваные дыры, на эти залепленные битумом раны, на белый цвет негашеной извести, на изорванную инертную материю, и тогда вам, быть может, удастся постичь суть произведения, которое критики справедливо назвали «иконографией страдания».

Присутствующие — каждый в меру своих возможностей — стараются сосредоточиться. Саверио и Луиджино тоже очень добросовестно вглядываются в мешок, надеясь глубже вникнуть в слова профессора, но тут Саверио краем глаза замечает, что Сальваторе собирается задать почтенному гиду какой-то вопрос.

— Эй, ты что?

— Ничего,— отвечает Сальваторе,— я только хотел спросить у профессора...

— А тебе сказано — молчать,— сурово обрывает его Саверио.— Когда выйдем отсюда, поговорим!

Пригласивший троих дружков на экскурсию профсоюзный деятель убедительно просил их вести себя так, чтобы не бросаться в глаза начальству «Энел». «Ребята,— сказал он,— пожалуйста, никаких комментариев, а главное, никаких дурацких острот».

— А вот рядом с Бурри — Фонтана! — восклицает Салеми и останавливается, словно пораженный молнией. Очевидно, Фонтана — один из его любимых мастеров.

Группа теснится перед картиной, и несколько секунд все стоят затаив дыхание. Картина выглядит как кусок бежевого холста, через центр которого по диагонали рукой художника сделан разрез — очевидно, бритвенным лезвием. Саверио, Сальваторе и Луиджино молча смотрят на разрез и обмениваются многозначительными взглядами.

— К творчеству Фонтаны,— начинает экскурсовод,— неприменимо определение «живопись в чистом виде». Давайте называть вещи своими именами: раз и навсегда следует сказать, что в произведениях этого мастера не существует четкого разграничения между живописью, скульптурой и графикой в традиционном толковании названных жанров. Сам Фонтана в своем «Белом манифесте» заявляет о том, что его творчество не поддается никакому определению.

Сальваторе просто умирает от желания вставить и свое словечко, но в этот момент профессор Салеми сам обращается к нему:

— И тут вы можете спросить: «Если это не картина, тогда что это такое?»

— Вот именно, профессор, вы прямо прочитали мои мысли,— восклицает Сальваторе, получивший наконец счастливую возможность открыть рот.— Так что же это такое?

— Это Вселенская Концепция.

— Так называется картина?

— Нет, она называется «Ожидание».

— А вон та? — спрашивает Сальваторе, указывая на картину, висящую рядом и изрезанную в пяти местах.

— «Ожидания».

— Множественное число, значит...

— Да, но это все равно Вселенская Концепция,— стоит на своем Салеми.

— Профессо,— спрашивает Сальваторе,— выходит, этот Фонтана только и делал, что резал свои полотна?

— Нет,— отвечает Салеми,— у него есть еще серия работ с дырами.

— Ага, значит, дырки и разрезы,— заключает Сальваторе.

— Кому было велено молчать? — шепчет ему на ухо Саверио и тянет приятеля за рукав назад, за спины остальных экскурсантов.

— Ну что ты пристаешь? — протестует Сальваторе.— Профессор же сам меня спросил, я и ответил.

Между тем экскурсанты переходят в следующий зал, так что выясняющие отношения Саверио и Сальваторе оказываются в хвосте группы.

— А то, что из-за тебя нас могут выгнать всех троих, тогда нам и завтрака не видать. Можешь ты наконец сообразить, что мы здесь чужие?

— У меня иногда само как-то вырывается!

— Пусть не вырывается! Думаешь, мне не трудно сдерживаться? Идиотство какое-то! — вскипает Саверио.— Но, как видишь, я же молчу. Ущипну себя, и ни гугу!

— Вообще я что-то притомился,— жалуется Сальваторе.— И почему только в музеях не ставят стульев, чтобы уставшие могли присесть и отдохнуть.

— Не беспокойся,— утешает его Саверио,— остался последний зал, а потом пойдем есть.

Не успевает Саверио закончить фразу, как к ним с вытаращенными глазами подлетает Луиджино.

— Ребята,— говорит он,— вы даже представить себе не можете, что устроили в соседнем зале!

Сгорающим от любопытства Сальваторе и Саверио, едва они успевают переступить порог следующего зала, сразу бросается в глаза устроенная у стены справа самая настоящая ванная комната. В ней все как положено: облицованная керамической плиткой стена, ванна, голубой коврик перед ней, ведро для мусора и еще желтое полотенце.

— Том Вессельман: «Ванная комната», коллаж № 3,— торжественно возвещает профессор Салеми.— Вессельман — фигура выдающаяся в американском попарте. Художник посредством сочетания трехмерных изображений и предметов повседневного обихода подвергает едкой критике массовый гедонизм...

Тут Салеми умолкает, отвлеченный непонятным шумом. Все оборачиваются и видят сидящего на каком-то старом стуле Сальваторе и накидывающегося на него смотрителя Виллы Пиньятелли.

— Вам сказано, что сидеть здесь нельзя!

— Да я только на минуточку,— отбивается Сальваторе.— Устал что-то...

— Тогда идите и садитесь на скамейку в вестибюле. А сюда садиться нельзя, это же картина!

— Как картина?

— Да, синьор, картина! — повторяет разъяренный смотритель.— Вы что, не видите цепочки, которой стул прикреплен к полотну, висящему на стене? Если не верите, можете сами прочитать!

Сальваторе, не поднимаясь, оборачивается и читает текст, напечатанный на прикрепленной к стене табличке: «Роберт Раушенберг. «Pilgrim», 1960 г.».

— Ну и что? — спрашивает он.

— А то, что вы должны сейчас же встать! — орет смотритель.— Просто беда с этими стульями! Ну, каждый, каждый, войдя в этот зал, обязательно на них усаживается!

— А вы, чтобы не было недоразумений, сделайте на них надпись: «Осторожно, это не стул, это картина!»

— Сальвато́,— говорит Саверио.— Ну сам подумай. Ты человек темный, потому что окончил только начальную школу. Я тоже, можно сказать, темный, потому что окончил среднюю школу и на том остановился, а эти все — критики

с дипломами... они даже «Репубблику» читают... Неужели же ты думаешь, что два таких невежды, как мы с тобой, разбираются в искусстве лучше, чем люди, которые ко всему еще и богатые и могут позволить себе тратить деньги? Вот я и говорю: если столько образованных людей говорят, что современная живопись — это вещь, значит, в ней что-то действительно есть, и эти художники — настоящие мастера своего дела.

— Короче, ты хочешь сказать, что если бы я учился, мне бы понравилась картина со стулом...

— Ну, конечно, понравилась бы,— гнет свое Саверио,— ты нашел бы в ней послание.

— Послание от стула?

— Ну да.

— Пожалуй, мне мог бы еще понравиться художник с мешком,— сдается Сальваторе.— А вот художник со стулом не понравился бы мне никогда, проучись я хоть всю жизнь.

— Да что ты понимаешь! — восклицает Саверио.— Я же тебе объясняю: тут нужно просто порассуждать. Неужели, по-твоему, за целых восемьдесят лет, то есть с тех пор как появилось современное искусство, никто не заметил, что все это сплошное надувательство! Так давай смиримся и скажем, что просто ничего в нем не смыслим.

Эта беседа происходит в доме профессора Беллависты. Сальваторе, Саверио и Луиджино со всеми подробностями уже рассказали ему о своем посещении выставки современного искусства.

— А жалко, профессо́,— говорит Сальваторе,— что вы не поехали с нами: уверяю вас, вы бы там повеселились. Что касается меня лично, то мне эта самая выставка современного искусства понравилась больше, чем выставка искусства семнадцатого века в Каподимонте. Там было слишком много святых, прямо как в церкви! А здесь все как-то поживее.

— Не слушайте его, профессо́,— перебивает друга Саверио,— Сальваторе же ничего не понял: он все время так и рвался перебить экскурсовода, тоже важного профессора, чтобы подразнить его немножко. Если бы я его не останавливал...

— Да никого я не собирался дразнить, профессо́! — протестует Сальваторе с невинным видом.— Я просто хотел понять, что к чему, вот и все. Интересно, а как относитесь к современному искусству вы?

— Н-да,— отвечает Беллависта после некоторой паузы.— Вопрос трудный, может быть, даже более трудный, чем кажется. Я считаю, что искусство — это один из способов общения человека с ближними. Художник, скульптор, музыкант и — почему бы и нет? — писатель посредством искусства стараются передать какую-то идею, какие-то эмоции своей аудитории, или, как говорится сегодня на телевизионном жаргоне, своим потребителям. Так вот, я утверждаю, что там, где происходит передача чувств, эмоций, там присутствует и Искусство, а если этого не происходит, значит, Искусства нет.

— По-вашему, получается,— замечает Сальваторе,— что если я не разволновался перед порезанной картиной этого, как его...

— Фонтаны,— подсказывает Саверио.

— Фонтаны,— повторяет Сальваторе,— значит, никакой передачи чувств не было, и, выходит, не было и Искусства?

— Совершенно верно,— подтверждает профессор.— Работы Лючо Фонтаны не Искусство для Сальваторе, зато они могут быть Искусством для Беллависты.

— Я не понял. Что это все-таки — Искусство или не Искусство?

— Сальвато́, в Греции был один философ, который отрицал существование Истины... единственной Истины, одинаковой для всех. Звали его Протагор. Он говорил: «Человек — мера всех вещей, и тех, что существуют, потому что они есть, и тех, что не существуют, потому что их нет».

— И что это означает? — удивляется Сальваторе.

— Теперь ты сам видишь, что идея до тебя не доходит! — восклицает Саверио.— А все потому, что ты не учился.

— Протагор хотел сказать,— поясняет Беллависта,— что каждый из нас — центр мироздания. Каждый из нас может решать, что есть и чего нет. Если для тебя Фонтана — всего лишь вандал, изрезавший свои картины бритвенным лезвием,

чтобы одурачить ближнего своего, то Протагор приходит к тебе на помощь и говорит: «Сальвато́, Фонтана — это не Искусство». Но в то же время он укрепляет в моем мнении меня, человека, который, увидев картины Фонтаны, испытывает какое-то странное волнение: так, наверное, чувствовала бы себя птица, оказавшаяся между Землей и Луной.

— Нет, профессо,— говорит Сальваторе, вставая со стула,— вы мне сейчас просто голову морочите: никакого такого волнения вы не испытываете. И я убежден, что все, кто был вчера на выставке, думают так же, как и я, просто у них смелости не хватает признаться в этом. Даже Саверио, тоже человек необразованный — он и десяти тысяч лир не потратит, чтобы купить себе эту картину,— как подлый лицемер сказал нашему гиду-профессору: «Конечно, этот Фонтана производит сильное впечатление!»

— При чем здесь это? — оправдывается Саверио.— Я просто хотел сделать ему приятное: ясно же, что он питает слабость к своему Фонтане. Вот я и решил, ну, как это...

— Доставить ему удовольствие,— подсказывает Беллависта.

— Вот-вот, доставить удовольствие,— повторяет Саверио.— И еще я хочу сказать: вы только подумайте, какая адская жизнь была у этого Фонтаны...

— Это как понимать?

— А так. Представляете, сколько насмешек выдержал он от своих друзей в молодости, пока не стал знаменитостью?

Тут Саверио берет на себя роль воображаемого приятеля Фонтаны:

— «Лючо, ты чем сегодня занимался? Еще одну картину написал? Сильно устал?» А все давай смеяться. И с прислугой у него, наверно, были проблемы. Я так и слышу, как он говорит служанке: «Катери́, ты никогда ничего не должна выбрасывать из моей студии; даже если увидишь какую-то рваную тряпку, не выбрасывай ее, ведь она стоит миллионы!»

— Конечно, профессо,— комментирует Сальваторе,— эти современные художники очень бедствуют, пока не станут знаменитыми. Только вот непонятно, как быть нашим потомкам... Людям, которые будут жить в тридцатом веке. Ну вот вам пример. Однажды в газете «Маттино» я прочитал, что под развалинами какой-то заброшенной виллы найдена картина Рафаэля. Каменщику, который ее обнаружил, хорошо обломилось. Так вот я и говорю: предположим, что в тридцатом веке под развалинами Виллы Пиньятелли найдут картину Вассермана...

— Вессельмана,— поправляет его Беллависта.

— Ну да, Вессельмана... Который изобразил ванную комнату... Я вам рассказывал. Что подумает каменщик тридцатого века? Что он нашел? Картину Вессельмана или древнюю уборную?

— Конечно, уборную,— отвечает Беллависта с улыбкой.

— И ему ничего не обломится! — заключает Саверио.

— Теперь повторим: когда моя правая рука спокойно лежит на столе, все молчат. Это значит, что рыбка клюнула. Когда я поднимаю молоток, Сальваторе должен назвать свою цену; когда я поправляю очки, Саверио ждет, пока я не скажу «два», и набавляет цену. И, наконец, когда я вынимаю платок, чтобы вытереть пот, вы можете играть на повышение, но до тех пор, пока я не суну платок в карман. Плата — как всегда: по десять тысяч на брата и пятнадцать тысяч полковнику, который приходит в форме. Если все сложится удачно, еще и надбавку получите.

Аукционист Альфредо Авитабиле монотонно, просто по привычке, перечисляет условные жесты. Уже больше двух лет с ним сотрудничают одни и те же люди, так что можно было бы обойтись и без этой лекции. Зал аукционов — место, хорошо знакомое всем, кто живет на проспекте Гарибальди. Никакой мало-мальски уважающий себя неаполитанец никогда бы не купил здесь ни одной картины, а вот клиенты, приезжающие на побережье из других мест, питают удивительную слабость к такого рода распродажам. Они идут на голос аукциониста, звучащий из динамиков, которые установлены перед входом, заглядывают в зал и становятся жертвами гипнотических манипуляций дона Альфредо.

Выслушав инструкцию, группа мнимых покупателей занимает в зале стратегические позиции. Четверо рассаживаются в двух первых рядах, трое остаются стоять

у задней стены, создавая эффект толпы. Дон Альфредо заявляет первый лот, и начинаются довольно вялые торги. В зале пока не видно ни одного толстосума, чем и оправдывается отсутствие рвения у участников аукциона.

— А теперь, дорогие мои господа, попрошу вас снять шляпы перед одним из величайших шедевров неаполитанской живописи прошлого века.— Здесь голос дона Альфредо прерывается от волнения.— Перед вами ранний Палацци: «Возвращение к роднику». Прошу вас обратить внимание на изящество, с каким молодая крестьянка несет на голове медный кувшин, на иссиня-черные волосы девушки, на блики, играющие на сосуде, на пышно цветущую природу, как бы приветствующую саму юность...

— Видеть больше не могу это «Возвращение к роднику»,— шепчет Сальваторе Саверио.— Будь у меня деньги, сам купил бы картину, чтоб не слышать о бликах, играющих на сосуде...

— Подумаешь, какие нежности,— откликается Саверио.— Бери пример с меня. Я просто не слушаю. Даже во время торга я действую автоматически. А когда все кончается, беру свои десять тысяч и иду домой...

— Тихо! — перебивает его Сальваторе.— Явился «жирный карась»!

— Сто тысяч,— немедленно выкрикивает Саверио.

— Сто двадцать,— повышает цену Сальваторе.

— Сто двадцать тысяч? — с отчаянием в голосе спрашивает дон Альфредо.— Скажите лучше, что вы решили пустить меня по миру, и прекратим это дело сразу! Да здесь одна рама потянет на двести тысяч! Вы, возможно, не заметили, что рама вся состоит из позолоченных листьев. Чистое же золото! Такие только в старину изготовлялись. Сегодня за такую раму запросили бы триста тысяч лир, если бы только нашелся мастер, способный ее сделать!

— Сто сорок,— говорит Саверио.

— Сто сорок пять,— сразу же предлагает Сальваторе.

— Сто пятьдесят! — поднимая руку, выкрикивает полковник.

— Сто пятьдесят пять...

Последние слова принадлежат «жирному карасю». Это мужчина средних лет в сером летнем костюме. На нем рубашка в розовую клетку и голубой галстук в горошек, совершенно не подходящий к цвету рубашки. Едва подняв руку, он сразу спохватывается. К его огорчению, торг, который до последней минуты был таким оживленным и даже яростным, внезапно сникает. Дон Альфредо положил правую руку на стол, и, как условлено, все перестали набавлять цену. Почти что в благоговейной тишине зала раздается лишь голос аукциониста, который безжалостно стучит своим молотком:

— Сто пятьдесят пять тысяч — раз!.. Сто пятьдесят пять тысяч — два!.. Сто пятьдесят пять тысяч — три! Поздравляю, синьор, вам повезло, вы очень дешево приобрели самого Палацци!

— Слава тебе Господи,— выдыхает Сальваторе,— наконец-то мы спихнули этот «Родник»!

— А знаешь, Сальвато́,— говорит Саверио,— почему-то жалко его стало: вроде уже привык к нему. Даже к «бликам на сосуде»...

Ракелина с раскрасневшимся от волнения лицом стоит посреди двора в окружении десятка женщин, старающихся ее успокоить. Она уже окончила рассказ о своей неприятности, но тут вдруг увидела направляющегося к лифту профессора.

— Профессо́,— кричит она, едва не плача,— вы знаете, что со мной случилось?

— Что же с тобой случилось? — спрашивает Беллависта.

— Меня ограбили!

— Сумочку небось из рук вырвали, да? А сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не ходила с сумочкой?

— Да нет, профессо́, не сумочку! На меня совершили — как это говорится? — вооруженное нападение!

— Вооруженное?

— Ну да, с перочинным ножиком!

— О Господи, так и до беды недалеко,— комментирует привратница из дома напротив.— Я еще понимаю, когда грабят настоящих синьор, которые разгуливают в мехах, с драгоценностями. Тут понятное дело, всякое может взбрести в голову! Но когда перед вами бедолага вроде Ракелины!.. Так, пожалуй, мы далеко зайдем. Теперь и нам опасаться прикажете?

— Профессо,— продолжает Ракелина плачущим голосом,— пошла, значит, я за покупками для синьорин Финцио, а они сами знаете какие прижимистые. Потому и дали ровно столько, сколько я должна была потратить. Ну вот, иду я себе к зеленщику за двумя кило помидоров и вдруг чувствую: что-то кольнуло меня в спину. Вот, можете сами посмотреть — этот мерзавец мне даже платье порезал!

Ракелина поворачивается и под возмущенные восклицания подружек показывает маленькую дырочку на платье, чуть пониже талии. Портниха-надомница синьора Каротенуто сразу же вызывается помочь беде:

— Ракели, деточка, не беспокойся — это можно заштопать. Придешь ко мне, и я все сделаю в лучшем виде. Даже незаметно будет.

— Но как это произошло? — спрашивает профессор.

— Так я же вам говорю...— продолжает Ракелина,— когда я почувствовала, что в спину мне уперся ножик, я обернулась и увидела парня, с виду вроде бы студента...

— Студента? — переспрашивает портниха.

— Ну да,— отвечает Ракелина.— Он же был в очках! И несмотря на это, оказался таким подонком. Ну, ладно, я оборачиваюсь, а он мне и говорит: «Отдавай деньги, или я тебя убью!»

— А ты что? — спрашивает портниха.

— А я ему: «У меня и лиры-то нет». А он: «Тогда я тебя убью». Я испугалась и говорю: «У меня только десять тысяч». «Ладно,— говорит,— давай десять тысяч!» А я ему: «Не могу, я должна купить на них помидоры». Он немножко подумал, а потом спокойно так говорит: «Тогда дай мне пять тысяч». «Не могу,— говорю,— у меня они одной бумажкой». А он говорит: «Пошли разменяем». Пришлось идти с ним к зеленщику, чтобы разменять десять тысяч на две бумажки по пяти.

— И он все время колол тебя ножиком в спину? — интересуется портниха.

— Да.

— Похоже, ограбление-то совершено по сговору,— замечает профессор.

— Ну да,— отвечает Ракелина.— Только я чуть со страху не умерла!

— Да, дорогой мой профессор, сейчас в Неаполе приличная синьора не может одна даже из дому выйти,— комментирует портниха, изо всех сил стараясь говорить при профессоре интеллигентно.— Все неаполитанцы стали ворами: вчера на виа Санта-Лючия вырвали сумочку у матери одной моей приятельницы. Это у бедной шестидесятилетней женщины! Протащили ее по земле по всей улице, словно тряпку какую!

— Неправда, синьора, неаполитанцы не хуже других,— произносит кто-то с явным северным акцентом.— Весь мир — одна большая деревня: представляете, в прошлом году меня ограбили в самом центре Милана, и оказалось, что грабители вовсе не южане.

Слова эти принадлежат доктору Кащаниге, который подошел позднее, держа под мышкой какой-то пакет, завернутый в газетную бумагу.

— Вот почему,— продолжает он,— если при мне какая-нибудь ценная вещь,— он бросает взгляд на невзрачный пакет,— я всегда настороже. Но как бы там ни было, я лично считаю, что у преступников нет родины.

— Единственный способ не быть ограбленным,— философски замечает Беллависта,— не носить с собой ничего, что может приглянуться другим.

Мужчины направляются к лифту. Беллависта замечает, что пакет доктора Кащаниги имеет форму картины.

— Извините за нескромный вопрос: вы купили что-то интересное? — спрашивает он.

— Можете считать, что я сделал замечательное приобретение,— не без гордости отвечает миланец.— Признаюсь, я всегда был неравнодушен к неаполитанской живописи прошлого века. По-моему, она не уступает тосканской и несправедливо недооценивается на рынке искусств. А тут мне наконец посчастливилось купить картину Антонио Манчини. Шедевр! Это портрет сестры милосердия, выполненный художником, когда он сидел в сумасшедшем доме. Надо признать, что покупка была сопряжена с некоторыми трудностями. Да-да. Хозяин картины был готов с ней расстаться, но жена его, к сожалению, даже слышать об этом не хотела: едва удалось ее уломать.

В столовой квартиры Филиберто Бонайуто идет разбирательство по делу о мошенничестве. Профессор Беллависта и доктор Кащанига гневно смотрят на учителя фехтования, держа в руках по картине. Это портреты двух сестер милосердия, практически одинаковые, если не считать разного цвета волос: у Беллависты сестра милосердия брюнетка, у Кащаниги — рыжеватая.

Синьора Мария как ни в чем не бывало любезно осведомляется:

— Кофейку не хотите?

— Нет, спасибо,— холодно отвечает Беллависта.

В отличие от своих клиентов Филиберто Бонайуто совершенно спокоен, похоже, что негодование обманутых им людей нисколько его не волнует, наоборот, он так невозмутим, словно не имеет никакого отношения к происходящему, а фальшивые Манчини — это трагическая игра случая.

— Вам просто не повезло. Незачем было вам встречаться,— такова его флегматичная реакция на протесты обоих обманутых покупателей.

— Послушайте, вы,— спокойно, но твердо говорит доктор Кащанига,— я еще раз повторяю: если вы сию минуту не вернете нам деньги — притом до последней лиры,— я буду вынужден заявить о вашем мошенничестве в ближайший комиссариат полиции.

— И ничего у вас не получится,— живо парирует специалист по рыцарскому кодексу.— Первое, о чем вас спросит комиссар: «Сколько вы заплатили за эти картины?»

— Полтора миллиона,— говорит Беллависта.

— Миллион семьсот тысяч,— вторит ему Кащанига.

— «И вы за полтора миллиона хотели купить подлинного Манчини?!» — спросит вас комиссар. А если вы вздумаете обвинить меня в мошенничестве, я заявлю, что предупреждал вас, вы знали, что это просто две имитации. Пусть потом судебный эксперт установит, можно ли за полтора миллиона — за полтора, а не за пятьдесят! — приобрести подлинник Манчини.

— По-моему,— не отступает Беллависта,— вы недооцениваете того факта, что я и присутствующий здесь доктор Кащанига — уважаемые в городе специалисты, тогда как у вас, дорогой Бонайуто, на совести уже не одна подобная проделка. Между прочим, мне стало известно, что никакой вы не Филиберто Бонайуто, а Альберто Бонаюто — без всякого «и» краткого.

— Филиберто Бонайуто — это мой псевдоним в искусстве...

— Какое искусство вы имеете в виду? — иронизирует Беллависта.

— Дорогой профессор,— огорченно отвечает Бонаюто (без «и» краткого),— как же мне жаль, что вы оказались совсем не тем замечательным человеком, с которым я имел удовольствие познакомиться на прошлой неделе. Возможно ли это? — говорю я себе. В тот раз мы беседовали об искусстве... поэзии... высоких чувствах... Вы объясняли мне, что Искусство существует лишь тогда, когда устанавливается эмоциональная связь между творческой личностью художника и творческой личностью зрителя, а теперь передергиваете карты и грозите мне комиссариатом, судом! И я еще вами восхищался! Вот смотрите, у меня даже сохранилась бумажка, на которой я записал ваши слова...

Альберто Бонаюто роется в кармане и извлекает из него клочок измятой бумаги.

— Послушайте только,— восклицает учитель фехтования и с выражением читает: — «Для того чтобы живопись можно было назвать Искусством, необходимо наличие художника, создающего произведение, и, как минимум, одного зрителя, наделенного способностью его понять».

Потом, оторвав взгляд от бумажки, он с укоризной смотрит на посетителей.

— Что ж, как ни грустно это признать, но ни одного из вас, похоже, нельзя назвать зрителем с творческой душой. Да, дорогие мои синьоры, не поняли вы меня!

— Мы поняли, что вы нас нагрели на три миллиона,— холодно заключает доктор Кащанига.

— Вот видите, вы можете говорить только о деньгах,— продолжает вконец разочарованный Бонаюто.— А как же Эмоции? Куда прикажете девать Эмоции? Ведь я же вам не только картины продал, я продал вам и Эмоции... Радость

обладания редкостной вещью... Восторг... А вы что наделали? В общем, верните мне Эмоции, и я с радостью возвращу вам деньги.

Дон Альберто заканчивает свой монолог об эмоциях и кланяется, словно актер перед партером. Он чувствует, что имеет право на аплодисменты хотя бы за хорошо разыгранный спектакль, и знает, что профессор Беллависта в душе не мог его не оценить по достоинству, но в то же время отдает себе отчет и в том, что на откровенное признание обвинителей рассчитывать ему тоже не приходится. Так что пока он вынужден довольствоваться лишь поощрительным взглядом растроганной жены.

Профессор берет доктора Кащанигу за руку и предлагает ему сесть за стол.

— Дотто́,— говорит он другу,— давайте смотреть правде в глаза. Совершенно ясно, что наши три миллиона Бонаюто уже спустил!

— Несомненно! — подтверждает дон Альберто.

— Так что теперь нам остается лишь спасти то, что еще поддается спасению.— И он обращается к учителю фехтования: — А теперь, уважаемый синьор, подпишите-ка нам двенадцать векселей, каждый на двести шестьдесят шесть тысяч: будете погашать их по первым числам каждого месяца. Можете не сомневаться: один день просрочки — и мы подаем на вас в суд. Кроме того, вы дадите нам расписку в том, что продали нам две фальшивые картины Антонио Манчини. Думаю, вы оценили по достоинству тот факт, что мы дали вам рассрочку на двенадцать месяцев, не потребовав никаких процентов.

— Вы слишком любите деньги, профессо! — только и может воскликнуть Бонаюто.— И кто бы мог подумать! Но если вас интересуют одни лишь деньги, зачем так рисковать, вкладывая их в картины? Картины всегда могут оказаться фальшивыми — даже те, что продаются у солидных антикваров. Вспомните историю с «головами» работы Модильяни! А если вам так уж хочется быть уверенным, что картина стоит заплаченных за нее денег, закажите мастеру раму и вставьте в нее стотысячные ассигнации. Я бы посоветовал вам раму в стиле ампир. К вашему сведению, десять миллионов в стотысячных ассигнациях занимают площадь полтора метра на семьдесят сантиметров. Потом повесьте ее у себя в гостиной, и все ваши друзья станут говорить: «Вы только посмотрите, какую прекрасную картину сделал себе профессор Беллависта! Наверняка она не меньше десяти миллионов стоит!»

— Я предпочел бы получать деньги по векселю непосредственно в банке,— заявляет Беллависта.— Чтобы избежать необходимости брать их из ваших рук.

— Вынужден констатировать, что вы не уважаете меня,— признает Бонаюто.— И все же происшедший с вами инцидент должен был показать вам, что к чему. С вашего позволения, я не какой-нибудь воришка. Насколько я понимаю, самое главное в жизни — форма. Должен заметить, что продажа «Сестры милосердия» Манчини была проработана до мельчайших деталей. Прежде всего — сама история: художник в сумасшедшем доме; друг, пришедший его навестить; мазок безумца; извержение вулкана... И это светлое пятно на стене. Профессо́, вы помните светлое пятно на стене? Ну и, наконец, монолог о «папочкином Манчини» в исполнении Марии Бонаюто. Не стесняйтесь, если вам хочется послушать его еще раз, моя жена готова все повторить. Мария, будь добра, выступи перед синьорами на бис.

Прежде чем Беллависта и Кащанига успевают прореагировать, синьора Мария берет с кресла лису и шляпку и, напялив их на себя, занимает исходную позицию на пороге гостиной.

— Филиберто,— произносит она спокойным, но напряженным голосом,— ты хочешь продать папочкиного Манчини!

— Нет-нет,— говорит учитель фехтования,— начинай прямо со слов: «Мерзавец, Манчини продать я тебе не позволю!»

— «Мерзавец, Манчини продать я тебе не позволю»! — охотно повторяет синьора Мария.— Продать Манчини?! Только через мой труп!

— Прекратите этот балаган, с меня довольно! — взрывается Кащанига и направляется к выходу.

— Немного терпения, дотторе,— говорит Беллависта, удерживая его за рукав.— Мы еще не слышали ответа на мое предложение о выплате долга в рассрочку.

В этот самый момент кто-то звонит у дверей. Альберто Бонаюто вопросительно смотрит на жену, и когда та утвердительно кивает ему, говорит, обращаясь к Беллависте:

— Кажется, явилось частичное разрешение нашей проблемы. Пойдемте-ка со мной в мою гримерную.

— Да, профессó, мир жесток: люди восхищаются Искусством только тогда, когда оно сопряжено со страданиями,— говорит со вздохом Альберто Бонаюто, наводя черным карандашом тень на веки.

Ванная комната Бонаюто приспособлена под гримерную: между унитазом и умывальником «маэстро» втиснул старинную неаполитанскую тумбочку с мраморной крышкой, а на нее поставил большое зеркало, обрамленное двумя рядами лампочек «миньон».

На тумбочке полно карандашей для подведения век, баночек с тонкремом, жженой пробки, усов и париков.

Профессор Беллависта и доктор Кащанига, стоя за спиной Бонаюто, с любопытством смотрят, как он, склонившись к зеркалу, гримируется. Оба покупателя поддельного Манчини не знают, бежать ли скорее в комиссариат полиции или досмотреть этот спектакль до конца. Но Любопытство пересиливает Возмущение, и они молча наблюдают, как Бонаюто надевает парик «хиппи».

— Мы с женой меняемся ролями,— говорит он.— Иногда я подготавливаю сцену, а она появляется в финале, а иногда, наоборот, пролог достается ей, а заключительная сцена — мне. Сегодня у нас клиент из провинции, некий Касконе, садовод. Друг, пославший его ко мне, говорит, что он очень хороший человек. Сколотил состояние, если не ошибаюсь, на киви. Вы знаете, что такое киви?.. Нет?.. Это экзотический фрукт, совсем безвкусный, но поскольку мякоть у него зеленого цвета, покупателям он нравится. Насколько мне известно, когда-то этот Касконе на пятнадцати гектарах выращивал арбузы и зарабатывал сущие пустяки, а потом ему пришла в голову идея заняться киви, и теперь он не знает, куда деньги девать. Так что не теряйте надежды: если сделка состоится, как я задумал, уже через полчасика я смогу заплатить вам первый взнос.

— Не намерены ли вы продать ему еще одну «Сестру милосердия»? — саркастически ухмыляется Кащанига.

— Что вы, избави бог! — отвечает Бонаюто, обиженный инсинуацией доктора.— Для этого клиента мы подготовили номер с безумным художником, который пишет картины и тут же их уничтожает. Сами видите, дотто́, нашей вины тут нет. Эти спектакли нам приходится разыгрывать потому, что люди жаждут страданий. Нормальный художник, здоровый, не наркоман и, возможно, даже живущий в ладу со своей женой, с точки зрения Искусства, пропащий человек. А вот если он больной, сумасшедший, грязный и вообще вот-вот умрет, тогда его акции резко повышаются; в общем, чем ему хуже, тем больший интерес к нему проявляют. Так что прикажете делать?

Альберто Бонаюто поднимает голову и смотрит в зеркало на Беллависту и Кащанигу, но, не дождавшись никакого ответа, заключает:

— Я сдаюсь перед требованиями рынка и говорю своим клиентам: «Вам нужны страдания? Пожалуйста, получайте».

— А вы не пробовали продавать картины обычным способом, как делают другие торговцы?

— Пробовал. Ничего не получается. Понимаете, в чем дело? Поскольку публика сама не в состоянии оценить произведение искусства, она, желая составить себе мнение о картине, прежде всего вынуждена судить о самом художнике. Представьте себе, что Сальвадор Дали похож на нашего депутата Форлани; что у него такое же невыразительное лицо, такой же серый костюм. Думаете, он пользовался бы успехом? Нет, мои дорогие. Покупателя нужно водить за ручку, как ребенка. Вот я это и делаю: то есть восполняю своим опытом отсутствующую у него фантазию, дарю ему Эмоцию, которой сам бы он никогда не испытал. Вот вам, к сожалению, не повезло: и зачем только вы встретились! Сейчас вы оба с гордостью смотрели бы на своего Манчини и испытывали бы возвышенную радость от того, что картина висит у вас на стене. На вашем месте я этого Манчини оставил бы у себя — хоть память обо мне сохраните, да и в художественном отношении картины выполнены отлично: какой стиль, какая экспрессия! К тому же, дорогой доктор, рано или поздно вы возвратитесь в Милан, и две «Сестры милосердия» уже никогда не встретятся...

— А что сейчас рассказывает ваша жена этому садоводу? — спрашивает Беллависта.

— Вам хочется посмотреть этот спектакль? присутствовать при катарсисе? — спрашивает Бонаюто с улыбкой.— Нет проблем. Жена будет в восторге, когда я скажу ей, что сегодня ее слышали настоящие ценители. Главное — не шумите. Дверь в гостиную вторая слева по коридору. Вы можете все увидеть и услышать, заглядывая по очереди в замочную скважину.

— Ну что я могу вам сказать, дон Рафе́? Моя жизнь — это целая одиссея, сплошные мучения. «Как же так,— говорю я ему,— ты создаешь такие шедевры, а потом что? Сам же их уничтожаешь?!» — Синьора Мария заканчивает свои душевные излияния перед Раффаэле Касконе, производителем киви, который слушает ее и молча поглядывает на последний шедевр Марвицци — сумасшедшего художника, уничтожающего собственные картины.

— Поверьте мне, дон Рафе́,— продолжает несчастная женщина,— он целый день не выпускает из рук кистей, иногда даже не ест, чтобы не отрываться от мольберта, а потом отходит на несколько шагов от только что законченной картины, смотрит на нее с ненавистью и тут же начинает ее полосовать, словно злейшего врага.

— А вы прячьте от него ножички... ножницы... в общем, все режущие предметы,— предлагает Касконе.

— Ну как же это сделать? В доме столько вещей, которыми можно изувечить картину: ножи, ножницы, бритвенные лезвия... Однажды — представьте — он изодрал прекрасную картину — пейзаж со старинными развалинами — при помощи дистанционного телепереключателя.

— Телепереключателя?! — повторяет пораженный производитель киви.— Как же ему это удалось?

— Откуда я знаю — как. Ясно одно: когда ему вздумается уничтожить свою работу, никто не может его удержать. Вы видите эту картину? Я спасла ее в последнюю минуту. Вчера вечером он ее почти окончил, осталось дописать несколько последних маков...

— Это маки?

— Вы что, сами не видите, что это маки? Человек, живущий в деревне, не знает, какие бывают маки! Эта картина так и называется: «Маки на закате». Ну вот, как я уже вам говорила, вчера вечером он стоял у мольберта, и тут вдруг зазвонил телефон. Я сразу взяла инициативу в свои руки и говорю: «Сасá, это, наверно, Калабуоно» — наш приятель-художник, который иногда приносит свои картины сюда, чтобы продать. Бедный Калабуоно! Паралитик, может двигать только одной рукой — он ею и пишет, но какой художник! Как-нибудь я покажу вам одну из его картин. Но вернемся к нашему разговору. Сасá положил кисть и пошел к телефону, а я, не теряя времени, схватила картину и спрятала ее. Сами видите: он так и не успел ее закончить: вот здесь, в левом углу, не хватает дюжины маков.

— А что он сказал, когда вернулся?

— Ничего. Он же как ребенок. Взял с пола чистый холст и принялся писать новую картину.

— Да, чудной народ эти художники: словно в другом мире живут!

— Совершенно верно! Совсем как в другом. Но вся беда в том, что жить-то приходится в этом, а тут надо есть, вносить квартплату хозяину дома, платить за свет, за газ и так далее. Один Господь Бог знает, сколько на все это нужно денег. Вот почему я вынуждена продавать его картины.

— Да, синьора, я вас понимаю, но шестьсот тысяч за незаконченную картину — это слишком много. Вы сами сказали, что здесь не хватает маков. И еще один недостаток: на картине нет подписи вашего мужа.

— Подписи?! Господи, да какая еще тут может быть подпись? Ножом он ее вам вырежет? Если хотите, я сама ее сделаю. Напишу на обороте: «Эта картина выполнена моим мужем Сальваторе Марвицци» — и распишусь. Вы лучше подумайте о том, что картин Марвицци сохранилось не так уж много — практически только те, которые мне удалось спасти.

— Да, но шестьсот тысяч лир — это слишком дорого, соглашайтесь на четыреста.

— Вы шутите, наверно! Четыреста тысяч лир за «Маки на закате» Сальваторе

Марвицци! Так и быть, сбавлю пятьдесят тысяч. Только для вас! Но нам надо поторопиться: если муж проснется, он мне устроит скандал, а вы потеряете такую вещь!

При слове «вещь» дверь, ведущая в коридор, внезапно распахивается, и на пороге собственной персоной вырастает художник Марвицци, он же маркиз Филиберто Бонайуто. На нем остатки бывшего белого халата, заляпанного разными красками, глаза его превратились в два огнемета, взъерошенные, змеящиеся, как у Медузы Горгоны, волосы придают ему вид одного из всадников Апокалипсиса.

Марвицци решительным шагом направляется к письменному столу, хватает нож для разрезания бумаги и, размахивая им, как шпагой, накидывается на Касконе, который именно в этот момент решил получше разглядеть «Маки на закате». Но синьора Мария успевает загородить мужу дорогу и усмирить его. Сникший Марвицци падает в кресло. Нож для разрезания бумаги выскальзывает у него из рук. Синьора Мария кладет его на письменный стол и шепчет дону Раффаэле:

— Дон Рафе, скорее прячьте картину. Положите на стол пятьсот тысяч и исчезните!

В Зале аукционов все наши знакомые: Беллависта, Кащанига, Сальваторе, Саверио, Луиджино, облачившийся в форму полковник, дон Альберто Бонаюто и синьора Мария. С молотка идет лот № 44.

— Перед вами,— говорит взволнованным голосом аукционист,— картины, свидетельствующие об одной из самых драматических страниц в истории живописи девятнадцатого века: «Сестры милосердия» самого Манчини!

Деловой завтрак

Организовать деловой завтрак в Неаполе — дело совершенно немыслимое. Город не приспособлен для этого: нет специализированных ресторанов, вся еда — сплошные углеводы, официанты и посетители лишают вас возможности спокойно поговорить наедине. Наконец, бродячие музыканты назойливо увиваются вокруг нас, пребывая в твердой уверенности, что в ресторанах едят только иностранные туристы, изнемогающие от желания услышать неаполитанскую мелодию.

Это, конечно, не означает, что в Неаполе нельзя вести деловые переговоры или заключать сделки во время еды. Просто надо отдавать себе отчет в том, что здесь это делается по-другому, и уметь приспосабливаться к обстоятельствам. Мне вспоминается, например, один так называемый деловой завтрак с клиентом. Тогда я еще работал в Неаполе и решил не приглашать его в самый популярный ресторан «Чиро у Св. Бриджиды», где можно было действительно прекрасно поесть, но где наверняка мы оказались бы в густой толпе посетителей, и остановил свой выбор на траттории в квартале Санта-Лючия, где, по моим соображениям, в этот час не могло быть толкотни, поскольку тамошние завсегдатаи привыкли собираться к двум. Мои предположения оправдались: зал был почти пуст. На первое нам подали спагетти с моллюсками, затем, естественно, последовал сакраментальный вопрос: мясо или рыба? Выполнив побыстрее ритуал заказа, я завел разговор о чрезвычайно важном для меня деле. Но тут перед нами вдруг вырос неотъемлемый от обстановки и неотвратимый, как рок, тощий улыбающийся бродячий музыкант. Одет он был соответственно своей роли — бедно, но, как и подобает профессиональному артисту, броско и держался с достоинством. Выставив ярко раскрашенную гитару, он остановился примерно метрах в трех от нашего столика. Я смирился с неизбежным злом и стал ждать, когда музыкант заведет свою душещипательную песню. Однако вопреки ожиданиям он стоял молча, не спуская с нас почтительного взора.

Мы продолжали переговоры, решив, что музыкант, вероятно, ждет окончания нашей беседы. Но во время одной из пауз он скромно приблизился и с легким поклоном протянул нам картонную карточку, на которой была напечатана фраза: «Я не играю, чтобы не беспокоить вас. Спасибо».

Мы дали ему пятьсот лир, и он ушел. Официант Гаэтано принес счет и сказал:

— Вот бедняга. У человека на шее такая семья, а он даже играть не умеет.

Искусство комедии

— Синьора, вы должны взять еще один билет.

— Зачем это мне брать еще один билет?

— Для парнишки.

— Для какого парнишки?

— Вот для этого, который стоит рядом с вами.

— И это, по-вашему, парнишка? Ему же еще и девяти нет — совсем малыш!

— Может, он и малыш, синьора, но, поскольку рост у него больше метра, в автобусе для него надо брать билет.

— Да что вы заладили «больше метра, больше метра»! Оставьте, ради Бога! В нем и семидесяти сантиметров не будет!

— Синьора, мне все ясно: вы проснулись сегодня в хорошем настроении и решили весь день шутить! Парнишка, ребенок, младенец — называйте его как хотите — достает головой до метровой отметки, специально сделанной вот на этой перекладине. Значит, ему нужно взять билет.

— До чего же мы дожили! Господи Иисусе! Какой метр? Никогда еще в нем не было метра! Вы что, не видите? Он встал на цыпочки и потому кажется выше! — возмущается синьора, сильно надавливая ладонью на голову сына, чтобы тот мог пройти под перекладиной. И тихо шипит: — Да пригнись же ты, Чичилло!

— Ну будет вам, синьора. И чего упрямиться? Какой тут может быть разговор. Либо вы берете на мальчика билет, либо я высаживаю его из автобуса! Вам ясно?

— И у вас хватит совести оставить малыша одного посреди дороги?

— Он что, мой малыш, что ли? Тогда выходите и вы.

— Я? Но у меня же есть билет.

На протяжении этого разговора автобус стоит с открытыми дверями, и все ждут, когда решится вопрос с мальчиком: брать ему билет или не брать?

— В какой стране мы живем?! — возмущается пассажир с заметным северным акцентом.— Вы отправите машину или нет? — говорит он кондуктору.— Синьора, неужели вам непонятно, что многие из сидящих здесь спешат на работу? Не можем же мы ждать, когда вы решитесь наконец заплатить пятьдесят лир за билет! Да из-за чего, собственно, спор? Вот вам пятьдесят лир и покупайте билет сыну!

— Тоже еще нашелся! — кричит разгневанная синьора, тыча пальцем в северянина.— Он, видите ли, купит мне билет! — обращается она за сочувствием к пассажирам.— Какое нахальство! Да если я захочу, то сама могу засыпать вас этими билетами! — Потом, повернувшись к северянину, добавляет: — Ваше счастье, что здесь нет моего мужа, что мне, бедной женщине, приходится одной сражаться против стольких мужчин, не то вы бы не знали, куда и сунуть эти ваши несчастные пятьдесят лир! Господи Иисусе, Святая Анна и Дева Мария, вы видите, что приходится мне терпеть из-за какого-то вонючего билета!

— Да хватит вам, синьора,— кричит со своего места кондуктор.— Ваша взяла, но дайте нам только доехать до первого регулировщика, и вы у меня выйдете из автобуса, нравится вам это или нет!

С этими словами кондуктор закрывает двери и уже хочет дать отправление, как вдруг поднимается хор протестующих голосов: «Стойте! Стойте!»

— Ну что еще? — спрашивает кондуктор.

— Мы ж только послушать зашли.

КОНСТАНТИН ПАВЛОВ

Перевод с болгарского ***МАИ ТАРАСОВОЙ***

От переводчика

В уже далеком 1968 году в «Новом мире» было напечатано в переводе Константина Симонова стихотворение под названием «Пасторальное». Какими судьбами оно попало к Симонову, трудно сказать, но, значит, разглядел он в неизвестном болгарском поэте что-то не совсем обычное. В отличие от Симонова болгарским критикам необычность Константина Павлова не нравилась. Они называли его произведения лишенными гражданственности, бесполезными и даже вредными, вследствие чего их мало печатали и, конечно же, не рекомендовали переводить в Советском Союзе. После публикации «Нового мира» у нас, если не ошибаюсь, появилось всего два стихотворения К. Павлова. В социалистическую действительность как-то не вписывался сатирик, критиковавший не отдельные ее недостатки, а мрачно взиравший на мир вообще и все отрицавший. Что у него душа романтика, оскорбленного людским несовершенством, понимали немногие. Выпустив две книжечки стихов, он ушел в кинодраматургию, где почему-то дозволялось показывать жизнь с ее трагической стороны, борьбу добра и зла, которое нередко бывает сильнее. По его сценариям болгарские режиссеры сняли несколько ярких фильмов.

И все-таки К. Павлов не оставлял поэзию. В 1983 году вышел сборник избранных произведений «Старые вещи», а в последние годы один за другим — сборники «Появление» (1989) и «Агония сладостная» (1991). Уже в новые времена наконец воздала К. Павлову должное и критика. Еженедельник «Литературен форум» посвятил ему в одном из своих номеров статьи под рубрикой «Имена», поставив поэта в ряд тех, кто выдержал испытание как художник после крушения догм и пересмотра ценностей. Место К. Павлова в литературе, и не только болгарской, пожалуй, точнее всего определила критик В. Смоховска-Петрова: «Молодых читателей в поэзии К. Павлова привлекает смелость, с которой он говорит правду, какой бы отвратительной она ни была. Очарование его произведений, бесспорно, усиливается образностью, близкой к образности той уже схлынувшей на Западе волны апокалипсических настроений и пророчеств, абсурда и гротеска, волны, разрушившей все авторитеты и идеалы и открывшей ужас небытия, от которого ищут спасения в алкоголе, наркотиках и сексе. В контексте творчества трубадуров абсурда и небытия стихи К. Павлова не уникальны, но, несомненно, сохраняют свой оригинальный болгарский колорит».

Долго пришлось К. Павлову ждать такого признания. В прошлом году ему исполнилось 60 лет, и почти к юбилею печатается в нашем журнале первая подборка его стихов на русском языке.

Л. Левчеву

В одной лодке плывем

И какое имеет значенье,
ты ли сидишь за рулем,
я ли — на веслах,
если лодка тонет,
тонет, тонет...
Обернись на миг
и увидишь,
как преданнейшая из крыс
роняет крупные слезы,
мокрой лапочкой машет —
прощай!

© Konstantin Pavlov, 1991

Прелюд: пауки

Пантеон давно не проветривали.
Все ниши и все углы
в паутине.
Паутина похожа на арфу загробного мира.
С тысячью небесных струн.
Пауки нервно дергают нити —
хотят сыграть что-то бесконечно траурное
и бесконечно бодрое одновременно.
Нити рвутся.

За кружкой пива

Боюсь заглянуть в себя —
какой беспорядок, какая разруха...
Совершу насилие.
Новый хозяин моей души
еще ничтожней и гаже,
чем прежний.

Тише, ты!
— гневно сказал я
Боянскому водопаду [1].
Что ты из себя строишь стихию,
пророка разыгрываешь!

Маленький, жалкий водопадик:
падает, корчится
и пеной исходит,
как эпилептик в истерике,
сил хватило только на то,
чтобы разбить
мои две бутылки пшеничной,
что я хотел на природе... но...

Нежный закат ласкает вершины.
Бодро (предсмертно) отзвучали:
хор горланящих стариков,
игривый смех блудливых старушек.
И рыданья одной души...
Ограбленной.

Грустное пояснение на веселый мотив

Обвиняют меня, что я без корней.
Те самые!
Те самые...
Кто безжалостно меня сорвал.
Как плод зеленый!
Как плод зеленый...

[1] Водопад в местечке Бояна под Софией, место отдыха горожан. *(Прим. перев.)*

А я созрел без корней и без солнца.
В лунном свете!
В лунном свете...
В неразрушившей меня дружбе с советской!
И польской водкой!
И польской водкой...

Каприччио для Гойи

Нет больше прежнего ужаса —
зверски всеобщего
и зверски бескрайнего,—
без гримас и без шуток.

Ужас меняет характер —
свойски похлопывает меня по плечу,
снисходительно заигрывает со мной
и кокетничает, рисуясь.
«Мы с тобой одинаково сильные,
только ты покрасивей...»
И улыбается.

Ах, в улыбке его есть что-то особенно мерзкое,
извращенное
и безумное.
И меня тошнит от какой-то гадости.
Словно меня страстно целует
бородатый, усатый младенец.

Театральное

Так иль иначе, но мы, старые актеры, уйдем,
и ты, и я.
От многократного повторенья:
«Помнишь, как я тебя убил?» —
«Помнишь, как ты меня убил?»
Убийство превращается в спектакль:
мертвому дают слово
с условием —
не обижать убийцу.
Нам такая пьеса не нужна.
Поэтому я призываю
отрицательных героев
проявить жалость
к положительным собратьям.
Другого выхода нет.
И вообще,
театр уже не наш.
Сами вынесем свои трупы.
И ты, и я.
Без слез,
без театральных жестов.
Занавес.
Прощайте.

РОМЕН ГАРИ

Воздушные змеи

РОМАН

Перевод с французского Е. ШТОФФ

XVIII

Лето начинало выдыхаться. Было все время облачно и туманно; солнце едва появлялось на горизонте; сосны больше молчали, их ветви пропитались морской сыростью. Наступило время безветрия в предвидении бурь равноденствия. Появились бабочки, которых мы раньше не видели, бархатисто-коричневые и темные, крупнее и тяжелее летних бабочек. Лила лежала в моих объятиях, и никогда еще я не ощущал с такой силой своего присутствия в ее молчании.

— Будет о чем вспомнить,— говорила она.

Из всего времени суток худшим врагом для меня были пять часов вечера, потому что воздух становился слишком холодным и песок слишком влажным. Надо было вставать, расставаться, разделяться надвое. Была еще последняя хорошая минута, когда Лила натягивала на нас одеяло и немного сильнее прижималась ко мне, чтобы было теплее. К половине шестого море сразу старело, его голос казался более ворчливым, более недовольным. Тени накрывали нас взмахами своих туманных крыльев. Последнее объятие, пока голос Лилы не замрет на ее губах, полуоткрытых и неподвижных; ее расширившиеся глаза застывали; ее сердце медленно успокаивалось у меня на груди. Я был еще настолько глуп, чтобы чувствовать себя при этом творцом, гордым своей силой. Это чванство исчезло, когда я понял, что моя любовь к Лиле не может ни примириться с какими бы то ни было рамками, ни ограничиться сексом и что ощущение нераздельности все время растет, в то время как все остальное съеживается.

— Что с тобой будет, когда мы расстанемся, Людо?

— Я сдохну.

— Не говори глупостей.

— Я буду подыхать пятьдесят, восемьдесят лет, не знаю. Флери живут долго, так что можешь быть спокойна: я буду думать о тебе, даже если ты покинешь меня.

Я был уверен, что сохраню ее, и не знал еще, насколько смехотворным было то, на что опиралась моя уверенность. В этой уверенности в своей мужественности отражалась вся наивная гордыня моих восемнадцати лет. Каждый раз, как я прислушивался к ее стону, я говорил себе, что это моя заслуга и что никто не может сделать лучше. Конечно, это были последние проявления моей подростковой наивности.

— Не знаю, надо ли мне и дальше быть с тобой, Людо. Я хочу остаться собой.

Я молчал. Пусть она продолжает «искать себя» — она найдет только меня. Вокруг нас сгущалась тьма; крики чаек доносились издалека и походили уже на воспоминания.

Окончание. Начало см. в № 1.

— Ты не права, дорогая. Мое будущее обеспечено. Благодаря престижу дяди я почти уверен, что получу хорошее место в почтовом ведомстве в Клери и ты сможешь наконец узнать настоящую жизнь.

Она засмеялась.

— Так, теперь в ход пошла классовая борьба. Дело совсем не в этом, Людо.

— А в чем дело? В Хансе?

— Не будь вульгарным.

— Ты меня любишь, да или нет?

— Я тебя люблю, но это еще не все. Я не хочу стать твоей половиной. Знаешь это ужасное выражение? «Где моя половина?» «Вы не видели мою половину?» Я хочу, встретив тебя через пять, через десять лет, почувствовать удар в сердце. Но если ты будешь возвращаться домой каждый вечер целые годы, удара в сердце не будет, будут только звонки в дверь...

Она откинула одеяло и встала. Иногда мне еще случается спрашивать себя, что сталось с этим старым одеялом из Закопане. Я оставил его там, потому что мы должны были вернуться, но мы не вернулись.

XIX

Двадцать седьмого июля, за десять дней до моего отъезда, специальный поезд привез из Варшавы Геничку Броницкую в сопровождении командующего польскими вооруженными силами — самого маршала Рыдз-Смиглы, человека с выбритым черепом и свирепыми густыми бровями; он проводил всё свое время за мольбертом, рисуя тонкие нежные акварели. То был знаменитый «уик-энд доверия», событие, которое восхваляли все газеты: следовало продемонстрировать миру спокойствие, с каким главнокомандующий смотрел в будущее, в то время как из Берлина доносились истерические вопли Гитлера. Фотография маршала, мирно сидящего посреди «коридора» и рисующего свои акварели, была перепечатана с восхищенными комментариями английской и французской прессой. Среди остальных гостей, привезенных Геничкой из Варшавы, были: знаменитая ясновидящая, актер, которого нам представили как «величайшего Гамлета всех времен», и молодой писатель, первый роман которого вот-вот должны были перевести на все языки. Ясновидящую попросили прочесть в хрустальном шаре наше будущее, что она и сделала, но отказалась сообщить нам результаты, ибо, принимая во внимание нашу молодость, было бы пагубным побудить нас к пассивности, открыв нам уже полностью вычерченную для нас дорогу в жизни. Зато она без колебаний предсказала маршалу Рыдз-Смиглы победу польской армии над гитлеровской гидрой, сопроводив это предсказание несколько туманным замечанием: «Но в конце концов всё кончится хорошо». Ханс, приехавший накануне в замок, скромно оставался в своей комнате на протяжении всего «уик-энда доверия», как его называла пресса. Маршал уехал поездом в тот же вечер в компании «величайшего Гамлета всех времен», после того как по окончании обеда этот последний прочел нам с неподдельной искренностью «Быть или не быть» из знаменитого монолога, что, будучи очень уместным, довольно плохо согласовалось с духом оптимизма, который должен был проявлять каждый. Что касается молодого автора, то он сидел среди нас с отрешенным видом, рассматривая свои ногти и порой улыбаясь немного снисходительно, когда Геничка пыталась поговорить о литературе: это была священная область, которую он не собирался опошлять банальностью светских высказываний. Через день он исчез: его выпроводили рано утром после «инцидента», имевшего место в парной бане для слуг. Конкретное содержание «инцидента» обходили молчанием, но в результате его писателю подбили глаз, а между садовником Валенты и госпожой Броницкой состоялся неприятный разговор, во время которого Геничка пробовала объяснить садовнику, что «таланту следует прощать некоторые заблуждения и не сердиться». Это был несчастный во всех отношениях уик-энд, так как обнаружилась пропажа

шести золотых тарелок, а также миниатюры Беллини [1] и картины Лонги [2] из маленького голубого салона госпожи Броницкой. Сперва подозрение пало на уехавшую накануне ясновидящую, ибо Геничка не могла решиться обвинить литературу. Можно представить себе мое потрясение, когда в понедельник вечером, открыв шкаф, чтобы взять рубашку, я обнаружил в нем картину Лонги, миниатюру Беллини и шесть золотых тарелок в шляпной картонке. С минуту я стоял не понимая, но украденные вещи действительно были здесь, в моем шкафу, и причина, по которой их сюда положили, внезапно открылась мне молниеносным откровением ужаса: кто-то хотел меня обесчестить. Мне не понадобилось много времени, чтобы найти имя единственного врага, способного строить такие козни,— немец! Гнусный, но ловкий способ избавиться от нормандского мужлана, виновного в непростительном преступлении быть любимым Лилой.

Было семь часов. Я выбежал в коридор. Комната Ханса находилась в западном крыле замка и выходила окнами на море. Помню, что, оказавшись перед его дверью, я странным образом вспомнил о «хороших манерах», которые усвоил, потершись в свете: должен ли я постучать в дверь или нет? Я подумал, что, учитывая обстоятельства, я могу считать себя на вражеской территории и пренебречь условностями. Я нажал тяжелую бронзовую ручку и вошел. Комната была пуста. Как и моя, она была вся благородство и величие со своими стенами, украшенными царственными орлами, с мебелью, где каждое пустое сиденье хранило память о чьем-нибудь помещичьем заде, и с копьями польских улан, скрещенными над огнем, пылающим в камине. Я услышал шум душа. Я не решился войти в ванную: это не то место, где можно решить дело чести. Я вернулся к двери, открыл ее и снова шумно захлопнул. Еще несколько секунд, и вошел Ханс. На нем был черный купальный халат с какой-то эмблемой его военной академии на груди. По его белокурым волосам и по лицу струилась вода.

— Негодяй! — бросил я ему.— Это ты.

Он держал руки в карманах своего халата. Эта невозмутимость, это полное отсутствие волнения выдавали человека, для которого предательство было не только привычным делом, но второй натурой.

— Ты украл вещи и положил их в мой шкаф, чтобы обесчестить меня.

Впервые его лицо приобрело намек на какое-то выражение. Что-то вроде иронического изумления, как если бы он удивился при мысли, что для меня мог стоять вопрос чести. В нем отразилось все пренебрежительное превосходство, наследственное, как сифилис, людей, с рождения имеющих право презирать.

— Я мог бы уложить тебя на месте голыми руками,— сказал я ему.— Но этого недостаточно. Жду тебя завтра в одиннадцать вечера в фехтовальном зале.

Я вышел и вернулся к себе, где увидел Марека, камердинера, который пришел забрать мои ботинки: он чистил их утром и вечером. Плотный парень с напомаженными волосами и чубом, закручивавшимся посреди лба, он был всегда весел, ухаживал за девушками. Убирая мою постель, он, как обычно, разговаривал со мной, прибегая к нескольким несложным словам, которые я, по его мнению, знал. Будучи в Гродеке, я относился по-дружески к слугам в замке — как и они ко мне, я был всего лишь переодетый крестьянин. Труднее всего победить предрассудки, и благонамеренные предрассудки не менее стойки, чем другие.

Марек взбил подушки, чтобы вернуть им добродушный тучный вид, развернул одеяло и направился к шкафу. Он открыл его и, как бы не обратив никакого внимания на шляпную картонку и ее содержимое — виднелась сверкающая золотая посуда,— взял мою сменную пару обуви. Затем он закрыл шкаф и вышел с моими башмаками в руках.

Теперь мне ничего бы не дало признание госпоже Броницкой о присутствии в моей комнате украденных ценностей, которое я вначале собирался

[1] Знаменитая семья венецианских художников (XV—XVI век).

[2] Пьетро Лонги (1702—1785) — итальянский художник. Родился в Венеции.

сделать. Марек их видел, и похоже было, что в плане невезения я побил все рекорды.

В восемь часов, когда раздался звонок к ужину, я спустился. Меня обычно сажали справа от графини, из уважения к Франции. Ханс сидел в конце стола. Мне всегда казалось, что в его лице есть что-то женственное, хотя слово «женоподобный» не подходило. Иногда он смотрел на меня с тенью улыбки. Я был в таком нервном напряжении, что не мог ни пить, ни есть. На столе стояло два больших дубовых канделябра, и игра света и тени то освещала, то затемняла наши лица по воле сквозняка. Тад, которому недавно исполнилось девятнадцать, испытывавший неудобства от того, что находился на том возрастном распутье, когда мужественность стремится к осуществлению, а отрочество еще это воспрещает, говорил о проигранной войне испанских республиканцев против Франко со страстью в голосе, достойной соратников Байрона или Гарибальди. Госпожа Броницкая слушала в замешательстве, играя крошками хлеба на столе. То, что ее сын проявлял такую горячность по отношению к Каталонии, где анархисты плясали на улицах с мумиями вырытых из могилы монашенок, только подтверждало в ее глазах пагубное влияние, которое оказывал на молодежь Пикассо, ибо она не сомневалась, что все ужасы, имевшие место в Испании, были более или менее делом его рук. Это началось с сюрреалистов, сказала она нам с видом, который Тад называл «бесповоротным».

Как только ужин кончился, я поцеловал руку Генички и поднялся к себе. Лила несколько раз взглянула на меня с удивлением, поскольку я еще не научился светскому искусству гримасничать, чтобы скрывать свои чувства, и мне трудно было скрыть свою ярость. Когда я вышел из столовой, она пошла за мной и остановилась у лестницы.

— Что с тобой, Людо?

— Ничего.

— Что я тебе сделала?

— Оставь меня в покое. Есть другие дела, кроме тебя.

Я еще никогда с ней так не говорил. Если бы я был на десять лет старше, я бы плакал от бешенства и унижения. Но я был еще слишком молод: у меня было то понятие о мужественности, которое всегда оставляет слезы женскому полу и таким образом лишает мужчину их братской поддержки.

Ее губы слегка вздрогнули. Я сделал ей больно. Мне стало легче. Не так одиноко.

— Извини меня, Лила, у меня тяжело на сердце. Не знаю, есть ли у вас это выражение по-польски.

— Ciężkie serce,— сказала она.

Я поднялся по лестнице. Мне казалось, что я наконец говорил с Лилой на равных. Я обернулся. Мне почудилось, что у нее немного тревожное выражение лица. Может быть, она боялась меня потерять — у нее действительно было необузданное воображение.

Речь шла не только обо мне: я чувствовал, что оскорблен за весь свой род. Не осталось ни одного Флери, не запачканного оскорблением. То, что я являлся для Ханса готовой жертвой, поскольку мое скромное положение могло заставить подозревать меня как *естественного* виновника, повергало меня в то состояние ущемленности и ярости, из-за которого история так часто заставляла под метрономом ненависти меняться ролями жертву и палача. Я был во власти лихорадочного возбуждения, и каждая минута казалась мне новым врагом. Время как будто нарочно тянулось медленно, проявляя недоброжелательность ко мне,— старый пыльный аристократ Время, достойный сообщник всех «бывших».

Думаю, что я обязан Хансу первым настоящим пробуждением у меня общественного сознания.

XX

Без пяти одиннадцать я спустился вниз.

Фехтовальный зал с низким потолком имел пятьдесят метров в длину и десять в ширину. Сквозь штукатурку виднелись кирпичи. Свод был украшен неуместной здесь венецианской люстрой; с одной стороны она была изуродована: там не хватало нескольких ответвлений. Пол покрыт большим потертым карпатским ковром. Доспехи стояли вдоль стен, увешанных пиками и саблями.

Ханс ждал меня на другом конце зала. На нем были белая рубашка и брюки от смокинга. У него в пальцах тлела сигарета — он всегда ходил, держа в руке одну из этих круглых металлических коробок английских сигарет с картинкой бородатого моряка. Он был очень спокоен. Конечно, сказал я себе, он знает, что я никогда не держал в руке шпагу. Сам он, как настоящий пруссак, занимался фехтованием с детства.

Я снял куртку и бросил ее на землю. Посмотрел на стены. Я не знал, какое оружие выбрать: мне бы нужна была старая добрая нормандская дубина. Наконец я взял то, что было под рукой: старую польскую *szabelca,* саблю, изогнутую по-турецки. Ханс положил коробку «Плейерс» на ковер и пошел в угол потушить сигарету. Я стал под люстрой и ждал, пока он отцеплял со стены другую саблю.

Как часто бывает, когда оказываешься лицом к лицу с человеком, которого давно ненавидишь и которого тысячу раз уничтожал в своем воображении, мой гнев несколько остыл. Действительная сущность противника всегда несколько разочаровывает по сравнению с твоим представлением о нем. И я вдруг понял, что если простою здесь, ничего не предпринимая, еще несколько секунд, то потеряю врага. Мне надо было быстро себя подогреть.

— Только фашист мог придумать такую низость,— сказал я ему.— Ты не можешь смириться с мыслью, что она меня любит. Ты не можешь смириться с тем, что она и я — это на всю жизнь. Как всем фашистам, тебе понадобился свой еврей. Ты взял эти вещи и положил их в мой шкаф. Но твой жалкий расчет глуп. Даже если бы я был негодяем, Лила все равно любила бы меня. Ты не знаешь, что это такое,— любить кого-нибудь по-настоящему. При этом ничего не прощаешь, и все же прощаешь всё.

Мне и в голову не могло прийти, что через два года я смогу сказать это о любви к Франции.

Я поднял свое оружие. Я смутно помнил, что надо выдвинуть одну ногу вперед, а другую отставить назад, как в «Скарамуше», которого я видел в кинотеатре Гродека. Ханс смотрел на меня с интересом. Он смотрел на мою правую ногу, которую я выдвинул вперед, и на левую ногу позади, на саблю, которую я поднял над головой, как топор дровосека. Он держал свою саблю опущенной. Я согнул оба колена и сделал несколько скачков на месте. Я почувствовал, что похож на лягушку. Ханс кусал себе губы, и я понял, что он это делает, чтобы не смеяться. Тогда я издал нечленораздельный крик и кинулся на него. Я был ошеломлен, когда увидел, как из его левой щеки брызнула кровь. Он не двинулся с места и по-прежнему не поднимал свою саблю. Я медленно выпрямлялся, опуская руку. Кровь все сильнее текла по лицу Ханса и заливала его рубашку. Моей первой ясной мыслью было, что я, очевидно, поступил против всех правил дуэли. Мой стыд невежды, которым я вновь стал в своих собственных глазах, был так силен, что перешел в бешенство, и я снова поднял свою саблю, отчаянно крича:

— Вы мне все осточертели!

Ханс поднял свою саблю одновременно со мной, и в следующую секунду моя *szabelca* была выбита у меня из руки и взлетела в воздух. Ханс опустил свое оружие и посмотрел на меня, сдвинув брови и сжимая челюсти, не обращая никакого внимания на струящуюся по лицу кровь.

— Идиот! — сказал он.— Проклятый идиот!

Он отбросил свою саблю к стене и повернулся ко мне спиной.

На ковре была кровь.

Ханс поднял коробку «Плейерс» и взял сигарету.

— Напрасно ты поторопился,— сказал он мне,— в любом случае мы скоро встретимся.

Я остался один. Я тупо смотрел на следы крови у своих ног. Мне удалось излить свой гнев и возмущение, но вместо них я чувствовал теперь неловкость, от которой мне не удавалось избавиться. В поведении Ханса было достоинство, которое меня беспокоило.

Я понял по-настоящему, что́ меня смущало, только на следующее утро. Марека задержали с похищенными вещами. Он признался. Он воспользовался присутствием в замке таких малопочтенных в его глазах гостей, как ясновидящая и писатель, чтобы обокрасть буфетную и маленькую гостиную госпожи Броницкой; ему помешал вошедший в спальню дворецкий, и он положил коробку в мой шкаф, чтобы забрать ее позже. Но потом ему помешало мое присутствие, и он смог забрать добычу только во время ужина.

Было девять утра, когда Бруно рассказал мне эти новости в столовой, где мы с ним завтракали. Я почувствовал, что меня охватывает холод, и забыл, что держу в руке чайник, так что мой чай перелился на скатерть. Никогда еще я не испытывал такой ненависти, и человеком, которого я так страстно ненавидел, был я сам. Я понимал, что, воображая себя жертвой такого низкого коварства со стороны соперника, я сам проявил низость. И все же не могло быть и речи, чтобы я пошел к Хансу и принес ему свои извинения. Я предпочитал скорее признать собственную мелкоту души, чем унизить себя перед *ними*.

Я не спустился к обеду и около четырех часов дня начал собирать чемодан. Я дошел до того, что почти жалел, что не украл вещи и что меня публично не обвинили в воровстве,— это был бы некий агрессивный и почти триумфальный способ порвать со средой, которая не была моей.

Я вышел из своей комнаты только под вечер с намерением уехать как можно скорее. Я не хотел ни видеть, ни благодарить никого, не хотел даже прощаться. Но в коридоре я наткнулся на Тада; он спросил, что я здесь делаю с чемоданом в руке. Он рассказал мне, что с Хансом произошел несчастный случай во время ночной прогулки: в безлунной тьме ветка глубоко порезала ему щеку,— но все-таки какого черта я здесь делаю с чемоданом? Я объяснил ему, что хочу, чтобы меня отвезли на вокзал: в двадцать один десять есть поезд на Варшаву — я собираюсь вернуться во Францию, если вспыхнет война, я не хочу подвергаться риску быть отрезанным от своей страны. В этот момент в другом конце коридора я увидел Ханса, медленно идущего к нам со своей вечной круглой коробкой английских сигарет в руке; его левая щека была прикрыта повязкой. Он остановился рядом с нами, очень бледный, но странно спокойный, бросил взгляд на чемодан, который я держал.

— Я уезжаю сегодня ночью,— сказал он, повернулся на каблуках и удалился.

XXI

Я пробыл в Гродеке еще несколько дней. Сетка дождя затуманила окружающий пейзаж, и небо каркало над нашими головами голосами невидимых ворон. В один из таких ненастных дней, когда мы шли по пляжу, а ветер бросал нам в лицо морские брызги, будущее подало нам знак. Это был еврей, одетый в длинный кафтан, называвшийся по-польски kapota, с высоким черным картузом на голове, который миллионы евреев носили тогда в своих гетто. У него было очень белое лицо и седая борода, и он сидел на километровом столбике на краю Гдыньского шоссе. Возможно, из-за того, что я не ожидал увидеть его здесь, на краю этой пустой дороги, или потому, что в размытом туманном колорите воздуха в нем было что-то

призрачное, а может быть, такой вид придавал ему узелок на конце переброшенной через плечо палки, вызывавший у меня в памяти легенду о тысячелетнем странствии, но я вдруг ощутил испуг и беспокойство, чей вещий характер стал мне ясен только гораздо позже; а пока перед нами была одна из самых банальных и, в общем, самых нормальных комбинаций истории: еврей, дорога и столб. Лила застенчиво сказала ему:

— Dzień dobry, panu,— добрый день, пан.

Но он не ответил и отвернулся.

— Тад убежден, что мы накануне вторжения,— пробормотала Лила.

— Я в этом ничего не понимаю, но я не могу поверить, что может быть война,— сказал я ей.

— Всегда были войны.

— Это было до...

Я хотел сказать: «Это было до того, как я тебя встретил», но было бы самонадеянно с моей стороны дать такое объяснение природы войн, ненависти и резни. У меня еще не было необходимой силы, чтобы навязывать народам свое понимание событий.

— Современное оружие стало слишком мощным и разрушительным,— сказал я.— Никто не осмелится пустить его в ход, потому что не будет ни победителей, ни побежденных, одни руины...

Я прочитал это в передовице «Тан», который получали Броницкие.

Я написал Лиле письмо на тридцати страницах, несколько раз переделав его; в конце концов я бросил его в печку, так как это было только любовное письмо, мне не удалось придумать ничего большего.

В день моего отъезда, когда туман клубился за окном, как стада овец, от моего имени с Лилой говорил Бруно.

Мы вошли в гостиную. Я бросил последний взгляд на коллекции бабочек в стеклянных ящиках, занимавшие всю стену. Они напоминали мне воздушных змеев дяди Амбруаза: маленькие обрывки мечты.

Бруно сидел в кресле, листая ноты. Он поднял взгляд и с минуту смотрел на нас улыбаясь. В его улыбке всегда была одна доброта. Потом он встал и сел за рояль. Уже положив пальцы на клавиши, он повернулся к нам и долго внимательно смотрел на нас, как художник, изучающий свою модель, перед тем как сделать последний штрих карандашом. Он начал играть.

Он импровизировал. Он *нас* импровизировал. Потому что о Лиле и обо мне, о нашем расставании и о нашей вере говорил он своей мелодией. Горе накрывало нас своей черной тенью, а потом все становилось радостным. И мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что Бруно по-братски дарит мне все, что чувствует сам.

Лила убежала плача. Бруно встал и подошел ко мне, на фоне больших бледных окон, и обнял меня.

— Я счастлив, что смог поговорить с тобой в последний раз. Что касается меня, то мне действительно ничего больше не остается, кроме музыки...

Он засмеялся.

— Разумеется, довольно страшно любить и чувствовать, что все, что ты можешь сделать из своей любви,— еще один концерт. Но все же это дает мне источник вдохновения, который не иссякнет. Мне этого хватит, по крайней мере, на пятьдесят лет, если пальцы выдержат. Я хорошо представляю себе, как Лила сидит в гостиной в глубокой старости, и вижу, как ей снова делается двадцать лет, когда она слушает, как я говорю о ней.

Он закрыл глаза и на секунду прикрыл их рукой.

— Ладно. Говорят, что есть любовь, которая кончается. Я где-то читал об этом.

Последние часы я провел с Лилой. Счастье присутствовало почти слышимо, как если бы слух, расставшись со звуковыми плоскостями, проник наконец в глубины молчания, скрываемые до сих пор одиночеством. Наши мгновения дремоты имели ту теплоту, когда мечты смешиваются с реальностью, падение — с воспарением. Я еще чувствую на своей груди ее

профиль, отпечаток которого, конечно, не виден, но мои пальцы легко находят его в тяжелые часы физического недоразумения, называемого одиночеством.

Моя память цеплялась к каждому мгновению, копила их; у нас это называется класть в кубышку, здесь было на что прожить целую жизнь.

XXII

Когда я высунулся из окна, подъезжая к Клери, я понял, кто встречает меня на вокзале, как только увидал польского орла, летящего очень высоко над вокзалом, но, присмотревшись внимательнее, я заметил, что старому пацифисту удалось придать этой птице, слишком воинственной, на его вкус, сходство с красивым двухголовым голубем. Прошло пять недель с тех пор, как мы расстались, но я нашел Амбруаза Флери озабоченным и постаревшим.

— Ну вот ты и стал светским человеком! Что это такое?

Он дотронулся пальцем до значка яхт-клуба в Гдыне. Мне торжественно вручили его в Гродеке накануне моего отъезда как символ свободного выхода Польши к морю. Никогда еще сомнения и тревога не сопровождались по всей Европе столькими жестами и хвастливыми проявлениями доверия, как в этом августе 1939 года.

— Кажется, вот-вот начнется,— сказал я ему.

— Ничего подобного. Никогда народы не согласятся, чтобы их опять повели на бойню.

Амбруаз Флери — как всегда, где бы он ни появлялся, его сразу же окружали дети — вернул голубя на землю и взял воздушного змея под мышку. Мы прошли несколько шагов, и дядя открыл дверцу маленького автомобиля.

— Да,— сказал он, видя мое удивление.— Это подарок лорда Хау — помнишь, того, который приезжал к нам когда-то.

Теперь, в шестьдесят три года, он был человеком, уважаемым во всей стране, и его репутация завоевала ему «академические лавры», от которых он, впрочем, отказался.

Как только мы очутились в Ла-Мотт, я побежал в мастерскую. Во время моего отсутствия, потому, конечно, что угроза войны беспокоила его больше, чем он хотел признать, Амбруаз Флери продолжил свой «гуманистический период» и обогатил его всем, что Франция могла предложить людям, верящим в ее разум. В особенности хорошо, несмотря на их неподвижность, как всегда в закрытом помещении, выглядела серия «энциклопедистов», привязанных к балкам.

— Как видишь, я много работал,— сказал мой опекун, не без гордости разглаживая усы.— Время, которое мы сейчас переживаем, заставляет нас немного терять голову, и надо помнить, кто мы такие.

Но мы не были ни Руссо, ни Дидро, ни Вольтером — мы были Муссолини, Гитлером и Сталиным. Никогда еще воздушные змеи эпохи Просвещения бывшего почтальона Клери не казались мне более смехотворными. Однако я продолжал черпать в своей любви все то ослепление, какое требуется для веры в мудрость людей, а дядя ни минуты не сомневался в мире, как будто его сердце могло самостоятельно восторжествовать над историей.

Однажды ночью, когда я был с Лилой на берегу Балтийского моря, я почувствовал, что меня тянут за руку. Амбруаз Флери, одетый в длинную рубаху, придававшую его телу полноту, сидел у меня на кровати со свечой в руке. В его глазах было больше скорби, чем может вместить человеческий взгляд.

— Они объявили всеобщую мобилизацию. Но конечно, мобилизация не война.

— Конечно нет,— сказал я ему и, еще не совсем проснувшись, добавил: — Броницкие должны вернуться во Францию на Рождество.

Дядя поднял свечу, чтобы лучше видеть мое лицо.

— Говорят, что любовь слепа, но что касается тебя — кто знает, слепота может быть зрячей...

В часы, которые предшествовали вторжению в Польшу, я с беспечной глупостью играл свою роль в массовом балете индюков, разыгрывавшемся по всей стране. Шло соревнование, кто выше поднимет ногу в воображаемом пинке под зад немцам, некий *френч-канкан* на балу у Сатаны, отплясывавшийся от Пиренеев до линии Мажино. «ПОЛЬША ВЫСТОИТ!» — вопили газеты и радио, и я знал со счастливой уверенностью, что вокруг Лилы стали стеной самые отважные воины в мире, я вспоминал о кавалерийских батальонах, проходивших через Гродек с песнями, саблями и знаменами. «Историческая память» поляков, говорил я дяде,— это неисчерпаемый источник мужества, чести и верности; и, поворачивая рычажок нашего старого радиоприемника, я с нетерпением ждал начала военных действий и первых вестей о победе, раздражаясь, когда комментаторы говорили о «последних попытках сохранить мир». Я провожал на вокзале моих мобилизованных старших товарищей, я пел вместе с ними: «Мы добьемся славы, как наши отцы»; я смотрел со слезами на глазах, как иностранцы пожимают друг другу руки на улице, крича: «Да здравствует Польша, месье!»; я слушал, как наш старый кюре, отец Ташен, возглашает с кафедры, что «языческая Германия рухнет, как высохшее гнилое дерево»; я ходил любоваться моим школьным учителем, господином Ледюком, который надел свою небесно-голубую форму и прицепил награды, чтобы напомнить молодежи образ непобедимого воина 14—18 годов, залога нашей новой победы. Я почти не видел дядю, запиравшегося у себя в комнате, а когда стучался в его дверь, то слышал:

— Оставь меня в покое и иди валять дурака с другими, сопляк!

Третьего сентября я сидел у пустого камина, почерневшего от былого огня. Я услышал странный треск, доносившийся из мастерской: он совсем не был похож на шум, который я слышал, когда дядя работал. Я встал, чувствуя смутное беспокойство, и перешел двор.

Всюду валялись обломки и лоскуты сломанных воздушных змеев. Амбруаз Флери держал в руках своего дорогого «Монтеня»; точным ударом он сломал его о колено. Я увидел среди сломанных змеев некоторые из самых удачных наших произведений, в частности, дядиных любимцев «Жан-Жака Руссо» и «Свободу, освещающую мир». Он не пощадил даже свои работы «наивного периода», всех этих «стрекоз» и «детские сны», которые так часто дарили небу свою невинность. Амбруаз Флери уже разломал на кусочки добрую треть коллекции. Я еще никогда не видел на его лице такого взрыва отчаяния.

— Война объявлена,— сказал он мне сдавленным голосом.

Он сорвал со стены своего «Жореса» и раздавил его каблуком. Я бросился, схватил дядю в охапку и вытолкал его за дверь. Я ничего не чувствовал, ни о чем не думал. Я знал только одно: надо спасти оставшихся воздушных змеев.

XXIII

Первые известия о разгроме Польши повергли меня в состояние шока, о котором я сохранил лишь одно воспоминание. Дядя сидит у меня на кровати, положив руку мне на колено. Радио только что сообщило, что весь район Гродека на берегу Балтийского моря разрушен бомбами. Броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» без всякого объявления войны неожиданно открыл по нему огонь из всех пушек. Приводилась одна историческая подробность этого славного деяния немецкого флота: вышеозначенный военный корабль, замаскированный под учебное судно, несколько дней назад просил у польских властей разрешения бросить якорь для «визита вежливости».

— Не плачь, Людо. Горе скоро будет у миллионов людей. Понятно, что в твоем сердце оно говорит с тобой только одним голосом. Но раз ты

так силен в математике, ты должен был бы подумать немного об этом законе больших чисел. Я понимаю, что сейчас ты не способен считать дальше двух. И потом, кто знает...

Он сказал, со взглядом, погруженным в какую-то неведомую глубину надежды, так как был одним из этих сумасшедших Флери, для которых права человека заключаются в том, чтобы отказать слишком ужасной реальности в праве на существование:

— Еще возможно, что эта война закончится через несколько дней. Народы Европы слишком стары и слишком много страдали, чтобы дать себя принудить продолжать эту подлость. Немецкие народные массы сметут Гитлера. Надо так же доверять немецкому народу, как другим народам.

Я приподнялся на локте.

— Воздушные змеи всех стран, соединяйтесь,— сказал я.

Амбруаза Флери не обидело мое озлобление. И я знал лучше чем кто бы то ни было, что есть вещи, которые нельзя сломать в человеческом сердце, потому что они вне досягаемости.

Я побежал на призывной пункт. Мой пульс бился со скоростью ста двадцати ударов, и меня признали непригодным к службе. Я попытался объяснить, что дело не в каком-то органическом недостатке, а в любви и горе, но это только сделало взгляд военного врача более строгим. Я бродил по деревне, возмущаясь безмятежностью полей и лесов, и никогда еще природа не казалась мне такой далекой от человеческой природы. Единственные вести о Лиле, доходившие до меня, были вести о подавлении целого народа. От тела мучимой Польши исходила какая-то волнующая женственность.

В Клери на меня бросали странные взгляды. Согласно молве, меня признали непригодным к воинской службе, потому что у меня, как у всех Флери, с головой не все в порядке. «У них это наследственное». Я начинал понимать, что то, что я чувствую, не является, так сказать, расхожей монетой и что для нормальных людей любовь — не цель жизни, а только ее небольшой барыш.

Наконец наступил момент, когда Амбруаз Флери, человек, посвятивший жизнь воздушным змеям, серьезно встревожился. Во время ужина, под висящей над нашими головами масляной лампой, он сказал мне:

— Людо, так продолжаться не может. Видят, как ты идешь по улице и говоришь с женщиной, которой нет. В конце концов тебя запрут.

— Хорошо, пусть нас запирают. Она будет со мной и на воле, и взаперти.

— Черт возьми,— сказал дядя, он в первый раз говорил со мной на языке здравого смысла.

Я думаю, именно для того, чтобы вернуть меня на землю, он попросил Марселена Дюпра заняться мной. Я никогда не узнал, что сказали друг другу эти двое, но хозяин «Прелестного уголка» предложил мне сопровождать его каждое утро, когда он обходил рынки и фермы, и иногда бросал на меня острый взгляд, как бы желая удостовериться, что добрая реальность надежных продуктов нормандской земли оказывает на мое состояние желаемый лечебный эффект, будучи по своей природе мощным противоядием против заблуждений ума.

В эти зимние месяцы 1940 года, когда война ограничивалась действиями нерегулярных частей и патрулей и «время работало на нас», надо было занимать столик в ресторане за несколько недель — «выставить свою кандидатуру», по выражению князя гастрономов Курнонского. Каждый вечер после закрытия Марселен Дюпра с удовлетворением перелистывал толстый том красной кожи, который держал в своей конторке, задерживался на странице, только что пополнившейся новой записью какого-нибудь министра или еще непобежденного военачальника, и говорил мне:

— Вот увидишь, малыш, когда-нибудь золотую книгу «Прелестного уголка» будут изучать, чтобы написать историю Третьей республики.

У него не хватало служащих: большую часть его помощников и работников призвали в армию, и их заменили старики, которые согласились из

солидарности, можно почти сказать — из патриотизма, в эти трудные для страны часы выйти из своих углов выполнять в «Прелестном уголке» работу, оставленную много лет назад. Дюпра удалось даже вновь заполучить господина Жана, виночерпия, которому скоро должно было стукнуть восемьдесят шесть.

— Я давно уже больше не держу виночерпиев,— объяснил он мне.— Виночерпии всегда имеют навязчивый вид, если ты понимаешь, что я хочу сказать, и когда они бросаются к клиенту со своей картой вин в руке, это раздражает. Но Жан знает свое дело, и он еще способен обслужить зал.

Я приезжал на велосипеде каждое утро в шесть часов, и при виде моего осунувшегося и растерянного лица Марселен ворчал:

— Ну, пошли со мной, это вернет тебя на землю.

Я занимал место в грузовичке и разъезжал по окрестностям и рынкам, где Дюпра производил осмотр овощей: он подносил к уху гороховые стручки, чтобы услышать, «стрекочут ли они, как кузнечики», то есть потрескивают ли, смотрел, бархатиста ли фасоль, выбирал по ее «цвету лица» «черную» фасоль, «итальянскую» или «китайскую» и решал, достойна ли цветная капуста «фигурировать». Дюпра подавал овощи целиком, «гордыми», как он говорил, питая ненависть к пюре, входившим в моду, как если бы у Франции было предчувствие того, что ее ожидает.

— Сейчас из всего делают пюре,— брюзжал он.— Пюре из сельдерея, пюре из брокколи, из кресс-салата, лука, гороха, укропа... Франция теряет уважение к овощам. Знаешь, что она предвещает, эта мания пюре, мой маленький Людо? Месиво, вот что она предвещает. Мы все там будем, вот увидишь.

Но более всего королевская требовательность Марселена Дюпра проявлялась у мясников, особенно когда речь шла о его любимых нормандских рубцах. Я видел, как он побледнел от гнева, заподозрив господина Дюлена, которого потом расстреляли в 1943 году, в том, что он продал ему потроха от двух разных быков.

— Дюлен,— ревел он,— если ты еще раз проделаешь со мной такую штуку, ты меня больше не увидишь! Вчера ты мне всучил потроха от двух быков, как же их можно приготовить одинаково! И мне нужна нога от того же быка, заруби себе на носу!

Он потешался, когда видел, как мясник предлагает хозяйке телячье плечо в форме дыни, все круглое и увязанное, приятное глазу.

— Можешь быть уверен, они подсунули внутрь жиру для весу, и, если бы они могли, они затолкали бы туда рога и копыта!

Это «возвращение на землю» под эгидой Марселена Дюпра мне помогало. Я продолжал видеть Лилу, но более тайно. Я даже научился смеяться и шутить с другими, чтобы скрыть ее присутствие. Доктор Гардье был доволен, хотя дядя подозревал, что я просто научился лучше хитрить.

— Я знаю, что ты не излечился и что у таких, как мы, это неизлечимо,— говорил он мне.— Впрочем, это к лучшему. Есть выздоровления, которые разрушают больше, чем болезнь.

Я старался как мог. Я должен был держаться, сама Лила требовала этого от меня. Если бы я распустился, то обязательно впал бы в отчаяние, что было самым верным способом потерять ее.

«Прелестный уголок» находился немного в стороне от перекрестка дорог в Нуази и Кан, напротив первых домов поселка Увьер, в глубине садика, где весной и летом вас встречали магнолии, сирень и розы. Всюду были белые голуби, которые «успокаивают клиентов», как говорил Дюпра. «Мои цены не пугают, но все же вид белого голубя умиротворяет. Одно время я держал сизых голубей, но вид сизого голубя у входа в ресторан смущает клиента». Касса, где мне часто приходилось бывать, скрывалась от постороннего взора несколько в глубине, из тех же соображений.

— Нехорошо, чтобы с первого шага человек начинал думать о счете. Нужен такт.

Иногда он облокачивался о кассу во всей своей незапятнанной белизне («давно пора менять блузу») и делился со мной своими размышлениями.

— Я держусь, но все вырождается, все вырождается,— жаловался он.— Теперь огонь им мешает, они жалуются на жару. Кухня без огня все равно что женщина без зада. Огонь — отец всех нас, поваров Франции. Но некоторые теперь переходят на электричество, да еще с автоматическим хронометрированием. Это все равно что заниматься любовью, глядя на часы, чтобы знать, когда надо наслаждаться.

Я заметил, что вышитая нашивка на его куртке изменилась. Там, где раньше трехцветными буквами было написано: «Марселен Дюпра, «Прелестный уголок», Франция», теперь стояло: «Марселен Дюпра, Франция». Сказать «Прелестный уголок» и «Франция» казалось ему, видимо, плеоназмом.

В кухне на каждой кастрюле были инициалы «П. У.» и год римскими цифрами. Недруги Дюпра говорили, что он мнит себя потомком Цезаря. Он не выносил, когда говорили «кухонные помещения».

— От этого множественного числа воняет постоялым двором. Для меня место, где я работаю, называется кухней. Сегодня всё хотят умножить.

У входа висела большая карта Франции с изображением продуктов, прославивших каждую провинцию; для Нормандии он выбрал рубцы.

— В конце концов, это то, что создало французов и историю Франции.

Цены кусались. Однажды министр Анатоль де Монзи сказал ему:

— Мой дорогой Марселен, когда дегустируешь ваши блюда — это эротика, но когда смотришь на ваши цены — это порнография!

С первых месяцев «странной войны» послышались критические высказывания в адрес Дюпра. Говорили, что в этом постоянном празднике гастрономии в «Прелестном уголке», в то время как враг у ворот, есть что-то непристойное. Дюпра презрительно пожимал плечами.

— Пуэн держится во Вьене, Дюмен в Сольё, Пик в Валансе, мамаша Бразье в Лионе, а я в Клери,— говорил он.— Сейчас как никогда каждый должен отдать лучшую часть самого себя тому, что он умеет делать лучше всего.

Казалось, это мнение разделял и Амбруаз Флери, вновь принявшийся за своих воздушных змеев с жаром, который походил на истинное исповедание веры. Он продолжил свою серию «гуманистов», и «Рабле», «Эразмы», «Монтени» и «Руссо» снова взлетали над нормандскими рощами. Я смотрел на сильные дядины руки, прилаживавшие рейки и крылья, бечевки и бумагу для каркаса, в котором уже просматривались черты какой-нибудь бессмертной личности века Просвещения. «Жан-Жак Руссо» был, видимо, его любимцем: подсчитано, что за свою жизнь Амбруаз Флери сконструировал их более восьмидесяти.

Я чувствовал, что он прав, и Дюпра тоже. Более чем всегда каждый должен был отдать лучшее, что в нем есть. Я улыбался, вспоминая о часах нашего детства, когда Лила на чердаке Гусиной усадьбы предвещала нам наши пути в жизни согласно дарованиям каждого:

— Тад будет великим исследователем, найдет гробницы скифских воинов и храмы ацтеков, Бруно будет так же знаменит, как Менухин и Рубинштейн, Ханс захватит власть в Германии и убьет Гитлера, а ты...

Она серьезно смотрела на меня.

— Ты будешь любить меня,— проговорила она, и я еще ощущал на своей щеке поцелуй, которым она сопроводила это открытие смысла моего существования.

Я объявил дяде, что больше не вернусь к Дюпра.

— Я поеду в Париж. Там легче получить известия, чем здесь. Может быть, я попытаюсь попасть в Польшу.

— Польши больше нет,— сказал Амбруаз Флери.

— Во всяком случае, во Франции формируется новая польская армия. Я уверен, что мне удастся что-то узнать. Я надеюсь.

Дядя опустил глаза.

— Что я могу тебе сказать? Поезжай. Нас всегда ведет надежда. Надежда — живучая тварь.

Когда я вернулся, чтобы попрощаться с ним, мы долго молчали; сидя

на своей скамейке в старом кожаном фартуке, с инструментами в руках, он походил на всех старых добрых ремесленников французской истории.

— Можно взять один на память? — спросил я.

— Выбирай.

Я огляделся. Мастерская имела двадцать пять метров в длину и десять в ширину, и при виде сотен воздушных змеев на ум приходило одно слово: изобилие. Они были слишком велики, и их легче было хранить в памяти, чем в чемодане. Я взял одного совсем маленького, «стрекозу» с перламутровыми крыльями.

XXIV

Я приехал в Париж с пятьюстами франками в кармане и долго бродил по чужому мне городу в поисках жилья. Я нашел комнату за пятьдесят франков в месяц над дансингом, на улице Кардинал Лемуан.

— Я уступаю вам в цене из-за шума,— сказал хозяин.

Польские солдаты и офицеры, которым удалось попасть во Францию через Румынию и которых встречали немного свысока, устало отвечали на мои вопросы: среди них нет Броницких, мне остается только обратиться в Генеральный штаб польской армии, она формируется в Коеткидане. Я ходил туда каждый день — штаб был на улице Сольферино,— меня вежливо выпроваживали. Я предпринял новые шаги через посольства Швеции, Швейцарии и через Красный Крест. Мне пришлось уйти с квартиры, дав хозяину пощечину: он заявил мне, что с Гитлером надо договориться:

— Надо признать, что это вождь, нам нужен был такой человек.

Его жена вызвала полицию, но я успел убежать раньше и укрылся в меблированной комнате на улице Лепик. Гостиницу посещали проститутки. Хозяйка была высокая худая женщина, с волосами, выкрашенными в черный цвет, с жестким и прямым взглядом, который, казалось, прощупывал меня, изучал, даже обыскивал.

Ее звали Жюли Эспиноза.

Я проводил время, лежа в своей комнате, освобождая Польшу и сжимая Лилу в объятиях на берегу Балтийского моря.

Пришел день, когда у меня не стало больше денег, чтобы платить за комнату. Вместо того чтобы вышвырнуть меня вон, хозяйка каждый день приглашала меня поесть с ней в кухне. Она говорила о том о сем, не задавала ни одного вопроса и внимательно наблюдала за мной, гладя своего пекинеса Чонга, маленькую собачку с черной мордочкой и белокоричневой шерстью, всегда лежащую у нее на коленях. Я чувствовал себя неловко под этим непреклонным взглядом; ее глаза, казалось, были всегда настороже; ресницы напоминали длинные костлявые пальцы, тянущиеся из глубины веков. Я узнал, что у госпожи Эспинозы есть дочь, которая учится за границей.

— В Хайдельберге, в Германии,— сообщила она мне почти торжествующим голосом.— Видишь, мой маленький Людо, я поняла, к чему идет дело. Я поняла после Мюнхенского соглашения. У малышки есть диплом, который будет очень полезен, когда немцы будут здесь.

— Но...

Я хотел сказать: «Ваша дочь еврейка, как и вы, мадам Жюли», она не дала мне договорить.

— Да, я знаю, но у нее самые что ни на есть арийские документы,— заявила она, положив руку на Чонга, свернувшегося клубком у нее на коленях.— Я все устроила, и у нее хорошая фамилия. На этот раз они нас так просто не получат, можешь мне поверить. Во всяком случае, только не меня. У нас за плечами тысячи лет выучки и опыта. Есть такие, которые забыли или думают, что с этим покончено и что теперь цивилизация — в газетах это называется права человека,— но я их знаю, ваши права человека. Это как с розами. Хорошо пахнет, и больше ничего.

Жюли Эспиноза несколько лет была помощницей хозяйки в «заведениях»

Будапешта и Берлина и говорила по-венгерски и по-немецки. Я заметил, что она всегда носит одну и ту же брошь, приколотую к платью, маленькую золотую ящерицу, которой, видимо, очень дорожит. Когда она была озабочена, ее пальцы всегда играли брошью.

— Ваша ящерица очень красива,— сказал я однажды.

— Красива или некрасива, ящерица — это животное, которое живет с незапамятных времен и умеет, как никто, скользить между камней.

У нее был мужской голос, и когда она сердилась, то принималась ругаться как извозчик — говорят, «как извозчик», но я еще никогда не слышал у себя в деревне, чтобы кто-нибудь употреблял такие слова,— и грубость ее высказываний была такова, что в конце концов это смутило саму мадам Жюли. Однажды вечером она замолчала, произнеся скромное «дерьмовая шлюха» в сопровождении других слов, которые я предпочитаю не приводить из уважения к той, кому я стольким обязан, прервала свою негодующую речь, касающуюся каких-то неприятностей с полицией в меблированных комнатах, и начала размышлять:

— Все-таки это странно. Это со мной бывает только по-французски. Со мной никогда этого не бывало на венгерском или немецком. Может быть, мне не хватало слов. И потом, в Буде и в Берлине клиенты были другие. Самые приличные люди. Они часто приходили в смокинге, даже во фраке, после оперы или театра, и целовали руку. А здесь одно дерьмо.

Она задумалась.

— Нет, так не пойдет,— решительно объявила она.— Я не смогу себе позволить быть вульгарной.

И она закончила загадочной фразой, которая, по-видимому, нечаянно у нее вырвалась, так как она еще не полностью доверяла мне:

— Это вопрос жизни и смерти.

Она взяла со стола свою пачку «Голуаз» и вышла, оставив меня в большом удивлении, потому что я не видел, каким образом грубость ее речи может представлять для нее такую опасность.

Мое удивление сменилось изумлением, когда эта уже немолодая женщина начала брать уроки хороших манер. Старая барышня, бывшая раньше директрисой девичьего пансиона, стала приходить два раза в неделю, чтобы помочь ей приобрести то, что она называла «благовоспитанностью» — слово, вызвавшее в моей памяти худшие воспоминания о моих унижениях в Гродеке: дело с украденными ценностями, отношения с Хансом и торжественную стойку Стаса Броницкого, когда этот сукин сын, выражаясь языком мадам Жюли, полностью соглашаясь, чтобы я был любовником его дочери, предложил мне отказаться от сумасшедшей надежды жениться на Лиле ввиду моего низкого происхождения и выдающегося величия фамилии Броницких. Мое раздражение усилилось, когда я услышал, как наставница объясняет мадам Жюли, что́ она понимает под «благовоспитанностью»:

— Видите ли, дело не в том, чтобы приобрести манеры, отличающиеся от манер низших слоев общества. Наоборот, прежде всего это не должно казаться приобретенным. Надо, чтобы это имело естественный вид, в некотором роде врожденный...

Меня возмущала любезная улыбка, с которой мадам Жюли принимала эти наставления, она, так часто осыпавшая бранью клиента за то, что он «позволял себе». Она не проявляла ни малейшего нетерпения и подчинялась. Я заставал ее держащей карандаш то зубами, то губами и декламирующей басню Лафонтена, делая перерывы, чтобы проводить пару, что случалось часто, так как каждая из девиц с легкостью принимала по пятнадцать — двадцать клиентов в день.

— Выходит, что у меня простонародный выговор,— объяснила она мне.— Ну да, площадь Пигаль. Эта старая саранча называет это «народный говор» и прописала мне упражнения, чтобы я от него избавилась. Я знаю, что у меня дурацкий вид, но что ты хочешь, раз надо, значит надо.

— Почему вы так стараетесь, мадам Жюли? Это меня не касается, но...

— У меня свои причины.

Походка также причиняла ей много забот.

— Хожу, как мужик,— признавала она.

Она тяжело переваливалась с одной ноги на другую, и это сопровождалось покачиванием плеч и приподнятых рук с оттопыренными локтями, походка, в которой действительно не было ничего женского и которая напоминала движения профессиональных борцов на ринге. Мадемуазель де Фюльбийак очень об этом сожалела:

— Вы не можете так ходить в обществе!

В результате я мог видеть хозяйку осторожно перемещающейся из одного конца гостиной в другой с тремя-четырьмя книгами на голове.

— Держитесь прямо, мадам,— приказывала мадемуазель де Фюльбийак, отец которой был морским офицером.— И прошу вас, не держите все время во рту окурок, это выглядит очень некрасиво.

— Вот дерьмо,— говорила мадам Жюли, когда пирамида книг шумно рушилась.

И тут же добавляла:

— Мне надо отучиться от этой привычки ругаться. Это может вдруг вылезти в неподходящий момент. Я столько раз в своей жизни говорила «дерьмо», что это стало второй натурой.

У нее была «не наша» внешность, на что несколько раз указывала мадемуазель де Фюльбийак; она казалась мне немного похожей на цыганку. Много лет спустя, когда я приобрел некоторые познания в области искусства, я понял, что черты Жюли Эспинозы напоминали женские лица на византийских мозаиках и изображения на саркофагах в пустыне Сахаре. Во всяком случае, это лицо напоминало об очень древних временах.

Однажды, войдя в контору, где клиенты оплачивали комнату, перед тем как подняться наверх с девицей, я обнаружил Жюли Эспинозу сидящей за стойкой с раскрытым учебником истории в руке. Закрыв глаза и держа палец на книжной странице, она читала наизусть, как бы стараясь выучить урок:

— ...Таким образом, можно сказать, что адмирал Хорти стал регентом Венгрии вопреки своей воле... Его популярность, значительная уже в...

Она заглянула в учебник.

— ...значительная уже в семнадцатом году, после битвы при Отранте, так возросла после того, как он разгромил в девятнадцатом большевистскую революцию Белы Куна, что ему оставалось лишь склониться перед волей народа...

Она заметила мое удивление.

— Ну и что?

— Ничего, мадам Жюли.

— Не обращай внимания.

Она поиграла кончиками пальцев своей маленькой золотой ящерицей, потом смягчилась и спокойно добавила:

— Я тренируюсь для того дня, когда немцы будут здесь.

Уверенный тон, с каким она говорила о немыслимом, то есть о том, что Франция может проиграть войну, вывел меня из себя, и я вышел, хлопнув дверью.

Какое-то время я думал, что мадам Жюли старается ради того, чтобы открыть «первоклассное» заведение, но потом вспомнил, что она еврейка, и не мог понять, как она собирается осуществить этот блистательный замысел, если нацисты выиграют войну, в чем она так уверена.

— Вы собираетесь укрыться в Португалии?

Легкий темный пушок над ее губой презрительно вздрогнул.

— Я не из тех, кто скрывается.

Она раздавила свою сигарету, глядя мне прямо в глаза.

— Но они мою шкуру не получат, это я тебе говорю.

Меня сбивала с толку эта смесь мужества и пораженчества. Кроме того, я был слишком молод, чтобы понять такую жажду выжить. В моем состоянии тревоги и эмоционального голода жизнь не казалась заслуживающей подобной привязанности.

Жюли Эспиноза продолжала наблюдать за мной. Можно было подумать, что она судит меня и готовится вынести приговор.

Однажды мне приснилось, что я стою на крыше, а мадам Жюли — внизу, на тротуаре, подняв глаза и ожидая моего прыжка, чтобы подхватить меня. Наконец настал момент, когда, сидя на кухне напротив нее, я закрыл лицо руками и разразился рыданиями. Потом она слушала меня до двух часов ночи под шум биде, который практически не прекращался в этой «гостинице транзита».

— Нельзя же быть таким идиотом,— пробормотала она, когда я поделился с ней своим намерением во что бы то ни стало попасть в Польшу.— Просто не могу понять, как это тебя не взяли в армию, раз ты такой идиот.

— Меня признали негодным. У меня сердце бьется слишком сильно.

— Послушай меня, малыш. Мне шестьдесят лет, но иногда я чувствую себя так, как будто я жила — или пережила, если предпочитаешь,— пять тысяч лет, и даже как будто я была здесь еще раньше, когда мир рождался. И потом, не забывай, как меня зовут. Эспиноза.

Она рассмеялась.

— Почти как Спиноза, философ, может быть, ты слышал о нем. Я могла бы даже отбросить «Э» и называться «Спиноза», так много я знаю.

— Почему вы мне это говорите?

— Потому что скоро дело будет так плохо, наступит такая катастрофа, что твоя болячка в ней растворится. Война будет проиграна, и во Франции будут немцы.

Я поставил свой стакан.

— Франция не может проиграть войну. Это невозможно.

Она полузакрыла глаза над своей сигаретой.

— Для французов нет невозможного,— сказала она.

Мадам Жюли встала с пекинесом под мышкой, взяла сумку с бутылочно-зеленого плюшевого кресла. Она вынула оттуда пачку купюр и снова села.

— Для начала возьми это. Потом будут еще.

Я смотрел на деньги на столе.

— Ну, чего ты ждешь?

— Послушайте, мадам Жюли, на это можно жить год, а мне не так уж хочется жить.

Она усмехнулась.

— Дитя хочет умереть от любви,— сказала она.— Тогда ты должен поторопиться. Потому что скоро начнут умирать со всех сторон, и не от любви, поверь мне.

Я испытывал горячую симпатию к этой женщине. Может быть, я начинал догадываться, что, говоря о «проститутке» или «сводне» с презрением, люди таким образом низводят человеческое достоинство на уровень зада, чтобы легче было забыть о низостях ума.

— Все-таки не понимаю, почему вы мне даете эти деньги.

Она сидела передо мной в сиреневой шерстяной шали на плоской груди, со своим шлемом черных волос, глазами цыганки и длинными пальцами, которые играли маленькой золотой ящерицей, приколотой к корсажу.

— Конечно, ты не понимаешь. Поэтому я тебе объясню. Мне нужен такой парень, как ты. Я составляю себе небольшую группу.

Так в феврале 1940 года, когда англичане пели: «Мы будем сушить свое белье на линии Зигфрида», афиши кричали: «Мы победим, потому что мы сильнее», а «Прелестный уголок» звенел тостами за победу, старая сводня готовилась к немецкой оккупации. Не думаю, чтобы в то время кому-нибудь еще пришла мысль организовать то, что позже назвали «сетью Сопротивления». Мне было поручено установить контакты с некоторыми людьми, в том числе с одним специалистом по подделыванию документов, после двадцати лет тюрьмы все еще скучавшим по своему ремеслу, и мадам Жюли так убеждала меня хранить тайну, что даже сегодня я едва отваживаюсь написать их имена. Среди них был господин Дампьер, который жил

один с канарейкой,— к чести гестапо надо заметить, что канарейку они помиловали и приютили, после того как в 1942 году господин Дампьер умер от сердечного приступа во время допроса. Там был господин Пажо, позднее известный под именем Валерьена,— через два года его расстреляли вместе с двадцатью другими на холме, носящем то же имя [1]. Там был и комиссар полиции Ротар, ставший руководителем сети «Союз», который пишет о госпоже Жюли Эспинозе в своей книге «Годы подполья»: «Этой женщине было присуще полное отсутствие иллюзий, порожденное, без сомнения, долгой практикой ее ремесла. Мне случалось воображать, как бесчестье входит к той, кто так хорошо его знает, и делает ей признания. Оно должно было шептать ей на ухо: «Скоро наступит мой час, моя добрая Жюли. Готовься». Во всяком случае, она умела убеждать, и я помог ей сформировать группу, регулярно собиравшуюся для обсуждения шагов, которые следовало предпринять; от изготовления фальшивых документов до выбора надежных мест, где мы могли бы встречаться или скрываться при немецкой оккупации, в которой она не сомневалась ни на секунду».

Однажды после визита к аптекарю на улице Гобен, передавшему мне «лекарства», назначение и потребителя которых я узнал только гораздо позже, я спросил у мадам Эспинозы:

— Вы им платите?

— Нет, мой маленький Людо. Есть вещи, которые не покупаются.

Она кинула на меня странный взгляд, печальный и жесткий.

— Это будущие смертники.

Однажды я пожелал узнать также, почему, будучи так уверена, что война проиграна и считая приход немцев неизбежным, она не ищет убежища в Швейцарии или Португалии.

— Мы об этом уже говорили, и я тебе ответила. Бегство не в моем духе.

Она усмехнулась:

— Может, Фульбийак это и имела в виду, когда повторяла, что у меня «дурной тон».

Как-то утром я заметил в углу кухни фотографии португальского диктатора Салазара, адмирала Хорти, правителя Венгрии, и даже Гитлера.

— Я жду одного человека, чтобы он мне их надписал,— объяснила она.

Мадам Жюли не простирала свое доверие до того, чтобы сказать мне, какое имя она собирается принять, и когда «специалист» пришел надписывать фотографии, меня попросили выйти.

Она уговорила меня сдать экзамен на водительские права.

— Это может пригодиться.

Хозяйка не могла предугадать только одного: точной даты германского нападения и нашего поражения. Она полагала, что это будет «в первые же теплые дни», и заботилась об участи девиц. Она советовала им брать уроки немецкого, но во Франции не было ни одной проститутки, которая бы верила, что войну проиграют.

Меня удивляло, что она мне так доверяет. Почему она без колебаний полагалась на двадцатилетнего мальчика без жизненного опыта, что вряд ли было хорошей рекомендацией?

— Может, я и делаю глупость,— признала она.— Ну что я могу тебе сказать? У тебя в глазах что-то от смертника.

— Вот черт! — сказал я.

Она рассмеялась.

— Я тебя напугала, верно? Но это не обязательно означает двенадцать пуль. С этим можно даже очень долго прожить. У тебя такой взгляд из-за твоей польки. Не горюй. Ты ее еще увидишь.

— Как вы можете знать, мадам Жюли?

Она ответила не сразу, как бы боясь причинить мне боль:

— Если бы ты ее больше не увидел, это было бы слишком красиво. Все осталось бы как было. В жизни мало что остается неизменным.

[1] Мон Валерьен — холм на западной окраине Парижа, где оккупанты часто производили расстрелы патриотов.

Я продолжал ходить два-три раза в неделю в Штаб польской армии во Франции, и наконец сержант, уставший от моих расспросов, бросил:

— Ничего в точности не известно, но вероятнее всего, что вся семья Броницких погибла под бомбами.

Тем не менее я был уверен, что Лила жива. Я даже более ясно ощущал ее присутствие рядом со мной, это было как бы предчувствие.

В начале апреля мадам Жюли на несколько дней исчезла. Она вернулась с повязкой на носу. Когда повязку сняли, оказалось, что нос Жюли Эспинозы утратил горбинку и стал прямым, даже укоротился. Я не задавал ей вопросов, но при виде моего удивления она сказала:

— Нос — первое, на что будут смотреть эти сволочи.

В конце концов я так уверовал в ее правоту, что, когда немцы прорвали фронт в Седане, я не был удивлен. Я не удивился также, когда через несколько дней она послала меня пригнать из гаража ее «ситроен». Вернувшись, я зашел к ней в комнату и застал ее сидящей среди чемоданов с рюмкой коньяку в руке; она слушала радио, которое возвещало, что «ничего не потеряно».

— Хорошенькое «ничего»,— сказала она.

Она поставила рюмку, взяла собачку и встала.

— Ладно, поехали.

— Куда?

— Мы немного проедем вместе, потому что ты вернешься в Нормандию и нам немного по пути.

Было второе июня, и на дорогах не наблюдалось никаких признаков нашего поражения. Все выглядело мирно в поселках, через которые мы проезжали. Сначала вел я, потом госпожа Эспиноза сама села за руль. На ней было серое пальто, шляпа и косынка сиреневые.

— Где вы будете скрываться, мадам Жюли?

— Я совсем не буду скрываться, дружок. Находят именно тех, кто скрывается. У меня два раза был сифилис, так что нацисты меня не напугают.

— Но что же вы собираетесь делать?

Она слегка улыбнулась и не ответила. В нескольких километрах от Верво она остановила машину.

— Ну вот. Здесь мы прощаемся. Это не очень далеко от тебя, так что разберешься.

Она обняла меня.

— Я дам тебе знать. Скоро понадобятся такие мальчики, как ты.

Она прикоснулась к моей щеке.

— Ну, отправляйся.

— Неужели вы опять скажете, что у меня взгляд смертника?

— Скажем так: у тебя есть то, что надо. Когда умеешь, как ты, любить женщину, которой нет рядом, возможно, сумеешь любить и нечто другое... чего тоже не будет, когда нацисты за это возьмутся.

Я вышел из машины и взял свой чемодан. Мне было грустно.

— Скажите хотя бы, куда вы едете!

Машина тронулась. Я стоял посреди дороги, спрашивая себя, что с нею будет. И я был немного разочарован тем, что она не доверилась мне напоследок. Видимо, то, что она читала в моих глазах, не было достаточной гарантией. Что ж, тем лучше. Может, у меня все-таки не глаза смертника. Может, у меня еще есть шанс.

XXV

Меня подобрал на шоссе военный грузовик, и к трем часам дня я был в Клери. Из раскрытых окон неслись звуки радио. Неприятеля собирались остановить на Луаре. Думаю, что даже «хозяйка» не смогла бы остановить неприятеля на Луаре.

Я нашел дядю за работой. Едва я вошел, меня поразила смена декора-

ций в мастерской: Амбруаз Флери был по колено во французской истории в самых воинственных ее проявлениях. Вокруг него кучей лежали все эти «Карлы Мартеллы» [1], «Людовики», «Годфруа де Бульоны» [2] и «Роланды де Ронсево» [3], все, кто во Франции когда-либо показывал зубы врагу, от Карла Великого до маршалов Империи, даже сам «Наполеон», о котором опекун раньше говорил: «Надень на него шляпу с полями, и выйдет настоящий Аль Капоне». С иголкой и ниткой в руке, он как раз латал «Жанну д'Арк», имевшую несчастный вид, так как голуби, которые должны были поднимать ее в небо, болтались где-то сбоку, а шпага сломалась в результате неудачного приземления. Для старого пацифиста, не одобряющего военную службу по моральным соображениям, это была перемена фронта, и я онемел от удивления. Я сомневался, что подобная перемена настроений связана с какими-то новыми заказами, ибо за всю свою историю страна никогда не интересовалась воздушными змеями меньше, чем теперь. Сам Амбруаз Флери тоже изменился. Он сидел со своей искалеченной «Жанной д'Арк» на коленях, и его старая нормандская физиономия имела в высшей степени свирепый вид. Он не встал со скамьи и едва кивнул мне.

— Ну, что нового? — спросил он, и я остолбенел от этого вопроса, ведь Париж только что объявили открытым городом. Мне казалось, что напрашиваются совсем другие вопросы. Но то был еще июнь сорокового, и не началось еще то время, когда французы шли на пытки и на смерть ради того, что существовало только в их представлении.

— Я не смог получить никаких сведений. Я все испробовал. Но я уверен, что она жива и вернется.

Амбруаз Флери одобрительно кивнул.

— Молодец, Людо. Германия выиграла войну, здравый смысл, осторожность и разум воцарятся во всей стране. Чтобы продолжать верить и надеяться, надо быть безумцем. Отсюда я делаю вывод, что...

Он поглядел на меня.

— ...безумцем быть надо.

Возможно, я должен напомнить, что в эти часы капитуляции безумие еще не поразило французов. Был только один безумец, и он был в Лондоне.

Через несколько дней после возвращения я увидел первых немцев. У нас не было денег, и я решился вернуться к Марселену Дюпра, если он меня возьмет. Когда дядя зашел к нему, уже стало ясно, что ничто не сможет остановить сокрушительное наступление сил вермахта; он нашел Дюпра с красными глазами около висевшей у входа карты Франции, где каждая провинция была обозначена самой ее отборной провизией. Дюпра указывал пальцем на ветчину в Арденнах и говорил:

— Не знаю, докуда дойдут немцы, но во что бы то ни стало надо будет сохранить связь с Перигором. Без трюфелей и гусиной печенки «Прелестный уголок» пропал. Хорошо еще, что Испания сохраняет нейтралитет: только из Испании я получаю шафран, достойный своего имени.

— Думаю, он тоже обезумел,— сказал дядя с уважением.

На дороге перед садом стояло три танка, а у входа, под цветущими магнолиями, самоходная установка. Я ждал, что меня окликнут, но немецкие солдаты даже не посмотрели на меня. Я пересек вестибюль; ставни в «ротонде» и на «галереях» были закрыты; два немецких офицера сидели за столиком, склонившись над картой. Марселен Дюпра сидел в тени с господином Жаном, старым восьмидесятилетним виночерпием, который пришел, видимо, для того, чтобы оказать моральную поддержку хозяину всеми покинутого «Прелестного уголка». Дюпра, скрестив руки на груди и высоко подняв голову, но со слегка блуждающим взглядом, говорил громко, как бы желая, чтобы слышали немецкие офицеры:

— Я считаю, что год обещает быть хорошим; может быть, это будет один из лучших; только бы внезапный дождь не побил виноградники.

---

[1] Карл Мартелл (685—741) — национальный французский герой, знатный сеньор, выигравший в 732 г. битву с арабами при Пуатье.

[2] Годфруа де Бульон (1061 – 1100) — герцог, предводитель первого крестового похода.

[3] Роланд де Ронсево — наиболее знаменитый герой из легендарных соратников Карла Великого, в 778 г. погиб в битве против баскских горцев.

— Во всяком случае, начало хорошее,— отвечал господин Жан, улыбаясь всеми своими морщинами.— Франция запомнит урожай сорокового года, чувствую, что это будет один из лучших. Я отовсюду получаю хорошие вести. Из Божоле, со всей Бургундии, из Борделе... Никогда еще не было таких хороших вестей. В этом году вино будет крепче, чем за всю историю наших виноградников. Оно все выдержит.

— На памяти французов не было такого июня,— признавал Дюпра.— Ни облачка. Лилии зацвели, и через девяносто дней все будет как надо. Есть такие, которые не верят и говорят, что такая хорошая погода не может стоять долго. Но я верю в виноградники. Во Франции всегда так было. В одном проигрывали, в другом выигрывали.

— Конечно, с эльзасскими винами покончено,— сказал господин Жан.

— А карта вин без эльзасского — это национальное бедствие,— согласился Дюпра, слегка повысив голос.— Заметь, у меня в погребе достаточно, чтобы продержаться четыре года, даже пять лет, а потом можно надеяться, что получу новые... Я видел одного человека, он приехал от Пуэна из Вьена; вроде бы там дела обстоят как нельзя лучше, виноградники побили все рекорды. Говорят, они держатся даже на Луаре. Франция — необыкновенная страна, старина Жан. Когда кажется, что все потеряно, вдруг видишь, что главное остается.

Господин Жан поднял руку, чтобы вытереть слезу среди морщин.

— О да. Это я вам говорю, месье Дюпра, когда через несколько лет будут вспоминать сороковой год, то скажут: такого года больше не увидишь. Я знаю людей, которые смотрят на свои виноградники и плачут, так они хороши!

Оба немецких офицера по-прежнему изучали карту. Я думал, что это их военная карта Франции. Я ошибся. Это была действительно карта Франции, но в виде меню «Прелестного уголка»: «Мясо на пару с трюфелями «Марселен Дюпра», филе с эстрагоном, кролик в малиновом уксусе по-нормандски, ракушки по-дьепски». Я знал меню наизусть, вплоть до белых грибов с сидром. Я смотрел на двух немецких офицеров, и мне вдруг показалось, что война еще не проиграна. Один из офицеров встал и подошел к Дюпра.

— В следующую пятницу генерал, командующий немецкими войсками в Нормандии, а также его превосходительство посол Отто Абец и еще четырнадцать персон желают здесь завтракать,— сказал он.— Его превосходительство Абец часто бывал у вас до войны и шлет свои наилучшие пожелания. Он надеется, что «Прелестный уголок» не посрамит свою репутацию. Господин посол окажет вам в этом отношении любую необходимую помощь. Он поручил нам пожелать вам успешно продолжать свою работу.

Дюпра посмотрел на него в упор:

— Передайте вашему генералу и вашему послу, что у меня нет служащих, нет свежих продуктов и я не уверен, что смогу продержаться.

— Это приказ высокого командования, месье,— сказал офицер.— В Берлине желают, чтобы все шло как прежде, и мы намереваемся сохранить то, что составляет славу и величие Франции,— в первую очередь, разумеется, ее кулинарный гений. Это слова самого фюрера.

Оба офицера щелкнули каблуками перед хозяином «Прелестного уголка» и удалились. Дюпра молчал. Вдруг я увидел, что на его лице появилось странное выражение, смесь ярости, отчаяния и решимости. Я не говорил ни слова. Господин Жан забеспокоился:

— В чем дело, Марселен?

Тогда я услыхал от Марселена Дюпра слова, которые никогда еще не срывались с его уст.

— Дерьмо собачье,— глухо произнес он.— Что они думают, эти сучьи потроха? Что я наделаю в штаны? У трех поколений Дюпра был девиз: «Я выстою».

Он объявил, что на следующей неделе «Прелестный уголок» снова откроется. Но вокруг нас поражение следовало за поражением: с минуты на

минуту ожидалась капитуляция Англии, и были часы, особенно ночью, когда мне казалось, что все пропало. Тогда я вставал и шел к Гусиной усадьбе. Я перелезал через стену и ждал Лилу на каштановой аллее, и каменная скамья, давно уже пустая и холодная в лунном свете, по-дружески нас принимала. Я забирался внутрь через одно из больших окон террасы, которое разбил, поднимался на чердак и прикасался к глобусу, проводя пальцем по линиям, намеченным Тадом для будущих исследований. Бруно садился за рояль, и я слушал полонез Шопена — я слышал его так отчетливо, как если бы безразличное молчание наконец сжалилось. Я еще не знал, что и другие французы начинают, как и я, жить памятью, и что ушедшее, казалось, навсегда может ожить и проявиться с такой силой.

XXVI

В мастерскую начали поступать заказы. На историю Франции был большой спрос. Власти это одобряли — к прошлому относились дружелюбно. Немцы запретили запускать воздушных змеев на высоту более тридцати метров, опасаясь тайных сигналов авиации союзников или первым «бандитам». Нас посетил новый мэр Клери, господин Плантье, который явился, чтобы передать дяде полученный «совет». В высоких кругах заметили, что среди заслуживших одобрение «исторических» работ, выходивших из мастерской «лучшего мастера Франции» — Амбруаз Флери получил это звание в 1937 году,— недостает изображения маршала Петена. Дяде предложили, чтобы во время будущей встречи членов общества «Воздушные змеи Франции» в Клери он сам торжественно запустил змея, изображающего маршала. Дядя дал свое согласие с едва заметным лукавым огоньком в темных глазах. Я так любил эти вспышки веселости в его глазах и насмешку, скрытую седыми усами,— как будто луч старого доброго веселья шел из нашего далекого прошлого и на пути к будущему освещал дядино лицо. Он собрал трехметрового змея с изображением маршала, и все прошло бы очень хорошо, если бы муниципалитет презрел дядино предложение пригласить на праздник нескольких немецких солдат и офицеров. В состязании принимало участие более ста человек, и первый приз — «Маршал Петен» был, естественно, вне конкурса — присудили сложному воздушному змею доминиканского священника, изображавшему распятие с Иисусом, который отделялся от креста и воспарял в небо.

Я так и не узнал, подстроил ли Амбруаз Флери все заранее, или это было досадное совпадение. Казалось, у него затруднения с запуском змея, чья величина более соответствовала историческому моменту, чем возможностям воздушных потоков, и один немецкий капрал любезно поспешил к нему на помощь (а возможно, дядя сам попросил его помочь). Наконец «Маршалу Петену» удалось подняться в воздух, но когда он на высоте тридцати метров раскрыл свои руки-крылья, то оказалось, что веревку держит немецкий капрал, и сфотографировали именно его. Во время праздника никто не обратил на это внимания, и только когда фотографию должны были опубликовать, цензура обнаружила ее злонамеренность. Ее не опубликовали, но нашлось другое фото, неизвестно кем снятое, и его копировали на подпольных листовках до самого конца оккупации: великолепный «Маршал Петен» летает в небесах, а жизнерадостный немецкий капрал твердой рукой держит веревку.

Это дело принесло нам некоторые неприятности, и дядя сам думал, что, возможно, слишком явно раскрылся. В Нормандии начиналась организация первых звеньев сети Сопротивления «Надежда» под руководством Жана Сентени, который специально зашел к дяде; несмотря на разницу в возрасте, они отлично поняли друг друга. В Клери история с «Маршалом Петеном» вызвала разные реакции.

В «Улитке» и в «Виноградаре» приветствовали «эту старую лису Амбруаза», подмигивая и хлопая его по плечу. Но некоторые, вспоминая его период «Народного фронта», когда он запускал над нормандскими рощами

«Леона Блюма», говорили, что когда человек, у которого два брата убиты в 1914—1918 годах, так насмехается над героем Вердена, он заслуживает хорошего пинка под зад. Помнили и то, что он не одобрял службу в армии по нравственным соображениям. В одно прекрасное утро,— я всегда говорю «в одно прекрасное утро», потому что у слов свой привычный порядок и не немецким танкам его менять,— итак, в одно прекрасное утро к нам ввалился мой бывший товарищ Грийо, которому через два года участники Сопротивления перерезали горло,— да помилует Бог его душу! Он был с двумя другими молодцами, разделявшими его взгляды, и они все утро перетряхивали наших воздушных змеев, чтобы убедиться, что «этот старый идиот Флери» не подготовил еще каких-нибудь мерзких штучек. Дядя спрятал весь свой период «Народного фронта» и своего «Жореса» у отца Ташена, кюре в Клери, который сначала орал на нас, а потом спрятал змеев в подвал, кроме «Леона Блюма» — его он собственноручно сжег, потому что «какого черта, это уж слишком». Власти опекуна не беспокоили, но он понял, куда ветер дует, и после долгого раздумья решил, что «надо было действовать иначе». Встреча в Монтуар дала ему новый стимул, и воздушный змей, изображавший историческое рукопожатие маршала Петена и Гитлера, был запущен через пять дней после события. «Надо работать по свежим следам»,— сказал мне дядя. Группа добровольцев воспроизвела змея более чем в ста экземплярах, и его часто можно было видеть в небе Франции. Никто не усмотрел в нем ничего дурного, кроме Марселена Дюпра, который заглянул к нам выпить рюмочку и сказал своему старому другу:

— Ну, старина, когда ты насмехаешься над людьми, это серьезно!

XXVII

В ноябре 1941-го, когда молчание Польши с каждым днем все больше напоминало молчание на бойне, я снова пришел в усадьбу для упражнения памяти. В то утро нас навестили в Ла-Мотт люди Грюбера, начальника гестапо в Клери, так как длинные языки распустили слух, что Амбруаз Флери сделал воздушного змея в виде Лотарингского креста [1], которого собирается запустить так высоко, чтобы его было видно от Клери до Кло и от Жонкьера до Про. Это были выдумки: дядя был слишком уверен в себе, чтобы потерять осторожность; немцы не нашли ничего, что бы не фигурировало во всех разрешенных учебниках по истории Франции. Они несколько заколебались перед Жанной д'Арк, несомой двадцатью голубями, но Амбруаз Флери, смеясь, сказал им, что нельзя же помешать Жанне воспарить в небеса. Он предложил посетителям выпить кальвадоса и показал диплом лучшего мастера Франции, полученный при Третьей республике, и так как без Третьей республики нацисты не выиграли бы войну, оберштурмбанфюрер сказал «гут, гут» и удалился.

Было пять часов вечера; я стоял посреди старого пыльного чердака; голые ветки, топорщась, заслоняли слуховые окна; рояль Бруно молчал; напрасно закрывал я глаза — я ничего не видел. В тот вечер доброму старому здравому смыслу приходилось особенно трудно. Немцы приближались к Москве, и по радио объявляли, что от Лондона осталась одна пыль.

Не знаю, каким отчаянным усилием удалось мне преодолеть свою слабость. Лила еще дулась на меня, ей всегда нравилось испытывать мою веру, но я увидел Тада, он искал на карте места наших будущих славных исследований,— и наконец явилась Лила и бросилась в мои объятия. Вальс, только вальс, но стоит голове закружиться, и все возвращается. Я обнимал Лилу, и она смеялась, откинув голову; Бруно играл; Тад небрежно опирался на один из глобусов — они так мало говорят о Земле, ведь они не ведают

[1] Лотарингский крест — в средние века герб независимой провинции Лотарингия, откуда происходят предки де Голля. Лотарингский крест стал эмблемой движения «Сражающаяся Франция», возглавляемого де Голлем.

о ее трагедиях; я снова верил в нашу жизнь и наше будущее, потому что мог любить.

Так я вальсировал с закрытыми глазами, раскрыв объятия, полностью отдаваясь безумию, когда услышал скрип двери. Здесь повсюду гулял ветер, и в пылу своего праздника я бы не обратил на это внимания, если бы не открыл глаза, что является грубой ошибкой для всех, живущих верой и воображением.

Сначала я увидел только силуэт немецкого офицера на фоне черного прямоугольника двери.

Я узнал Ханса. У меня еще немного кружилась голова, и я подумал, что это просто результат избытка памяти. Понадобилось несколько секунд, чтобы убедиться. Это действительно был Ханс. Он стоял тут, передо мной, в своей форме завоевателя. Он не двигался, как бы понимая, что я еще сомневаюсь, и чтобы дать мне время убедиться в его присутствии. Казалось, он не удивился, застав меня на чердаке танцующим вальс с той, кого здесь не было. Он не был взволнован: завоеватели привыкают к виду горя. Может быть, ему уже сказали, что я немного не в себе, добавив: «Бедный молодой Флери; ясно, в кого он пошел». Сопротивление только начиналось, и слово «безумие» еще не получило права на эпитет «священное».

В помещении было достаточно темно, чтобы пощадить нас, помешав видеть друг друга слишком ясно. Но все же я различал белый шрам на щеке своего врага: след польской szabelca, которой я орудовал так неловко. У Ханса был печальный, даже почтительный вид: рыцарственность идет к форме. У него на шее висел Железный крест — вероятно, он получил его за бои в Польше. Не знаю, что мы сказали друг другу в эти минуты, когда не было произнесено ни одного слова. Он сделал деликатный жест, свидетельство благовоспитанности, которая передается у прусских юнкеров от отца к сыну: стоя в дверях, он отступил в сторону, чтобы освободить мне проход. Видимо, после стольких побед он привык, что люди бегут. Я не двинулся с места. Он постоял в нерешительности, потом начал снимать правую перчатку, и по выражению его лица мне вдруг показалось, что он собирается протянуть мне руку. Но нет, он и теперь избавил меня от неловкости: подошел к слуховому окну и, снимая перчатки, глядел на голые ветви. Потом повернулся к роялю Бруно. Улыбнулся, подошел к роялю, открыл его и коснулся клавиш. Только несколько нот. С минуту он стоял неподвижно, положив руку на клавиши и опустив голову. Потом отвернулся, медленно, как бы в нерешительности, сделал несколько шагов, надевая перчатки. Перед тем как выйти, он остановился, слегка обернулся ко мне, будто собираясь заговорить, затем ушел с чердака.

Я всю ночь бродил в окрестностях, не узнавая даже тех дорог, которые знал с детства. Я не понимал, действительно я видел Ханса или так далеко зашел в своих упражнениях памяти, что вызвал лишний призрак. Братья Жарро нашли меня на следующее утро в хлеву без сознания, отвезли домой и посоветовали дяде отправить меня в больницу в Кан.

— Мы все здесь знаем, что малыш немного «того», но на этот раз...

Они ошибались. *«На заре тетя Марта выйдет прогуляться». «Корова будет петь соловьиным голосом». «Пуговицы к штанам пришьют вовремя». «Мой отец — мэр Мамера, а мой брат — массажист».* Каждый день до нас доходили из Лондона зашифрованные сообщения для участников Сопротивления — эти передачи шли на 1500 метрах длинноволнового диапазона, 273 метрах средневолнового и на коротких волнах на 30,85 метра. Амбруаз Флери поблагодарил Жарро за совет, вежливо выпроводил их и, подойдя к моей кровати, сжал мне руку:

— Экономь свое безумие, Людо. Не слишком его расходуй. Стране оно будет нужно все больше.

Я пытался взять себя в руки, но встреча с Хансом потрясла меня. Я по-прежнему бродил вокруг Гусиной усадьбы. Немцы еще ее не заняли; ее даже еще не начали приводить в порядок.

В начале декабря, забравшись на стену, я услышал, как открываются ворота. Припав к стене, я увидел, что по главной аллее въезжает «мерседес»

с вымпелом командующего немецкими войсками в Нормандии. За рулем был Ханс, один в машине. Я не знал, для чего он вернулся сюда: чтобы подготовить усадьбу для немцев или чтобы помечтать о Лиле, как я. Вечером я украл пять бидонов бензина в «Прелестном уголке» — его щедро поставляли туда немцы — и перетащил их по одному в усадьбу. В ту же ночь я поджег ее. Огонь плохо разгорался, мне пришлось немало потрудиться; я бегал из комнаты в комнату, спасая свои воспоминания, ожидая, чтобы пепел укрыл их навсегда. Когда наконец пламя поднялось до крыши, я с трудом заставил себя уйти — столько сочувствия виделось мне в этом огне.

Наутро меня арестовали, отправили в Клери и учинили допрос с пристрастием. Французская полиция тем более нервничала, что речь шла о ее престиже в глазах немцев. Для властей я был идеальным виновником: речь шла о выходке неуравновешенного человека без всяких «террористических» намерений.

Я ничего не отрицал — я только отказывался отвечать. Я думал о моих товарищах Легри и Косте из организации «Надежда», которые не заговорили под пыткой: если бы несколько пощечин и ударов кулаком могли склонить меня к признаниям, значит, память подвела бы меня первый раз в жизни. Так что после серии оплеух я глупо улыбнулся, а потом сделал вид, что впадаю в мрачное отупение, что несколько обескуражило полицейских.

Дядя поклялся, что я неделю не вставал с постели; доктор Гардье проехал в своей двуколке тридцать километров, к великому неудовольствию коня Клементина, чтобы подтвердить его слова; но власти держались за «поступок неуравновешенного субъекта», и на следующий день допрос возобновился в присутствии двух немцев в штатском.

Я сидел на стуле спиной к двери. Вдруг я увидел, как оба немца вытянулись с поднятыми руками, и, не взглянув на меня, мимо прошел Ханс. У него было напряженное лицо, челюсти сжаты. Чувствовалось, что он с усилием сдерживает свою досаду и презрение. Он не ответил на гитлеровское приветствие людей Грюбера и обратился к комиссару по-французски:

— Я не понимаю этого ареста. Я не понимаю, как Людовик Флери, которого я хорошо знаю, мог оказаться в Гусиной усадьбе в ночь поджога, так как я видел его в это время в доме его дяди в Кло, откуда я ушел очень поздно после долгой дискуссии по поводу воздушных змеев с мэтром Амбруазом Флери. Таким образом, полностью исключается, что он мог быть поджигателем, так как, по свидетельству очевидцев, огонь был виден за несколько километров со всех сторон с одиннадцати вечера.

Моим первым побуждением было отвергнуть эту помощь и защиту сильнейшего, и я чуть не встал и не крикнул: «Это я поджег усадьбу». Прежде всего в моих взволнованных мыслях вспыхнуло прежнее раздражение против жеста, в котором я сперва увидел больше аристократической надменности и чувства превосходства, чем душевного величия. Но мою старую вражду вовремя погасила догадка: Ханс оставался верен тому, что нас одновременно объединяло и разделяло,— Лиле. Он по-настоящему любил ее и хотел спасти то, что во мне составляло смысл его собственной жизни. В этом высокомерном виде, в презрении, с которым он обращался к моим обвинителям, я распознал знак верности воспоминанию: он пришел защищать не меня, а нашу общую память.

Он даже не стал ждать, пока ему зададут вопросы, и вышел: свидетельство немецкого офицера нельзя было подвергать сомнению. Меня немедленно освободили. Дядя, доктор Гардье и конь Клементин доставили меня домой. Не было еще людей, которые так молчали бы обо всем, что имели сказать друг другу. Только когда мы прибыли и доктор Гардье и конь Клементин направились в Клери, дядя спросил меня:

— Ты зачем поджег эту лачугу?

— Чтобы все осталось как было,— ответил я, и он вздохнул, потому что знал, что уже тысячи французов мечтают об огне, «чтобы все осталось как было».

Никто в наших краях не сомневался в моей виновности. Те, кто начал прислушиваться к первым призывам к «безумию», передававшимся не только по лондонскому радио, но и по всем другим волнам, выказывали мне нечто вроде робкого сочувствия. Другие меня избегали — те, кто хотел выйти сухим из воды и затаиться и выжидать, подчеркивая таким образом благородство безумия. Немногие верили в победу союзников — самое большее, говорили о возможности заключения сепаратного мира за счет русских.

Меня поместили на обследование в психиатрическую больницу в Кане. Я провел там две недели, громко разговаривая с отсутствующими, что позволило мне получить составленную по всей форме справку о ненормальности, и ничто не могло быть полезнее для моей подпольной деятельности. Никто не удивлялся, видя, как я брожу, жестикулируя, от фермы к ферме, и мой командир группы, Субабер, поручил мне все связи. Рассудок волшебным образом возвращался ко мне для бухгалтерской работы в «Прелестном уголке»; Дюпра говорил по этому поводу, что «некоторые болезни совсем незаметны». Он, конечно, догадывался о моей подпольной работе, ведь от него мало что ускользало. Он остерегался всяких намеков — «чтобы не быть причастным», по словам дяди,— и ограничивался тем, что ворчал:

— Вас ничто не может изменить!

И я не знал, говорит он только о Флери или о всех наших братьях в поставленной на колени Европе — их становится все больше,— объединенных общим безумием, которое так часто в истории народов доказывало возможность невозможного.

Она стоит в темном углу на другом конце комнаты; там на стене висит неумело сделанный воздушный змей бледного желтовато-розового цвета с серебристо-белыми пятнами, семилетний мальчишка сам собрал и раскрасил его в мастерской. Не знаю, птица это, бабочка или ящерица,— детское воображение одарило его богатыми возможностями.

— Я не всегда была добра к тебе, Людо, и теперь ты мне мстишь. Вчера ты целые часы не вспоминал обо мне. Ты знаешь, что я в твоей власти, и хочешь дать мне это почувствовать. Типично мужское отношение. Ты как будто все время ждешь, что я скажу: что со мной будет без тебя? Тебе приятно пугать меня.

Сознаюсь, мне приятны ее опасения и ее беспокойство: сейчас эта девушка родом из самой старинной аристократии зависит от нормандского мужлана, от его верности и памяти. Но я никогда не злоупотребляю своей властью. Я позволяю себе только бесконечно продлевать какой-нибудь ее жест, как когда она проводит рукой по волосам,— я нуждаюсь в этом каждое утро. Или я задерживаю ее руку и мешаю ей надеть лифчик.

— Ну, Людо! Ты перестанешь?

Мне нравится зажигать этот гневный блеск в ее глазах. Ничто не успокаивает меня больше, чем видеть ее такой неизменившейся, похожей на себя прежнюю.

— Думаешь, тебе все позволено, потому что я от тебя завишу? Вчера ты заставил меня сделать двадцать километров по полям. И мне совсем не нравится зеленый свитер, который ты на меня напялил.

— Он у меня один, а было холодно.

Потом она тихо уходит, растворяется в темноте, и я не открываю глаз, чтобы лучше сберечь ее.

XXVIII

Я свободно передвигался по нашим краям: немцы меня не опасались, зная, что я сошел с ума,— на самом деле ввиду этого в меня как раз следовало бы стрелять. Я держал в голове сотни имен и адресов «почтовых ящиков», которые без конца менялись, и никогда не носил при себе ни клочка бумаги.

Однажды утром, проведя ночь в пути, я остановился передохнуть в «Телеме». За соседним столиком человек читал газету. Я не видел его лица, только заголовок на первой странице: «Красная Армия отступает в беспорядке». Хозяин, господин Рубо, поставил перед «этим беднягой Людо» два бокала белого вина — бокал, который я заказал, и второй, чтобы доставить мне удовольствие. Местные жители давно привыкли к моим причудам и не упускали случая сообщить приезжим, что я еще больше «того», чем мой дядя со своими воздушными змеями, знаменитый почтальон, носящий ту же фамилию. Мой сосед положил газету, и я узнал своего старого учителя французского, господина Пендера. Я его не видел с окончания школы. Его черты, ставшие резче под бременем лет, не утратили выражения назидательной строгости, с которым он некогда искоренял орфографические ошибки в наших тетрадях. У него было то же самое пенсне, и такая же бородка, что и раньше. Господин Пендер еще сохранял присущий ему несколько царственный вид, хотя славу его в основном составляла рубрика кроссвордов; он вел ее в «Ла газетт» вот уже сорок лет. Я встал.

— Здравствуйте, Флери, здравствуйте. Разрешите мне передать наилучшие пожелания...

Он слегка приподнялся и поклонился пустому стулу. Брико, официант, протиравший рюмки за прилавком, оцепенел, потом снова принялся протирать. Бедняга в жизни своей не пользовался воображением, так что он пропал совсем ни за что, его потом убили эсэсовцы, когда отступали после высадки союзников.

— Я приветствую священное безумие,— сказал господин Пендер.— Ваше, вашего дяди Амбруаза и всех наших молодых французов, которых память заставила совсем потерять голову. Я с радостью вижу, что многие из вас запомнили то, что достойно запоминания в нашем старом обязательном народном образовании.

Он посмеялся.

— Выражение «сохранять смысл» можно толковать двояко. Кажется, я задавал вам когда-то сочинение на эту тему. Именно сочинение по французскому языку.

— Очень хорошо помню, господин Пендер. «Сохранять здравый смысл — то есть действовать по велению рассудка, разумно». Или же наоборот: «Сохранять смысл жизни».

Мой старый учитель казался очень довольным. Он давно уже был на пенсии, сморщился, царственность его немного увяла; однако существует другая молодость, молодость, из-за которой даже семидесятилетнего школьного учителя могут отправить в концлагерь.

— Вот, вот,— сказал он, не уточняя, к чему относится его одобрение.

Собачка хозяина, Лорнетка, фокстерьер с кольцами черной шерсти вокруг глаз, дала лапку господину Пендеру. Господин Пендер погладил ее.

— Надо иметь воображение,— сказал он.— Много воображения. Посмотрите на русских: согласно этой газете, они уже проиграли войну, но, кажется, у них тоже достаточно воображения, чтобы не замечать этого.

Он встал.

— Очень хорошо, ученик Флери. «Сохранять смысл жизни» — иногда совершенно противоположно «сохранению здравого смысла». Ставлю вам отличную оценку. Зайдите ко мне как-нибудь на днях, да поскорее. Официант!

Он положил на стол двадцать су, снял пенсне и аккуратно спрятал его в жилетный карман — пенсне прикреплялось к нему черной бархатной ленточкой. Еще раз поклонился пустому стулу, надел шляпу и удалился несколько скованной походкой (колени портили ему жизнь). С мая 1941-го по июль 1942-го он написал значительную часть подпольной «литературы», распространяемой в Нормандии. Его арестовали в 1944 году, накануне высадки союзников: он слишком верил в свои кроссворды — они появлялись дважды в неделю на четвертой странице «Ла газетт» и содержали инструкции для участников Сопротивления западного района, но один

товарищ выдал ключ гестапо, после того как ему вырвали несколько ногтей.

Между тем, когда однажды утром на стенах в Клери обнаружили плакаты, где говорилось о «вечной Франции» с той новой и неожиданной силой, когда избитые фразы вдруг оживают и, преображаясь, сбрасывают свои старые заплесневелые оболочки, подозрение пало на Амбруаза Флери. Я удивлялся неожиданному чутью профессионалов с весом, которые, зная, что любой подброшенный в воздух предмет, даже воздушный змей, в конце концов падает на землю, как бы ни была сильна надежда, все же отдавали должное старому чудаку, выходящему на луг в компании детей, подняв глаза к одному из своих «ньямов»,— теперь их запрещалось запускать на высоту более пятнадцати метров.

О том, что дядю подозревают, нам сообщил сын наших соседей Кайе: утром он прибежал галопом к нам в мастерскую. Жанно Кайе был такой белокурый, как если бы его с головы до ног осыпали пшеницей; он совсем запыхался, больше от волнения, чем оттого, что бежал.

— *Они* идут!

После чего, отдав сначала должное дружбе, он отдал должное и нормандской осторожности, выбежав прочь и исчезнув со скоростью вспугнутого кролика.

Оказалось, что *«они»* — это мэр Клери господин Плантье и секретарь мэрии Жабо, которого господин Плантье попросил остаться снаружи, видимо не желая, чтобы его доверенное лицо было свидетелем, поскольку доверенные лица тогда ели из всех кормушек. Он вошел, вытер лоб большим платком в красную клетку — официальные лица начали сильно потеть после первых диверсий — и сел на скамейку, в своей вельветовой куртке цвета мочи и крагах, не поздоровавшись, поскольку был в дурном настроении.

— Это ты, Флери, или не ты?

— Это я,— ответил дядя, так как он гордился нашей фамилией.— Флери существуют уже десять поколений, и я из их числа.

— Не прикидывайся идиотом. Они начинают расстреливать, может быть, ты не знаешь этого.

— Но что я сделал?

— Они нашли листовки. Настоящие призывы к безумию, другого слова нет. Надо быть сумасшедшим, чтобы противостоять немецкому могуществу. Повсюду шепчут: только эти ненормальные Флери способны на такое. Молодой поджег дом, где немцы собирались разместить свой штаб,— не отрицай, скотина! — а старый в свободное время запускает в небо прокламации!

— Какие прокламации, к такой-то матери? — удивился дядя, проявив неожиданную для пацифиста нежность к лексикону, расцветшему во время Марны и Вердена.

— Твои паршивые воздушные змеи и листовки — это одно и то же! — проорал господин мэр, осененный пониманием, идущим больше от чувства, чем от ума.— Мои дети на днях видели твоего Клемансо! А это что еще?

Он направил обличающий перст на Золя.

— Это подходящее время, чтобы запускать Золя? Тогда уж почему бы не Дрейфуса? Старина, из-за некоторых глупостей можно оказаться у стенки перед взводом солдат!

— Мы не имеем никакого отношения к тем диверсиям, о которых говорят, а мои воздушные змеи и того меньше. Глоточек сидра? Вам это мерещится.

— Мне? — заревел Плантье.— Мне мерещится?

Дядя налил ему сидра.

— Никто не застрахован от игры воображения, господин мэр. Еще немного, и вам покажется, что в небе летает де Голль... Никто не застрахован от безумия, даже вы.

— Что это значит — даже я? Ты думаешь, мне не хотелось бы, чтобы немцы убрались отсюда?

— Но я все же надеюсь, что вы не из тех, кто каждый вечер слушает лондонское радио!

Плантье мрачно смотрел на него.

— Слушай, тебе необязательно знать, что я слушаю и чего не слушаю!

Он встал. Он был толстый. От жира еще больше потел.

— Пойми, что всех устроит, если можно будет доказать, что листовки печатают ненормальные. Если они возьмутся за нормальных людей, ни у кого не будет ни минуты покоя. Мне бы следовало тебя выдать, ради общих интересов. Не знаю, что меня удержало.

— Может быть, то, что вы приходили сюда играть с моими воздушными змеями, когда были маленьким. Помните?

Плантье вздохнул:

— Должно быть, так.

Он подозрительно осмотрелся. Воздушные змеи из «исторической серии» королей Франции были подвешены к балкам, а когда они висят вот так, головой книзу, вид у них печальный. Плантье показал на одного пальцем.

— Это кто?

— Добрый король Дагобер. Он не запрещенный.

— Да уж. Сегодня никто не знает, что запрещено и что нет.

Он сделал шаг к двери.

— Хорошо делай уборку, Флери. Они придут, и если найдут хоть одну листовку...

«Они» не нашли листовок. Им не пришло в голову поискать их внутри «королей Франции». Печатный станок тоже не нашли. Он был в яме под кучей навоза. Они немного потыкали вилами в навоз, который отозвался, как следует, и прекратили поиски.

Немецкие солдаты часто заходили, чтобы заказать нам «ньямов» — они посылали их в подарок детям. Во внутренностях некоторых воздушных змеев таились не только призывы к сопротивлению, вышедшие из-под пламенного пера господина Пендера, но и сведения о главных группировках немецких войск и расположении береговых батарей. Приходилось быть очень внимательными, чтобы не спутать «товар на продажу» с непродажными змеями.

Наши соседи Кайе все знали о нашей деятельности, и Жанно Кайе часто служил нам гонцом. Что касается Маньяров, я порой спрашивал себя, замечают ли они, что Франция оккупирована. К немцам у них было то же отношение, что и ко всему миру: они их игнорировали. Никто никогда не видел, чтобы они проявляли хоть малейший интерес к тому, что происходит вокруг них.

— Но они по-прежнему делают лучшее масло в округе,— одобрительно говорил Марселен Дюпра.

Хозяин «Прелестного уголка» рекомендовал нас своей новой клиентуре, и даже сам знаменитый немецкий пилот Мильх нанес нам визит.

Нашим самым постоянным гостем в Ла-Мотт был мэр Клери. Он садился на скамью в мастерской и сидел, мрачный и недоверчивый, глядя, как дядя приделывает тело и крылья к наивным картинкам, которые ему присылают дети; потом уходил. Он казался обеспокоенным, но хранил свои опасения про себя. Но однажды он отвел дядю в сторону.

— Амбруаз, в конце концов ты сделаешь глупость. Я чувствую. Что ты скрываешь?

— То есть?

— Ладно, ладно, не прикидывайся. Я уверен, ты его где-то прячешь, а потом запустишь, и тебя посадят, это я тебе говорю.

— Я не знаю, о чем вы говорите.

— Ты сделал змея в виде де Голля, я знаю, так я и думал. Знаешь что тебя ждет в тот день, когда ты его запустишь?

Дядя сначала ничего не сказал, но я видел, что он тронут. Когда что-то его трогало, его взгляд смягчался. Он сел рядом с мэром.

— Ну, ну, не думай об этом все время, Альбер, иначе ты и не

заметишь, как закричишь с балкона мэрии: «Да здравствует де Голль!» И не делай такого лица...

Он засмеялся в густые усы.

— Я тебя не выдам!

— Выдать меня — за что? — завопил Плантье.

— Я не скажу немцам, что ты прячешь у себя де Голля.

Господин Плантье молчал, глядя себе под ноги. Потом он ушел и не вернулся. Он сдерживал себя еще несколько месяцев, а потом, в апреле 1942-го, ему удалось добраться до Англии в рыбацкой лодке.

Страна начала меняться. Присутствие невидимого становилось все ощутимее. Люди, которых считали «рассудительными» и «нормальными», рисковали жизнью, спасая сбитых английских летчиков и разведчиков «Свободной Франции»: они прыгали с парашютом. «Разумные» люди, буржуа, рабочие и крестьяне, которых вряд ли можно было обвинить в мечтах о несбыточном, печатали и распространяли газеты, где постоянно повторялось слово «бессмертие»,— и те, кого оно ожидало, погибали первыми.

XXIX

Как только война кончится, мы начнем строить наш дом, не знаю только, где и как раздобыть денег. Об этом я не хочу думать. Надо остерегаться переизбытка ясности и здравого смысла: это превращает жизнь в ощипанную птицу, лишая ее самых прекрасных перьев. Так что я сам проделал всю работу, и материалы обошлись мне не дороже воздушного змея. У нас есть собака, но мы еще не выбрали ей имя. Всегда надо что-то оставлять на будущее. Я решил не готовиться в институт, я выбрал профессию учителя начальной школы, из верности доброму старому «обязательному народному образованию»,— читая на стенах списки расстрелянных заложников, я спрашиваю себя, заслуживает ли оно стольких жертв. Иногда мне страшно; тогда дом становится моим убежищем; он скрыт от посторонних взглядов; только я знаю к нему дорогу; я построил его на месте нашей первой встречи; для земляники сейчас не сезон, но нельзя ведь жить только воспоминаниями детства. Часто я возвращаюсь сюда, разбитый от усталости после целых дней ходьбы по всей округе и нервного напряжения, и тогда мне стоит большого труда найти дом. Сколько ни говори о могуществе закрытых глаз — все мало. Но мне тем более трудно преодолевать минуты слабости, что в России немцы одерживают победу за победой, и сейчас не лучший момент, чтобы проводить ночи за упорным строительством дома для будущего, с каждым днем ускользающего все дальше. Наверное, Лила упрекает меня за эти минуты здравомыслия: она полностью зависит от того, что в «Прелестном уголке» называют «моей манией». Моя подпольная работа тревожит даже дядю. Я беспокоюсь, не очень ли он постарел, ведь говорят, что благоразумие наваливается на нас с годами. Но нет: он только советует мне быть осторожнее. Это верно, что я слишком рискую, но оружие все чаще сбрасывают с парашютом, и необходимо его принимать, прятать в надежном месте и учиться им пользоваться.

Я часто нахожу дом пустым. Понятно, что Лила не ждет меня дома, ведь мы мало что знаем о польском маки́ и группах партизан, которые прячутся в лесу; думаю, что существование там еще более сложно, ужасно и невыносимо, чем у нас. Говорят, там погибли уже миллионы.

В худшие моменты отчаяния и усталости Лила почти всегда приходит мне на помощь. Тогда мне достаточно взглянуть на ее изможденное лицо и бледные губы, чтобы сказать себе, что вся Европа ведет ту же борьбу, делает то же безумное усилие.

— Я ждал тебя столько ночей. Ты не приходила.

— Мы понесли тяжелые потери, пришлось уйти еще дальше в лес. Надо ухаживать за ранеными, а лекарств почти нет. У меня не было времени думать о тебе.

— Я это почувствовал.

На ней тяжелая военная шинель, на рукаве повязка с красным крестом

медсестры; я оставляю ей длинные волосы и берет, как в наши счастливые дни.

— А как у вас?

— «Выжидать и выйти сухими из воды». Но дело пойдет.

— Людо, будь осторожен. Если тебя поймают...

— С тобой ничего не случится.

— А если тебя убьют?

— Тогда тебя будет любить кто-нибудь другой, вот и все.

— Кто? Ханс?

Я молчу. Ей по-прежнему нравится дразнить меня.

— Долго еще, Людо?

— Не знаю. Есть старая поговорка: «Человек живет надеждой», но я начинаю думать, что это надежда живет нами.

Лучшие наши минуты — когда я просыпаюсь: теплая постель всегда напоминает женщину. Я растягиваю эти мгновения как могу. Но наступает день со своей весомой реальностью; надо передать сообщения, надо установить новые связи. Я слышу скрип паркета, я вижу, прикрыв глаза, как Лила одевается, ходит по дому, спускается в кухню, зажигает огонь и ставит греть воду, и я смеюсь при мысли, что эта девушка, которая никогда не делала ничего подобного, так быстро научилась хозяйничать.

Дядя ворчал:

— Еще двое безумцев живут только памятью, как ты: де Голль в Лондоне и Дюпра в «Прелестном уголке».

Он смеялся:

— Интересно, кто из них двоих победит.

XXX

«Прелестный уголок» процветал по-прежнему, но местные жители начинали косо посматривать на Марселена Дюпра: его упрекали в том, что он слишком хорошо обслуживает оккупантов,— что касается моих товарищей, они питали к нему неприкрытую ненависть. Я знал его лучше и защищал его, когда друзья называли его подхалимом и коллаборационистом. В действительности в начале оккупации, когда высшее немецкое офицерство и вся парижская элита уже толпились на «галереях» и в «ротонде», Дюпра сделал свой выбор. Его ресторан должен оставаться тем, чем он был всегда,— одной из подлинных ценностей Франции; и он, Марселен Дюпра, каждый день будет доказывать врагу, что его нельзя победить. Но поскольку немцы чувствовали себя при этом очень хорошо и оказывали ему покровительство, его позицию понимали неверно и строго осуждали. Я сам присутствовал при перепалке в «Улитке»: Дюпра зашел туда купить зажигалку, и господин Мазье, нотариус, набросился на него, заявив прямо:

— Ты бы постыдился, Дюпра. Вся Франция лопает брюкву, а ты кормишь немцев трюфелями и паштетом из гусиной печенки. Знаешь, как у нас называют меню «Прелестного уголка»? «Меню позора».

Дюпра весь напрягся. В его внешности всегда было что-то воинственное — в лице, которое мгновенно становилось жестким, в сжатых губах под короткими седыми усами и голубовато-стальных глазах.

— Я на тебя плевать хотел, Мазье. Если вы слишком глупы, чтобы понять, что я стараюсь сделать, тогда Франция действительно пропала.

— И что же ты такое делаешь, сволочь ты этакая?

Никто еще не слышал от нотариуса таких слов.

— Стою на посту,— проворчал Дюпра.

— На каком посту? На посту у пирога «Сен-Жак» с кервелем? На посту у супа с омарами и овощами? У тюрбо и фондю с луком? У жареной рыбы с тимьяновым соусом? Французская молодежь гниет в концлагерях, если только ее не расстреливают, а ты... Рыбное суфле в масле с душистыми травами! Салат из раковых шеек! В прошлый четверг ты подавал оккупан-

там тюрбо из омара и телячье жаркое, рулет из даров моря с трюфелями и фисташками, суфле из печени с брусникой...

Он вынул платок и вытер губы. Видно, слюнки потекли.

Дюпра молчал добрую минуту. У прилавка были люди: Жант из дорожного ведомства, хозяин по имени Дюма и один из братьев Лубро, которого через несколько недель арестовали.

— Слушай меня внимательно, идиот,— сказал наконец Дюпра глухим голосом.— Наши политики нас предали, наши генералы оказались рохлями, но те, кто несет ответственность за великую французскую кухню, будут защищать ее до конца. А что касается будущего...

Он испепелил их взглядом.

— Войну выиграет не Германия, не Америка и не Англия! Не Черчилль, не Рузвельт и не тот, как его, который говорит с нами из Лондона! Войну выиграет Дюпра и его «Прелестный уголок», Пик в Валансе, Пуэн во Вьене, Дюмен в Сольё! Вот что я должен вам сказать, идиоты!

Никогда еще я не видал на четырех французских физиономиях выражения такого изумления. Дюпра швырнул несколько мелких монет на прилавок торговца табаком и положил зажигалку в карман. Он еще раз смерил всех взглядом и вышел.

Когда я рассказал об этом происшествии, Амбруаз Флери кивнул в знак того, что он понял.

— Он тоже обезумел от горя.

В тот же вечер фургончик «Прелестного уголка» остановился перед нашим домом. Дюпра приехал искать поддержки у своего лучшего друга. Сначала оба не сказали ни слова и серьезно принялись за кальвадос. Передо мной сидел совсем не тот человек, которого я видел несколько часов назад в «Улитке». У Марселена было бледное, искаженное лицо, от его решительного вида не осталось и следа.

— Знаешь, что мне сказал на днях один из этих господ? Он встал из-за стола и заявил, улыбаясь: «Герр Дюпра, силами немецкой армии и французской кухни мы вместе завоюем Европу! Европу, которой Германия даст силу, а Франция — вкус! Вы дадите новой Европе то, чего она ждет от Франции, и мы сделаем так, что вся Франция станет одним большим «Прелестным уголком»! И он добавил: «Знаете, что сделала немецкая армия, когда дошла до линии Мажино? Она двинулась дальше! А знаете, что она сделала, дойдя до «Прелестного уголка»? Она остановилась. Ха-ха-ха!» И он расхохотался.

В первый раз я видел слезы на глазах Дюпра.

— Ну ладно, Марселен! — мягко сказал дядя.— Я знаю, что после таких слов часто поют отходную, но... мы с ними разделаемся!

Дюпра взял себя в руки. В его глазах снова появился знакомый стальной блеск и даже промелькнула какая-то жестокая ирония.

— Кажется, в Америке и в Англии повторяют: «Францию нельзя узнать!» Ну что ж, пусть приходят в «Прелестный уголок», они ее узнают!

— Так-то лучше,— сказал дядя, наполняя его стакан.

Оба теперь улыбались.

— Потому что,— сказал Дюпра,— я не из тех, кто стонет: «Не знаю, что нам готовит будущее!» Я-то знаю: в справочнике Мишлена Франция всегда будет!

Дяде пришлось проводить его домой. Думаю, именно в тот день я понял отчаяние, гнев, но также и верность Марселена Дюпра, эту чисто нормандскую смесь ловкости и скрытого огня — огня, о котором он когда-то говорил мне, что он «отец всех нас». Во всяком случае, когда в марте 1942 года зашла речь о том, чтобы сжечь «Прелестный уголок», где за столом оккупантов толпились самые видные коллаборационисты, я возражал изо всех сил.

На этом собрании нас было пятеро, в том числе господин Пендер: я с ним долго говорил, и он обещал сделать все возможное, чтобы охладить горячие головы. Присутствовали: Гедар, начинавший работу по размещению подпольных посадочных площадок на западе; Жомбе, агрессивный и нервный, словно он уже предчувствовал свой трагический

конец; школьный учитель Сенешаль и прибывший из Парижа для расследования с местными подпольщиками «дела Дюпра» и принятия необходимых решений Вижье. Мы собрались в доме Гедара, на втором этаже, через дорогу от ресторана, который был как раз напротив. Перед гостиницей уже стояли рядами генеральские «мерседесы» и черные «ситроены» гестапо и их французских коллег. Жомбе стоял у окна, слегка отодвинув занавеску.

— Больше невозможно терпеть,— повторял он.— Вот уже два года Дюпра подает пример раболепия и низости. Этого нельзя выносить. Этот повар из кожи лезет вон, чтобы услужить бошам и предателям.

Он подошел к столу и открыл «досье» Дюпра. Доказательства пособничества врагу, как тогда говорили.

— Вы только послушайте...

Нам не нужно было слушать. Мы знали «доказательства» наизусть. «Жареный угорь в изумрудном соусе» — подавался послу Гитлера в Париже Отто Абецу и его друзьям. «Фантазия гурмана «Марселен Дюпра» — заказ посла Виши в Париже Фернана де Бринона (его расстреляли в 1945 году). «Пирог со спаржей и раками», «Суфле из печени с брусникой» — заказ самого Лаваля с его когортой из Виши. «Жаркое с овощами «Старая Франция» — подавалось Грюберу и его французским помощникам из гестапо. И еще двадцать-тридцать прекраснейших произведений «лучшего мастера Франции», которые только за одну неделю прошлого месяца потребил как победитель новый командующий немецкой армией в Нормандии генерал фон Тиле. Одна только карта вин говорила о желании Дюпра предложить оккупантам все лучшее, что могла дать земля Франции.

— Нет, вы только послушайте! — рычал Жомбе.— Он мог бы по крайней мере спрятать свои бутылки, сохранить их для союзников, когда они будут здесь! Но нет, он все выставил, все выложил, все *продал*! От «Шато-Марго» двадцать восьмого года до «Шато-Латур» тридцать четвертого, даже один «Шато-Икем» двадцать первого!

Сенешаль сидел на кровати, поглаживая своего спаниеля. Высокий белокурый здоровяк. Я стараюсь оживить в памяти, мысленно увидеть хотя бы цвет волос того, от которого через несколько месяцев ничего не осталось.

— Я встретил Дюпра неделю назад,— сказал он.— Он объехал фермы и возвращался — его колымага вся была набита пакетами. У него был фонарь под глазом. «Хулиганы»,— сказал он мне. «Слушайте, господин Дюпра, это не хулиганы, и вы это хорошо знаете. Вам не стыдно?» Он стиснул зубы. «И ты тоже, малыш? А я тебя считал хорошим французом».— «А по-вашему, что такое сегодня хороший француз?» — «Я тебе скажу, если ты не знаешь. Но меня это не удивляет. Вы забыли даже свою историю. Сейчас хороший француз — тот, кто хорошо держится». Я остолбенел. Он сидит за рулем своего фургона, бензином его снабжают оккупанты, он везет лучшие французские продукты немцам и говорит мне о тех, кто «хорошо держится»! «А что такое, по-вашему, хорошо держаться?» — «Это значит не сдаваться, не вешать голову и оставаться верным тому, что создало Францию... Вот! — Он показал мне свои руки.— Мой дед и мой отец работали для великой французской кулинарии, и великая французская кулинария никогда не сдавалась, она не знала поражения и никогда его не узнает, пока жив будет Дюпра, чтобы защищать ее от немцев, от американцев, от кого угодно! Я знаю, что обо мне думают, я слышал достаточно. Что я из кожи вон лезу, чтобы доставить удовольствие немцам. К черту. Скажи, разве священник в Нотр-Дам мешает немцам преклонять колена? Через двадцать-тридцать лет Франция увидит, что главное спасли Пик, Дюмен, Дюпра и еще несколько человек. Однажды вся Франция совершит сюда паломничество, и имена великих кулинаров возвестят в четырех краях света о величии нашей страны! Однажды, мой мальчик, кто бы ни выиграл войну, Германия, Америка или Россия, эта страна окажется в такой грязи, что, чтобы в чем-то разобраться, останется только справочник Мишлена, и даже этого будет недостаточно! Тогда-то возьмутся за справочники, я тебе говорю!»

Сенешаль замолчал.

— Он в отчаянии,— сказал я.— Не надо забывать, что он из поколения войны четырнадцатого года.

Он улыбнулся мне.

— Он немного похож на твоего дядю с его воздушными змеями.

— Думаю, что ему плевать на всех,— сказал Вижье.— Он весь отдается любви к своему ремеслу и смеется над нами.

Господин Пендер был несколько смущен.

— У Дюпра есть определенное представление о Франции,— пробормотал он.

— Что?! — заревел Жомбе.— И это вы говорите, господин Пендер?

— Успокойтесь, друг мой. Потому что следует все же рассмотреть одну гипотезу...

Мы ждали.

— А если Дюпра — ясновидящий? — тихо сказал господин Пендер.— Если он видит далеко вперед? Если он действительно провидит будущее?

— Не понимаю,— проворчал Жомбе.

— Может быть, Дюпра — единственный среди нас, кто ясно видит будущее страны, и когда, предположим, нас убьют, а немцев победят, все это закончится, может быть, величием... кулинарии. Можно поставить вопрос следующим образом: кто здесь пойдет на смерть ради того, чтобы Франция стала «Прелестным уголком» Европы?

— Дюпра,— сказал я.

— Из любви или из ненависти? — спросил Гедар.

— Кажется, они достаточно хорошо уживаются вместе,— сказал я.— Кто крепко любит, крепко бьет и так далее. Думаю, если бы он мог опять очутиться в траншеях четырнадцатого года с винтовкой в руке, он мог бы дать нам понять, что у него на сердце.

— Посмотрите,— сказал Жомбе.

Мы подошли к окну. Четыре лица — три молодых, одно старое. Занавески из тонкой бумажной материи с розовыми и желтыми цветочками.

Господа разъезжались из ресторана.

Там были начальник гестапо Грюбер, двое его французских коллег, Марль и Денье, и группа летчиков, среди которых я узнал Ханса.

— Подложить туда бомбу,— сказал Жомбе.— И сжечь «Прелестный уголок» дотла.

— Такой поступок слишком дорого обойдется населению,— сказал я.

Я чувствовал себя неуверенно. Я хорошо понимал Марселена Дюпра, его отчаяние, искренность и притворство, его хитрость и подлинное чувство, и понимал его возвышающуюся над всем верность своему призванию. Я не сомневался, что в его бешенстве и унижении бывшего участника войны 14—18 годов французская кулинария стала для него «последним окопом». Это было некое сознательное ослепление, иной взгляд на вещи, позволяющий уцепиться за что-то, чтобы не утонуть. Конечно, я не смешивал храмы с пирогами, но, будучи воспитан среди воздушных змеев «этого безумца Флери», испытывал нежность ко всему, что позволяет человеку отдавать лучшую часть самого себя.

— Знаю, что вам это кажется нелепым, но не забывайте, что три поколения Дюпра до Марселена были кулинарами. Поражение и падение всего, во что он верил, глубоко травмировало его, и он отдался душой и телом тому, что осталось.

— Да, котлетам де-воляй под соусом «педераст»,— прорычал Жомбе.— Ты над нами смеешься, Флери.

У меня был готов план, о котором я уже говорил Сенешалю.

— Вместо того чтобы уничтожать «Прелестный уголок», надо его использовать. Благодаря вину немцы много и очень свободно говорят за столом. Надо поместить в ресторан кого-нибудь, кто знал бы немецкий и передавал нам сведения. Лондону гораздо больше нужна информация, чем шумные действия.

Я доказал также, что население подвергнется репрессиям, и операцию решено было отложить. Но я знал: если не смогу убедить товарищей, что Дюпра может быть нам полезен, рано или поздно «Прелестный уголок» сгорит.

XXXI

Несколько дней я ломал себе голову. Невеста Сенешаля, Сюзанна Дюлак, была филологом, ее специальностью был немецкий, но я не знал, как сделать, чтобы Дюпра взял ее на работу.

Несколько месяцев назад мне поручили координацию звеньев «цепочки спасения», которая позволяла переправлять сбитых летчиков союзников в Испанию. Как-то вечером один из братьев Бюи сказал мне, что они прячут у себя на ферме летчика-истребителя из «Свободной Франции». Бюи скрывали его уже неделю, чтобы «все немного успокоилось», и, когда немецкие патрули стали реже наведываться к сбитому самолету, предупредили меня.

Я застал пилота в кухне, за столом перед блюдом рубцов. Его звали Люккези. Черноволосый, кудрявый, с насмешливым лицом, в темно-синей форме с эмблемой лотарингского креста и с платком в красный горошек на шее, он держался так непринужденно, как будто падал с неба всю жизнь.

— Скажите, нет ли здесь хорошей гостиницы, которую я мог бы порекомендовать моим товарищам из эскадрильи? Мы сейчас теряем четыре-пять пилотов в месяц, так что если кто-нибудь приземлится здесь...

Мне придется прятать летчика как минимум неделю, прежде чем можно будет переправить его в Испанию. Тут меня и осенило.

На следующий день, поздно вечером дядя проводил меня в «Прелестный уголок». Я застал Дюпра в мрачном раздумье; рядом сидел его сын Люсьен. Радио Виши не скупилось на информацию, и было отчего прийти в уныние. Британского торгового флота больше не существует, Африканский корпус подходит к Каиру, итальянская армия оккупирует Грецию... Никогда еще я не видел, чтобы Марселен Дюпра был так огорчен дурными вестями. Но как только он заговорил, я увидел, что ошибаюсь. Хозяин «Прелестного уголка» просто забыл выключить радио и размышляет о вещах не столь эфемерных.

— Я никогда не включал в свое меню говяжье филе Россини. Рецепт того самого Эскофье. Он был просто шарлатан. Знаешь, что такое говяжье филе Россини? Один обман. Эскофье его выдумал, потому что мясо у него часто было низкого качества и он забивал его вкус паштетом из гусиной печенки и трюфелями, чтобы обмануть язык. Мы к этому и пришли и в политике, и во всем — к филе Россини. Один обман. Продукт подпорчен, значит, его приправляют ложью и прекрасными фразами. Чем больше слов, чем больше размах, тем больше будь уверен, что суть фальшивая. Я этого Эскофье всегда терпеть не мог. Знаешь, как он называл лягушачьи лапки? «Крылья нимф на заре»...

Два американских авианосца потоплены в Тихом океане... За две прошлые ночи немецкая авиация сбила триста английских бомбардировщиков...

У Дюпра остекленели глаза.

— Так дальше продолжаться не может,— говорил он.— Все превращается в дешевые трюки. Например, что касается оформления,— пора этому положить конец. То, что на блюде, говорит само за себя. Но мне не удается этого доказать. Даже Пуэн отказывается признать, что украшение еды — вещь противоестественная. При оформлении кушанье теряет свою свежесть, первозданность и аромат. Оно должно появляться на блюде прямо с огня. А Ванье осмеливается говорить: «Только в трактирах еду приносят из кухни на тарелках». А где во всем этом вкус? Главное — вкус, который надо поймать в момент кульминации, когда готовность и аромат достигают высшей точки, надо не упустить это мгновение...

Сотни тысяч пленных на русском фронте... Жестокие репрессии сил

правопорядка против предателей и саботажников... За одну ночь двенадцать английских городов стерты с лица земли...

Внезапно я понял, что Дюпра говорит, чтобы не взорваться, и что он борется по-своему против уныния и отчаяния.

— Привет, Марселен,— сказал дядя.

Дюпра встал и выключил приемник.

— Чего вы от меня хотите в такое время?

— Малыш хочет тебе сказать пару слов. Лично.

Мы вышли. Он молча нас выслушал.

— Ничего не поделаешь. Я всей душой с Сопротивлением, я это достаточно доказал, поскольку держусь в невыносимых условиях. Но я не приму у себя летчика союзников под носом у немцев. Они меня закроют.

Дядя слегка понизил голос:

— Это не просто летчик, Марселен. Это адъютант генерала де Голля.

Дюпра как будто парализовало. Если когда-нибудь тому, кто твердой рукой держал руль «Прелестного уголка» во время шторма, воздвигнут памятник на площади Клери, думаю, его следовало бы изобразить именно таким, с жестким взглядом и сжатыми челюстями. Кажется, он чувствовал по отношению к главному участнику Сопротивления Франции некоторую ревность.

Он задумался. Я видел, что он колеблется и не может решиться. Дядя не без лукавства наблюдал за ним.

— Это очень мило,— сказал он наконец,— но ваш де Голль в Лондоне, а я здесь. Мне, а не ему приходится каждый день противостоять трудностям.

Он боролся с собой еще минуту. В тщеславии Марселена было нечто глубокое, не лишенное величия.

— Я не поставлю на карту все, что мне удалось спасти, ради вашего парня. Это слишком опасно. Рисковать «Прелестным уголком» ради красивого жеста — ну нет! Но я сделаю лучше. Я вам дам меню «Прелестного уголка», чтобы ваш парень передал его де Голлю.

Я остолбенел. В темноте высокая белая фигура Дюпра походила на какой-то призрак мстителя. Дядя Амбруаз на минуту потерял дар речи, но, когда Дюпра удалился на кухню, пробормотал:

— Да, некоторым из нас сейчас несладко, но этот просто взбесился.

Ворчанье английских бомбардировщиков смешалось с огнем зенитных орудий; эти звуки нормандская деревня слышала каждую ночь. Лучи прожекторов рассекали небо и скрещивались у нас над головой. А потом небо продырявила оранжевая вспышка: взорвался подбитый самолет с бомбами.

Вернулся Дюпра. Он держал в руке меню «Прелестного уголка». Рядом с Бурсьером упало несколько бомб.

— Вот слушайте. Это личное послание де Голлю от Марселена Дюпра...

Он повысил голос, чтобы перекричать шум немецких зениток:

— Суп из речных раков со сметаной;

Слоеный пирог с трюфелями и белым вином из Грава...

Окунь в томатном соусе...

Он нам прочел всю карту кушаний, от паштета из гусиной печенки в желе с перцем и теплого картофельного салата под белым вином до персиков с мороженым. Бомбардировщики союзников гудели у нас над головой, и у Марселена Дюпра слегка дрожал голос. Иногда он замолкал и сглатывал. Думаю, ему было немного страшно.

Со стороны железной дороги Этрийи земля вздрогнула от взрыва бомб.

Дюпра кончил и вытер лоб. Он протянул мне меню:

— Держи. Отдай его твоему летчику. Пусть де Голль вспомнит, что это такое. Пусть знает, за что он сражается.

Прожекторы продолжали играть лучами в небе, и колпак первого повара Франции как бы вспыхивал.

— Я не убиваю немцев,— сказал он.— Я их подавляю.

— Тебе просто наплевать на людей, Марселен,— тихо сказал дядя.

— Ах, ты так думаешь? Посмотрим. Посмотрим, за кем будет последнее слово, за де Голлем или за моим «Прелестным уголком».

— Нет ничего дурного в том, чтобы французская кухня победила, если только она не победит за счет всего остального,— сказал дядя.— Я только что прочел результаты конкурса — одна газета организовала его, чтобы узнать, что делать с евреями. Первый приз получила молодая женщина, которая ответила: «Жарить». Должно быть, она хорошая хозяйка и в наше время лишений мечтает о хорошем жарком. Впрочем, не следует осуждать страну за то, что она делает со своими евреями,— во все времена евреев судили за то, что с ними делали.

— К черту,— неожиданно сказал Дюпра.— Приводите вашего летчика. Только не воображайте, что я делаю это, чтобы хорошо выглядеть в будущем. С этой стороны я ничего не опасаюсь. Каждый мало-мальски соображающий немец, который ступает на порог «Прелестного уголка», понимает, что имеет дело с историческим превосходством и непобедимостью. На днях здесь обедал сам Грюбер. И знаете, что он заявил, когда кончил обедать? «Герр Дюпра, вас следовало бы расстрелять».

Мы молча ушли. Когда мы шли по лугу, дядя сказал:

— Во время поражения, когда вся страна рушилась, я думал, что Марселен сойдет с ума. Люсьен рассказал мне, что когда после падения Парижа он зашел в кухню, то застал отца на табурете с петлей на шее. Несколько дней он бредил, бормоча фразы, где утка с нормандскими травами и его знаменитое жибуле со сливками смешивались со словами «Фош», «Верден» и «Гинемер» [1]. Потом он хотел скрыться, а потом заперся в кабинете со своей коллекцией из трехсот меню, где есть все, что на памяти нескольких поколений составляло славу «Прелестного уголка». Думаю, он так и не оправился полностью, и именно в тот момент принял решение доказать Германии и нашей стране, что есть французский кулинар, который не сдается. Не нам с тобой обвинять его в «безумии».

XXXII

Завтрак лейтенанта Люккези в «Прелестном уголке» был памятным событием. Мы снабдили его новеньким костюмом и безупречными бумагами, хотя с начала оккупации у Дюпра никогда не бывало проверки документов. Лейтенанта обслуживали за лучшим столом «ротонды», среди старших офицеров вермахта, в числе которых был сам генерал фон Тиле. После завтрака Марселен Дюпра сам проводил Люккези до двери, пожал ему руку и сказал:

— Заходите к нам.

Люккези посмотрел на него.

— К сожалению, невозможно выбрать место, где тебя собьют,— сказал он.

С этого дня Дюпра больше ни в чем нам не отказывал. Думаю, не из-за того, что мы как бы «держали его на крючке», или из-за ощущения, что ветер подул в другую сторону и надо наладить отношения с Сопротивлением, а потому, что если слова «священный союз» имели для него какой-то смысл, то, по его мнению, центром такого союза должен был стать «Прелестный уголок». Как сказал дядя, скорее нежно, чем насмешливо, «хотя Марселен и старше де Голля, у него есть все шансы стать его наследником».

Таким образом, Дюпра согласился взять на работу в качестве «очаровательной хозяйки» (его единственным условием было: «только не проститутку») невесту Сенешаля, Сюзанну Дюлак, одну из «наших», красивую молодую брюнетку с веселыми глазами, которая прекрасно знала немецкий; разумеется, обрывки застольных бесед, которые она подслушивала,

[1] Жорж Гинемер (1894—1917) — знаменитый французский летчик, погиб в воздушном бою. Имел на своем боевом счету 54 сбитых самолета.

интересовали Лондон — там как будто придавали большое значение всему, что происходит в Нормандии; мы получили приказ не пренебрегать никакой информацией. Но вскоре мы получили такой важный источник информации, что вся работа нашей организации перестроилась. Что до меня, мне понадобилось несколько дней, чтобы прийти в себя, так как помимо того, что меня потрясла неожиданность, я до сих пор и представить себе не мог, на что человеческое существо — в данном случае женщина — может пойти при железной решимости бороться и выжить.

Работая у Марселена Дюпра, я все чаще видел на накладных и счетах имя графини Эстергази — Gräfin, как говорили немцы,— к которой мой патрон питал большое уважение: она умела принимать гостей. «Прелестный уголок» полностью обеспечивал «буфет» на ее приемах, что приносило владельцу крупные суммы.

— Это настоящая дама,— объяснял мне Дюпра, разглядывая цифры.— Парижанка из очень хорошей семьи, была замужем за племянником адмирала Хорти, знаешь, венгерского диктатора. Говорят, он ей оставил огромные поместья в Португалии. Я раз был у нее — у нее на рояле фотографии Хорти, Салазара, маршала Петена, все с надписями. Веришь или нет, есть даже карточка самого Гитлера: «Графине Эстергази от ее друга Адольфа Гитлера». Я своими глазами видел. Неудивительно, что немцы перед ней лебезят. Когда она вернулась из Португалии после победы — то есть, я хочу сказать, после поражения,— она сначала поселилась в Оленьей гостинице, но гостиницу забрал немецкий штаб, а ей из уважения оставили особняк в парке. Во всяком случае, у нее собирается почти столько же людей из высшего света, как у меня.

Собаки в «Прелестный уголок» не допускались. В этом отношении Дюпра был непримирим. Даже померанскую овчарку, с которой иногда приходил Грюбер, просили подождать в саду; правда, Дюпра посылал ей в сад вкусный паштет. Однажды, когда я был в конторе, господин Жан вошел с пекинесом под мышкой.

— Это собачка Эстергази. Она просила передать ее тебе, а она сейчас за ней зайдет.

Я взглянул на пекинеса, и у меня на лбу выступил холодный пот. Это был Чонг, пекинес мадам Жюли Эспинозы. Я попытался взять себя в руки и убедить себя, что тут случайное сходство, но я никогда не мог хитрить с памятью. Я узнавал черную мордочку, каждый завиток белой и рыжей шерсти, маленькие рыжие ушки. Собачка подошла ко мне, положила лапки мне на колени и начала повизгивать, виляя хвостиком. Я прошептал:

— Чонг!

Он вскочил мне на колени и облизал мне лицо и руки. Я сидел и гладил его, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Возможно было только одно объяснение. Мадам Жюли выслали, а собачка каким-то образом оказалась у этой Эстергази. Я знал, как почтительно немцы обращаются с животными, и вспомнил одно сообщение в «Ла газетт», где население оповещалось, что «перевозка живой птицы вниз головой со связанными ногами под рамой велосипеда расценивается как пытка и строго воспрещается».

Итак, Чонг нашел новую хозяйку. Нахлынули воспоминания, воспоминания о «хозяйке», уверенной в поражении и принимающей все меры, чтобы подготовиться к будущему: от подготовки «безупречных» документов и миллионов в фальшивых банковских билетах до портретов Хорти, Салазара и Гитлера, которые так меня интриговали и которые «еще не были надписаны». Я продолжал потеть от волнения, когда господин Жан открыл дверь, и я увидел, что вошла мадам Жюли Эспиноза. По правде говоря, если бы не Чонг, я бы ее не узнал. От старой сводни с улицы Лепик осталась только темная глубина взгляда, вобравшего, казалось, весь тысячелетний жестокий опыт мира. Обрамленное седыми волосами лицо имело выражение немного высокомерной холодности; на плечи было небрежно наброшено манто из выдры; на шее — косынка серого шелка; она обзавелась величественной грудью, пополнела на добрый десяток килограммов и выглядела на столько же лет моложе:

потом она мне объяснила, что, используя свои связи, «рассталась с морщинами» в военном госпитале для тяжелообожженных в Берке. К косынке была приколота золотая ящерица, которую я так хорошо знал. Она подождала, пока господин Жан почтительно закроет за ней дверь, достала из сумки сигарету, прикурила от золотой зажигалки и затянулась, глядя на меня. На ее губах появился намек на улыбку, когда она увидела, как я сижу на стуле с разинутым от удивления ртом. Она взяла на руки Чонга и еще минуту внимательно и почти недоброжелательно смотрела на меня, как бы не одобряя доверие, которое вынуждена была оказать мне; потом она наклонилась ко мне.

— Дюкро, Сален и Мазюрье под подозрением,— прошептала она.— Грюбер их пока не трогает, потому что хочет выйти на остальных. Скажи им, чтобы на время притихли. И больше никаких собраний в задней комнате «Нормандца», или, во всяком случае, не одни и те же физиономии. Понятно?

Я молчал. У меня был туман перед глазами, и мне вдруг захотелось в уборную.

— Ты запомнишь фамилии?

Я кивнул.

— И ты им обо мне ничего не скажешь. Ни слова. Ты меня никогда не видел. Понял?

— Понял, мадам Жю...

— Молчи, дурак. Госпожа Эстергази.

— Да, госпожа Эстер...

— Не Эстер. Эстергази. Эстер в наше время неподходящая фамилия. И поторопись, потому что, если всё раскроется, Грюбер их заберет перед собранием. У меня там парень, который мне дает сведения, но этот идиот уже три дня лежит с пневмонией.

Она поправила на плечах манто из выдры, расправила косынку, посмотрела на меня долгим взглядом, раздавила сигарету в пепельнице на моем столе и вышла.

Я весь день пробе́гал, чтобы предупредить товарищей об опасности. Субабер непременно хотел знать, кто меня предупредил, но я сказал, что прохожий передал мне на улице записку и убежал со всех ног.

Я был настолько потрясен превращением хозяйки с улицы Лепик в эту явившуюся в контору статую командора, что старался не думать об этом и никому не сказал ни слова, даже дяде Амбруазу. В конце концов я решил, что мое «состояние» ухудшилось и у меня была галлюцинация. Но два-три раза в месяц, во время обеда, господин Жан приносил мне собачку *графини,* и, забирая ее, она всегда сообщала мне какие-то сведения, порой такие важные, что мне трудно было притвориться, что эту информацию мне передал незнакомый человек на улице в Клери.

— Послушайте, мадам... в общем, как вы хотите, чтобы я объяснил им, откуда у меня эти сведения?

— Я тебе запрещаю им говорить обо мне. Я не боюсь сдохнуть, но я уверена, что нацисты проиграют войну, а я хочу это видеть.

— Но как вы...

— Моя дочь — секретарша в штабе, в Оленьей гостинице.

Она зажгла сигарету.

— И она любовница полковника Штеккера.

Она усмехнулась и погладила Чонга.

— Оленья гостиница. У всех оленей есть рога. Скажешь твоим, что нашел эти сведения в конверте на своем столе. Ты не знаешь, откуда они. Скажи им, если хотят по-прежнему получать информацию, то не должны задавать тебе вопросов.

В. первый раз я увидел на ее лице тень беспокойства, когда она смотрела на меня.

— Я тебе доверилась, Людо. Это всегда большая глупость, но я пошла на риск. Я всегда стояла обеими ногами на земле, но на этот раз...

Она улыбнулась.

— Я недавно ходила смотреть на воздушных змеев твоего дяди. Там был один очень красивый, он вырвался у него из рук и улетел. Твой дядя мне сказал, что он уже не вернется или его подберут всего поломанного и разорванного.

— Погоня за небом,— сказал я.

— Никогда не думала, что со мной так будет,— сказала мадам Жюли Эспиноза, и неожиданно я увидел у нее на глазах слезы. Может, когда человек видел слишком много черного, небо заставляет терять голову.

— Можете мне верить, мадам Эстергази,— сказал я мягко.— Я вас не выдам. Вы ведь мне говорили, что у меня взгляд смертника.

Субабер не верил ни одному слову из этой истории с конвертом. Когда я вручил ему дислокацию всех немецких войск в Нормандии: количество самолетов на каждом участке, места размещения береговых батарей и зенитных орудий, количество немецких дивизий, выведенных из России и продвигающихся на запад,— он был близок к тому, чтобы начать разбор моего дела.

— Откуда это у тебя, скотина?

— Не могу вам сказать. Я поклялся.

Товарищи начинали бросать на меня странные взгляды. Лондон требовал сообщить источник сведений. Я до того ломал себе голову, что по нескольку дней не видел Лилу. Мне нужно было во что бы то ни стало найти выход из положения и добиться от той, кого я мысленно называл «еврейкой», разрешения все объяснить командиру нашей организации. В конце концов я прибег к доводу, которым не мог особенно гордиться, но который мне показался подходящим.

В воскресенье, побывав на мессе, Эстергази пришла обедать в «Прелестный уголок». Около трех часов *графиня* вошла ко мне в контору, вынула из сумки записку, бросила осторожный взгляд на дверь и положила бумажку передо мной.

— Выучи это наизусть и сразу сожги.

Это был список «доверенных лиц», то есть осведомителей, которыми гестапо располагало в нашем районе.

Я два раза перечитал фамилии и сжег бумагу.

— Как вы это достали?

Мадам Жюли сидела передо мной, вся в сером, гладя Чонга.

— Неважно.

— Да объясните же, господи. Это просто немыслимо. Это взято прямо из гестапо.

— Ладно, я скажу тебе. Арнольд, заместитель Грюбера, гомосексуалист. Он живет с одним из моих друзей, евреем.

Она потерлась щекой о мордочку Чонга.

— Только я знаю, что он еврей. Я ему сделала фальшивые арийские документы. Три поколения арийцев. Он ни в чем не может мне отказать.

— Теперь, когда у него хорошие бумаги, он может выдать вас, чтобы избавиться.

— Нет, мой маленький Людо, потому что я сохранила его *настоящие* документы.

В ее черных глазах было что-то непреклонное, почти непобедимое.

— До свиданья, малыш.

— Подождите. Как вы думаете, что с вами будет, если меня возьмут и расстреляют?

— Ничего. Мне будет очень грустно.

— Вы ошибаетесь, госпожа Эстергази. Если не будет меня, чтобы засвидетельствовать все, что вы сделали для Сопротивления, с первых же дней освобождения вами займутся. И тогда не будет никого, чтобы защитить вас. Останется только...

Я проглотил слюну и собрал все свое мужество.

— Останется только сводня Жюли Эспиноза, которая была в наилучших отношениях с немцами. Можете быть уверены, тогда будут расстреливать так же быстро, как сейчас. Только я знаю, что вы для нас сделали, и если меня уже не будет...

На секунду ее рука застыла на головке Чонга, потом продолжала гладить. Я был испуган собственной дерзостью. Но я увидел на лице «хозяйки» улыбку.

— Ну вот, ты сильно закалился, Людо,— сказала она.— Настоящий мужчина. Но ты прав. У меня есть свидетели в Париже, но, может быть, я не успею обернуться. Ладно, давай. Можешь сказать своим друзьям. И скажи им, чтобы завтра же было письмо с перечислением услуг, которые я им оказала. Я буду хранить его в надежном месте... там, куда, уважая мой возраст, никто уже не полезет. И скажи своему начальнику... как его?

— Субабер.

— Скажи, что, если кто-то проболтается, я первая это узнаю и успею скрыться, а вы не успеете. Никто из вас. Никто не уцелеет, даже ты. Меня слишком часто в жизни использовали, чтобы я позволила сделать это еще раз. Пусть твой начальник держит рот на замке, а то я его ему закрою навсегда.

В тот вечер мне понадобился целый час, чтобы все объяснить Суба. Выслушав меня, он сказал только:

— Да, эта шлюха — чудо.

Впоследствии мне пришлось почти пожалеть, что я прибег к такому средству, чтобы воздействовать на *графиню*. Я затронул ее самое чувствительное место: инстинкт самосохранения. Забота о том, что с ней будет после ухода немцев, стала ее навязчивой идеей: она только что не требовала от меня расписки каждый раз, как передавала мне сведения. Получив удостоверение «Выдающийся участник Сопротивления» с датой и подписью «Геркулес» (скромная боевая кличка, которую избрал себе Субабер), она потребовала еще одно, для дочери, и третье, также отпечатанное на машинке, с датой и подписью, но где имя владельца не было вписано.

— На случай, если я захочу кого-нибудь спасти,— объяснила она мне.

Скоро мадам Жюли дали в Лондоне зашифрованное имя: *Гаранс*. Сегодня широко известно, сколько она сделала для подполья, так как она получила орден Сопротивления, но здесь я изменил некоторые имена и детали, чтобы не поставить в неловкое положение ту, которая после войны приобрела такую известность. Она продолжала нас информировать, пока не высадились союзники, и ее ни разу не заподозрили и не тронули. До самого конца ее связи с оккупантами квалифицировались в наших краях как «постыдные»: за несколько дней до высадки она устроила для немецких офицеров Оленьей гостиницы garden-party [1]. Она осмелела до того, что разрешила нам установить приемник-передатчик в комнате своей горничной, и означенная горничная, Одетта Лонье, только что прошедшая курс обучения в Лондоне, могла, таким образом, спокойно работать в ста пятидесяти метрах от немецкого штаба.

С самого начала у нас была договоренность, что я никогда не буду сам вступать в контакт с *графиней*.

— Если у меня для вас что-то есть, я приду сюда обедать и оставлю тебе Чонга. Уходя, я его заберу и скажу тебе что надо. Если я захочу, чтобы ты пришел ко мне, я забуду здесь собачку, и ты мне ее принесешь...

Через несколько месяцев после нашей первой встречи господин Жан вошел ко мне в кабинет, где Чонг дремал на стуле.

— Эта Эстергази забыла собачонку. Она только что звонила. Она хочет, чтобы ты ее принес.

— Черт,— сказал я ради проформы.

Вилла, которую до войны занимала еврейская семья из Парижа, находилась в большом парке Оленьей гостиницы. Чонгу совсем не понравилась поездка на велосипеде у меня под мышкой, и он все время вырывался. Мне пришлось немного пройти пешком. Довольно хорошенькая горничная вышла на мой звонок.

— Ах да, мадам его забыла...

Она хотела взять песика, но я с мрачным видом упирался.

[1] Прием на открытом воздухе *(англ.)*.

— Послушайте, я час трясся на велосипеде и...

— Сейчас спрошу.

Через несколько минут она вернулась.

— Мадам просит вас зайти. Она хочет вас поблагодарить.

Графиня Эстергази, в скромном сером платье, которое так шло к ее белоснежным волосам, уложенным в пучок, появилась в дверях гостиной в сопровождении молодого немецкого офицера — он с ней прощался. Я его хорошо знал с виду: это был переводчик штаба, часто сопровождавший в «Прелестный уголок» полковника Штеккера.

— До свидания, капитан. И поверьте мне, адмирал Хорти стал регентом не по своей воле. Его популярность, значительная уже в семнадцатом году после битвы при Отранте, так возросла после того, как он разгромил в девятнадцатом году большевистскую революцию Белы Куна, что ему оставалось лишь склониться перед волей народа...

Это был, слово в слово, отрывок из учебника истории, который мадам Жюли пересказывала при мне наизусть в 1940 году, когда готовилась к победе немцев.

— Тем не менее говорят, что у него были династические чаяния,— сказал капитан.— Он сделал своего сына Иштвана вице-регентом...

— Ах, вот ты где.

Она мне улыбнулась.

— Бедненький. Я его забыла. Идите сюда, молодой человек, идите сюда...

Офицер поцеловал руку *графини* и вышел. Я прошел за ней в гостиную. На рояле стояли знаменитые «надписанные» портреты Хорти и Салазара, которые я видел в «гостинице транзита». На стене на видном месте был портрет маршала Петена. Недоставало только портрета Гитлера, который я тоже видел «подготовленным» на улице Лепик.

— Да, знаю,— сказала мадам Жюли, проследив за моим взглядом.— Но мне от него становилось дурно.

Она выглянула в переднюю, потом закрыла дверь.

— Этот красивый капитан спит со служанкой,— сказала она.— Тем лучше, это может пригодиться. Но я каждые два-три месяца меняю прислугу. Так вернее. А то они всегда слишком много узнают.

Она еще раз быстро открыла дверь и выглянула. Никого не было.

— Ну ладно. Иди сюда.

Я прошел за ней в спальню. За несколько минут в ней произошла удивительная перемена. В «Прелестном уголке» и когда она только что говорила с немецким офицером, это была светская дама; она держалась очень прямо, с высоко поднятой головой, опираясь на трость. Сейчас она тяжело переваливалась с ноги на ногу, как грузчик под непосильной ношей. Она как будто потолстела на двадцать килограммов и постарела на двадцать лет.

Она подошла к комоду, открыла ящик и вынула флакон духов «Коти».

— На, возьми.

— Духи, мадам Жю...

— Никогда меня так не зови, дурак. Избавься от этой привычки, а то можешь оговориться в неподходящий момент. Это не духи. Это убивает, но действует через сорок восемь часов. Слушай внимательно...

Так мы узнали в июне 1942-го, что новый командующий немецкими войсками в Нормандии генерал фон Тиле собирается дать в «Прелестном уголке» обед, на котором должны присутствовать сам министр люфтваффе маршал Геринг, группа лучших летчиков-истребителей, в том числе Гарланд, враг номер один английской авиации, и некоторые из наиболее высокопоставленных генералов.

Нашим первым решением, когда мы узнали день и час геринговского обеда, было нанести решающий удар. Ничего нет проще, чем подлить яду в кушанья. Но все же это было слишком важное дело, чтобы провести его по собственной инициативе, и мы запросили Лондон. Надо было все предусмотреть, в том числе эвакуацию Дюпра в Англию на подводной

лодке. О подробностях операции «Ахиллесова пята» рассказывалось уже не раз; в частности, в мемуарах Дональда Саймса «Огненные ночи».

Мне поручили убедить Дюпра, и я с опаской приступил к делу. В избранном генералом фон Тиле меню среди других блюд был рулет из даров моря с трюфелями и фисташками. Я изложил наш план — признаюсь, довольно слабым голосом.

Дюпра решительно отказался.

— Яд в моем рулете? Это невозможно.

— Почему?

Он испепелил меня тем голубовато-стальным взглядом, который я так хорошо знал:

— *Потому что это будет невкусно.*

Он повернулся ко мне спиной. Когда я робко попытался пойти за ним на кухню, он взял меня за плечи и молча вытолкал вон.

К счастью, Лондон послал нам приказ, аннулирующий операцию. Я даже задавал себе вопрос, не сам ли де Голль ее отменил, заботясь о престиже «Прелестного уголка».

XXXIII

Я меньше говорил с Лилой, меньше видел ее и лучше скрывал от посторонних глаз: таково было правило подполья. Время от времени то один, то другой из нас попадался, потому что слишком рисковал и не умел скрывать свой «смысл жизни». Я держал в памяти столько сотен адресов, которые без конца менялись, столько кодов, сообщений, военных сведений, что теперь Лила занимала в ней меньше места, ей пришлось сжаться и довольствоваться меньшим. До меня с трудом доходил ее голос с оттенком упрека, когда у меня была возможность подумать о ней, а не о завтрашнем дне, встречах, арестах и всегда возможном предательстве.

— Если ты так будешь забывать меня, Людо, все будет кончено. Все. Чем больше ты будешь меня забывать, тем больше я буду превращаться в воспоминание.

— Я тебя не забываю. Я тебя прячу, вот и все. Я не забыл ни тебя, ни Тада, ни Бруно. Ты должна была бы понять. Сейчас не время открывать немцам свой смысл жизни. Они за это расстреливают.

— Ты стал такой уверенный в себе, такой спокойный. Ты часто смеешься, как будто со мной ничего не может случиться.

— Пока я буду спокоен и уверен, с тобой ничего не случится.

— Как ты можешь знать? А если я умерла?

Когда я слышу этот коварный шепот, мое сердце почти останавливается. Но это не голос Лилы. Это только голос усталости и сомнения. Никогда еще я не делал таких усилий, чтобы сохранить свое безумие.

Я не пренебрегаю никакими уловками, никакими хитростями. Ночью я встаю, грею воду и наполняю ванну. Там, в своем заснеженном лесу, где такой мороз, что каждое утро под деревьями можно найти тельца замерзших птиц, они мечтают о горячей ванне.

— Ты действительно думаешь обо всем, Людо.

Она здесь, в тени моих век, она сидит по горло в теплой воде.

— Тяжело, знаешь. Голод, снег... А я так ненавижу холод! Я себя спрашиваю, сколько еще мы сможем продержаться. Русские все отступают. Никто нам не помогает. Мы одни.

— А как Тад?

— Он командует всеми здешними партизанами. Его имя стало легендарным.

— А Бруно?

Она улыбается.

— Бедняжка! Ты бы его видел с винтовкой в руке... Несколько месяцев он держался...

— Чтобы быть рядом с тобой.

— Теперь он в Варшаве, у своего профессора музыки. У него есть рояль.

Я чувствую, как чья-то рука резко трясет меня за плечо. В дождливом сумраке утра рядом стоит дядя.

— Вставай, Людо. Около Гуанских болот нашли английский самолет. На борту никого нет. Летчики, наверно, бродят в поисках убежища. Надо попытаться их найти.

Еще месяц, другой. Окружающая действительность становится все более жестокой, все более безжалостной: все, кто издавал газету «Кларте» [1], арестованы, никому не удалось спастись. Вот уже несколько недель, как я не видел Лилу; я даже ходил к доктору Гардье, чтобы узнать, нет ли у меня чего с сердцем. Но нет, все нормально.

Когда я слишком унывал, и у меня не хватало сил, и мое воображение складывало оружие, я отправлялся в Клери к своему старому учителю французского. Он жил в домике с садиком, зажатом между двумя деревьями. Госпожа Пендер готовила чай и подавала нам его в библиотеку. Ее муж усаживал меня и долго смотрел на меня поверх пенсне. Он был, наверно, последним человеком, который еще носил одежду из люстрина. Для письма он еще пользовался старым пером «сержан», каким писали, когда я был маленьким. Он говорил мне, что в молодости мечтал стать писателем-романистом, но что воображение помогло ему только найти жену. Госпожа Пендер смеялась, поднимала глаза к небу и наполняла чашки. Есть пожилые женщины, в которых при смехе или определенном жесте оживает молодая девушка. Я молчал. Я приходил не разговаривать, а успокоиться; эта пара успокаивала меня своей прочностью: их длительная совместная старость давала мне надежду. В доме было холодно, и господин Пендер сидел за письменным столом, набросив на плечи пальто, в широкополой шляпе и с фланелевым платком на шее; госпожа Пендер носила старомодные платья до щиколоток, ее совершенно седые волосы были собраны в пучок. Я жадно наблюдал за ними, как бы видя в них свое будущее. Я мечтал о старости, о том, чтобы на пороге дряхлости быть вместе с Лилой. Все, что было во мне сомнением, тревогой, почти отчаянием, успокаивалось при виде этой старой счастливой четы. В эту гавань мне хотелось приплыть.

— Над Амбруазом Флери и его воздушными змеями смеются по-прежнему,— сказал господин Пендер.— Это добрый знак. У смешного есть большое преимущество: это надежное место, где серьезное может затаиться и выжить. Что меня удивляет, так это, как гестапо вас не трогает.

— Они уже у нас рылись и ничего не нашли.

Господин Пендер улыбнулся.

— Это проблема, которую нацисты никогда не смогут решить. Здесь все их поиски оказываются безрезультатными. Как... твоя подруга?

— Нам многое сбрасывают с парашютом. Приемники-передатчики нового типа и при них инструктор. И оружие. Только на ферме Гамбье спрятано сто пистолетов, гранаты и зажигательные шашки... Я делаю все что могу.

Господин Пендер кивнул мне в знак того, что понимает.

— Я одного только боюсь, Людовик Флери,— вашей... встречи. Может быть, меня уже не будет, и это избавит меня от многих разочарований. Когда вернется Франция, она будет нуждаться не только во всей силе нашего воображения, но и во многих воображаемых вещах. И эта молодая женщина, которую ты три года так горячо воображаешь, когда ты ее найдешь... Придется тебе по-прежнему изо всех сил ее придумывать. Она наверняка будет совсем другой, чем раньше. Наши бойцы Сопротивления, ожидающие от Франции после освобождения бог весть какого чуда, часто будут смеяться над мерой своего разочарования; но их собственная мерка...

[1] Подпольная антифашистская газета, издававшаяся во время оккупации.

— Вопрос любви,— сказал я.

Господин Пендер сосал свой пустой мундштук.

— Ничто из того, что не может быть объектом воображения, не заслуживает права на существование — иначе море было бы только соленой водой... Я, например, уже пятьдесят лет не устаю придумывать свою жену. Я даже не дал ей постареть. Все ее недостатки я превратил в достоинства. А я в ее глазах человек необыкновенный. Она тоже всегда меня придумывала. За пятьдесят лет совместной жизни по-настоящему учишься не видеть друг друга, а выдумывать, каждый день. Конечно, всегда надо принимать вещи такими, какие они есть. Чтобы лучше свернуть им шею. Впрочем, цивилизация — не что иное, как постоянное свертывание шеи вещам, какие они есть...

Через год господина Пендера арестовали, и он не вернулся из концлагеря; не вернулась и его жена, хотя в концлагерь не попала. Я часто навещаю их в их домике, и они по-прежнему весело меня принимают, хотя их будто бы давно уже нет.

XXXIV

Принимая участие в подпольной борьбе, чтобы ускорить возвращение Лилы, я обеспечивал связь между товарищами; кроме того, я вместе с Андре Кайе и Лариньером отвечал за нормандское звено «цепочки спасения», которая прятала и переправляла в Испанию сбитых летчиков союзников — тех, кого наши подбирали раньше немцев. Только за февраль — март 1942-го мы смогли переправить пятерых из девяти пилотов, которым удалось посадить самолет или выброситься с парашютом. В конце марта Кайе сообщил, что на ферме Рие прячут летчика-истребителя,— место хорошее, но семья Рие начала беспокоиться, особенно старуха, ей восемьдесят лет, и она боится за своих. Мы пустились в путь на заре; стоял туман. Влажная земля липла к нашим башмакам; надо было пройти двадцать километров да еще обходить дороги и немецкие посты. Мы шли молча, и только когда были уже возле фермы, Кайе объявил:

— Слушай, я забыл тебе сказать...

Он бросил на меня искоса дружеский и немного лукавый взгляд.

— Может, это тебе будет интересно. Этот летчик — поляк.

Я знал, что в британских военно-воздушных силах много польских летчиков, но участникам Сопротивления такой попадался в первый раз. Тад, подумал я. Глупая мысль: согласно тому, что носит столь трагическое порой название «подсчет вероятностей», не было никакой вероятности, чтобы это был он. Надежда часто шутит с нами подобным образом, но в конце концов только такими шутками и живешь. Мое сердце страшно забилось; я остановился и устремил на Андре Кайе умоляющий взгляд, как если бы все зависело от него.

— В чем дело?

— Это он,— сказал я.

— Кто он?

Я не ответил. В лесу, за километр от фермы, был сарай, где Рие держали дрова; метрах в ста от сарая мы выкопали подземный ход: он вел к тайнику, где хранилось оружие; там прятались также товарищи, чья жизнь находилась под угрозой, и летчики, которых удавалось спасти. Снаружи вход был замаскирован кучей хвороста. Мы отгребли поленья и ветки и, приподняв заслон, спустились в двадцатиметровый ход, который вел к тайнику. Было очень темно; я зажег фонарик; летчик спал на матрасе, под одеялом; я видел только нашивку «Poland» [1] на рукаве его серого мундира и его волосы. Этого мне было достаточно, но сама мысль показалась такой невероятной, такой дикой, что я бросился к спящему и, отогнув одеяло, поднес фонарик к его лицу.

[1] Польша *(англ.)*.

Я стоял, склонившись над ним, держа конец одеяла и думая, что моя проклятая память снова воскрешает прошлое.

Но это не было иллюзией.

Бруно, нежный Бруно, такой неловкий, всегда погруженный в свои музыкальные фантазии, был здесь, передо мной, в форме английского летчика.

Я был не в силах шевельнуть пальцем. Кайе толкнул его, чтобы разбудить.

Бруно медленно встал. В темноте он не узнал меня. Только когда я осветил свое лицо фонариком, он прошептал:

— Людо!

Он обнял меня. Я не мог даже ответить на его объятие. Надежда сжала мне горло. Если Бруно удалось добраться до Англии, значит, Лила тоже там. Наконец я спросил, со страхом в голосе, потому что рисковал узнать правду:

— Где Лила?

Он покачал головой.

— Не знаю, Людо. Не знаю.

В его глазах было столько жалости и нежности, что я схватил его за плечи и встряхнул:

— Говори правду! Что с ней стало? Не старайся пощадить меня.

— Успокойся. Я не знаю, ничего не знаю. Я уехал из Польши через несколько дней после твоего отъезда, чтобы участвовать в музыкальном конкурсе в Англии. В Эдинбурге. Может быть, помнишь...

— Я все помню.

— Я приехал в Англию за две недели до войны. С тех пор я делал все возможное, чтобы что-то узнать... Как и ты, конечно... Мне ничего не удалось.

Ему трудно было говорить, и он опустил голову.

— Но я знаю, что она жива... Что она вернется. Ты тоже, правда?

— Да, она вернется.

Он в первый раз улыбнулся.

— Впрочем, она нас никогда не покидала...

— Никогда.

Он держал правую руку на моем плече, и я понемногу успокаивался от этого братского прикосновения. Я увидел ленточки наград на его груди.

— Ну и ну!

— Что ты хочешь, иногда несчастье меняет человека. Даже мирный мечтатель может стать человеком действия. С начала войны я пошел в английскую авиацию. Я стал летчиком-истребителем.

Он поколебался и сказал немного застенчиво, как о чем-то нескромном:

— На моем счету семь сбитых самолетов. Да, старина Людо, время музыки прошло.

— Оно вернется.

— Не для меня.

Он снял руку с моего плеча и поднял ее. У него был протез: не хватало двух пальцев. Он посмотрел на протез улыбаясь.

— Еще одна мечта Лилы улетучивается,— сказал он.— Помнишь? Новый Горовиц, новый Рубинштейн...

— И ты с этим можешь летать?

— Да, вполне. Я с этим одержал четыре победы... Что до того, знаю ли я, что мне делать со своей жизнью потом... Это другой вопрос. Но война еще не скоро кончится, так что этот вопрос, может быть, и не встанет.

Мы два дня провели вместе. Вооружившись превосходными немецкими документами, которые нам достала дочь госпожи Эстергази, мы могли пойти на небольшой риск, так что мы пообедали в «Прелестном уголке». Выражение лица Дюпра, когда он увидел перед собой «юного гения», как раньше называли Бруно, доставило мне величайшее наслаждение, незапланированное в меню хозяина. Здесь были и изумление, и радость, и страх, с которым он косился в сторону немецких офицеров и начальника полиции Эвре, сидящих в «ротонде».

— А, это вы! — Вот все, что он сказал.

— У командира эскадрильи Броницкого на счету семь побед,— сказал я, не слишком понижая голос.

— Заткнись, идиот,— проскрипел Дюпра, пытаясь улыбаться.

— Он возвращается в Англию, чтобы продолжать борьбу,— добавил я громче.

Не знаю, улыбался ли храбрый Марселен или показывал зубы.

— Не стойте тут, ради бога. Пойдемте.

Он увел нас на «левый борт», как он говорил, и усадил за самый укромный столик в зале.

— Все Флери ненормальные,— проворчал он.

— Если бы не безумие, господин Дюпра, Франция давно бы сдалась. И вы первый.

Мы больше не говорили о Лиле. Она была здесь, рядом; мы так ощущали ее присутствие, что говорить о ней — значило бы отдалить ее от себя. Бруно говорил, как он восхищается Англией. Он рассказывал о жизни народа, который шел к победе, потому что в 1940-м не захотел понять, что война проиграна.

— Они сохранили свою приветливость и хорошее настроение. Ни малейшей вражды к нам, иностранцам, не упускающим случая переспать с сестрами и женами английских солдат, которые сражаются за морем. А как французы?

— Приходят в себя. На нас это навалилось неожиданно, так что понадобилось время.

Два раза к нам подходил Марселен Дюпра с видом одновременно обеспокоенным и виноватым.

Мы ели пулярку под соусом «Флеретт».

— Видите, я держусь,— сказал он Бруно.

— Очень вкусно. Так же вкусно, как и раньше. Браво.

— Вы им там скажите. Они могут приходить. Их хорошо примут.

— Я скажу им.

— Но уходите скорей...

Может быть, он хотел сказать «приходите скорей». Следовало все же допустить такую возможность.

Во второй раз, осторожно оглядевшись, он спросил у Бруно:

— А ваша семья? У вас есть известия?

— Нет.

Дюпра вздохнул и удалился.

После обеда мы спокойно отправились в Ла-Мотт. Дядя стоял у фермы и курил трубку. Он не удивился, узнав Бруно.

— Что ж, на свете все возможно,— сказал он.— Это доказывает, что иногда последнее слово остается за мечтателями и мечты не всегда рушатся.

Я сказал ему, что Бруно стал в Англии летчиком, что он сбил семь самолетов противника и дней через десять снова будет драться. Пожимая ему руку, дядя, видно, почувствовал два стальных пальца протеза: он бросил на Бруно быстрый грустный взгляд. Потом его одолел приступ кашля, от которого на глазах выступили слезы.

— Слишком много курю,— проворчал он.

Бруно захотел посмотреть «ньямов», и дядя провел его в мастерскую, где дети возились с бумагой и банками клея.

— Вы их всех уже видели,— сказал Амбруаз Флери.— Я сейчас не делаю новых, я держусь за старых. В наше время нам меньше нужны новинки, чем воспоминания. И потом, их нельзя запускать. Немцы не дают им достаточно высоты. Сначала они ограничили высоту до тридцати, потом до пятнадцати метров, а сейчас они только что не требуют, чтобы мои воздушные змеи ползали. Боятся, что они могут служить для ориентировки летчикам союзников, а может, им кажется, что это какие-то шифрованные послания подпольщикам. В общем-то, они не так уж не правы.

Он еще долго смущенно кашлял, и Бруно поспешил ответить на его невысказанный вопрос:

— К сожалению, у меня нет вестей о семье. Но я не беспокоюсь за Лилу. Она вернется.

— Мы все здесь в этом уверены,— сказал дядя, бросив взгляд на меня.

Мы пробыли в Ла-Мотт еще час, и опекун попросил Бруно связаться с его другом лордом Хау: пусть Бруно от имени Амбруаза Флери выразит дружеские чувства и благодарность членам общества «Воздушные змеи Англии»; местное отделение в Клери шлет им братский привет.

— Удивительно, как в сороковом они выстояли одни.

Потом он произнес немного смешную фразу, мне странно было слышать ее от такого скромного человека.

— Я счастлив, что смог принести пользу,— сказал он.

В тот же вечер Бруно был на пути в Испанию, а через две недели мы получили «зашифрованное сообщение» Би-би-си, подтверждающее его прибытие в Англию: *«Виртуоз снова за роялем»*.

Я был глубоко взволнован нашей встречей. Это как бы предвещало конец неестественного положения вещей, внушало надежду на возвращение другого человека. Я усматривал в этом вызове теории вероятности божью благосклонность. Не будучи верующим, я часто думал о Боге, потому что теперь человек более чем всегда нуждался в самых своих прекрасных творениях. Я уже говорил, как бы оправдываясь, что, занимаясь работой, чтобы ускорить возвращение Лилы, я все меньше ощущал ее физическое присутствие рядом с собой, и в этом я тоже видел добрый знак: так было, когда она перестала писать мне из Гродека, так как мы обязательно должны были встретиться. Я жил в предчувствии этой встречи. Мне казалось, что вот-вот дверь откроется и... Но это было пустое шаманство, и изменилось только мое отношение к дверям. Так как я теперь почти верил, что она жива, я больше не выдумывал ее, ограничиваясь воспоминаниями. Я вспоминал наши прогулки на берегу Балтийского моря, когда Лила «мечтала о себе» с такой досадой и с таким пылом.

— Для меня единственная возможность — написать гениальное произведение. До сих пор женщине не было дано написать «Войну и мир». Может быть, это то, что я должна сделать...

— Толстой это уже написал.

— Хватит, Людо! Каждый раз, как я пытаюсь что-то сделать из своей жизни, ты мне мешаешь. К черту!

— Лила, я уж вовсе не собираюсь стать первой женщиной-Толстым, но...

— Ну, теперь сарказм! Только этого нам недоставало!

Я смеялся. Я был почти счастлив. Я черпал в своей памяти силу, которая, как говорил Амбруаз Флери, «была нужна французам, чтобы каждое утро вставало солнце».

XXXV

Количество диверсий возрастало, и немцам всюду начали мерещиться «вражеские агенты» — это походило на шпиономанию, захватившую в 39—40-х годах французов. Оккупанты проявляли бóльшую жестокость, и даже у Дюпра случались неприятности. Тем не менее Грюбер, начальник гестапо в Нормандии, был частым гостем в «Прелестном уголке». Думаю, что его больше всего интересовали отношения между высшим офицерством вермахта и французскими деятелями.

Грюбер был плотный, белесый, с волосами, подстриженными на уровне ушей, и мертвенно-бледным лицом. Мне приходилось наблюдать за ним, когда он дегустировал самые изысканные блюда, и меня поражало, что он делал это с выражением одновременно внимательным и презрительным. Между тем глаза других немцев, таких, как генерал фон Тиле и Отто Абец, людей высокой культуры, выражали восхищение, смешанное с глубоким

удовлетворением, как если бы, завоевав Францию, они садились за наш стол, чтобы вкусить ее во всей ее несравненной неповторимости. Думаю, что для многих немцев, как вчера, так и сегодня, Франция была и есть место наслаждений. Так что я привык к гамме выражений, с которыми победители кушали хотя бы простого петуха в вине или рагу по-герцогски. О чем они думали в действительности, я не знал. Возможно, это был символический обряд, мало отличавшийся от обычая великих цивилизаций прошлого, например, у инков или ацтеков, когда победитель вырывал у побежденного сердце и съедал его, чтобы завладеть душой и разумом убитого. Но Грюбер жевал с выражением, сильно отличавшимся от того, какое я обычно наблюдал. Как я уже говорил, здесь было подозрительное, немного презрительное и, во всяком случае, сардоническое внимание человека, на которого не так легко произвести впечатление. Люсьен Дюпра нашел нужное слово:

— Погляди на него. Он *расследует*. Он хочет знать, как это делается.

Именно так. Думаю, многие немцы, которые находились во Франции во время оккупации, также спрашивали себя, «как это делается».

Трудно было понять, чем «Прелестный уголок» мог привлекать такого невежественного человека, как Грюбер. Словцо Дюпра «он чует врага», по моему мнению, не подходило к примитивному характеру этого индивидуума, тем более что Грюбер часто называл заведение «местом растления».

Марселен Дюпра не старался его ублажить, хотя и доставал для «Прелестного уголка» продукты вопреки всем действующим ограничениям. Он знал, что его поддерживают в высших сферах, и известно, что в начале оккупации немцы старались сохранить французскую элиту и привлечь ее на свою сторону. Для Дюпра эта политика объяснялась просто: вожди великого рейха намеревались «сотворить Европу» и стремились показать, что в этой Европе Франция будет занимать место, принадлежащее ей по праву. Но даже если предположить, что у Грюбера были строгие указания относительно заведения Дюпра, которые ему приходилось выполнять против воли, трудно было объяснить его обиженный и почти ненавидящий вид, когда он ел рулет из устриц,— как будто блюдо бросало вызов его нацистской вере.

Во всяком случае, никто не ожидал того, что он сделал, несмотря на все приказы, касающиеся «лиц, склонных к сотрудничеству»: 2 марта 1942 года он арестовал Марселена Дюпра.

Восемь дней ресторан не работал, и дело приняло такие размеры, что Абец посылал возмущенные телеграммы в Берлин; после войны их нашли; одну из них цитирует Штернер: «Имеется ведь приказ самого фюрера относиться с уважением к историческим центрам Франции».

Вернувшись после недели тюремного заключения, Дюпра был взбешен, но горд («я не сдаюсь»); однако он отказался рассказать нам, почему Грюбер его допрашивал и посадил в тюрьму. В Клери думали, что из-за черного рынка и из-за того, что Марселен не захотел давать взятки по повышенному тарифу. Кроме того, Дюпра находился под покровительством фон Тиле, а в то время отношения между нацистами и «высшей кастой» вермахта быстро портились. Что до меня, я был уверен, что Грюбер хотел напомнить и тем и другим, кто настоящий хозяин «Прелестного уголка».

У дяди было как будто другое представление о случившемся. Я так и не узнал, умышленно или нет он сыграл шутку с Марселеном, но смеяться он очень любил. Возможно, он просто выпил лишний стаканчик с друзьями, когда заявил за стойкой «Улитки»:

— Марселена допрашивали день и ночь. Он выдержал.

— Но что они хотели узнать? — спросил хозяин, господин Менье.

Дядя разгладил усы.

— Рецепт, черт подери,— сказал он.

Наступило молчание. Кроме хозяина, там были наш сосед Гастон Кайе и еще Антуан Вай — имя его сына сейчас на памятнике погибшим.

— Какой рецепт? — спросил наконец господин Менье.

— Рецепт,— повторил дядя.— Боши хотели знать, как это делается:

кролик по-фермерски в малиновом соусе, белое мясо «Шартрский собор» — в общем, все меню. И что же — этот чертов Марселен отказался говорить. Они подвергли его самым страшным пыткам, в ванне и все такое, но он хорошо держался. Он не выдал даже рецепта своей похлебки с тремя соусами. Вот, ребята, есть такие, кто начинает говорить, как только станет чуточку больно, но нашего Марселена едва не убили, а он все-таки молчал.

Трое стариков помирали со смеху. Дяде даже не пришлось им подмигивать.

— Я был уверен, что наш национальный Марселен будет молчать,— сказал папаша Кайе.— Рецепты «Прелестного уголка» — вещь священная. Да, но все-таки это здорово, черт возьми.

— Мы очень взволнованы,— сказал Вай.

Хозяин наполнил их стаканы.

— Надо всем рассказать,— прошептал дядя.

— Еще бы! — завопил Вай.— Надо, чтобы внуки рассказывали об этом правнукам, и так далее.

— Вот-вот, и так далее,— одобрил Кайе.— Мы обязаны — ради Марселена.

— Что надо, то надо,— заключил дядя.

Как вы, может быть, помните, история о великом французском кулинаре, который не выдал своих рецептов немцам даже под пыткой, была напечатана в сентябре 1945 года в американской военной газете «Stars and Stripes» [1]. В Америке она получила широкий отлик. Когда об этом спрашивали самого Марселена Дюпра, он пожимал плечами. «Люди болтают невесть что. Правда то, что для нацистов я был тем, чего они не выносят: непобедимой Францией, которая снова побеждает. Вот и все. Тогда они решили мне отомстить. Что до всего остального... Говорю вам, люди болтают невесть что».

— Ты слишком скромен, Марселен,— говорил дядя.

Мне пришлось присутствовать при рождении «легенды», когда Дюпра сердился и отрицал «все эти россказни». Дядя обнимал его за плечи и говорил серьезно:

— Ладно, ладно, Марселен. Есть вещи, которые важнее нас. Немного смирения. «Прелестный уголок» пережил страшные годы и должен начать жизнь сначала.

Марселен Дюпра еще некоторое время ворчал, потом махнул рукой.

XXXVI

27 марта 1942 года погода стояла холодная и пасмурная. Мне надо было переправить в Веррьер, что в десяти километрах от Клери, два новых приемника типа АМК-11 и некоторое количество «редкостей»: «козьего помета» со взрывателями замедленного действия и зажигательных «сигарет». Все это я спрятал под соломой и досками; я забрал снаряжение у Бюи; доктор Гардье одолжил мне свою повозку, и конь Клементин бежал бодро; для виду я положил на солому несколько воздушных змеев: отношение к мастерской Амбруаза Флери пока еще было благосклонное, она даже значилась в списке «поощряемых видов деятельности» комиссариата по работе с молодежью, как нам сообщил сам мэр Клери.

Я ехал по дороге мимо Гусиной усадьбы; доехав до входа, я увидел, что ворота широко распахнуты. У меня были к усадьбе довольно странные чувства владельца или, точнее, «хранителя памяти». Зная, что ничего не могу поделать, я все же не терпел непрошеных гостей. Я остановил Клементина, слез и пошел по главной аллее. Надо было пройти метров сто. Я был в двадцати шагах от бассейна, когда заметил, что на каменной скамье справа, под голыми каштанами, сидит человек. Он опустил голову и спрятал нос в меховой воротник пальто; в руке он держал трость и чертил

[1] «Звезды и полосы» *(англ.)*.

что-то ею на земле. Это был Стас Броницкий. Я не ощутил никакого волнения, у меня не забилось сердце — я всегда знал, что жизнь не лишена смысла и делает все от нее зависящее, даже если и ошибается порой. *Они* вернулись. Броницкий как будто не видел меня. Он смотрел себе под ноги. Концом трости он вывел несколько цифр и накрыл одну из них сухим листом каштана.

Возле развалин усадьбы стоял «мерседес» фон Тиле. Сквозь веранду и наполовину развалившуюся лестницу проросли кусты; крыша и чердак исчезли. Верхние этажи сгорели, сохранилась лишь нижняя часть фасада у входа, почерневшая от огня, с пустыми окнами. Огонь не тронул только комнаты первого этажа. Дверь была сорвана с петель каким-то охотником за дровами на зиму.

Я услышал в доме смех Лилы.

Я застыл с поднятыми глазами. Сначала я увидел, как вышли Ханс и генерал фон Тиле; еще мгновение, и я увидел Лилу. Я сделал один-два шага, и она меня заметила. Казалось, она не удивилась. Я стоял неподвижно. В ее появлении было что-то такое простое и естественное, что я и сейчас не знаю, объяснялось ли мое спокойствие сильнейшим шоком, лишившим меня способности чувствовать. Я снял кепку, как слуга.

На Лиле была белая дубленая куртка и берет; под мышкой она держала несколько книг. Она спустилась по ступенькам, подошла ко мне и, улыбаясь, протянула затянутую в перчатку руку.

— А, Людо, здравствуй. Рада тебя видеть. Я как раз собиралась тебя навестить. Как твои дела, хорошо?

Я онемел. Теперь во мне поднималось изумление, переходившее в ужас и панику.

— Хорошо. А ты как?

— Знаешь, со всеми этими ужасами, со всем, что происходит, могу сказать, что нам повезло. Только вот отец... В общем, это болезнь, и считают, что она пройдет. Извини, что я еще не была в Ла-Мотт, но уверяю тебя, я об этом думала.

— Да?

Все было так вежливо, так по-светски, что казалось, я вижу кошмарный сон.

— Я приехала посмотреть, что уцелело,— сказала она.

Думаю, она имела в виду усадьбу.

— Почти все сгорело, но, видишь, мне удалось найти несколько книг. Пруст, Малларме, Валери... Мало что осталось.

— Да.

Я пробормотал:

— Но все еще вернется.

Она рассмеялась.

— А ты не изменился. По-прежнему немножко странный.

— Ты знаешь, я страдаю от избытка памяти.

У нее стал раздосадованный, немного смущенный вид, но она быстро взяла себя в руки, и выражение ее глаз смягчилось.

— Я знаю. Не надо. Конечно, после стольких... несчастий прошлое кажется тем счастливее, чем оно дальше.

— Да, правда. А... Тад?

— Остался в Польше. Не захотел уехать. Он в Сопротивлении.

Фон Тиле и Ханс были в двух шагах и слышали нас.

— Я всегда знала, что Тад будет делать что-то великое,— сказала Лила.— Впрочем, мы все так думали. Он один из тех, кто когда-нибудь будет вершить судьбу Польши... То есть того, что от нее останется.

Фон Тиле скромно отвернулся.

— Ты немного думал обо мне, Людо?

— Да.

Ее взгляд затерялся где-то в вершинах деревьев.

— Другой мир,— сказала она.— Как будто века прошли. Ну, я не буду больше задерживать моих друзей. Как твой дядя?

— Он продолжает.

— По-прежнему воздушные змеи?

— По-прежнему. Но теперь он не имеет права запускать их очень высоко.

— Поцелуй его от меня. Ну, до скорой встречи, Людо. Я обязательно зайду к тебе. Нам столько надо сказать друг другу. Тебя не мобилизовали?

— Нет. Меня освободили по болезни. Кажется, я немножко сумасшедший. Это наследственное.

Она дотронулась до моей руки кончиками пальцев и пошла к машине, чтобы помочь отцу сесть. Она села между ним и генералом фон Тиле. Ханс сел за руль.

Я слышал хохот ворон.

Лила махнула мне рукой. Я ответил. «Мерседес» исчез в конце аллеи.

Я долго стоял, пытаясь прийти в себя. Ощущение, что меня нет ни здесь, ни там, нет нигде; потом медленное наступление отчаяния. Я боролся с ним. Я не хотел изменять себе. Отчаяние — всегда поражение.

Остолбенев, не в силах пошевелиться, я стоял с кепкой в руке, и, по мере того как проходили минуты, ощущение нереальности сгущалось у этих развалин, в призрачном парке с белыми от инея деревьями, где все было неподвижным и мертвенным.

Этого не может быть. Невозможно. Воображение сыграло со мной злую шутку, оно подвергло меня пытке, чтобы отомстить за все, чего я от него требовал целые годы. Еще одно видение, один из тех снов наяву, которым я так легко отдавался, и оно посмеялось надо мной. Оно не могло быть Лилой, это видение, такое светское, такое безразличное и такое далекое от той, кто почти четыре года так активно жила в моей памяти. Непринужденность тона, сама вежливость, с какой она говорила, отсутствие всякого намека на наше прошлое в холодноватой голубизне глаз...— нет, ничего этого не было, моя болезнь усилилась из-за одиночества, и теперь я расплачиваюсь за то, что слишком потакал своему «безумию». Это просто страшная галлюцинация из-за нервного истощения и временного упадка духа.

Мне удалось наконец выйти из транса и направиться к воротам.

Едва я сделал несколько шагов, как увидел скамью, где только что видел, как мне казалось, Стаса Броницкого, рисующего на земле концом трости числа воображаемой рулетки.

Я еле решился опустить глаза, посмотреть и убедиться.

Цифры были здесь, и на цифре семь лежал сухой лист.

Едва понимая, что делаю, я доставил свой груз в Веррьер и вернулся домой. Дядя был в кухне. Он немного выпил. Он сидел у огня, гладя кота Гримо, который спал у него на коленях. Мне трудно было говорить.

— ...с тех пор, как ее нет, она ни на минуту не покидала меня, а теперь, когда она вернулась, она совсем другая...

— Черт возьми, мальчик. Ты ее слишком выдумывал. Четыре года разлуки — слишком большой простор для воображения. Мечта коснулась земли, а от этого всегда происходят поломки. Даже идеи становятся на себя не похожи, когда воплощаются в жизнь. Когда к нам вернется Франция, увидишь, какие у всех будут физиономии. Будут говорить: это не настоящая Франция, это другая! Немцы слишком заставили работать наше воображение. Когда они уйдут, встреча с Францией будет жестокой. Но что-то мне говорит, что ты снова узнаешь свою малышку. Любовь — вещь гениальная, и у нее есть дар все переваривать. Что касается тебя, ты думал, что живешь памятью, но больше всего ты жил воображением.

Он усмехнулся.

— Воображение — неверный подход к женщине, Людо.

В час ночи я стоял у окна с пылающим лицом, ожидая от ночи материнской ласки. Я услышал, что подъехала машина. Долгая пауза; скрип лестницы; у меня за спиной отворилась дверь; я обернулся. Какую-то секунду дядя стоял один, с лампой в руке, потом он исчез, и я увидел Лилу. Она всхлипывала; казалось, это стонет ночной лес. Ее стоны звучали как

мольба о прощении за то, что у нее такое горе, такое несчастье. Я бросился к ней, но она отступила.

— Нет, Людо. Не трогай меня. Позже... может быть... позже... Сначала нужно, чтобы ты знал... чтобы ты понял...

Я взял ее за руку. Она села на край кровати, съежившись в своей куртке, смирно сложив руки на коленях. Мы молчали. Слышно было, как скрипят голые ветки деревьев. В ее глазах было выражение почти молящего вопроса и нерешительности, как если бы она еще сомневалась, может ли мне довериться. Я ждал. Я знал, почему она колеблется. Для нее я все еще был тот Людо, какого она знала, нормандский деревенский парнишка, который провел три года войны рядом со своим дядей и его воздушными змеями и мог не понять. Рассказывая мне все, она без конца будет повторять с тревогой, почти с отчаянием: «Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь?» — как бы уверенная, что эти признания, эта исповедь — за пределом того, что я могу представить, принять и тем более простить.

Она бросила на меня еще один умоляющий взгляд, потом начала говорить, и я почувствовал, что ей нужно говорить не столько для того, чтобы я знал, как для того, чтобы попытаться забыть.

Я слушал. Я сидел на другом конце кровати и слушал. Я немного дрожал, но должен же я был разделить с ней ношу. Она курила сигарету за сигаретой, и я подносил ей огонь. Керосиновая лампа соединяла на стене две наши тени.

Первого сентября 1939 года немецкий броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» без объявления войны открыл огонь по польскому гарнизону полуострова Гродек. Остальное за несколько дней докончила авиация.

— Мы все попали под бомбежку... Таду удалось соединиться со своей боевой группой — знаешь, те, что проводили политические собрания, когда ты был у нас...

— Я помню.

— За две недели до этого Бруно уехал в Англию... Нам удалось спрятаться на одной ферме... У отца был шок, мать в истерике... К счастью, я встретила одного немецкого офицера, он был джентльмен...

— Есть и такие.

Она боязливо посмотрела на меня.

— Надо было прежде всего выжить, спасти своих... Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь?

Я понимал.

— Связь продолжалась три месяца... Потом его послали в другое место, и...

Она замолчала. Я не спрашивал: а после этого кто? Сколько еще? Со своей проклятой памятью я не стремился открывать подобный счет. Надо было прежде всего выжить, спасти своих...

— Если бы Ханс нас не разыскал — нам удалось бежать в Варшаву,— не знаю, что бы с нами стало... Он был на французском фронте и добился перевода в Польшу, только чтобы позаботиться о нас...

— О тебе.

— Он хотел жениться на мне, но нацисты запрещали браки с польками...

— Подумать только, что я мог его убить! — сказал я.— Во-первых, я мог его задушить, когда он набросился на меня у «Старого источника», когда мы были детьми, а потом во время нашей дуэли в Гродеке... Решительно, есть Бог на небесах!

Мне не следовало говорить так саркастически. Я поддался слабости.

Она внимательно смотрела на меня.

— Ты изменился, Людо.

— Прости меня, дорогая.

— Когда Гитлер напал на Россию, Ханс последовал за генералом фон Тиле на Смоленский фронт... Нам удалось бежать в Румынию... Сначала у нас еще оставалось немного драгоценностей, но потом...

Она стала любовницей румынского дипломата, потом врача, который ее лечил: аборт, едва не стоивший ей жизни...

— Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь?

Я понимал. Надо было выжить, спасти своих. Она завела себе «друзей» в дипломатических кругах. Ее отец и мать ни в чем не нуждались. В общем, в этой истории с «выживанием» она легко отделалась.

— В сорок первом нам наконец удалось получить визы во Францию, благодаря одному человеку в посольстве, с которым я... с которым была знакома... Но у нас не было больше ни гроша и...

Она замолчала.

Я чувствовал, что во мне растет улыбчивое спокойствие, как будто я знал, что в главном ничего не может с нами случиться. Я бы не сумел объяснить, что понимаю под «главным», и, так как неизвестно, как любят другие, не хотел бы казаться хвастуном. Я мельком подумал о нашем прекрасном «Мореходе», который был так хорош в голубом небе, потом исчез, а затем нашелся — весь израненный и искалеченный, разбитый и разорванный. Не знаю, затронуло ли во мне страдание древнюю христианскую жилку, но, как я сказал, я точно понял, что́ именно не имеет значения. К черту доброе старое «Все понять — значит все простить», которое господин Пендер в классе когда-то предложил нам прокомментировать,— это выражение затаскано по сточным ямам забвения и смирения. Я никогда не проявлял к Лиле «терпимости»: легко доказать, что «терпимость» иногда ведет к нетерпимости, и людей часто завлекали обманом на эту дорожку. Я любил женщину со всеми ее несчастьями, вот и все.

Она напряженно смотрела на меня.

— Я часто хотела дать тебе знать, прийти сюда, но я чувствовала себя такой...

— Виноватой?

Она ничего не сказала.

— Лила, послушай меня. В наше время виновность ниже пояса — ничто, как, впрочем, и в любое время. Виновность ниже пояса — почти святость по сравнению со всем остальным.

— Как ты изменился, Людо!

— Может быть. Немцы мне очень помогли. Говорят: самое ужасное в фашизме — его бесчеловечность. Да. Но надо признать очевидное: эта бесчеловечность — часть человеческого. Пока люди не признают, что бесчеловечность присуща человеку, они будут жертвами благонамеренной лжи.

Вошел кот Гримо, задрав хвост, и стал тереться о наши ноги, требуя ласки.

— Первые шесть месяцев в Париже, ты себе представить не можешь... Мы никого не знали... Я работала официанткой в пивной, продавщицей в «Призюник»... У матери были страшные мигрени...

— Ах, мигрени. Это бывает ужасно.

Что до отца Лилы, он, так сказать, потерял зрение. Что-то вроде умственной слепоты. Он закрыл глаза на окружающую действительность.

— Нам с матерью пришлось ухаживать за ним как за ребенком. Он был другом Томаса Манна, Стефана Цвейга, для него Европа была как несравненный свет... И вот когда этот свет угас и все, во что он верил, рухнуло, он как бы порвал с действительностью... Полная атрофия чувствительности.

«Дерьмо,— подумал я.— Неплохо устроился».

— Врачи все перепробовали...

Я чуть не спросил: «Даже пинок под зад?» — но приходилось щадить этот старый аристократический фарфор. Я был уверен, что Броницкий нашел способ переложить всю ответственность на жену и дочь. Не мог же он позволить себе знать, что делает его дочь, чтобы «выжить, спасти своих». Он защищал свою честь, вот и все.

— Наконец мне удалось найти работу манекенщицы у Коко Шанель...

— Коко как?

— Шанель. Знаешь, знаменитая портниха...

— Ах да, конечно... «Прелестный уголок»!

— Что?

— Нет, ничего.

— Но я зарабатывала недостаточно, чтобы хватило родителям, и вообще...

Молчание. Кот Гримо переходил от одного к другому, удивленный нашим безразличием. Молчание заползало в меня, заполняло меня всего. Я ждал этих «Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь?» — но видел только немое отчаяние в ее взгляде, и я опустил глаза.

— Нас спас Георг.

— Георг?

— Георг фон Тиле. Дядя Ханса. Наши владения у Балтийского моря были рядом...

— Да, да. Ваши владения. Конечно.

— Его назначили во Францию, и как только он узнал, что мы в Париже, он все взял на себя. Он устроил моих родителей на квартире возле парка Монсо. А потом Ханс вернулся с восточного фронта...

Она оживилась.

— Знаешь, я даже смогла продолжать учебу. У меня диплом французского лицея в Варшаве, я запишусь в Сорбонну, может быть, даже в школу Лувра. Я увлеклась историей искусства.

— Историей... искусства?

Мне трудно было глотать.

— Да. Кажется, я нашла свое призвание. Помнишь, как я искала себя? Кажется, теперь я себя нашла.

— В добрый час.

— Конечно, потребуется много мужества и настойчивости, но думаю, что я справлюсь. Я бы хотела поехать в Италию, особенно во Флоренцию, осматривать музеи... Понимаешь, Возрождение... Но надо подождать.

— Действительно, Возрождение может подождать.

Она встала.

— Хочешь, чтобы я тебя проводил?

— Нет, спасибо. Внизу Ханс в машине.

В дверях она остановилась.

— Не забывай меня, Людо.

— У меня нет дара забывать.

Я вышел с ней на лестницу.

— Бруно в Англии. Он летчик-истребитель.

Ее лицо осветилось.

— Бруно? Но он был такой неловкий!

— В небе, видно, нет.

Я не сказал ей про пальцы.

— Я тебе всем обязана,— сказала она.

— Не знаю почему.

— Ты сохранил меня нетронутой. Я думала, что погибла, а теперь у меня впечатление, что все это неправда и что все время — три с половиной года! — я была здесь, у тебя, целая и невредимая. Сохраняй меня такой, Людо. Я в этом нуждаюсь. Дай мне еще немного времени. Мне нужно возродиться.

— История искусства тебе сильно поможет. Особенно Возрождение.

— Не смейся надо мной.

Она постояла еще минуту, потом ушла, и осталась только тень на стене.

Я был спокоен. Я шел вместе с миллионами других людей по пути, где у каждого свое горе.

Я пришел к дяде на кухню. Он налил мне рюмочку, украдкой наблюдая за мной.

— Да, это будет забавно,— сказал он.

— Что именно?

— Когда вернется Франция. Надеюсь, ее можно будет узнать.

Я сжал кулаки.

— Да, и мне наплевать, как она будет выглядеть и что будет у нее за плечами. Лишь бы она вернулась, вот и все.

Дядя вздохнул.

— Уже и пошутить с ним нельзя.

Меня не избавили от сплетни, что Лила стала любовницей фон Тиле. Я был так же безразличен к этим россказням, как к голосам, скулившим, что «Франция пропала», «никогда не вернется», «потеряла свою душу» и что подпольщики гибнут «ни за что». Моя уверенность была слишком тверда, чтобы она нуждалась в «проветривании» — как у нас говорят о тех, кто любит говорить на ветер.

XXXVII

Я больше не ненавидел немцев. То, что я видел вокруг в течение четырех лет после поражения, затрудняло для меня обычный трюк, в результате которого все немцы превращаются в преступников, а все французы — в героев. Я познал братство, сильно отличающееся от этих самодовольных штампов: мне казалось, что мы неразрывно связаны тем, что нас отличает друг от друга, но в любой момент может перемениться и сделать нас чудовищно схожими. Мне даже приходило в голову, что, участвуя в борьбе, я помогаю и нашим врагам... Им тоже. То, что ты воспитан человеком, который всю жизнь поднимал глаза ввысь, не проходит безнаказанно.

В первый раз я увидел, как убили немца, в полях за Гранем, где мы распахали посадочную площадку. В ту ночь мы втроем ожидали, когда прилетит «Лизандер», который должен был переправить в Англию политического деятеля, чьего имени мы не знали. После заката мы несколько раз тщательно прочесали окрестности; нам было приказано принимать все предосторожности — две недели назад одну из групп захватили при приеме парашютистов в верховьях Сены, и к списку наших расстрелянных добавилось пять имен.

В час ночи зажгли сигнальные огни, и ровно через двадцать минут «Лизандер» приземлился. Мы помогли пассажиру сесть в самолет; «Лизандер» взлетел, и мы пошли собирать сигналки. Когда мы возвращались обратно и были метрах в трехстах от площадки, Жанен схватил меня за руку; справа от нас я увидел в траве металлический отблеск и услышал осторожное движение; блеск металла передвинулся и исчез.

Там были велосипед, девушка и немецкий солдат. Я знал девушку в лицо, она работала в булочной господина Буайе в Клери. Солдат лежал на животе рядом с ней; он смотрел на нас без всякого выражения.

Не знаю, кто выстрелил, Жанен или Роллен. Просто солдат уронил голову и застыл, уткнувшись лицом в землю.

Девушка резко отодвинулась от него, как если бы он стал отвратительным.

— Вставай.

Она быстро встала, поправляя юбку.

— Пожалуйста, не говорите им,— пробормотала она.

У Жанена был удивленный вид. Он приехал из Парижа и не знал деревенской жизни. Потом он понял, улыбнулся и опустил оружие.

— Тебя как зовут?

— Мариетта.

— Мариетта, а дальше?

— Мариетта Фонтэ. Господин Людовик меня знает. Пожалуйста, ничего не говорите моим родителям.

— Ладно. Мы им не скажем, будь спокойна. Можешь идти домой.

Он бросил взгляд на тело.

— Надеюсь, он не успел,— сказал он.

Мариетта зарыдала.

Я провел дурную ночь. Было так, как будто я совершил предательство.

Я старался думать о всех наших убитых, но выходило только на одного убитого больше.

Через несколько дней я зашел в булочную и остановился, как бы прося прощения. Мариетта покраснела и стояла в нерешительности. Потом подошла ко мне и прошептала с беспокойством:

— Они ведь ничего не скажут моим родителям?

Нехорошо ходить с парнями в лес. Думаю, только это ее и тревожило. Нам нечего было опасаться.

Несколько раз я видел, как Лила проезжает через Клери в «мерседесе» фон Тиле; один раз с ней был сам генерал. Однажды утром, когда я возвращался на велосипеде с тренировки на ферме Гролле, где один товарищ, прошедший курс обучения в Англии, учил нас обращаться с новой взрывчаткой, «мерседес» проехал мимо меня и остановился. Я остановился тоже. Лила сидела в машине одна с шофером. У нее были круги под глазами, веки опухли. Было семь часов утра; я знал, что в эту ночь Эстергази устраивала праздник — в «Прелестный уголок» поступил заказ на все, что только можно, от шампанского до норвежской лососины, и Дюпра сам отправился к ней, чтобы присмотреть за своим сотэ из молочного ягненка и петухом в вине, «которого можно погубить, если положить на дольку чеснока больше или меньше». Требовалась бдительность: все немецкие «сливки» были там. «Занимаясь этим чертовым ремеслом,— ворчал он,— каждый раз ставишь на карту свою репутацию».

Лила вышла из машины, и мне пришлось ее поддержать: она была немного пьяна. Очень элегантное красное платье, белый плащ, красные туфли на высоких каблуках и плотная шаль из красной и белой шерсти на плечах. Польские цвета, подумал я. Она сильно накрасилась, как бы желая скрыть лицо. Казалось, берет на ее пышных волосах попал сюда случайно из прошлой жизни. Только печальная голубизна глаз оставалась такой, как прежде. Она держала в руке книгу: Аполлинер. У нас в Ла-Мотт был весь Гюго, но Аполлинера не было. Всегда забываешь о том, что тебе принадлежит по праву.

— Здравствуй, мой Людо.

Я поцеловал ее. Военный шофер сидел к нам спиной.

— Обо мне здесь многое говорят, правда?

— Знаешь, я немного глуховат.

— Говорят, что я любовница фон Тиле.

— Говорят.

— Это неправда. Георг — друг моего отца. Наши семьи всегда дружили. Надо мне верить, Людо.

— Я тебе верю, но мне наплевать.

Она с жаром начала говорить о своих родителях. Благодаря Георгу они ни в чем не терпят нужды.

— Это изумительный человек. Он откровенный антифашист. Он даже спасал евреев.

— Это понятно. У него две руки.

— Что ты хочешь сказать? Что ты болтаешь?

— Это не я болтаю, а Уильям Блейк. Блейк написал об этом поэму. «Одна его рука была в крови. Другая держала факел». Почему ты не заходишь ко мне?

— Я приду. Знаешь, мне нужно возродиться. Ты обо мне думаешь немного?

— Мне случается не думать о тебе. У каждого бывают минуты пустоты.

— Я чувствую себя немного потерянной. Не знаю даже, где я. Я слишком много пью. Я хочу забыться.

Я взял у нее из рук книгу и пролистал ее.

— Кажется, никогда еще французы столько не читали, как теперь. Знаешь, господин Жолио, владелец книжной лавки...

— Я его знаю очень хорошо,— сказала она с неожиданной горячностью.— Это мой друг. Я почти каждый день хожу в его лавку.

— Так вот, он говорит, что французы набрасываются на поэзию с мужеством отчаяния. Как твой отец?

— Он полностью потерял связь с действительностью. Полная атрофия чувствительности. Но надежда есть. Иногда у него бывают проблески сознания. Может быть, он придет в себя.

Я не мог не испытывать некоторого восхищения Стасом Броницким. Этот аристократический альфонс нашел довольно необычное средство, чтобы отгородиться от низменной действительности. Жена и дочь оберегали его от всякого соприкосновения с отталкивающей исторической эпохой. Настоящая избранная натура.

— Никогда не видал такого хитреца,— сказал я.

— Людо! Я тебе запрещаю...

— Прости меня. Это моя мужицкая сторона. Видно, у меня наследственное озлобление против аристократов.

Мы сделали несколько шагов, чтобы подальше отойти от шофера.

— Знаешь, Людо, все скоро переменится. Немецкие генералы не хотят войны на два фронта. И они ненавидят Гитлера. Однажды...

— Да, я знаю эту теорию. Я уже слышал, как ее излагал Ханс накануне захвата Польши.

— Надо еще немного времени. Немцам пока еще недостаточно трудно.

— Действительно.

— Но я добьюсь.

— Добьешься чего?

Она замолчала, глядя прямо перед собой.

— Мне нужно еще немного времени,— повторила она.— Конечно, это очень трудно, и я иногда сомневаюсь и теряю уверенность... Тогда я пью лишнее. Я не должна. Но я уверена, что если немного повезет...

— То что? Если немного повезет, то что?

Она зябко завернулась в свои польские цвета.

— Я всегда хотела что-то сделать из своей жизни. Что-то большое и... страшно важное...

Какое живучее наваждение!

— Да,— сказал я.— Ты всегда хотела спасти мир.

Она улыбнулась.

— Не я, а Тад. Но кто знает...

Я так хорошо знал это ее немного загадочное, непроницаемое выражение, то, что Тад называл когда-то «вид, как у Гарбо».

— Может, это буду я,— спокойно сказала она.

Все это было так жалко. Она едва держалась на ногах, и мне пришлось помочь ей сесть в машину. Я положил ей на колени плед. Еще минуту она молчала, держа маленький томик Аполлинера, с улыбкой на губах. И вдруг повернулась ко мне в горячем порыве, и я удивился, до чего у нее серьезный, почти торжественный голос:

— Верь мне, Людо. Вы все верьте мне еще немножко. Я добьюсь. Мое имя войдет в историю, и ты будешь мною гордиться.

Я поцеловал ее в лоб.

— Ну, ну,— сказал я.— Ничего не бойся. Они жили счастливо, и у них было много детей.

Мне нет оправдания. Я не придал никакого значения словам той, кого в «Прелестном уголке» называли «эта бедная молоденькая полька со своими немцами». «Все те же фантазии и химеры»,— подумал я. Я стоял со своим велосипедом у обочины, грустно глядя вслед удаляющемуся «мерседесу». «Мое имя войдет в историю, и ты будешь мною гордиться»... Это было слишком нелепо. Мне казалось, что Лила в своем падении нуждалась в «придумывании себя» еще больше, чем прежде, в Гусиной усадьбе и на берегу Балтийского моря,— упавшая на землю разбитая мечта еще слабо трепыхала крылышками. У меня не было никакого подозрения, никакого предчувствия. Возможно, это объяснялось суровыми требованиями нескольких лет борьбы, когда приходилось «сохранять здравый смысл», и мне теперь не хватало безумия. Я и не догадывался, что среди всех наших

улетевших воздушных змеев один, родом из Польши, поднимется выше и будет ближе к тому, чтобы изменить ход войны, чем все остальные, затерявшиеся в поисках несбыточного.

XXXVIII

Я не видел Лилу несколько месяцев. Лето 1942-го было поворотным моментом в подпольной борьбе: в одну только ночь в районе Фужроль-дю-Плесси «дьявол явился шесть раз» — согласно секретному коду это означало, что шесть раз с парашютом сбрасывали оружие, больше всего контактные мины, противотанковые ружья и минометы. Оружие надо было прятать за несколько часов. В Соване моего одноклассника Андре Фернена схватили с пятьюдесятью зажигательными пластинками — он успел проглотить свою ампулу с цианистым калием. Сейчас все эти факты так широко известны, что о них забывают. В наших краях без конца шли обыски, и Ла-Мотт тоже не обошли — то ли кто-то указал на ферму, то ли гестапо чуяло в Амбруазе Флери естественного врага. Обыски не дали никакого результата, например, «тайник» Бюи, где прятался Бруно, функционировал до самой победы. В мастерской Грюберу попался наш старый «Золя», забытый в уголке, со словами «Я обвиняю», расходящимися лучами вокруг его головы, но Грюбер его не узнал и ограничился тем, что спросил:

— Кого он обвиняет, der Kerl [1]?

— Это название песни, очень популярной в начале века,— сказал дядя.— Жена уходит с любовником, и муж обвиняет ее в неверности.

— Он не похож на певца.

— Однако у него был очень хороший голос.

Комиссар полиции в Клери сам дружески предостерег Амбруаза Флери, не без улыбки, так как мысль о том, что этот мягкий пацифист замешан в каких-то подрывных действиях, казалась ему смешной.

— Мой добрый Амбруаз, они, наверно, воображают, что вы вот-вот запустите в небо Лотарингский крест!

— Знаете, не для меня эти дела,— сказал дядя.

— Знаю, знаю.

Но на мечтателей смотрели косо: мечта и бунт всегда тесно связаны. За нами следили, и некоторое время мы не могли использовать наш склад оружия. Он находился под навозной ямой и уборной, которую мы несколько месяцев избегали чистить.

И все же именно в это крайне опасное время дядя пошел на безумный поступок. В конце июля 1942-го до Клери докатилась весть о массовой облаве в Вель д'Ив [2]. В тот вечер мы сидели в «Прелестном уголке» — один из уютных вечеров за бутылкой старого вина, которые хозяин часто проводил со своим другом Амбруазом Флери. Иногда Дюпра — у него было бойкое перо — читал нам одну из своих поэм, написанную александрийским стихом. Но в тот вечер он был в особенно мрачном настроении.

— Слышал новость, Амбруаз? Про облаву в Вель д'Ив?

— Про какую облаву?

— Они собрали всех евреев и вывезли их в Германию.

Дядя молчал. Рядом не было воздушного змея, за которого в этот момент он мог бы уцепиться. Дюпра стукнул кулаком по столу.

— И детей тоже,— пробурчал он.— Они и детей выдали. Больше их не увидишь в живых.

Амбруаз Флери держал в руке стакан вина. Единственный раз в жизни я видел, что его рука дрожит.

— Ну вот. Я тебе вот что скажу, Амбруаз. Это тяжелый удар для «Прелестного уголка». Ты скажешь, что тут общего, но общее *все*. *Все*. Дьявол. Для такого человека, как я, который ложится костьми, чтобы сохранить определенное понятие о Франции, невозможно принять подо-

[1] Этот парень *(нем.)*.

[2] Зимний велодром в Париже.

бную вещь. Ты понимаешь? Дети, которых посылают на смерть. Знаешь, что я сделаю? Я закрою ресторан на неделю в знак протеста. Конечно, потом я его открою, потому что для фашистов приятнее всего было бы, чтобы я закрылся навсегда. Они давно хотят меня уничтожить. Все, чего они хотят,— это чтобы Франция отказалась от себя самой. Но я закроюсь на неделю, это решено. Существует несовместимость между «Прелестным уголком» и тем, что детей выдают бошам.

Никто еще не слышал, чтобы Дюпра произносил слово «боши».

Дядя поставил стакан и встал. Его лицо посерело; казалось, на нем вдвое больше морщин. Мы ехали под ночным небом на своих скрипучих велосипедах. Луна ярко светила. Когда мы подъехали к дому, он оставил меня, не говоря ни слова, и закрылся в мастерской. Я не мог заснуть. Я вдруг понял, как сильно прикрываются немцами и даже фашистами для оправдания собственных деяний. Мне давно уже приходила мысль, от которой трудно было избавиться, и, может быть, я так и не избавился от нее. Фашисты — человеческие существа. Именно их бесчеловечность присуща человечеству.

В четыре часа утра я уехал из Ла-Мотт: я должен был поехать в Ронс встретиться с Субабером, чтобы наметить с ним на карте новые посадочные площадки. Надо было также предупредить товарищей, чтобы какое-то время не приходили в Ла-Мотт. Выходя из дому, я увидел, что в мастерской еще горит свет. Я подумал не без раздражения: надо быть по-настоящему упрямым французом, чтобы мастерить воздушных змеев в такое время. Лучшими друзьями воздушных змеев всегда были дети. Мне казалось, что если Амбруаз Флери собирается в такой час запустить в небо своего «Монтеня» или «Паскаля», то небо выплюнет его ему в лицо.

Я вернулся домой через день, в одиннадцать утра. Последние километры я шел пешком, толкая перед собой велосипед. Я уже чинил каждую шину раз десять, и приходилось их беречь. Я дошел до места под названием «Узкий проезд», где сейчас стоит стела в память шестнадцатилетнего Жана Виго, которого полицейские захватили после высадки с оружием в руках и расстреляли на месте. Я остановился, чтобы закурить, но сигарета выпала у меня изо рта.

В небе над Ла-Мотт парило семь воздушных змеев. Семь желтых воздушных змеев. Семь воздушных змеев в форме еврейских звезд.

Я бросил велосипед и побежал. На лугу перед фермой стояли мой дядя Амбруаз и несколько детей, подняв глаза к небу, где трепетало семь звезд позора. Сжав челюсти, нахмурив брови, с жестким лицом, обрамленным стриженными ежиком седыми волосами и усами, старик походил на фигуру, какие раньше вырезали на носу корабля. У детей, пяти мальчиков и одной девочки, я их всех знал: Фурнье, Бланы и Босси — были серьезные лица.

Я прошептал:

— Они сейчас явятся...

Но раньше пришли другие. О, их было немного: семья Кайе, семья Монье и отец Симон, который первый снял шапку.

Вечером дядю забрали и две недели продержали в тюрьме. Вытащил его оттуда Марселен Дюпра. Известно, что все Флери не в себе, объяснил он им. Наследственное безумие. Это то, что раньше называли «французской болезнью», это идет из глубины веков. Не надо их принимать всерьез, иначе рискуешь сделать серьезную ошибку. Дюпра пустил в ход все свои связи, а они у него были, от Отто Абеца до Фернана де Бринона. На следующий день после ареста перед домом остановился «ситроен» Грюбера и еще грузовик солдат. Они выбросили всех воздушных змеев на луг и подожгли. Грюбер, заложив руки за спину, смотрел, как пылает то, что так любовно создавали руки старого француза.

Ла-Мотт обыскали как никогда прежде. Грюбер опознал врага. Он сам взялся за дело и всюду совал свой нос, как будто речь шла о чем-то вещественном, материальном, что можно уничтожить.

В воскресенье дядю выпустили, и Марселен Дюпра привез его в Ла-Мотт. Его первыми словами при виде пустой мастерской, откуда улетучились, превратившись в дым, все змеи, были:

— Надо браться за работу.

Первый воздушный змей, которого он собрал, изображал поселок в горах, окруженный картой Франции, позволявшей понять, где это. Поселок назывался Шамбон-сюр-Линьон, он находился в Севеннах. Дядя не объяснил мне, почему выбрал именно этот поселок. Он ограничился тем, что сказал:

— Шамбон. Запомни это название.

Я ничего не понимал. Почему он интересуется этим поселком, где никогда его ноги не было, и почему запускает воздушного змея «Шамбон-сюр-Линьон», следя за ним глазами с такой гордостью? Он сказал мне только одно:

— Я о нем слышал в тюрьме.

Мое удивление росло. Через несколько недель, восстановив некоторые из своих творений «исторической» серии, дядя объявил мне, что уезжает.

— Куда вы хотите ехать?

— В Шамбон. Как я тебе говорил, это в Севеннах.

— Господи боже, что это за история? Почему в Шамбон? Почему в Севенны?

Он улыбнулся. Теперь лицо его было покрыто сеткой морщин, густой, как его усы.

— Потому что там я им нужен.

Вечером, доев суп, он обнял меня.

— Я еду рано утром. Продолжай действовать, Людо.

— Будьте спокойны.

— Она вернется. Придется многое ей простить.

Не знаю, говорил он о Лиле или о Франции.

Когда я проснулся, его уже не было. На столе мастерской он оставил записку: «Продолжай».

Он увез свой ящик с инструментами.

Только за несколько месяцев до высадки союзников я получил ответ на вопрос, который не переставал себе задавать: почему Шамбон? Почему Амбруаз Флери уехал от нас со своими инструментами туда, в этот поселок в Севеннах?

Шамбон-сюр-Линьон был тот поселок, где жители во главе с пастором Андре Трокме и его женой Магдой спасли от высылки несколько сотен еврейских детей. Четыре года вся жизнь Шамбона была посвящена этой задаче. Так напишу же я еще раз слова, символизирующие верность идеалам: «Шамбон-сюр-Линьон и его жители», и если сейчас об этом забыли, пусть знают, что мы, Флери, всегда славились своей памятью и что я часто повторяю все имена жителей Шамбона, не забыв ни одного, ибо говорят, что сердце нуждается в упражнениях.

Но я ничего этого не знал, когда получил из Шамбона фотографию дяди, окруженного детьми, с воздушным змеем в руке, с надписью на обороте: «*Здесь* все идет хорошо». «Здесь» было подчеркнуто.

XXXIX

От Лилы вестей не было, но Германия отступала на русском фронте; ее армия потерпела поражение в Африке; Сопротивление переставало быть безумием, и рассудок начинал воссоединяться с сердцем. Марселен Дюпра сам принимал участие в наших подпольных собраниях. Тем не менее в глазах властей его престиж достиг апогея: в мае 1943-го встал вопрос о его назначении мэром Клери. Он отказался.

— Надо проводить различие между вещами историческими и неизменными и таким изменчивым и преходящим явлением, как политика,— объяснил он нам.

Личность хозяина «Прелестного уголка» очаровывала оккупантов не меньше, чем его кухня. Его эрудиция и красноречие, достоинство, которое придавали ему как импозантная внешность, так и спокойная уверенность,

с какой он в самых трудных условиях выполнял поставленную перед собой задачу, производили впечатление даже на тех, кто сначала называл его коллаборационистом. Больше всех его уважал генерал фон Тиле. Между этими двумя завязались странные отношения — можно было даже назвать это дружбой. Говорили, что генерал презирает нацистов. Как-то раз он сказал Сюзанне:

— Знаете, мадемуазель, фюрер говорит, что дело его будет жить тысячу лет. Я бы лично скорее поставил на дело Дюпра. Несомненно, оно будет иметь лучший вкус.

Один из его лейтенантов позволил себе объявить о прибытии вождя люфтваффе в следующих выражениях:

— *Герр* Дюпра, один из ваших самых тонких ценителей сможет лично убедиться, что Франция не утеряла ничего из того, что составляет ее славу.

Присутствовавший при этом фон Тиле отвел офицера в сторону и обрушил на его голову несколько замечаний, которые тот, очень бледный, выслушал, стоя по стойке «смирно». После чего генерал лично принес Марселену свои извинения. Когда я видел, как генерал берет Марселена под руку и, беседуя, прогуливается с ним в садике «Прелестного уголка», я чувствовал, что оба они сумели переступить через то, что Дюпра презрительно именовал «обстоятельствами» или «условиями», и нашли точки соприкосновения, позволяющие прусскому аристократу и великому французскому кулинару говорить на равных. Но по-настоящему я понял, как далеко продвинулись две эти избранные натуры во взаимном уважении и даже «братании» во время битвы, только когда Люсьен Дюпра рассказал мне, что его отец тайком дает уроки кулинарии генералу графу фон Тиле. Сначала я не поверил:

— Ты смеешься надо мной. У фон Тиле сейчас должны быть другие заботы.

— Может, как раз поэтому. Вот посмотришь.

Я пожал плечами. Если бы мне сказали, что генерал играет на скрипке, чтобы рассеяться, я бы счел это нормальным: о любви немцев к музыке говорено и переговорено, это стало штампом. Во время оккупации самым легким было видеть в немцах только преступников, а во французах — только героев. Но чтобы один из самых известных командующих вермахта был в глубине души так уверен в грядущем поражении, что искал забвения, беря уроки кулинарии у французского повара...— нет, это противоречило всему, что мы вкладывали в термин «немецкий генерал». Ненависть питается общими словами, и такие фразы, как «типичная прусская физиономия» и «типичный представитель расы господ», способствуют росту невежества.

Я расспрашивал Люсьена Дюпра почти грубо:

— Это тебе отец рассказал? Он вполне способен выдумать такое, чтобы придать себе важности. Это на него похоже. «Месье, знаете генерала фон Тиле, победителя Седана и Смоленска? Это я его всему научил».

— Я тебе говорю, два-три раза в неделю генерал приходит к отцу учиться готовить. Конечно, генерал не хочет, чтобы об этом знали, потому что дело принимает для них дурной оборот и это выглядело бы как акт отчаяния или даже пораженчество. Они начали с глазуньи и омлетов. Не понимаю, что тебя удивляет.

— Меня ничто не удивляет. Мы все по горло в крови и дерьме, а эти избранные натуры возвысились над варварством. Немецкая мощь нуждается во французской тонкости и умении жить. Эти двое творят будущее. Хотелось бы мне посмотреть на этот бардак.

— Я тебе скажу.

В тот же день, когда я выходил из конторы, Люсьен шепнул мне на ухо:

— Сегодня вечером, около одиннадцати. Я оставлю дверь в коридор приоткрытой. Но будь осторожен. Они большие друзья, и отец этого не простит.

Я пришел пешком. Я опасался патрулей, которые каждую ночь начали прочесывать поля и леса в поисках сигнальных огней для самолетов.

Я прокрался в коридор со стороны кухни. Дверь приоткрыта. Держа башмаки в руке, я подошел ближе и заглянул внутрь.

Фон Тиле был без мундира, в фартуке. Казалось, он сильно выпил. Рядом с ним был Марселен Дюпра; надменный и чопорный в своем колпаке, он держался с преувеличенной важностью, что также объяснялось двумя пустыми бутылками из-под вина и одной сильно початой бутылкой коньяка на столе.

— Незачем сюда приходить, Георг, если ты не слушаешь, что я говорю,— ворчал Дюпра.— У тебя нет больших способностей, и если ты не будешь в точности выполнять все мои указания, ты ничего не добьешься.

— Но ведь я выучил это наизусть. Полтора стакана белого вина...

— *Какого* белого вина?

Генерал молчал с легким удивлением во взоре.

— Сухого! — пробурчал Дюпра.— Полтора стакана сухого белого вина! Черт возьми, это же нетрудно!

— Марселен, неужели ты хочешь сказать, что если вино не сухое, все пропало?

— Если хочешь приготовить настоящего фаршированного кролика по-нормандски, надо, чтобы вино было сухое. Или уж лей что хочешь. Что ты еще положил в фарш? Нет, это просто невероятно, Георг. Не могу понять, как человек твоей культуры...

— У нас разная культура, Марселен. Поэтому мы и нуждаемся друг в друге... Я положил три кроличьи печенки, сто граммов поджаренной ветчины, пятьдесят граммов хлебного мякиша... чашку лука...

Слышалось гудение бомбардировщиков союзников, пролетавших над побережьем.

— И все? Мой генерал, у тебя голова была занята другими делами. Наверно, ты думал о Сталинграде. Я тебе говорил положить кофейную ложечку пряностей... Завтра начнем снова.

— У меня уже три раза не получилось.

— Нельзя побеждать на всех фронтах сразу.

Оба были совершенно пьяны. В первый раз я обратил внимание на их сходство, и оно поразило меня. Фон Тиле был ниже ростом, но у него было почти точно такое же лицо с тонкими чертами и маленькими седыми усами. Дюпра с отвращением оттолкнул блюдо с провинившимся кроликом:

— Дерьмо.

— Ну что ж, Марселен, хотел бы я видеть, как бы ты командовал танковым корпусом.

Минуту они молчали, оба мрачные, потом передали друг другу бутылку коньяка.

— Сколько это еще продлится, Георг?

— Не знаю, старина. Кто-то эту войну выиграет, это точно. Скорее всего твой кролик по-нормандски.

Я осторожно скрылся. Назавтра же в Лондон отправили сообщение, что у генерала, командующего «пантерами» в Нормандии, появились признаки упадка духа.

Пекинес Чонг заслуживал звания связного Сопротивления. Каждый раз, когда хозяйка приходила за ним ко мне в контору,— кроме тех случаев, когда ее почтительно сопровождали господин Жан или сам Марселен Дюпра,— она сообщала мне о замыслах гестапо или о том, как немцы готовятся к «приему гостей» на Атлантическом побережье. Некоторые из наших товарищей спаслись только благодаря этим сведениям. *Графиня* сказала мне также, что Лила живет в Париже с родителями, но часто проводит несколько дней на вилле недалеко от Юэ.

Вскоре Лила снова появилась в «Прелестном уголке», по-прежнему в сопровождении Ханса и фон Тиле. Их называли «трио». «Оставьте в час дня столик для трио»,— говорил Люсьен Дюпра. Я всегда узнавал о ее присутствии от господина Жана, который ставил меня в известность с сокрушенным видом. «Малышка» здесь со своими немцами, для бедного Людо это, наверное, как нож в сердце. Но это было не так. Говорят, что любовь слепа, но в моем случае имело место как раз обратное. Мне казалось, что в отношениях «трио» есть что-то, что от меня ускользает.

Я был уверен, что Лила — не любовница фон Тиле; я не был даже уверен, что она любовница Ханса. Комичная фраза: «Наши владения на берегу Балтийского моря были рядом», которую она произнесла, чтобы объяснить свои отношения с немецкими «кузенами», начинала напоминать мне «личные» сообщения, которые мы получали из Лондона: *«Нынче вечером птицы снова будут петь»* или же *«Колокола затопленного храма зазвонят в полночь»*. Я смутно догадывался, что между этими прусскими помещиками и не менее аристократичной полькой существует какое-то сообщничество, но его подлинная суть от меня ускользала. Как-то я столкнулся с Лилой, когда она выходила со своими двумя *юнкерами* из ресторана. Я несколько месяцев ее не видел, и меня поразила перемена в ней. В выражении ее лица, когда она меня увидела, светилась гордость, почти торжество, как если бы она хотела сказать: «Вот увидишь, Людо, вот увидишь. Ты во мне ошибался».

На следующей неделе это впечатление подтвердилось самым неожиданным образом. Лила влетела ко мне в контору, и едва я успел встать, как она уже меня целовала.

— Ну, мой Людо, что ты поделываешь?

Годы прошли с тех пор, как я ее видел такой веселой и счастливой.

— Да не знаю, в общем. Ничего особенного не делаю. Занимаюсь бухгалтерией «Прелестного уголка» и воздушными змеями, когда время есть. Дядя уехал, и я пытаюсь делать что могу.

— Куда он поехал?

— В Шамбон-сюр-Линьон. Это в Севеннах. Не спрашивай, что он собирается делать на другом конце страны, я ничего не знаю. Он мне сказал только, что они в нем нуждаются там. Потом взял ящик с инструментами и уехал.

Я видел, что ей хочется мне что-то сказать, но она сдерживается, и различал даже немного иронии в ее глазах, как будто она жалела меня за то, что я не знаю, чем она так довольна.

— Ханса назначили в штаб в Восточной Пруссии,— сказала она.

— Вот как!

Она рассмеялась.

— Конечно, тебе это неинтересно.

— Мягко говоря, да.

— Так вот, ты ошибаешься. Это очень важно. Знаешь, я имею на Ханса большое влияние.

— Не сомневаюсь.

— Готовятся важные события, Людо. Ты скоро узнаешь.

Я чувствовал, что она хочет рассказать мне больше. Я чувствовал также, что лучше пусть она не говорит.

— Ты всегда считал меня легкомысленной, еще с нашей первой встречи. И я знаю, что обо мне говорят местные жители. Ты напрасно их слушаешь.

— Я никого не слушаю.

— Ты ошибался насчет меня, мой маленький Людо.

— Но...

— Скоро ты будешь просить у меня прощения. Думаю, что мне наконец удастся сделать что-то необыкновенное. Я тебе всегда говорила.

Она быстро поцеловала меня и вышла, бросив мне с порога еще один торжествующий взгляд.

Через несколько дней я встретил ее на вокзале в Клери, она выходила из машины; с нею был фон Тиле. Она помахала мне, и я помахал в ответ.

XL

8 мая 1943 года, около десяти вечера, я читал и вдруг услышал шум машины; подойдя к окну, я увидел синие огни фар. Шум мотора стих; в дверь постучали; я зажег свечу и открыл дверь. На пороге стоял генерал

фон Тиле; серые, того цвета, какой принято называть стальным, глаза на его правильном лице с четкими чертами смотрели напряженно. На шее у него был Железный крест с алмазами.

— Добрый вечер, господин Флери. Извините за неожиданный визит. Я бы хотел с вами поговорить.

— Войдите.

Он прошел мимо меня, остановился и бросил взгляд на подвешенных к балкам воздушных змеев.

— Со мной в машине один человек, которого вы знаете.

Он сделал паузу и сел на скамейку, сложив руки. Я ждал. В это время самолеты союзников пролетали над побережьем, чтобы бомбить немецкие города. Фон Тиле поднял голову и прислушался к огню береговой артиллерии.

— Вчера над Гамбургом было тысяча двести бомбардировщиков,— сказал он.— Вы должны быть довольны.

Я не понимал, чего хочет от меня этот военачальник.

— Вы знаете того, кого я привез,— сказал он.— Не знаю только, смотрите ли вы на него как на друга или как на врага. Тем не менее я прошу вас помочь ему.

Фон Тиле встал. Он смотрел себе под ноги.

— Я бы хотел, чтобы вы помогли ему бежать в Испанию...

Намек на улыбку.

— ...как вы это так хорошо делаете для летчиков союзников.

Я был так поражен, что даже не протестовал.

— Господин Флери, для вас, конечно, нет никакого смысла спасать жизнь немецкому офицеру. Я очень хорошо это понимаю. Я обращаюсь к вам по совету Лилы. Это тоже может вам показаться странным. Но Ханс — как и вы — очень любит ее. Словом, соперник. Может быть, вы были бы рады, если бы он исчез. В таком случае стоит только позвонить начальнику здешнего гестапо, герру Грюберу...

Он не назвал его по званию.

— Но может быть, в словах «любить ту же женщину» есть что-то... как бы сказать? Братское...

Он внимательно наблюдал за мной с неожиданным добродушием на искаженном, почти мертвенно-бледном лице.

Я молчал.

Фон Тиле поднял руку.

— Прислушайтесь к небу. Сколько детей будет убито этой ночью? Ладно. Я говорю только, что пытаюсь спасти молодого человека, который является моим племянником и которого я люблю, как сына. Теперь я должен ехать. У нас есть... около суток. Мне нужно сделать распоряжения. Но вы мне еще не ответили, господин Флери.

— Лила знает?

— Да.

Ханс был в форме. Решительно, детство и отрочество оставляют неизгладимый отпечаток: мы не пожали друг другу руки. Но мне пришлось взять его под руку, чтобы поддержать. Он сделал несколько шагов и свалился. Фон Тиле помог мне перенести его в комнату.

— Не оставляйте его здесь, господин Флери. Вы рискуете жизнью. Постарайтесь спрятать его где-нибудь в другом месте сегодня же ночью. Я все же думаю, как я вам уже сказал, что у нас еще есть около суток...

Он мне улыбнулся.

— Надеюсь, у вас нет чувства, что вы совершаете предательство... скрывая немецкого офицера?

— Я только думаю, что вы должны дать мне объяснение, черт возьми.

— Вы его получите. Ханс объяснит вам. Во всяком случае, завтра я сам вам объясню. Я буду обедать в «Прелестном уголке», как каждую пятницу.

Когда я вернулся в комнату, Ханс спал. Его лицо даже во сне имело беспокойное выражение, по временам губы и подбородок судорожно вздрагивали. Я долго смотрел на это лицо, чья красота когда-то вызывала во мне такую вражду. На шее у него был медальон. Я открыл его: Лила.

Был час ночи, а солнце вставало в пять. От тиканья часов меня начал продирать мороз по коже. Я поставил кофе и разбудил Ханса. Секунду он смотрел на меня, не понимая, потом вскочил.

— Не оставляй меня здесь. Они тебя расстреляют.

— Что ты сделал?

— Потом, потом...

Кофе был готов.

— У нас мало времени,— сказал я.— Три часа ходьбы.

— Докуда?

— До «Старого источника». Помнишь?

— Еще бы! Ты меня чуть не задушил. Сколько нам было?.. Двенадцать, тринадцать?

— Около того. Ханс, что ты сделал?

— Мы хотели убить Гитлера.

Я мог вымолвить только:

— Господи!

— Мы подложили бомбу в его самолет.

— Кто это мы?

— Бомба была неисправная. Она не взорвалась, и они ее нашли. Двое наших товарищей успели покончить с собой. Другие заговорят рано или поздно. Мне удалось скрыться на моем самолете, чтобы предупредить...

Он замолчал.

— Понятно.

— Да. Мне удалось сесть в Уши. Я хотел вывезти генерала в Англию.

Мне пришлось встряхнуться и глубоко вздохнуть, чтобы прийти в себя. Потом мною овладел сумасшедший приступ смеха. Ханс хотел увезти фон Тиле в Англию, чтобы тот организовал там «Свободную Францию», в смысле «Свободную Германию»! Может быть, с Лотарингским крестом в качестве символа?!

— Черт возьми,— сказал я.— Сейчас май. Это даже на месяц раньше восемнадцатого июня [1]. Богатая у вас, немцев, фантазия. То вы создаете Гёте и Гёльдерлина, то миллионы мертвецов. Видно, ваши фантазии играют в орла или решку. Если я правильно понял, ваша офицерская элита считает, что все еще можно уладить по-джентльменски? Мир господ? Разыграть в Лондоне в сорок третьем году немецкое восемнадцатое июня сорокового года — за счет русских, очевидно?

Он опустил голову.

— Все наши потомственные офицеры были против Гитлера и против войны, начиная с тридцать шестого года,— сказал он.

— А потом было уже слишком поздно, вы были уже в Париже и под Москвой. Ладно, пошли. Несколько дней пересидишь у «Старого источника», потом будет видно. Ты выдержишь? Надо пройти семь километров.

— Да.

Я взял мой драгоценный электрический фонарик — у меня осталась только одна запасная батарейка,— и мы отправились. Прекрасная ночь, иронический блеск звезд. Французский подпольщик, рискующий жизнью ради немецкого офицера-голлиста. Луна еще ярко светила, и я зажег фонарик, только когда мы дошли до края оврага. Тропинка нашего детства заросла кустами и колючками; источник тоже постарел, и у него не было больше сил выплескиваться из ямки. Один за другим мы пробрались между замшелых откосов до тупика. «Вигвам» был на месте, такой, каким его построил дядя Амбруаз одиннадцать лет назад. Он немного покосился, но держался. И только теперь, когда мы оказались у «вигвама» нашего детства, мне вспомнились слова Лилы, которые она прошептала мне в конторе так весело и уверенно: «Думаю, что мне наконец удастся сделать что-то необыкновенное. Знаешь, я имею на Ханса большое влияние». Я посмотрел на Ханса. «Это она,— подумал я.— Это ради нее».

Я присел на корточки и попытался набрать немного воды на дне источника. У меня пересохло в горле, и мне трудно было говорить.

[1] 18 июня 1940 г. де Голль в Лондоне призвал французов к сопротивлению.

— Я буду приносить еду раз или два в неделю. Потом постараемся переправить тебя через Пиренеи. Я должен поговорить с товарищами.

В воздухе пахло землей и сыростью. У нас над головой дремала сова. Небо начало светлеть.

Ханс снял свой френч и бросил его на землю. В белой рубашке он не очень отличался от того Ханса, который стоял передо мной в фехтовальном зале Гродека во время нашей дуэли.

— Я обязан тебе жизнью, и я верну ее тебе,— сказал он.

— Это она решит, старик.

Так один-единственный раз мы заговорили о Лиле.

В одиннадцать часов я был на своем месте в конторе, не в силах думать ни о чем, кроме событий этой ночи. Все, что говорила мне Лила, каждое слово, каждая фраза, каждое выражение, без конца отдавалось у меня в голове. «Я добьюсь... я уверена, что если немного повезет... Знаешь, я имею на Ханса большое влияние... Я всегда хотела совершить что-то великое и страшно важное...»

Господин Жан приоткрыл дверь.

— От генерала фон Тиле звонили, чтобы ему приготовили счет за месяц...

— Да...

«Верь мне, Людо... Мое имя войдет в историю...»

Она терпеливо убеждала Ханса, и это было тем более легко, что он с начала военных действий говорил о «спасении чести немецкой армии». А фон Тиле знал, что, если Германия и дальше будет вынуждена вести войну на два фронта, ее ждет поражение. Следовательно, если убрать Гитлера и заключить мир с США и Англией и...

— Счет номера пятого,— произнес голос господина Жана.

— Да... сейчас...

— Что с тобой, Людо? Ты болен?

— Нет, ничего...

«Ты еще будешь мной гордиться... Мое имя войдет в историю...» Заговор провалился, и Лиле грозит смерть. «Знаешь, я имею на Ханса большое влияние...» Мне нужно переправить их обоих в Испанию. Но как это сделать? Двоих летчиков, которые прячутся у Бюи, через несколько дней отправят в Баньер; но я даже не знал, где Лила; кроме того, нужно было разрешение Субабера на то, чтобы отправить с ними Ханса, а для Суба́ хороших немцев не было. Кроме того, мы срочно должны передать в Лондон информацию об этом первом заговоре офицеров вермахта против Гитлера.

Я сидел в растерянности, когда услышал повизгиванье. Чонг сидел у моих ног и вилял хвостом, глядя на меня с упреком. Когда Эстергази обедала в «Прелестном уголке», мне поручалось кормить собачку паштетом. Я вышел из конторы и позвал Люсьена Дюпра.

— Эстергази еще здесь?

— А что?

— Она забыла собачонку.

— Сейчас посмотрю.

Он вернулся и сообщил, что *графиня* пьет кофе. Я зашел в кухню, взял тарелку с мясом и пошел кормить собачку. Проходя коридором, я увидел, что у входа остановилась машина фон Тиле. Шофер открыл дверцу, и генерал вышел. Лицо фон Тиле осунулось, но он был как будто в хорошем настроении и быстро поднялся по ступенькам, ответив на чье-то приветствие. В то утро Дюпра получил записку, написанную рукой фон Тиле, которую после Освобождения вклеил в свою «Золотую книгу». «Друг Марселен, меня вот-вот переведут в другое место, и сегодня, в пятницу, в четырнадцать часов, я приеду в «Прелестный уголок» попрощаться».

Для меня его присутствие означало только, что гестапо еще не знает. Еще около суток, как он мне сказал. У меня оставалось только несколько часов, чтобы найти Лилу. Но Ханс или фон Тиле наверняка о ней позаботились.

Через несколько минут *графиня* явилась ко мне в контору. Она взяла собачку на руки.

— Бедная крошка. Я чуть его не забыла.

Она положила передо мной смятый бумажный шарик. Я развернул его. Почерк Лилы. «Мне чуть не удалось. Люблю тебя. Прощай».

Мадам Жюли поднесла к бумажке зажигалку. Кучка пепла.

— Где она?

— Не знаю. Вчера вечером фон Тиле отправил ее в Париж. Этот дурак велел отвезти ее к ночному двенадцатичасовому на своей собственной машине.

— А эта бумажка...

Она нервничала и дергала свои перчатки.

— Что «эта бумажка»?

— Как вы ее получили?

— Вчера вечером в Оленьей гостинице был большой прием. Младший офицерский состав пригласил гражданских служащих и секретарей. Там был весь штаб. На несколько минут появился сам генерал фон Тиле. Твоя малютка много пила и много танцевала. А потом она передала моей дочери записку для тебя. Она смеялась. Это, кажется, любовное письмо. Любовное или не любовное, в наше время я вскрываю все письма. Вот. Тебе везет, малыш. Если бы она отдала письмо кому-нибудь другому...

— Они... они уже знают?

— Гестапо знает с девяти утра. Мой дружок, стопроцентный ариец с настоящим именем Исидор Лефковиц, предупредил меня в двенадцать дня. Они еще не сцапали фон Тиле, потому что не хотят, чтобы распространились слухи. Он победитель Смоленска, понимаешь,— это может наделать шуму. У них приказ отправить его в Берлин со всеми почестями...

— Но генерал здесь...

— Ненадолго.

Она нежно прижала мордочку Чонга к своей щеке.

— Ах ты, миленький. Кажется, у твоей мамы сохранились остатки сердца, потому что она начинает делать глупости.

Она посмотрела на меня жестким взглядом.

— Ты ничем не можешь ей помочь, так что сиди тихо и скажи остальным, чтобы делали то же самое. Дело дерьмовое.

Графиня Эстергази повернулась ко мне спиной и вышла.

Я хотел уйти из конторы и бежать к Субаберу, но господин Жан сказал, что генерал фон Тиле желает со мной поговорить.

— Он в гостиной Эд...

Старик спохватился. Гостиная «Эдуар Эррио», где лидер радикал-социалистов когда-то обедал, лишилась своего имени. Однако другого названия Дюпра ей мужественно не давал. Он просто снял табличку «Эдуар Эррио» и спрятал ее в ящик.

— Кто знает,— объяснил он мне.— Все может вернуться.

В ресторане, как в «ротонде», так и на «галереях», было много парижских и местных деятелей; считалось шикарным постничать по пятницам, ибо, с тех пор как страна перенесла столько несчастий, набожность и религия опять вошли в моду. Чтобы не разочаровать клиентов в постные дни, Марселен Дюпра занимался рыбными блюдами со всей тонкостью и знанием дела. Лишенная имени гостиная находилась на втором этаже, и мне пришлось пройти через «ротонду», набитую представителями высшего общества, чего я никогда не делал, так как хозяин ругал меня за затрапезный вид каждый раз, как я появлялся из-за кулис.

Я нашел фон Тиле за столом. Дюпра, очень бледный, откупоривал лучшую, по его мнению, бутылку: «Шато-Лавиль» 1923 года. Никогда еще я не видел, чтобы хозяин так волновался. Для того чтобы он пошел на такую жертву, надо было затронуть его самые сокровенные струны. Было ясно, что фон Тиле объяснил ему подлинное значение своего «перемещения». Время от времени Дюпра бросал взгляд в окно: на аллее стояли две гестаповские машины, одна из них — машина самого Грюбера.

— Ничего не бойтесь, мой добрый Марселен,— говорил генерал.— Это мой почетный эскорт с девяти тридцати утра. Меня переводят в Берлин, и я должен сесть в самолет, который меня ожидает. Фюрер хочет избежать неприятной огласки. Впрочем, мое назначение в штаб генерала фон Кейтеля является повышением. Однако весьма вероятно, что самолет потерпит аварию прежде, чем я попаду в Темпельхоф, так как не думаю, чтобы жизнь экипажа кого-нибудь особенно волновала. В полете меня должны сопровождать трое моих непосредственных сотрудников, кроме полковника Штеккера — он хороший нацист и, надеюсь, останется вашим клиентом. Но не все пройдет так, как они планируют, поскольку не вижу, зачем мне обрекать на гибель совершенно невиновный экипаж, в то время как у люфтваффе уже наблюдается нехватка пилотов. Но главное, я отказываюсь играть в эту игру... или, если вы предпочитаете, сотрудничать. Я желаю, чтобы об этом узнали. Ефрейтор Гитлер считает себя гениальным стратегом и ведет германскую армию к гибели. Таким образом, необходимо, чтобы мои товарищи узнали о моем «предательстве», и, принимая во внимание мою боевую репутацию, смею сказать, что все мои коллеги — высшие офицеры — поймут мои соображения, кстати, большинство из них разделяет мое мнение. Это мое им предупреждение, и я хочу, чтобы это стало известно. Но поговорим о более веселых вещах...

Он отпил «Шато-лавиля» 1923 года.

— Изумительно! — сказал он.— Ах, французский гений!

— Я приготовил вам рагу из ракушек «Сен-Жак» и жареное тюрбо с горчицей,— дрожащим голосом сказал Марселен Дюпра.— Конечно, это немного избито... Если бы я знал...

— Разумеется, вы не могли знать, мой добрый Марселен. Впрочем, и я тоже. Видите ли, наш провал объясняется... как бы это сказать? Недостатком доверия к низшим и смиренным. Мы, офицерская элита, не выходим за пределы высшего круга. Мы не осмелились довериться какому-нибудь простому сержанту или ефрейтору-подрывнику, и в этом наша большая ошибка. Если бы мы искали помощи у людей... не будем говорить: низшего звания, скажем: у младших офицеров, бомбу отрегулировали бы как следует, и она сделала бы свое дело. Но мы хотели остаться среди своих: по-прежнему старый кастовый дух. Наша бомба не была достаточно... демократична. Нам недоставало рядового.

Мне пришлось вспомнить эту небольшую речь генерала фон Тиле через несколько месяцев. Когда 20 июля 1944 года другой представитель «офицерской элиты», полковник граф фон Штауфенберг, принес в своем портфеле бомбу в генеральный штаб Гитлера в Растенбурге, и фюрера лишь чуть-чуть тряхнуло при взрыве, я сказал себе, что среди всех этих господ опять не хватило простого ефрейтора-подрывника, который подложил бы бомбу нужной мощности. Этой бомбе не хватало народного дыхания.

Фон Тиле заканчивал жареное тюрбо с горчицей. Он повернулся ко мне.

— Итак, мой маленький Флери... Все прошло хорошо?

— Пока очень хорошо... Он хорошо спрятан... укрыт...

Немного поколебавшись, я первый раз в жизни сказал немцу:

— ...мой генерал.

Он дружески смотрел на меня. Он понял.

— Мадемуазель де Броницкая в Париже,— сказал он.— В надежном месте. Если только она не будет рисковать и пытаться увидеться с родителями... Вы ее знаете!

— Господин генерал, не могли бы вы...

Он кивнул в знак согласия, вынул из кармана блокнот и написал адрес и номер телефона. Вырвал листок и отдал его мне.

— Постарайтесь переправить их обоих в Испанию...

— Да, господин генерал.

Я положил листок в карман.

Георг фон Тиле отведал еще ракушек «Сен-Жак» и закончил трапезу знаменитым яблочным суфле, кофе и рюмкой коньяку.

— Ах, Франция! — прошептал он, и, как мне показалось, не без иронии.

Дюпра плакал. Дрожащей рукой протянул он генералу коробку настоящих гаванских сигар. Тот отстранил их. Потом поглядел на часы и поднялся.

— А теперь, господа,— сказал он сухо,— прошу оставить меня одного.

Дюпра вышел первый и побежал в туалет, чтобы умыть лицо. Если бы гестапо застало его в слезах, пока фон Тиле еще не умер, ему пришлось бы давать объяснения.

Выстрел раздался в тот момент, когда я садился на велосипед с Чонгом под мышкой. Я еще успел увидеть, как люди Грюбера выскочили из машин и бросились в ресторан.

Марселен Дюпра весь день пролежал лицом к стене. Вечером, перед началом работы, он произнес странную фразу, и я так и не узнал, оговорка это или высшая похвала:

— Это был великий француз.

XLI

Я ехал так быстро, держа одной рукой руль, а другой — пекинеса, что, когда наконец оказался перед резиденцией *графини* в парке и сошел с велосипеда, колени у меня подогнулись, в глазах помутилось, и я очутился на земле. Наверное, волнение и страх тоже сказались, потому что, несмотря на то, что фон Тиле говорил о «надежном месте» и дал мне адрес, я плохо представлял себе, как Лила может ускользнуть от гестапо и французской полиции на службе у оккупантов. Добрых несколько минут я всхлипывал, а Чонг лизал мне лицо и руки. Наконец я взял себя в руки, сунул собачку под мышку и поднялся по трем ступенькам на крыльцо. Я позвонил, ожидая, что увижу Одетту Ланье, «горничную», которая девять месяцев назад приехала из Лондона с новым приемником-передатчиком, но мне открыла кухарка.

— Ах, вот ты где. Ну, иди сюда, милый, иди...

Она протянула руки, чтобы взять Чонга.

— Я хочу поговорить с самой госпожой Эстергази,— пробормотал я, еще не в силах передохнуть.— Собака больна. Ее все время тошнит. Я заезжал к ветеринару и...

— Заходите, заходите.

Я застал мадам Жюли в гостиной с дочерью. Два-три раза я видел в Клери эту «секретаршу», которая, как всем известно, была любовницей полковника Штеккера из штаба фон Тиле. Хорошенькая брюнетка, чьи глаза унаследовали всю бездонную глубину материнских глаз.

— Герман никогда не доверял генералу,— говорила она.— Он находил, что фон Тиле — декадент, чье франкофильство становится невыносимым и который говорит о фюрере в недопустимом тоне. Герман посылал по этому поводу в Берлин рапорт за рапортом. Если то, что говорят, правда, Германа повысят по службе.

— Предать свою страну — какая чудовищная вещь! — сказала мадам Жюли.

Женщины были в гостиной одни. Эти слова явно предназначались мне. Из этого я заключил, что мадам Жюли, для которой недоверие было средством выживания, намекает, чтобы я говорил очень осторожно. Нельзя быть уверенным, что никто не подслушивает. Мать с дочерью казались сильно взволнованными. Мне почудилось даже, что руки мадам Жюли немного дрожат.

— О боже,— сказала она, повысив голос.— Вижу, что я опять забыла бедняжку в «Прелестном уголке». Возьмите, мой друг...

Она взяла с рояля свою сумку. На рояле выстроились знакомые надписанные фотографии; карточка адмирала Хорти была обтянута крепом в знак траура после того, как его сын, Иштван Хорти, в 1942 году погиб на русском фронте.

Она протянула мне десять франков.

— Возьмите, молодой человек. Спасибо.

— Мадам, собачка очень больна, я был у ветеринара, он назначил лечение, я должен с вами поговорить, это очень важно...

— Ну, мне пора обратно в контору,— нервно сказала девушка.

Мадам Жюли проводила ее до двери. Она выглянула наружу, чтобы убедиться, что за мной нет «хвоста», закрыла дверь, повернула ключ в замке и вернулась.

Она поманила меня за собой.

Мы прошли в спальню. Она оставила дверь широко раскрытой, прислушиваясь к малейшему шуму. Я снова сказал себе, что если бы до войны Франция так же заботилась о том, чтобы выжить, как эта старая сводня, мы бы не дошли до такого.

— Ну, быстро, в чем дело?

— Фон Тиле покончил с собой и...

— И все? Конечно, покончил с собой. Когда не умеешь взяться за дело...

— Он мне дал адрес и номер телефона Лилы. Это как будто надежное место...

— Дай сюда.

Она вырвала у меня из рук бумагу и взглянула на адрес.

— Да уж, надежное место! Это его гнездышко для любовных утех.

Видимо, я побледнел, потому что она смягчилась.

— Малышки это не касается. Фон Тиле любил женщин. Он себе устроил в Париже холостяцкую квартиру. Последней была шлюха из борделя Фабьенны на улице Мироменил, но она воспитывалась в монастыре Уазо, и у нее были хорошие манеры, так что он не заметил. Можешь быть уверен, что гестапо знает это место. У них досье насчет личной жизни всех генералов, и они никогда не переставали шпионить за фон Тиле. Я знаю, что говорю. Если малышка действительно там...

— Она погибла,— прошептал я.

Мадам Жюли ничего не сказала.

— Но ведь можно предупредить ее? Есть номер телефона...

— Нет, кроме шуток, ты что, воображаешь, что я позволю тебе звонить отсюда? На центральной станции записывают все номера, время, когда звонили, и номер, откуда звонят!

— Помогите мне, мадам Жюли!

Она наклонилась и взяла на руки Чонга, враждебно глядя на меня.

— Невероятно, кажется, у меня к тебе слабость. В моем-то возрасте!

Она подумала.

— Единственное место, откуда ты мог бы позвонить спокойно, это гестапо,— сказала она.— Погоди. Есть еще одно место. Квартира Арнольда, заместителя Грюбера.

— Но...

— Он там живет с дружком... Я тебе о нем говорила. Это дом четырнадцать на улице Шан в Клери, третий этаж, направо. У них своя линия связи, так что ничего не узнают. Поезжай туда. Очень удачно. Я забыла передать ему лекарство... То есть когда я говорю: забыла... В последнее время он стал обо мне забывать, этот маленький Франсис...

— Франсис?

— Франсис Дюпре. Это имя так мало походит на «Исидор Лефковиц», как только можно. Подожди...

Она порылась в ящике комода и достала две ампулы.

— Уже неделя прошла. Бедняга уж, наверно, на стены лезет. Но это ему урок.

Я взял ампулы.

— Он диабетик. Это инсулин.

— Вы хотите сказать, морфий.

— Что ты хочешь, скоро вот уж четыре года, как он подыхает от страха. Впрочем, он всегда был не очень-то уверен в себе. Скажи ему, я его не забуду, если он не забудет обо мне снова. Пусть даст тебе позвонить.

Она сидела в кресле, расставив ноги, с Чонгом на коленях.

— И дай мне что у тебя в кармане, Людо.

— Что?

— Капсулу с цианом. Если тебя обыщут и найдут ее у тебя, это все равно как если бы ты признался. Не будешь ведь ты глотать циан только потому, что тебя обыскивают. А так всегда есть шанс, что как-нибудь вывернешься.

Я положил свою капсулу с цианистым калием на ее ночной столик.

У мадам Жюли вдруг стал мечтательный вид.

— Теперь уже недолго,— сказала она.— Я уж ночи не сплю от нетерпения. Было бы слишком глупо попасться в последний момент.

Она рассеянно теребила свою золотую ящерицу.

— Если тут слишком запахнет жареным, я выберусь отсюда, присобачу себе куда надо желтую звезду и сдамся немцам в Ницце или Канне. Конечно, меня сразу депортируют, но несколько месяцев я продержусь, а тем временем американцы высадятся. Знаешь, как в фильмах про краснокожих, когда в конце всегда появляется кавалерия.

Она засмеялась.

— Янки-дудл-дудл-дэнди...— промурлыкала она.— Что-то в этом роде. Сами немцы в это верят. Кажется, это будет в Па-де-Кале. Хотела бы я это видеть. Так что, если ты попадешься...

— Будьте спокойны, мадам Жюли. Пусть лучше меня замучат до смерти, чем...

— Да, все так думают. Ладно, увидим. Поезжай.

Через сорок пять минут я был у дома 14 на улице Шан. Я оставил велосипед метрах в ста от дома и взбежал на третий этаж. Я был так взволнован, что первый раз в жизни у меня сделалось выпадение памяти: забыл, направо или налево. Пришлось заново вспомнить весь разговор с мадам Жюли, чтобы восстановить слова: «Третий этаж, направо». Я позвонил.

Дверь открыл тщедушный молодой человек, довольно красивый, в стиле танцора танго, но очень бледный; его большие, обведенные кругами глаза имели тревожное выражение. Он был в пижаме; на шее у него висел маленький крестик.

— Господин Франсис Дюпре?

— Это я. Что вы хотите?

— Я от графини Эстергази. Я вам привез лекарство.

Он оживился.

— Наконец-то... Не меньше недели прошло... Она меня забыла, мерзавка. Дайте мне...

— Мадам... то есть графиня Эстергази... попросила меня позвонить от вас в Париж.

— Пожалуйста, пожалуйста... Телефон там, в спальне... Дайте мне это...

— Месье, я не знаю немецкого. Надо, чтобы вы сами попросили номер...

Он устремился к телефону, вызвал номер и передал мне трубку. Я отдал ему две ампулы морфия, и он побежал в ванную.

Через минуту я услышал голос Лилы.

— Алло?

— Это я...

— Людо! Но как...

— Не оставайся там, где ты сейчас. Уходи немедленно.

— Почему? Что случилось? Георг мне сказал...

Я едва мог говорить.

— Сейчас же уходи... Это место засекли... Они будут с минуты на минуту...

— Но куда мне идти? К родителям?

— Нет, только не это... Подожди...

У меня в голове плясали десятки имен и адресов товарищей. Но я знал,

что никто не пустит к себе незнакомку без заранее условленного пароля. И может быть, за Лилой уже есть слежка. Я выбрал наименее опасный выход.

— У тебя деньги есть?

— Да, Георг мне дал.

— Брось все вещи и немедленно уходи, не теряя ни секунды. Снимешь комнату в гостинице «Европейская», улица Роллен, четырнадцать, это возле площади Контрэскарп. Сегодня вечером я тебе кого-нибудь пришлю, он спросит Альбертину, а ты назовешь его Родриго. Повтори.

— Альбертина. Родриго. Но я не могу так уйти, здесь все мои книги по искусству...

Я проревел:

— Ты все бросаешь и уходишь! Повтори.

— Родриго. Альбертина. Людо...

— Уходи!

— Мне чуть не удалось...

— Уходи!

— Я люблю тебя.

Я повесил трубку.

Совершенно измотанный и физически, и нравственно, я упал на неубранную постель. Едва я лег, как из ванной появился Франсис Дюпре. Никогда бы не поверил, что за несколько минут человек может так измениться. Он излучал покой и счастье. В глазах с томными ресницами страха не осталось и следа. Он сел на кровать у меня в ногах, улыбаясь, с дружеским видом.

— Ну как, молодой человек, все в порядке?

— Все в порядке.

— Эта Эстергази чертовски хорошая женщина.

— Да. Чертовски хорошая женщина.

— Она всегда была для меня как мать. Знаете, я диабетик, а без инсулина...

— Я понимаю.

— И потом, инсулин бывает разный. Тот, который она мне достает, всегда прекрасного качества. Не выпьете бокал шампанского?

Я встал.

— Извините, я тороплюсь.

— Очень жаль,— сказал он.— Вы мне очень симпатичны. Рад буду видеть вас. До скорой встречи.

— До скорой встречи.

— Только скажите ей, чтобы помнила обо мне. Мне нужно лекарство через каждые три дня.

— Я ей скажу. Но я так понял, что вы тоже немного забыли о ней...

Он издал смешок.

— Правда, правда. Больше не буду. Я буду чаще давать ей знать о себе.

Я уже был на лестнице.

Мне понадобилось несколько часов, чтобы связаться с «Родриго» в Париже и попросить его пойти в гостиницу «Европейская», улица Роллен, 14, и спросить Альбертину.

На следующий вечер мы получили ответ. В гостинице «Европейская» Альбертины не было. Всю субботу и воскресенье наш товарищ Лаланд звонил по телефону, который мне дал фон Тиле. К телефону никто не подходил.

Лила исчезла.

XLII

Несколько дней я не мог добраться до «Старого источника». Весь район был поставлен на ноги: тысячи солдат прочесывали окрестности в поисках офицера-изменника. Кроме того, я потерял много времени,

лихорадочно и безуспешно пытаясь найти Лилу: товарищи рискнули даже пойти на улицу Шазель и расспрашивать соседей. Все захлопнули двери у них перед носом. Только хозяин бистро на углу вспомнил, что видел, как к дому 67 напротив подъезжала полицейская машина, но они как будто никого не нашли и уехали. Я отыскал в бумагах Дюпра парижский адрес Броницких: видимо, его дала ему Лила. Они тоже исчезли.

Мне удалось себя убедить, что вся семья успела укрыться в деревне, у надежных друзей. В конце концов Броницкие имели связи среди французской аристократии, а теперь наступило время, когда, несмотря на уверения радио Виши, что «при попытке англосаксов высадиться они будут немедленно отброшены в море», новоявленные подпольщики стали появляться даже среди тех, кто до сих пор мудро держался в стороне.

Итак, я немного успокоился. Если бы с Лилой что-нибудь случилось, гестаповцы Клери первые были бы в курсе дела, и «Франсис Дюпре» не преминул бы известить ту, которая «всегда была для него как мать», как он мне объяснил. Я видел госпожу Эстергази: она явилась в «Прелестный уголок», высокомерная, вся в сером, и прошла мимо, не взглянув на меня; она даже была без пекинеса. Ей нечего было мне сказать — ничего нового.

Так что с каждым днем я все больше проникался уверенностью, что Лила в безопасности. Не знаю, была ли это настоящая уверенность,— важно то, что она спасала меня от отчаяния. Теперь мне надо было заняться Хансом, найти ему более надежное убежище и постараться переправить его в Испанию вместе со следующей группой. Я отправился к Субаберу. Я нашел «Геркулеса» в очень плохом настроении.

— Никогда еще боши не лезли всюду с таким остервенением. Нельзя будет даже пошевелиться, пока они не найдут этого типа. Если так будет продолжаться, дело может кончиться полным провалом. Они уже наткнулись на два склада оружия в Веррьере и взяли одного из братьев Солье и их сестру. Остается только одно: найти этого боша и отдать им.

У меня перехватило дыхание.

— Суба, ты не можешь это сделать.

— Почему это?

— Он тоже подпольщик. Они пытались убить Гитлера...

Он очень высоко поднял брови:

— Да, после Сталинграда. И можешь быть уверен, что будут еще попытки. Генералы поняли, что дело пропащее, и хотят выйти сухими из воды. Я тебе вот что скажу, Флери: счастье, что они потерпели неудачу. Потому что если бы у них получилось, если в следующий раз у них выйдет, то поверь мне, американцы с ними договорятся и снова бросят немецкую армию против русских...

— Не будешь же ты помогать гестапо?

— Послушай, малыш. Мне надо сохранить четыре склада оружия. Печатный станок. Пять радиоприемников. Ни одного парашюта нельзя будет принять, пока в наших местах днем и ночью шляются боши. Этот парень нам все испортил. Так что или он, или мы. Я приказал, чтобы его нашли. Тебе бы тоже неплохо взяться за это дело. Никто не знает местность лучше, чем ты.

Я ничего не ответил и ушел. Я попробовал немного поработать и начал мастерить воздушного змея, но не мог даже придумать его форму. Я сидел неподвижно с голубой бумагой в руке. Суба прав. Пока гестапо не получит Ханса, никакая деятельность подполья невозможна. С другой стороны, ясно было, что я не могу его предать. В одиннадцать утра в дверь постучали, и вошел Суба вместе с Машо и Родье.

— Они ищут всюду. Нельзя больше пошевелиться. Ты куда его дел, твоего дружка? Он ведь проводил здесь каникулы, этот Ханс фон Шведе, и, оказывается, вы были приятелями. Нет, ты будешь говорить.

— Суба, ванна в той комнате. Не знаю, заговорю ли я под пыткой, я всегда себя спрашивал.

— Черт тебя возьми, ты что, пошлешь все к черту из-за немецкого офицера?

— Нет. Дайте мне двенадцать часов.

— Но ни часу больше.

Я не стал ждать ночи, я предпочел пробираться к «Старому источнику» при свете дня, чтобы быть уверенным, что за мной не пойдет ни один из моих товарищей. Я приготовил для Ханса гражданскую одежду, но теперь это было не нужно. Когда я нашел его, он сидел на камне, сняв мундир, и читал. Не знаю, где он взял книгу. Потом я вспомнил, что в кармане у него всегда была книжка, и всегда одна и та же: Гейне.

Я сел с ним рядом. Наверно, у меня был ужасный вид, потому что он улыбнулся, перевернул страницу и прочел:

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,
dass ich so traurig bin;
ein Märchen aus alten Zeiten,
das kommt mir nicht aus dem Sinn [1].

Потом он, смеясь, добавил:

— Обойдемся без перевода, но у Верлена есть нечто в этом роде:

Я вспоминаю
Былые дни
И плачу... [2]

Он положил книгу рядом с собой.

— Итак?

Он внимательно меня выслушал и время от времени кивал головой.

— Они правы. Скажи им, что я их очень хорошо понимаю.

Он встал. Я знал, что вижу его в последний раз и что никогда уже не забуду лицо моего «врага», освещенное весенним солнцем. Проклятая память. Стоял один из тех чудесных весенних дней, безмятежных и мягких, когда природа царит над всем окружающим.

— Попроси твоих друзей прийти сюда за мной до наступления ночи, если возможно. Это... из гигиенических соображений. Здесь много насекомых.

Он замолчал и посмотрел на меня с ожиданием; в первый раз я прочел в его взгляде беспокойство. Он даже не смел спросить.

Не знаю, ему я лгал или себе, когда ответил:

— Сейчас она должна уже быть в Испании. Будь спокоен.

Его лицо осветилось.

— Уф,— сказал он.— По крайней мере, одной заботой меньше.

Я ушел, и мы до конца остались верны нашему детству: мы не пожали друг другу руки.

На следующий день Суба принес мне томик Гейне и медальон с портретом Лилы. Остальное они передали полиции, объяснив, что младший Маэ наткнулся на тело в овраге у так называемого «Старого источника», собирая ландыши.

XLIII

Тот же Суба вскоре передал мне известия о дяде. В воскресенье он пришел ко мне, одетый, как он сам говорил, неосторожно: он мечтал о форме, настоящей французской форме, и чтобы носить ее не скрываясь. Он был офицером запаса, о чем все время нам напоминал, впрочем, не уточняя звания,— вероятно, надеясь получить в будущем погоны по своему вкусу. В сапогах, берете, бриджах и гимнастерке хаки, толстый, с хмурым,

---

[1] Не знаю, что стало со мною,
Печалью душа смущена.
Мне все не дает покою
Старинная сказка одна.
Гейне, перевод В. Левика.

[2] Поль Верлен. «Осенняя песня».

как обычно, лицом — на нем как бы навсегда застыла ярость, которую он испытал при капитуляции,— Суба тяжело сел на табуретку и без всякой подготовки ворчливо объявил:

— Он в Бухенвальде.

В то время я мало что знал о лагерях смерти. В моем уме слово «депортация» еще не имело всего своего ужасного значения. Но я думал, что дядя спокойно живет в Севеннах, и был так потрясен, что, взглянув на меня, Суба встал и сунул мне в руки стакан и бутылку кальвадоса.

— Ну, приди в себя.

— Но что он сделал?

— История с евреями,— хмуро проворчал Суба.— С еврейскими детьми, как я понял. Кажется, в Севеннах есть целый поселок, который посвятил себя этому. Не помню названия. Гугенотский поселок. В свое время они сами натерпелись преследований, так что они все за это взялись, и как мне сказали, и сейчас продолжают. Само собой, раз речь идет о детях, еврейских или нееврейских, Амбруаз Флери сразу влез туда с головой, со своими воздушными змеями, и всё такое.

— Всё такое.

— Да, всё такое.

Он дотронулся до своей головы.

— Ну, мы все сейчас немного «того». Надо быть безумцем, чтобы рисковать своей жизнью ради других, потому что, когда Франция будет свободна, нас уже может не быть, и мы ее не увидим. Только у меня это не в голове...

Он потрогал свой живот.

— У меня это в нутре. Так что я не могу иначе. Если бы у меня это было в голове, я бы устроился, как Дюпра. В общем, его отправили в концлагерь. Он им попался между Лионом и швейцарской границей.

— Вместе с детьми?

— Про это я ни черта не знаю. Я договорился с одним человеком оттуда, он тебе расскажет подробности. Вставай, поехали.

Я ехал за ним на своем велосипеде, плача носом. Слезы всегда найдут себе выход, напрасно стараться их сдержать.

В «Нормандце» в Кло он познакомил меня с господином Терье, который нас ждал. Он сообщил мне, что бежал во время бомбардировки, надев форму убитого немецкого солдата, благодаря тому, что «знал в совершенстве язык Гёте, который преподавал в лицее Генриха Четвертого». Описав то, что он довольно странно называл «лагерной жизнью», он сказал, что среди худших испытаний дядя никогда не поддавался отчаянию.

— Правда, сначала ему повезло...

— Как повезло, месье? — воскликнул я.

Господин Терье объяснил, в чем заключалось дядино везение. Оказалось, что один из охранников год стоял с оккупационными войсками в районе Клери и вспомнил о воздушных змеях Амбруаза Флери, которыми немцы восхищались и часто покупали их, чтобы посылать своим семьям. Начальнику лагеря пришла мысль использовать работу заключенного, и он снабдил его необходимыми материалами. Дяде приказали начать работу. Сначала эсэсовцы забирали змеев и дарили своим детям и детям знакомых, потом решили торговать змеями. Дядя получил целую группу помощников. Так над лагерем позора стали взлетать в воздух разноцветные воздушные змеи — символ несгибаемой веры и надежды Амбруаза Флери. Господин Терье сказал, что дядя работал по памяти, но что ему удалось придать некоторым из своих произведений черты Рабле и Монтеня — ведь он столько раз делал их раньше! Но самый большой спрос был на змеев, имеющих наивную форму картинок из детских книжек, и фашисты даже притащили дяде целую коллекцию сказок и книг для детей, чтобы помочь его воображению.

— Мы очень любили старика Амбруаза,— говорил господин Терье.— Конечно, он был немного чудаковат, чтобы не сказать немного сумасшедший, иначе он не мог бы — в его-то возрасте, голодный, как все мы! —

делать свои штуковины такими яркими, пестрыми, забавными и веселыми. Этот человек не умел отчаиваться, и те из нас, кто ждал смерти как избавления, чувствовали себя униженными перед такой душевной силой — он как бы бросал им вызов. Наверно, у меня всегда будет стоять перед глазами этот неукротимый человек в полосатых лохмотьях узника, в компании нескольких полутрупов, которые не умирали только благодаря чему-то, чего нельзя объяснить словами, запускающий в небо «корабль» с двадцатью белыми парусами, трепетавшими над печами крематориев, над головой у наших палачей. Иногда какой-нибудь змей вырывался и улетал, а мы с надеждой провожали его глазами. За эти месяцы ваш дядя собрал не меньше трех сотен воздушных змеев, черпая сюжеты, как я уже говорил, из детских сказок, которые дал ему начальник лагеря, из самых популярных сказок. А потом дело приняло дурной оборот. Может, вы еще не знаете об этой истории с абажурами из человеческой кожи. Еще услышите. Короче говоря, эта тварь Ильза Кох, надзирательница женского лагеря, заставляла делать для нее абажуры из кожи мертвых заключенных. Нет, не делайте такое лицо: это *ничего* не доказывает. И никогда ничего не докажет, сколько бы ни было улик. Стоит появиться какому-нибудь Жану Мулену или Этьену д'Орву [1], как защита получит право слова. Итак, Ильзе Кох пришла в голову мысль: она приказала Амбруазу Флери сделать ей воздушного змея из человеческой кожи. Именно так. Она нашла кожу с красивой татуировкой. Разумеется, Амбруаз Флери отказался. Ильза Кох пристально посмотрела на него и сказала: «Denke doch. Подумай». Она удалилась со своим знаменитым хлыстом, а ваш дядя провожал ее глазами. Думаю, тварь поняла, что означают воздушные змеи, и решила сломить дух француза, который не умел отчаиваться. Всю ночь мы пытались уговорить Амбруаза: одной кожей больше или меньше, уже не имело значения. И во всяком случае, в этой коже уже никого не было. Но ничего не вышло. «Я не могу сделать с ними такое»,— повторял он. Он не объяснил нам, с кем именно он не может «сделать такое», но мы хорошо его понимали. Не знаю, что для него значили его воздушные змеи. Наверное, какую-то непобедимую надежду.

Господин Терье замолчал в некотором затруднении. Суба резко встал и заговорил у прилавка с хозяином. Я понял:

— Они его убили.

— О нет, нет, могу вас успокоить на этот счет,— поспешил меня утешить господин Терье.— Они только перевели его в другой лагерь.

— Куда?

— В Польшу, в Освенцим.

Тогда я еще не знал, что Освенцим будет более известен во всем мире под немецким именем Аушвиц, как тому и следует быть.

XLIV

Уже более двух месяцев Лила снова делит со мной мою подпольную жизнь. Я сплю так мало — специально, потому что состояние нервного истощения благоприятно для ее присутствия,— что могу вызывать ее почти каждую ночь.

— Ты меня предупредил как раз вовремя, Людо. К счастью, Георг нам достал документы. Я с родителями смогла укрыться в Испании, потом в Португалии...

Два-три раза в неделю я захожу в муниципальную библиотеку в Клери, чтобы быть ближе к Лиле, и, склонившись над атласом, ведя пальцем по карте, встречаюсь с нею в Эскориале или провинции Альгаро, знаменитой своими пробковыми дубами.

— Тебе бы следовало приехать сюда, Людо. Это очень красивая страна.

---

[1] Национальные герои, герои Сопротивления, убитые гитлеровцами.

— Напиши мне. Ты со мной говоришь, успокаиваешь меня, но когда ты меня покидаешь, то не подаешь никаких признаков жизни. Ты хотя бы не делаешь глупостей?

— Каких глупостей? Я сделала их так много!

— Ты знаешь... «Надо было выжить, спасти своих»...

У нее делается строгий голос.

— Вот видишь, ты все время об этом думаешь. В глубине души ты мне не простил...

— Неправда. Если я не хочу, чтобы это повторилось, то потому...

Голос становится насмешливым.

— ...потому что ты боишься, что это войдет у меня в привычку.

— Речь идет не о привычке. Об отчаянии...

— Ты бы меня стыдился.

— Нет! Иногда я стыжусь, что я человек, что у меня такие же руки, такая же голова, как у них...

— У кого «у них»? У немцев?

— У них. У нас. Надо очень верить в воздушных змеев дяди Амбруаза, чтобы смотреть в глаза человеку, как он есть, и думать: он невиновен. Это не он замучил до смерти Жомбе, не он на прошлой неделе командовал расстрелом, когда шестерых заложников-«коммунистов» изрешетили пулями...

Голос удаляется.

— Что ты хочешь, надо выжить, спасти своих... Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь?

Я встаю, беру фонарь и иду через двор в мастерскую. Воздушные змеи здесь, все те же, и их всегда нужно делать заново. Я раз двадцать собирал и «Жан-Жака Руссо», и «Монтеня», и даже «Дон Кихота», этого великого непризнанного реалиста, который был так прав, когда видел вокруг себя, в таком как будто знакомом уютном мире, безобразных драконов, чудовищ, научившихся притворяться и прикрываться личиной доброго малого, «который даже мухи не обидит». С тех пор как появился человек, число мух, поплатившихся своими крыльями из-за этой успокоительной поговорки, достигло сотен миллионов.

У меня уже давно нет ненависти к немцам. Что, если фашизм — не уродливая бесчеловечность? Что, если он *присущ человеку?* Если в этом первопричина, истина, скрытая, подавленная, замаскированная, отрицаемая, затиснутая в глубь души, но в конце концов выходящая наружу? Немцы — да, конечно, немцы... Просто сейчас в истории их очередь, вот и все. Неизвестно, что будет после войны, когда Германия будет побеждена, а фашизм спасется бегством или спрячется... Вдруг другие народы в Европе, Азии, Африке или Америке захотят принять эстафету? Один товарищ привез нам из Лондона книжечку стихов французского дипломата Луи Роше. Он писал о жизни после войны. Две строчки навсегда мне запомнились:

И резня ужасной будет,
Говорю тебе как мать.

Я зажигаю фонарь. Воздушные змеи здесь, но запускать их по-прежнему запрещено. Не выше человеческого роста, говорится в постановлении. Власти боятся этих небожителей, боятся шифровки, обмена условными знаками, сигналов подпольщиков. Детям разрешается только таскать их за веревку. Летать запрещается. Больно видеть, как наш «Жан-Жак» или наш «Монтень» волочится по земле, тяжело видеть их ползающими. Когда-нибудь они снова смогут подниматься ввысь и улетать «в погоне за небом». Они снова смогут успокаивать нас и утешать. Может быть, смысл существования воздушных змеев в том, чтобы красоваться.

В конце концов я всегда брал себя в руки. Это был просто инстинкт самосохранения. Неважно, что́ у Флери такое: просто сумасшествие или священное безумие. Главное — не терять веры. Иначе не выжить. «Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь?» Я вытирал глаза и продолжал работу.

Иногда дети приходили мне помочь тайком от родителей: Ла-Мотт находилась в пяти километрах от Клери, и надо было беречь обувь. Мы мастерили воздушных змеев и складывали их до будущих времен.

Однажды утром я получил вести от Эстергази. Она по-прежнему регулярно приходила в «Прелестный уголок», несмотря на то что ее посетило тяжелое горе: умер Чонг. Она сама мне об этом сказала, с еще красными от слез глазами.

— Я себе куплю таксу,— добавила она, сморкаясь в платок.— Не надо распускаться.

Было 12 мая 1944 года. Во время обеда дверь конторы открылась, и я увидел Франсиса Дюпре. Со своими подложенными плечами, напомаженными волосами, неестественно длинными ресницами и большими нежными глазами, он как будто перенесся сюда прямо из Неаполя — «страны огненных поцелуев»; в его венах наверняка плавала добрая доза «лекарства», потому что он был в великолепной форме. Видимо, мадам Жюли остерегалась его «забывать», потому что опасность все увеличивалась: гестаповцы явно нервничали. Никогда еще *графиня* так не нуждалась в своем друге, «стопроцентном арийце», и он тоже не мог себе позволить ее забыть. Трудно было вообразить более полную взаимную зависимость — и более трагическую.

— Как дела, молодой человек?

Он присел на мой стол.

— Будьте осторожны, друг мой. На днях я видел листок с фамилиями. Около некоторых стоял крест, около вашей — только вопросительный знак. Так что будьте осторожны.

Я ничего не сказал. Он покачивал ногой.

— Я сам немного беспокоюсь. Мой друг, майор Арнольд, с минуты на минуту ждет перевода в Германию. Не знаю, что со мной будет без него.

— Что ж, вы можете поехать с ним в Германию.

— Не вижу, как это сделать.

— Он найдет способ.

Мне не следовало поддаваться соблазну, потому что Исидор Лефковиц побелел.

— Простите меня, господин Дюпре.

— Ничего. Я не знал, что она вам рассказала.

— Я ничего не знаю. Что касается этого вопросительного знака около моей фамилии... Мне не в чем себя упрекнуть.

— Все зависит от точки зрения, избираемой по поводу представления, составляемого о данном предмете...

Я продолжил фразу:

— ...ибо самый осмотрительный и проницательный человек тем не менее связан рядом потребностей, которые, не являясь первостепенными, все же имеют значение.

Мы расхохотались. Это была игра в пустую риторику, которую знали все лицеисты.

— Жансон-де-Сайи, старший класс,— прошептал он.— Как это все сейчас кажется далеко, боже мой!

Он понизил голос.

— Она хочет вас видеть. Сегодня в три часа дня у Гусиной усадьбы.

— Почему у усадьбы? Почему не у нее?

— Она поедет за покупками, а это по дороге. И потом...

Он посмотрел на свои ногти с маникюром.

— ...не знаю, что ему пришло в голову, но этот славный Грюбер будто с цепи сорвался. Представьте себе, позавчера он осмелился обыскать виллу графини.

— Не может быть,— проговорил я с комком в горле.

Я думал о «горничной» Одетте Ланье и о нашем приемнике-передатчике.

— Неслыханно, не правда ли? Конечно, просто ради порядка. Впрочем, я ее предупредил. Конечно, положение ухудшается. Говорят даже, что нам

угрожает высадка противника... Мой друг Франц... майор Арнольд очень обеспокоен. Конечно, если только англо-американцы посмеют это сделать, их тут же отбросят в море. Во всяком случае, будем надеяться.

— Люди живут надеждой.

Мы обменялись долгим взглядом, и он вышел.

Было тринадцать тридцать. Я не мог усидеть на месте и пришел к усадьбе на час раньше. Руины того, что было «турецким изделием на нормандский лад» Броницких, поросли травой и приобрели странно декоративный вид, как если бы их поместил здесь в искусственной заброшенности умелый художник.

Я знал, что из-за нехватки бензина мы вернулись во времена экипажей, но все-таки был поражен, увидев, как Жюли Эспиноза подъезжает в желтом фаэтоне, сидя позади кучера в голубой ливрее и шапокляке. Она величественно вышла из фаэтона, в огромном рыжем парике, выставив грудь, отставив зад, в платье, затянутом в поясе, как на открытках начала века. Ее мужественные черты имели еще более решительное выражение, чем всегда, и, с пачкой «Голуаз» в руке, с окурком в углу рта, она представляла собой ошеломляющую смесь Ла Гулю кисти Тулуз-Лотрека, светской дамы и пожарного. Я мог только смотреть на нее в остолбенении, и она объяснила сердитым тоном, что всегда было у нее признаком нервозности:

— Я даю garden-party в стиле девятисотого года. Кажется, эта падаль Грюбер начинает мне не доверять, а в таких случаях надо быть на виду. Не знаю, что происходит. Kriegsspiel [1], судя по распоряжениям, но все заправилы вермахта примчались сюда со всех концов. Вчера они все собрались в Оленьей гостинице. Я нахально заявилась туда и всех их пригласила. Там фон Клюге, и Роммель тоже. Фон Клюге был в молодости военным атташе в Будапеште и очень хорошо знал моего мужа...

— Но тогда...

— Что тогда? Или мы еще не были женаты, или это был не тот Эстергази, а его двоюродный брат, вот и все. Это как выйдет по разговору. Думаешь, он будет выяснять? Он мне прислал цветы. Garden-party — это в его честь. Ах, Будапешт двадцатых годов, доброе старое время, адмирал Хорти... В двадцать девятом году я была младшей хозяйкой в одном из лучших борделей в Буде, так что я знаю все имена.

Она раздавила окурок каблуком.

— Грюберу я чуть не попалась, но Франсис вовремя меня предупредил. Если бы только они нашли вашу Одетту с ее передатчиком... Т-с-с!

Она чиркнула себе пальцем по горлу.

— Куда вы их дели?

— Одетту я оставила, это моя горничная, у нее самые лучшие бумаги, но передатчик...

— Вы его хотя бы не выбросили?

— Он у Лавиня, заместителя мэра.

— У Лавиня? Вы совсем с ума сошли! Это известный коллаборационист!

— Вот именно, а теперь он сможет доказать, что был настоящим подпольщиком.

Она улыбнулась с жалостью.

— Ты еще не знаешь людей, Людо. Впрочем, ты никогда не будешь их знать. Тем лучше. Такие тоже нужны. Если бы не было таких людей, как твой дядя Амбруаз со своими воздушными змеями и как ты...

— Все-таки для парня со взглядом смертника, как вы мне часто повторяли... Сейчас сорок четвертый год, так что я не так уж плохо справился.

У меня дрогнул голос. Я подумал о том, кто не умел отчаиваться.

— Он в Бухенвальде, я знаю,— тихо сказала мадам Жюли.

Я молчал.

— Не переживай. Он вернется.

---

[1] Военная игра *(нем.)*.

— Что, ваш друг фон Клюге его оттуда вытащит?

— Он вернется. Я чувствую. Я *хочу,* чтобы он вернулся.

— Я знаю, что вы ко всему прочему немного колдунья, мадам Жюли, но чтобы быть доброй феей...

— Он вернется. Я чувствую такие вещи. Вот увидишь.

— Не уверен, что мы с вами доживем до того, чтобы его увидеть.

— Доживем. Значит, я тебе говорила, что Грюбер ничего не нашел и даже извинился. Вроде бы это из-за всех этих шишек в Оленьей гостинице. Они вынуждены принимать чрезвычайные меры. И это правильно. Подложить туда одну хорошую бомбу и... понимаешь?

— Понимаю. Мы сообщим в Лондон, но мы сейчас не можем действовать. Оленья гостиница слишком хорошо охраняется, это невозможно. Вы меня вызвали, чтобы спросить меня насчет этого? Мы к этому не готовы.

— Вы правильно делаете, что на какое-то время притихли. Признаюсь тебе, я сама думала о том, чтобы где-то пересидеть. Я себе подготовила местечко для отступления в Луарэ́ [1]. Но я решила остаться. Я выстою. У меня только от одного кишки сводит...

Она все же была встревожена, раз заговорила на старом языке.

— ...сейчас у меня кишки сводит вот от этого...

Она указала головой на кучера в ливрее, с поводьями и кнутом в руках, который сидел, растерянно помаргивая глазами.

— Этот кретин ни слова не говорит по-французски.

— Англичанин?

— Даже не это. Канадец, но этот сукин сын не франколюбящий...

— Франкоязычный.

— Твои дружки вчера мне его подсунули в немецкой форме, но я сказала: только одну ночь, не больше. Он уже три недели переходит из рук в руки. Я сейчас смогла его вывезти в ливрее и в фаэтоне для garden-party, но не знаю, куда его деть.

Она бросила на канадца задумчивый взгляд.

— Жаль, что еще рановато. Неизвестно, будет это летом или в сентябре. А то бы я его выставила на аукцион. Скоро появятся такие, и ты их знаешь, кто дорого заплатит за то, чтобы иметь возможность прятать летчика союзников.

— Что мне с ним делать в этих тряпках?

— Разбирайся.

— Послушайте, мадам Жюли...

— Я тебе уже сто раз говорила, что нет никакой мадам Жюли, черт возьми! — заорала она неожиданно голосом фельдфебеля.— «Госпожа графиня»!

Она так нервничала, что ее усики вздрагивали. Удивительно, какие штуки иногда выкидывают гормоны, подумал я. И именно в этот момент, без всякой причины, потому только, что мадам Жюли рассердилась, а у нее это было признаком смущения или беспокойства, я понял: для этой встречи была другая причина, и это касалось Лилы.

— Зачем вы меня позвали, мадам Жюли? Что вам нужно мне сказать?

Она зажгла сигарету, прикрывая огонек ладонями, избегая смотреть на меня.

— У меня для тебя хорошая новость, малыш. Твоя полька... в общем, она жива и здорова.

Я напрягся, готовясь к удару. Я знал ее. Она старалась не сделать мне слишком больно.

— После самоубийства фон Тиле ее арестовали. Ей нелегко пришлось. Может, она даже немного тронулась. Они хотели знать, была ли она в курсе заговора. Ее считали любовницей фон Тиле... Люди болтают невесть что.

— Ничего, мадам Жюли, ничего.

— В конце концов они ее выпустили.

---

[1] Луарэ́ — департамент Парижского бассейна, в районе Орлеана.

— А потом?

— Потом не знаю, что она делала. Ни малейшего понятия. У нее ведь мать, этот идиот, ее отец,— ох, уж этот!..— и у них больше не было денег. В общем, потом...

Она действительно была огорчена и все время избегала моего взгляда. Она хорошо относилась ко мне, мадам Жюли.

— ...Малышка нашлась у одной моей приятельницы, Фабьенн.

— На улице Мироменил,— сказал я.

— Ну и что, что на улице Мироменил? Фабьенн нашла ее на улице...

— На панели.

«Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь? Надо было выжить, спасти своих...»

— Да ничего подобного, что ты придумываешь? Просто, чтобы не оставлять ее на улице, Фабьенн взяла ее к себе.

— Конечно, в хорошем борделе все-таки лучше, чем на улице.

— Слушай, мой маленький Людо, фашисты сейчас делают мыло из костей евреев, так что заботы о чистоте в наше время... Знаешь, шансонье Мартини выступал перед залом, набитым немцами, он вышел на сцену и поднял руку, как для нацистского приветствия. Немцы захлопали. Тогда Мартини поднял руку еще выше и сказал: «До сих пор в дерьме!» Так что не измеряй уровень сантиметром. И потом, если Фабьенн мне позвонила, так это потому, что она очень хорошо понимает, что малышка там не на своем месте. Проститутка — это профессия, даже призвание. Кому это не дано, ничего не выйдет. Она у меня спрашивает, что с ней делать. Так что иди туда и забери ее к себе. Вот, я тебе принесла денег. Поезжай, забери ее, будь с ней ласков, и все пройдет. Осточертело все белое и все черное. Серое — вот человеческий цвет. Ладно, сейчас я еду на свой garden-party. Я на него вызвала самый цвет проституток. Постараюсь спасти свою шкуру. И избавь меня от этого кретина. Чтоб к следующей войне канадцы выучили французский, или пусть на меня не рассчитывают!

Она заставила парня сойти, подобрала свои юбки и села на его место. Подхватила поводья и кнут, и фаэтон покатился, унося старую неукротимую сводню Жюли Эспинозу на garden-party графини Эстергази. Я оставил канадского пилота в развалинах бывшей маленькой гостиной усадьбы, сообщил Субаберу, что надо им заняться, и начал действовать, чтобы как можно быстрее добыть бумаги, необходимые для поездки в Париж.

XLV

От поездки в «Феерию» мадам Фабьенн на улице Мироменил меня избавили. Я даже немного пожалел об этом, решив с гордостью сдать экзамен на «непридавание значения». 14 марта я был в мастерской с детьми, которые еще приходили ко мне делать змеев в ожидании тех дней, когда фашистов разобьют и мы снова сможем запускать их в небо. Дверь открылась, и я увидел Лилу. Я встал и пошел к ней навстречу, раскрыв объятия.

— Вот это сюрприз!

Безжизненная, с потухшим взглядом... Только берет, который она стойко пронесла через все превратности судьбы, был словно улыбка прошлого. Застывшие, расширенные глаза, высокие скулы, натянувшие землисто-серую кожу над впалыми щеками,— все это было как крик о помощи; но не это меня потрясло, а тревожный вопрос во взгляде Лилы. Она боялась. Видимо, не знала, не выброшу ли я ее на улицу. Она попыталась заговорить, ее губы задрожали, и это было все. Когда я прижал ее к себе, ее тело оставалось напряженным, она не решалась пошевелиться, как бы не веря в то, что происходит. Я отправил детей и развел огонь; она сидела на скамейке, сложив руки и глядя себе под ноги. Я тоже ничего не говорил. Я ждал, пока подействует тепло. Все, что мы могли бы сказать друг другу, говорило за нас молчание; оно старалось, как могло, утешало, как старый

верный друг. В какой-то момент дверь открылась, и вошел Жанно Кайе, конечно, с каким-то срочным сообщением или заданием. Он смутился, ничего не сказал и вышел. Первое, что она произнесла, было:

— Мои книги. Надо за ними поехать.

— Какие книги? Где?

— В моем чемодане. Он был слишком тяжелый. Я его оставила на вокзале просто так, нет камеры хранения.

— Завтра я съезжу, будь спокойна.

— Людо, прошу тебя, они мне нужны сейчас. Это очень важно для меня.

Я выбежал и догнал Жанно.

— Останься с ней. Не отходи от нее.

Я вскочил на велосипед. Мне понадобился час, чтобы доехать до вокзала в Клери, где я нашел в углу большой чемодан. Когда я его поднял, замок раскрылся, и я постоял немного, глядя на шедевры немецкой живописи, мюнхенскую пинакотеку, греческое искусство, Возрождение, венецианскую живопись, импрессионистов и всего Веласкеса, Гойю, Джотто и Эль Греко, рассыпавшихся по полу. Я кое-как втиснул их обратно и вернулся домой пешком с чемоданом на раме велосипеда.

Я нашел Лилу сидящей на скамейке в прежней позе, в своей дубленой куртке и в берете; Жанно держал ее за руку. Он тепло сжал мне руку и оставил нас. Я поставил чемодан у скамейки и открыл его.

— Ну вот,— сказал я.— Видишь, у тебя все есть. Все здесь. Посмотри сама, но, по-моему, ничего не потерялось.

— Они мне нужны для экзамена. В сентябре я собираюсь поступить в Сорбонну. Ты знаешь, я изучаю историю искусства.

— Я знаю.

Она наклонилась, взяла Веласкеса.

— Это очень трудно. Но я выучу.

— Я в этом уверен.

Она положила Веласкеса на Эль Греко и улыбнулась от удовольствия.

— Они все здесь,— сказала она.— Кроме экспрессионистов. Фашисты их сожгли.

— Да, они совершили много злодеяний.

Она с минуту молчала, потом спросила совсем тихо:

— Людо, как это все могло со мной случиться?

— Ну, во-первых, надо было продлить нашу линию Мажино до самого моря, вместо того чтобы оголять наш правый фланг, потом, нам надо было начать действовать сразу после оккупации Рейнской области, потом, наши генералы оказались рохлями, а де Голля мы открыли слишком поздно...

На ее губах появилась слабая улыбка, и я почувствовал себя настоящим Флери.

— Я говорю не об этом. Как я могла...

— Нет, именно об этом. При взрыве всегда летят осколки. Похоже, что Вселенная именно так и образовалась. Случился взрыв, и посыпались осколки: разные галактики, Солнечная система, Земля, ты, я и куриный бульон с овощами, который, наверно, готов. Иди. Будем есть.

За столом она сидела в куртке. Она нуждалась в защитной оболочке.

— У меня есть изумительный торт с ревенем. Прямо из «Прелестного уголка».

Ее лицо немного посветлело.

— «Прелестный уголок»,— прошептала она.— Как поживает Марселен Дюпра?

— Замечательно,— сказал я.— На днях он сказал прекрасную фразу. Кондитер Лежандр плакался, что все пропало и, даже если американцы победят, страна уже никогда не будет прежней. Марселен страшно разозлился. Он заорал: «Я не допущу, чтобы у меня в кухне сомневались во Франции!»

Тревога не уходила из ее глаз. Она держалась очень прямо, сложив руки на коленях. В камине мурлыкал огонь.

— Здесь не хватает кошки,— сказал я.— Гримо умер от старости. Мы заведем новую.

— Я правда могу остаться здесь?

— Ты отсюда никогда не уходила, девочка. Ты была здесь все время. Ты все время была со мной.

— Не надо на меня сердиться. Я не знала, что делаю.

— Не будем говорить об этом. Это точно как с Францией. После войны будут говорить: она была с теми... нет, она была с этими. Она сделала то... нет, это. Это все чепуха. Ты не была с *ними,* Лила. Ты была со мной.

— Я начинаю тебе верить.

— Я еще не спросил, как твои.

— Отцу немного лучше.

— Да? Он соблаговолил прийти в себя?

— Когда Георг умер и мы оказались без средств, он нашел работу в одной библиотеке.

— Он всегда был библиофилом.

— Конечно, на жизнь этого не хватало.

Она опустила голову.

— Не знаю, как я до этого дошла, Людо.

— Я тебе уже объяснил, дорогая. Это генерал фон Рунштедт со своими танками. Это «блицкриг». Ты тут ни при чем. Это не ты, а Гамелен [1] и Третья республика. Я знаю, если бы тебя спросили, ты бы объявила Гитлеру войну сразу после оккупации Рейнской области. Тогда, когда Альбер Сарро [2] кричал с трибуны Национального собрания: «Мы никогда не позволим, чтобы Страсбурскому собору угрожали немецкие пушки!»

— Ты всегда над всем шутишь, Людо, а между тем нельзя быть менее легкомысленным, чем ты.

— Легче держаться, если делать вид, что смеешься.

Она подождала минуту, потом прошептала:

— А... Ханс?

Я приоткрыл на груди рубашку, и она увидела медальон.

Слышно было, как за окном поют птицы. Жизнь иногда полна иронии.

— А теперь, Лила, я тебе сделаю настоящий кофе. Живем один раз.

Она страдала бессонницей и просиживала ночи в углу со своими книгами по искусству, прилежно делая выписки. Днем она старалась «быть полезной», как она говорила. Она помогала мне вести хозяйство, возилась с детьми, которые приходили по четвергам [3], а часто и после уроков; груды воздушных змеев росли в ожидании дня, когда смогут взлететь снова. Эти занятия довольно комично квалифицировались директором школы в Клери как «практические работы», и в предвидении будущего мэрия даже предоставила нам небольшую дотацию. Люди шептались, что события ожидаются в августе или в сентябре.

Она спала в моих объятиях, но после нескольких робких попыток я не решался больше ее трогать: она принимала мои ласки, но никак не реагировала. В ней угасла как будто не только чувственность, но что-то более глубокое, даже просто чувствительность. Я не понимал, до чего ее мучает чувство вины, пока не увидел, что ее руки покрыты ожогами.

— Что это такое?

— Я обожглась у плиты.

Это прозвучало неубедительно: отдельные ожоги, идущие через равные промежутки... На следующую ночь я проснулся, почувствовав, что ее место в постели пусто. Лилы в комнате не было. Я вышел за дверь и перегнулся через перила.

Лила стояла, держа в правой руке свечу, и сосредоточенно жгла себе другую руку.

---

[1] Морис Гюстав Гамелен (1872—1958) — французский генерал, главнокомандующий силами союзников в 1939—1940 гг.

[2] Альбер Сарро (1872—1962) — французский государственный деятель.

[3] Свободный день во французской школе.

— Нет!

Она уронила свечу и подняла глаза.

— Я себя ненавижу, Людо! Я себя ненавижу!

Кажется, никогда еще я не получал такого удара. Я застыл на лестнице, не способный ни думать, ни действовать. Эта ужасная и детская манера наказывать себя, искупать грехи показалась мне такой несправедливой, такой постыдной в то время, когда столько моих товарищей боролось и погибало, чтобы вернуть ей честь, что у меня вдруг ослабли ноги и я потерял сознание. Когда я открыл глаза, Лила склонялась надо мной вся в слезах.

— Прости меня, я больше не буду так делать... Я хотела себя наказать...

— Почему, Лила? За что? За что наказать? Ты не виновата. Не ты в ответе за все это. От всего этого и следа не останется. Я даже не прошу тебя забыть, нет,— я прошу тебя иногда думать об этом, пожимая плечами. Господи, как можно, чтобы человек до такой степени не имел... смирения? Как можно, чтобы так не хватало человечности, терпимости по отношению к себе?

Этой ночью она спала. И наутро ее лицо стало светлее и веселее. Я чувствовал, что ей гораздо лучше, и скоро получил доказательство.

Каждое утро Лила брала велосипед и ехала в Клери за покупками. Я всегда провожал ее до двери и следил за ней взглядом: ничто не вызывало у меня такой улыбки, как вид этой юбки, колен и волос, летящих по ветру. Однажды она вернулась и поставила велосипед; я стоял перед домом.

— Ну вот,— сказала она.

— Что такое?

— Я шла с корзинкой из бакалеи, и там меня поджидала одна простая женщина. Я с ней поздоровалась — не помню ее имени, но я здесь многих знаю. Я поставила корзинку на велосипед и хотела ехать, а она подошла и назвала меня бошкой.

Я внимательно посмотрел на нее. Она *действительно* улыбалась. Это не была вызывающая улыбка или улыбка сквозь слезы. Она сделала гримаску и провела рукой по волосам.

— Ну вот, ну вот,— повторяла она.— Бошка. Вот.

— Все чуют приближение победы, Лила, так что каждый в своем углу к ней готовится. Не думай об этом.

— Наоборот, мне нужно об этом думать.

— Но почему?

— Потому что лучше чувствовать себя жертвой несправедливости, чем виновной.

XLVI

Этот эпизод произошел второго июня. А через четыре дня мы лежали, припав к земле, под бомбами, в двух километрах к востоку от Ла-Мотт, и я еще и сейчас думаю, что самым первым объектом, который поразили тысячи кораблей и самолетов союзников во время операции «Overlord» [1], был мой велосипед — я нашел его около дома разбитым и искореженным. «Они пришли», «они идут», «они здесь» — кажется, весь день я только это и слышал. Когда мы бежали мимо фермы Кайе, старый Гастон Кайе стоял у дома и, сообщив нам, что «они идут», добавил фразу, которую не мог услышать по лондонскому радио, поскольку де Голль произнес ее только через несколько часов:

— Мой маленький Людо, это битва Франции за Францию!

Но, быть может, с историческими фразами дело обстоит так же, как и со всем остальным, и иногда невозможное становится возможным.

Мы оставили его прыгающим от радости на своей единственной ноге и с костылем.

---

[1] *Здесь:* подавление *(англ.)*.

Не видно было ни одного немецкого солдата, но все поля и леса вокруг нас были под шквальным огнем — без сомнения, чтобы помешать подкреплениям противника подойти к побережью.

Я еще не умел отличить свист авиабомб от свиста снарядов, и мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что этот ад посылает нам небо, как и должно быть. В тот день самолеты союзников появлялись над Нормандией более десяти тысяч раз.

Мы едва пробежали несколько сотен метров, как я увидел посреди дороги безжизненное тело с раскинутыми руками. Я так хорошо его знал, что узнал издали: это был Жанно Кайе. Глаза закрыты, голова в крови — мертв. Я был в этом уверен: я слишком его любил, чтобы могло быть иначе.

Я повернулся к Лиле.

— Господи, чего ты ждешь! Осмотри его!

Она удивилась, но стала на колени возле Жанно и приложила ухо к его груди.

Кажется, я засмеялся. Я так долго в годы разлуки воображал ее ухаживающей за ранеными среди польских партизан, что ожидал от нее работы медсестры. И теперь я видел ее именно такой, склонившейся над телом моего товарища в надежде найти признаки жизни. Она повернулась ко мне:

— Кажется, он...

В этот момент Жанно пошевелился, сел и, несколько раз помотав головой и отряхиваясь, с еще мутным взглядом, заорал:

— Они идут!

— Ах ты, черт тебя возьми совсем! — закричал я с облегчением.

— Они здесь! Они идут!

Я схватил Лилу за руку, и мы побежали.

Я хотел оставить Лилу в безопасном месте и потом уйти с товарищами. Согласно «зеленому плану» мы уже давно знали свою задачу: диверсии на железных дорогах, порча линий высокого напряжения, нападения на поезда. Мы должны были группироваться в районе Орна, но все шло не так, как предусмотрено. Когда мне удалось добраться до Суба на следующий день, я нашел нашего любимого начальника в диком бешенстве. Одетый в великолепную форму — он присвоил себе звание полковника,— он грозил кулаком небу, где кружились самолеты союзников.

— Эти сволочи все испортили,— ревел он.— Они нарушили всю нашу связь. Наши парни никак не могут собраться. Каково это видеть!

Он только что не проклинал высадку. Даже много лет спустя он по-прежнему хмурился, когда при нем упоминали о высадке союзников. Думаю, он хотел бы «сопротивляться» еще лет двадцать.

Каждый раз, как нас при разрыве бомбы засыпало землей, Лила гладила мое лицо.

— Ты боишься погибнуть, Людо?

— Не боюсь, но не хочу.

Выйдя из Ла-Мотт в шесть утра, к шести часам вечера мы смогли продвинуться только на три километра от дорожного знака Кло. Именно там, лежа распластавшись за откосом, время от времени поднимая голову и пытаясь угадать, откуда ждать очередного удара, мы увидели потрясающее зрелище — до сих пор не знаю, смешное, героическое или и то и другое вместе. Перед нами гуськом продефилировали четыре першерона: первый был запряжен в фургон, остальные — в телеги. Они двигались с полным безразличием ко всему происходящему вокруг, видимо научившись этому у своих хозяев. Семья Маньяр переезжала. Все четверо втиснулись в фургон: девицы сидели на ящиках с продуктами, отец с сыном стояли впереди. За ними тащились телеги с мебелью, кроватями, стульями, матрасами, сундуками, шкафами, тюками белья и бочками. Три коровы завершали шествие. Семья тряслась по дороге, с замкнутыми, как всегда, лицами, не глядя ни на небо, ни на землю. До сих пор не знаю, была ли это тупость или проявление каких-то сверхчеловеческих качеств. В конце концов, может, у них были свои воздушные змеи.

Эта неуязвимая процессия смутила меня и немного пристыдила, потому что я вспотел от страха. Но Лила смеялась. Думаю, после всех перенесенных ею моральных и психических испытаний чисто физическая опасность была для нее облегчением.

— Все вы такие, поляки,— проворчал я.— Чем хуже, тем вы лучше себя чувствуете.

— Дай мне сигарету.

— Все кончились.

Тут произошло нечто, отчего во мне проснулась надежда. Позади нас раздались отдельные выстрелы, потом очередь из автомата. Я резко обернулся. Из леса, медленно, пятясь, вышел американский солдат с автоматом в руке. Он минуту подождал, потом дотронулся до своего бока и посмотрел на руку. Видимо, он был легко ранен. Как будто не найдя ничего серьезного, он сел на землю под кустом, взял из кармана пачку сигарет — и взорвался.

Он действительно взорвался, внезапно, без всякой видимой причины, исчезнув в массе взлетевшей земли, которая упала обратно — без него. Думаю, легко ранившая его пуля задела чеку одной из подвешенных к поясу гранат, и когда он сел, чека вылетела совсем. Он исчез.

— Жалко,— сказала Лила.— Ни одной не осталось.

— Чего ни одной?

— У него была целая пачка. Я уже столько лет не курила американских сигарет.

Сначала я был возмущен. Я чуть не сказал ей: «Дорогая, речь идет уже не о хладнокровии, а о крови», но вдруг почувствовал себя счастливым. Я вновь нашел Лилу из нашего детства, Лилу времен корзинки с земляникой и мелких провокаций.

Мы пролежали за откосом около часа. Я не понимал этого ожесточенного обстрела лесов и полей, где не было и следа немцев.

— Можно подумать, что они с нами воюют!

Она спокойно выбирала комки земли из своих волос.

— Знаешь, Людо, меня уже столько раз в жизни убивали.

Через несколько дней Суба объяснил мне причины этого почти беспрерывного обстрела десятка квадратных километров нормандской земли так далеко от места высадки. Одну американскую десантную дивизию по ошибке выбросили слишком далеко в глубь района действий, и она рассеялась по всей территории, но немецкая часть сочла это заранее предусмотренным маневром и отступила от побережья. В результате мы попали одновременно под ее огонь и под огонь английских батарей, защищавших мосты через Орн; одновременно авиация союзников бомбила все шоссе и железные дороги на этом участке.

Мы воспользовались затишьем, чтобы подойти немного ближе к Орну, но в это время метрах в ста от нас появились немецкие танки, выстроившиеся в одну линию. Немецкая дивизия, в четыре часа дня наконец получившая приказ Гитлера уничтожить плацдарм союзников.

У меня в голове крутилось только одно: «Они стреляют по всему, что двигается»,— фраза, всплывшая из какого-то рассказа. Я сжал руку Лилы в своей. Последнее, о чем я подумал, было: никто из моих погибших товарищей не имел счастья сжимать перед смертью чью-то руку. Солнце на минуту показалось из-за тяжелых туч в голубом прогале неба — в острые моменты небо являет всю свою красоту. Я видел профиль Лилы, массу светлых волос, рассыпавшихся по плечам, и искаженное от страха лицо с застывшей улыбкой.

В башне головного танка встал немецкий офицер. Проезжая мимо, он дружески помахал нам. Я никогда не узнаю, кто он был и почему сохранил нам жизнь. Презрение, человечность или просто красивый жест? Возможно, при виде пары влюбленных, которые держались за руки, он на минуту поднялся до высшего понимания жизни. А может, у него просто было чувство юмора. Проехав, он обернулся смеясь и снова помахал.

— Уф,— сказала Лила.

Мы страшно устали и проголодались; кроме того, в этом хаосе я не видел смысла идти в каком-то определенном направлении. Мы находились недалеко от «Прелестного уголка», он был примерно на три километра южнее; правда, мне казалось, что в той стороне бомбят сильнее всего, видимо, из-за моста и магистрали; все же, если от ресторана хоть что-то осталось, даже под обломками мы нашли бы что поесть. Выйдя на дорогу в Линьи, мы наткнулись на опрокинутую сожженную самоходную установку, она еще дымилась. Рядом лежали два убитых немца; третий сидел, опершись спиной о дерево и держась за живот, закатив глаза и хрипя со свистом, как пустой сифон. Его лицо показалось мне знакомым, и я подумал, что знаю его, но быстро понял, что знаю это выражение страдания. Я уже видел это на лице нашего товарища Дюверье, когда после побега из гестапо в Клери он дотащился до фермы Бюи, чтобы там умереть. Бывает время, когда все равно, немец ты или француз. Потом я часто об этом думал, когда слышал, как говорят о «банках крови». У него был умоляющий взгляд. Я попытался его ненавидеть, чтобы избежать необходимости его приканчивать. Ничего не вышло. К ненависти надо иметь талант, а мне это не дано. Я взял маузер, зарядил у него на глазах и подождал, чтобы быть уверенным. На лице немца появилось нечто вроде улыбки.

— Йа, гут...

Я два раза выстрелил ему в сердце. Одна пуля ему, другая — за все остальное.

Мой первый акт франко-немецкого примирения.

Лила детски-женственно заткнула уши, закрыла глаза и отвернулась.

У меня было глупое чувство, что я стал другом этого мертвого немца.

Шесть американских самолетов пролетели над нами и сбросили бомбы там, где должна была находиться немецкая дивизия. Лила проводила их глазами.

— Надеюсь, они его не убили,— сказала она.

Думаю, она имела в виду командира танка, который нас пощадил. Мои нервы были так натянуты, что я поддался своему мелкому греху — занялся счетом в уме. Мой разум прибегал к нему ради самосохранения, чувствуя, что ему грозит опасность. Я сказал Лиле: для того чтобы продвинуться на пять-шесть километров вперед, нам пришлось пройти по меньшей мере двадцать километров, и оценил наши шансы остаться в живых как один к десяти. Я прикинул, что мимо нас пролетело примерно с тысячу бомб и снарядов, а в небе мы видели около тридцати тысяч самолетов. Не знаю, хотел ли я таким образом продемонстрировать Лиле свое олимпийское спокойствие или начинал терять голову. Мы сидели на краю дороги, измученные, мокрые от пота, в крови от ссадин и царапин, не ощущая ничего, кроме того, что еще живы. Нас вывела из оцепенения бомбежка сокрушительной силы: за несколько секунд у нас на глазах бомбы сровняли с землей весь лес в двухстах метрах от нас. Мы бросились бежать через поля по направлению к Линьи и через полчаса оказались у «Прелестного уголка». Меня поразило, что здесь ничего не изменилось. Все было цело. Из трубы мирно шел дым. Цветы в саду, фруктовые деревья, старые каштаны имели безмятежный вид и казались уверенными в себе. В тот момент я был совсем не склонен к размышлениям, но помню, что в первый раз за день испытал странное и умиротворяющее чувство, что все идет хорошо.

В нетронутой «ротонде» с красными драпировками никого не было. Столы накрыты, все готово к приему гостей. Хрусталь пел при каждом взрыве. Портрет Брийа-Саварена [1] висел на своем месте, правда, немного криво.

Мы нашли Марселена Дюпра у плиты. Он был очень бледен, руки у него дрожали. Он только что вынул из духовки похлебку с тремя сортами мяса, которую надо готовить несколько часов. Видимо, он поставил ее, когда начался этот ад. Не знаю, помогало ли ему привычное дело подавлять страх, или он провозглашал таким образом свою верность принципам.

[1] Ансельм Брийа-Саварен (1755—1826) — французский кулинар, автор книги «Физиология вкуса».

Глаза на осунувшемся, как бы постаревшем лице сверкали блеском, в котором я узнавал дорогое мне безумие. Я подумал о дяде Амбруазе. Подошел к Марселену и со слезами на глазах обнял. Он не удивился и, кажется, даже не заметил моего движения.

— Они все меня бросили,— сказал он хриплым голосом.— Я один. Некому обслуживать. Если придут американцы, хорошенький я буду иметь вид.

— Думаю, американцы здесь будут только через несколько дней,— сказал я.

— Надо было меня предупредить.

— О... о высадке, господин Дюпра? — проговорил я заикаясь.

Он размышлял.

— Вы не находите знаменательным, что они выбрали Нормандию?

Я растерянно смотрел на него. Нет, он не смеялся надо мной, он был безумен, совершенно сумасшедший. Лила сказала:

— Видно, они изучили справочник Мишлена и выбрали самое лучшее.

Я сердито посмотрел на нее. Мне показалось, что я услышал саркастический голос Тада. Я считал, что такая преданность священному огню заслуживает бóльшего уважения, если не преклонения.

Дюпра указал жестом на большой зал в глубине ресторана:

— Садитесь.

Он подал нам свою похлебку.

— Попробуйте только. Я это сделал из остатков. Как? Не так плохо, принимая во внимание обстоятельства. Мне сегодня не подвезли продукты. Но что вы хотите.

Он пошел за тортом. Когда он вернулся, я услышал свист, который научился различать, и успел толкнуть Лилу на пол и прикрыть ее собой. Несколько секунд один взрыв следовал за другим, но это было где-то в стороне Орки, и только одно окно разбилось.

Мы встали с пола. Дюпра стоял и держал блюдо с тортом.

— Здесь безопасно,— сказал он.

Я не узнавал его голоса. Голос был глухой, монотонный, но в нем звучала убежденность, которая отражалась и в неподвижном взгляде.

— Они не посмеют,— сказал он.

Я помог Лиле подняться, и мы снова сели за стол. Никогда еще нормандскому торту Дюпра не уделялось так мало внимания. «Прелестный уголок» весь сотрясался. Бокалы пели. Именно в это время, после целого дня колебаний, Гитлер отдал приказ бросить две дивизии стратегического резерва в поддержку своей Восьмой армии.

Дюпра даже не пошевелился. Он улыбнулся, и с каким презрением, с каким чувством превосходства!

— Видите,— говорил он.— Пролетело мимо. И всегда так будет.

Я старался ему объяснить, что до наступления ночи хочу выйти к Невэ, а потом к Орну, чтобы присоединиться к своей боевой группе.

— Мадемуазель Броницкая может остаться здесь,— сказал он.— Здесь она будет в безопасности.

— Слушайте, господин Дюпра, о чем вы думаете? Вас вот-вот накроют.

— Ничего подобного. Вы воображаете, что американцы разрушат «Прелестный уголок»? Немцы его не тронули.

Я промолчал. Я испытывал почти религиозное почтение к такой безумной вере в свою счастливую звезду. Очевидно было, что в его представлении войска союзников получили приказ, возможно от самого генерала Эйзенхауэра, проследить за тем, чтобы историческая ценность Франции не потерпела ущерба.

Я попытался все же его убедить: «Прелестный уголок» может оказаться в центре смертельной схватки. Он должен отсюда уйти. Но он сказал только:

— И речи быть не может. Вы ко мне без конца приставали со своим Сопротивлением и маки́ — ну что ж, теперь я вам покажу, кто является, был и всегда будет главным участником Сопротивления Франции.

Я не мог решиться оставить его в таком состоянии, в бреду; я был уверен, что он потерял рассудок и погибнет под обломками «Прелестного уголка». Я помнил расположение всех дорог, мостов и железнодорожных линий этого района и знал, что, если только союзников не отбросят в море, именно здесь будут самые ожесточенные бои. Но Лила совсем выбилась из сил, и достаточно было взглянуть на ее лицо, чтобы понять, что она не в состоянии идти со мной. Я знал, что если, как говорится, есть Бог на небесах, у нее столько же шансов уцелеть здесь, как и в другом месте. Был как раз такой момент, когда думаешь о Боге,— он привык ждать своего часа. Я чувствовал, что если колеблюсь, оставить ли ее у Дюпра, то не потому, что риск мне кажется здесь слишком большим, а потому, что не хочу с ней разлучаться. Но я хотел добраться до своих товарищей: мы ждали слишком долго и слишком отчаянно, чтобы я мог колебаться. Дюпра помог мне решиться. Он как будто вышел из транса, обнял меня за плечи и сказал:

— Мой славный Людо, можешь быть спокоен. Мадемуазель Броницкая будет здесь цела и невредима. У меня лучший погреб во Франции. Я ее спрячу в самом надежном месте, рядом с моими лучшими винами, где с ней ничего не может случиться. Не знаю, кто это сказал: «Счастлив, как Бог во Франции», но я уверен, что Господь сумеет сохранить свое достояние.

На этот раз я заметил искру юмора в глазах нашего старого лиса. Может, когда-нибудь надо будет серьезно подумать о Дюпра, чтобы попытаться понять, сколько было в его «безумии» доброй нормандской хитрости. Я обнял Лилу. Я знал, на какие чудеса способна моя вера: с ней ничего не могло случиться. Мне хотелось плакать, но это просто от усталости.

Я нашел свою группу без особого труда. В час ночи, пробираясь через болота, я наткнулся на взвод американских парашютистов с черными лицами, которые высадились не там, где надо, и не знали, где находятся. Я провел их в Невэ на наше место сбора и встретился там с Суба и двадцатью товарищами. Как я уже говорил, у нас был приказ производить диверсии, но многие не устояли перед соблазном драться с оружием в руках. Большинство погибло. С восьмого по шестнадцатое июня у нас был только один автомат со ста патронами и две автоматические винтовки со ста пятьюдесятью патронами на десятерых; уцелевшим досталось какое-то количество оружия от убитых немцев. Я ограничивался тем, что взрывал железные дороги и мосты и повреждал телеграфные линии. Мне не хотелось убивать людей, а сразу трудно отличить гестаповца от человека; стреляешь не раздумывая, и вот уже поздно: он мертв. Кроме того, меня немного сковывало воспоминание о командире танка, который пощадил нас с Лилой. Но когда армия вермахта отступала, я хорошо поработал у нее в тылу.

XLVII

Три недели я ничего не знал о Лиле. Позже она мне сказала, что Дюпра был с ней очень любезен, хотя один раз удивил ее, ущипнув сзади. Он сам очень смутился, но даже в его возрасте эмоции иногда берут верх. Она провела в «Прелестном уголке» две недели, помогая Дюпра принимать американцев и пытаясь переводить им «карту Франции» на английский, что, по мнению Дюпра, было невозможно. Потом она вернулась в Ла-Мотт, и 10 июля мы с ней встретились там. На следующий день мы вместе отправились в Клери. Бои еще шли, но для Нормандии это уже были отзвуки удаляющейся грозы. Я приклеил на двери мэрии объявление, что работа в мастерской возобновляется в Ла-Мотт с завтрашнего дня и приглашаются все местные дети, интересующиеся тем, что Амбруаз Флери называл «милым искусством воздушных змеев». Велосипед и корзинка Лилы сохранились, и она постаралась раздобыть у американцев шоколаду для детей. Она хотела отметить возобновление «занятий» в Ла-Мотт праздничным чаепитием.

Военный грузовик подбросил меня до Оленьей гостиницы, где

разместились американцы; я вылез у входа в парк. Я хотел попрощаться с мадам Жюли, которая возвращалась в Париж.

Я нашел ее в слезах; она лежала в кресле у рояля, на котором вместо фотографий бывших «друзей» *графини* Эстергази стояли фото де Голля и Эйзенхауэра.

— Что случилось, мадам Жюли?

Она едва могла говорить.

— Они... его... расстреляли!

— Кого?

— Франсиса... то есть Исидора Лефковица. Ведь я приняла меры... Помнишь удостоверение «выдающегося участника Сопротивления», где фамилия не была вписана, которое мне дал Субабер?

— Конечно.

— Это было для него. Я его ему отдала. Оно было у него в кармане, когда они его расстреляли. Они впихнули его в грузовик с двумя коллаборационистами из гестапо, настоящими, и убили его. Потом они нашли удостоверение. Иззи его им не показал! Наверно, он от страха вкатил себе такой укол, что забыл о нем!

— Может, это не потому, мадам Жюли. Может, ему все осточертело.

Она ошеломленно посмотрела на меня.

— Что осточертело? Жизнь? Что за чепуха.

— Может, он сам себе надоел, и эти уколы, и все.

Она была безутешна.

— Банда негодяев. После всех услуг, какие он вам оказал...

— Это не мы его расстреляли, мадам Жюли. Это новые. Те, кто стали партизанами после ухода немцев.

Я хотел поцеловать ее, но она меня оттолкнула:

— Убирайся. Не желаю больше тебя видеть.

— Мадам Жюли...

Ничего не поделаешь. В первый раз с тех пор, как я ее знал, эта неукротимая женщина поддалась отчаянию. Я оставил ее, старую плачущую женщину, которая, как бедный Исидор, забылась: она не помнила, куда дела свою твердость.

Я доехал на попутном джипе до Клери и вышел на улице Старой Церкви. Я должен был встретиться с Лилой на Дневной площади; недавно ее переименовали в площадь Победы. Выйдя на площадь, я увидел у фонтана толпу людей. Слышались смех и крики, бегали дети; несколько человек, в основном пожилых, уходили прочь, в том числе господин Лемэн, друг моего дяди, участник первой мировой войны, у которого колено не гнулось с самого Вердена. Он прошел хромая мимо меня, остановился, покачал головой и пошел дальше, ворча про себя. Мне не видно было, что происходит у фонтана. Я бы не обратил на это особого внимания, если бы не заметил обращенных на меня странных взглядов. Леле, новый хозяин «Улитки», Шариво, бакалейщик с улицы Бодуэн, хозяин писчебумажного магазина Колен, да и другие смотрели на меня со смешанным выражением смущения и жалости.

— Что происходит?

Они молча отвернулись.

Я бросился вперед.

Лила сидела на стуле у фонтана с обритой головой. Парикмахер Шино, с бритвой в руках и улыбкой на губах, немного отодвинулся и любовался своей работой. Лила в летнем платье смирно сидела на стуле, сложив руки на коленях. Несколько секунд я не мог пошевельнуться. Потом у меня в горле что-то порвалось, и я издал вопль. Я кинулся к Шино, двинул его кулаком по роже, схватил Лилу за руку и потащил через толпу. Люди расступались: дело сделано, «малышка» расплатилась за то, что спала с оккупантами, так что все в порядке. Позже, когда я смог думать, самым ужасным на фоне всего этого кошмара стало для меня воспоминание о знакомых лицах: все это совершили не какие-то монстры, а люди, которых я знал с детства. И это было страшнее всего.

Я помню, не могу забыть. Я бегу по улицам Клери, таща Лилу за руку. Мне кажется, я никогда не перестану бежать. Я не знал, куда бегу, впрочем, бежать было некуда. Я рычал.

Я услышал шаги за спиной и обернулся, готовый драться. Я узнал булочника, господина Буайе; он со своим толстым животом совсем запыхался.

— Пойдем ко мне, Флери, это рядом.

Он провел нас в булочную. Его жена бросила на Лилу испуганный взгляд и заплакала, закрываясь фартуком. Буайе проводил нас на второй этаж и оставил одних. Перед тем как закрыть дверь, он бросил:

— Вот теперь фашисты действительно выиграли войну.

Я уложил Лилу на кровать. Она была неподвижна. Я сел рядом. Не знаю, сколько времени мы провели так. Иногда я проводил рукой по ее голове. Конечно, они вырастут. Они всегда отрастают.

Ее глаза смотрели в одну точку; казалось, она видит перед собой что-то страшное. Насмешливые лица. Бритву в руках славного сельского парикмахера.

— Ничего, дорогая. Это просто фашисты. Они пробыли здесь четыре года и оставили след.

Вечером мадам Буайе принесла нам еду, но накормить Лилу оказалось невозможно. Она была в прострации, с широко открытыми глазами, и я думал об ее отце, который «порвал с действительностью с ее слезами и сложностями», как Лила когда-то выразилась. Ох уж эти аристократы! Ведь в конце концов что такое обритая голова молодой женщины? — это даже очень добродушно, когда подумаешь обо всем, что делали другие: концлагеря, пытки,— ну да, другие...— но кто другие?

Человеческое братство имеет иногда мерзкий привкус.

Ночью я встал и поджег «Прелестный уголок». Облил бензином старые стены, а когда они начали рушиться, смог наконец спокойно заснуть. К счастью, это был только дурной сон.

Господин Буайе привел доктора Гардье, который сказал нам, что Лила в состоянии шока, и сделал укол, чтобы она заснула. Когда дверь открывалась, я слышал, как радио возвещало о наших победах.

Поздно днем она проснулась, улыбнулась мне и сделала движение, чтобы провести рукой по волосам.

— Боже мой, что это...

— Фашисты,— ответил я.

Она закрыла лицо руками. Часто говорят, что слезы облегчают.

Мы пробыли у Буайе неделю. Каждый день я выходил с Лилой на улицу, и мы шли по улицам Клери, держась за руки. Мы ходили медленно, целыми часами, чтобы все они могли нас видеть. Мы шли прямо вперед, молодая женщина с выбритым черепом и я, Людовик Флери, известный во всей округе своей памятью. Я говорил себе, что нам будет очень не хватать фашистов: без них будет тяжело — не на кого сваливать свою вину.

На пятый день нашего шествия господин Буайе пришел к нам в комнату очень взволнованный, держа в руке «Франс-суар»: нас сфотографировали, когда мы шли по улицам Клери, держась за руки. Я не знал, что мое лицо может быть таким жестким.

На следующий день нас остановили трое молодых людей с повязками FFI [1] на рукаве. Я их знал: они стали «участниками Сопротивления» через неделю после высадки союзников.

— Ты кончишь эту провокацию?

— Это было сделано, чтобы все могли видеть, так?

— Ты получишь пулю в зад, Флери. Надоело. Что ты хочешь доказать?

— Ничего. Все давно уже доказано.

Они ограничились тем, что обозвали меня ненормальным. Я продолжал нашу «демонстрацию» еще несколько дней. Меня уговорил перестать господин Буайе.

---

[1] Forces Françaises Intérieures — французские внутренние силы *(франц.)*.

— Они привыкли вас видеть. Это больше не производит впечатления.

Мы вернулись в Ла-Мотт и вышли оттуда только в конце октября, чтобы пожениться.

Жанно Кайе каждое утро поставлял нам провизию и подарил щенка с их фермы. Лила назвала щенка Шери [1], что вызвало массу недоразумений: каждый раз, как она звала, мы прибегали оба. В эти дни случилось горе, в жизни без этого не бывает: мы узнали, что Бруно не вернулся из воздушного боя в ноябре 1943-го. На его счету было уже семнадцать побед, он имел чуть ли не самое большое количество наград среди летчиков английских военно-воздушных сил. И мы напрасно посылали в Польшу письмо за письмом, чтобы узнать что-нибудь о Таде.

Лила решила отложить на год поступление в Сорбонну, чтобы лучше подготовиться. Она много занималась. «Тенденции современного искусства», «Сокровища немецкой живописи», «Творчество Вермеера», «Мировые шедевры», «Музеи Европы» — груда книг росла на столике, который она поставила у окна мастерской.

Родители Лилы на нашей свадьбе не присутствовали. Серьезные испытания, через которые они прошли, не заставили их забыть свое высокое положение, и они не одобряли мезальянса. Прежние представления быстро возвращались, и Стас Броницкий снова ощетинился. Нашими свидетелями были Дюпра собственной персоной и *графиня* Эстергази, с восстановлением демократии ставшая по-прежнему Жюли Эспинозой. Американский солдат привез ее к мэрии на военной машине. Жюли сопровождали две изумительно красивые молодые женщины.

— Возобновляю свою организацию,— объяснила она нам.

Она была великолепна в огромной высокой шляпе, с вечной золотой ящерицей у плеча.

Мадам Жюли сожалела, что мы не венчаемся в церкви.

Дюпра был в визитке, с орхидеей в бутоньерке. «Лайф» посвятил ему статью, этот номер еще и сейчас висит над портретом Брийа-Саварена; на обложке знаменитая фотография Роберта Капа с изображением «Прелестного уголка» и стоящего у входа его суверенного владыки в рабочем одеянии. Название статьи: «Взгляд на Францию». Статья вызвала большое негодование парижской прессы. В самом деле, в 1945 году искусство кулинарии не занимало в стране такого почетного места, как сегодня. Не знаю, какое место отводили Франции в Европе американцы, но они оказывали «Прелестному уголку» и его знаменитому хозяину не меньше уважения, чем немцы.

Утром перед церемонией Лила долго смотрелась в зеркало и сделала гримаску.

— Мне надо пойти к парикмахеру...

Ее волосы отросли не больше чем на два сантиметра. Сначала я не понял. В Клери был только один парикмахер — Шино. Я посмотрел на нее, и она мне улыбнулась. Тогда я сообразил.

Дюпра одолжил нам на этот день один из своих фургончиков, и в половине двенадцатого мы остановились перед парикмахерской. Шино был один. Увидев нас, он отступил.

— Я хочу, чтобы вы меня подстригли по последней моде,— сказала Лила.— Смотрите. Волосы отросли. Никакого вида.

Она направилась к креслу и села улыбаясь.

— Как тогда,— сказала Лила.

Шино все не двигался. Он совсем побелел.

— Слушайте, господин Шино,— сказал я.— Мы сейчас должны пожениться, и мы торопимся. Моя невеста желает, чтобы вы ей выбрили голову, как шесть недель назад. Не говорите мне, что вдохновение так быстро вас покинуло.

Он бросил взгляд на дверь, но я покачал головой.

— Ладно, ладно,— сказал я.— Я знаю, что восторг первых дней

[1] Милый *(франц.)*.

прошел и сердце не лежит к таким вещам. Но надо уметь поддерживать священный огонь.

Я взял бритву и протянул ему. Он попятился.

— Я вам сказал, что мы спешим, Шино. Моя невеста пережила незабываемый день, и она очень хочет выглядеть как можно лучше.

— Оставьте меня в покое!

— Я не хотел бить тебя по физиономии, Шино, но если ты настаиваешь...

— Это не я придумал, клянусь вам! Они пришли за мной и...

— Не будем спорить, старина, кто это: «они», «я», «наши» или «другие». Это всегда *мы*. Давай.

Он подошел к креслу. Лила смеялась. Цела, подумал я. Все цело.

Шино взялся за работу. За несколько минут голова Лилы была обрита, как раньше. Она наклонилась и полюбовалась собой в зеркале.

— Это мне действительно идет.

Она встала. Я повернулся к Шино.

— Сколько я вам должен?

Он молчал, раскрыв рот.

— Сколько? Не люблю делать долги.

— Три с половиной франка.

— Вот сто су, с чаевыми.

Он бросил бритву и убежал в заднюю комнату.

Когда мы подъехали к мэрии, все нас ждали. Когда присутствующие увидели бритую голову Лилы, наступило глубокое молчание. Усы Дюпра нервно вздрогнули. У моих товарищей из организации «Надежда» был такой вид, будто фашисты вернулись и все надо начинать сначала. Только Жюли Эспиноза оказалась на высоте. Она подошла к Лиле и поцеловала ее.

— Дорогая, какая замечательная мысль! Это вам так идет!

Лила была очень весела, и легкая скованность гостей быстро рассеялась. После церемонии мы поехали в «Прелестный уголок», и в конце обеда Марселен Дюпра произнес речь, где с волнением говорил о тех, кто «стоял на посту», но без всякого намека на себя. Он просто напомнил, «с какими испытаниями пришлось встретиться каждому из нас», и потом произнес фразу, которую я не совсем понял: неясно было, то ли он рад вернуть «Прелестный уголок» Франции, то ли Францию «Прелестному уголку». В заключение он повернулся к приглашенным американским офицерам и с минуту созерцал их в мрачном молчании...

— Что касается будущего, нельзя не испытывать некоторого беспокойства. Господа, из вашей великой страны до меня доходят слухи, которые заставляют меня опасаться худшего. Наша Франция, претерпевшая столько бед, подвергнется новым испытаниям. Я уже слышу, что говорят о курах, выращенных на гормонах, и даже, да простит меня Бог, о замороженных блюдах и, что еще хуже, о полуфабрикатах. Американские друзья, никогда Марселен Дюпра не примирится с кухней полуфабрикатов. Тем, кто захочет превратить нашу Францию в кормушку для скота, я стану поперек дороги! Я буду стоять до конца!

Раздались крики «браво!». Американцы начали аплодировать первыми. Дюпра поднял руку.

— Нет смысла отрицать — после всего пережитого ощущаешь некоторую пустоту. Мы не смогли подготовить себе смену. Тем не менее я уверен: то, что я защищал изо всех моих сил, с каждым днем будет укрепляться и в конце концов победит и восторжествует так, как мы и представить себе не можем. Что касается тебя, Людовик Флери, который столько сражался за это будущее, и вас, мадам, кого я знал маленькой девочкой, вы достаточно молоды для того, чтобы однажды увидеть ту Францию, о которой я как старый человек могу только мечтать, и тогда вы дружески вспомните обо мне и скажете: «Марселен Дюпра видел верно».

На этот раз аплодисменты продолжались добрую минуту. Мадам Эспиноза вытирала глаза.

— Еще одно слово. За этим столом нет одного человека. Не хватает

друга с большим сердцем, человека, не умеющего отчаиваться. Вы угадали: я говорю об Амбруазе Флери. Нам его очень недостает, и я знаю, Людо, каково твое горе. Но не будем терять надежды. Может быть, он к нам вернется. Может быть, он снова будет среди нас — тот, кто с таким постоянством умел выразить милым искусством воздушных змеев все, что есть вечно чистого и неизменного на этой земле. Я поднимаю свой бокал за тебя, Амбруаз Флери. Где бы ты ни был, знай: твой духовный сын продолжает твое дело и благодаря этому небо Франции никогда не будет пустым!

Я действительно взялся за работу, и никогда еще после ухода дяди в нашей мастерской не кипела такая бурная деятельность. Страна нуждалась в моральной поддержке, и заказы сыпались со всех сторон. Наш фонд очень пострадал, и нам приходилось начинать практически с нуля. Большая часть изделий сгорела, но штук пять-десять, которые дяде удалось спрятать у соседей, служили нам образцами, хотя из-за небрежного обращения обветшали и потеряли форму и цвет. Я знал работу и работал быстро. Вопрос был только в том, хватит ли у меня вдохновения после всего пережитого. Воздушные змеи требуют большой неискушенности. С материалами тоже была проблема, а у нас не было ни гроша. Дюпра нам немного помог: как он говорил, во что бы то ни стало надо сохранить местную достопримечательность, но по-настоящему нас поставила на ноги мадам Жюли Эспиноза. В освобожденном Париже мадам Жюли открыла самую блистательную страницу своей карьеры, которая через тридцать лет принесла ей такую известность. Я немного колебался, не зная, что сказал бы дядя, если бы знал, что наших змеев в некотором роде финансирует первая сводня Парижа, но меценаты всегда существовали. Кроме того, мне казалось, что, отвергнув эту помощь, я стал бы на одну доску с людьми, считающими, что первопричина всего мирского добра и зла находится ниже пояса. Так что мы поехали в Париж навестить мадам Жюли. Ей удалось заполучить прекрасную квартиру с мебелью в стиле Людовика XV. Мадам Жюли угостила нас чаем и рассказала, с какими трудностями сталкивается из-за конкуренции. Ее возмущало, что заведения, принимавшие немцев, по-прежнему открыты и обслуживают американцев.

— Ну и нахальство у некоторых бабенок! — ворчала она.

Я с ней согласился, тем более что накануне был свидетелем восхитительной сцены между Дюпра и мадам Фабьенн, «хозяйкой» с улицы Мироменил. Она явилась обедать в «Прелестный уголок» в сопровождении американского военного атташе и имела наглость сообщить Дюпра, что не один он, по его выражению, «стоял на посту».

Дюпра страшно разгневался.

— Мадам,— заорал он,— если вы не видите разницы между очагом цивилизации и борделем, я вас прошу выйти!

Мадам Фабьенн не пошевелилась. Это была маленькая близорукая женщина с хитрой улыбкой.

— Имейте в виду,— ревел Дюпра,— я принимал здесь, под носом у немцев, участников Сопротивления и летчиков союзников!

— Ну что ж, господин Дюпра, у меня тоже есть кое-какие заслуги. Это даже позволило мне пройти комитет по проверке с высоко поднятой головой. Знаете, сколько евреек я спасла во время оккупации? Не меньше двадцати. С сорок первого по сорок пятый в моем заведении побывало двадцать евреек. Когда меня обязали пройти комитет по проверке, эти молодые женщины явились и свидетельствовали в мою пользу. Например, во время этой ужасной облавы в Вель д'Ив я приняла к себе четырех евреек. Мое заведение — это безусловно бордель, но сколько у вас евреев работало при немцах, господин Дюпра? Скажите-ка, что бы со мной произошло, если бы фашистские офицеры узнали, что имели дело с еврейками? Я не говорю, что занимаюсь хорошим ремеслом, и у меня нет претензий, но где эти молодые женщины могли бы найти пристанище и поддержку, кроме как у меня?

Дюпра — в порядке исключения — замер с разинутым ртом. После паузы он смог пробормотать только: «Черт возьми» — и удалился. Я пересказал этот инцидент мадам Жюли, которая несколько растерялась.

— Я не знала, что Фабьенн спасала евреек,— сказала она.

Она объявила, что ничто не доставит ей больше удовольствия, чем возможность помочь мне продолжать дело Амбруаза Флери.

— Пусть эти деньги пойдут на что-то чистое,— сказала она.

Мадам Жюли проявила также много понимания и доброжелательства по отношению к родителям Лилы.

— Нет ничего печальнее, чем судьба аристократов в изгнании,— объяснила она нам.— Я не могу примириться с мыслью, что люди, привыкшие к определенному уровню жизни, станут жертвами трудного времени. Я всегда ненавидела упадок.

Вследствие чего она доверила Геничке Броницкой управление особняком на улице Каштанов, который постепенно приобрел международную известность. Таким образом, Стас снова смог играть в рулетку и на бегах. Он скончался от сердечного приступа в Довиле, в 1957 году, играя в рулетку, когда крупье подвинул к нему выигранных жетонов больше чем на три миллиона. Можно сказать, что он умер счастливым.

Посольство новой, Народной Польши не могло сообщить нам никаких сведений о Таде. Для нас он всегда жив и всегда в Сопротивлении.

Мы сели на поезд в Клери, добрались туда днем после многочисленных остановок (железную дорогу еще не совсем привели в порядок) и пошли через поля к Ла-Мотт. После умывшего небо дождя было очень хорошо. Нормандская земля еще не залечила свои раны, но в осенней тиши они не казались такими страшными. Прекрасное небо над перевернутыми танками и искореженными домами вновь приобрело отрешенно-спокойный вид.

— Людо!

Я увидел. Он трепетал в воздухе, раскинув «руки» буквой V в знак победы. Над Ла-Мотт летел воздушный змей, изображающий генерала де Голля: небольшой ветер помог ему набрать высоту, и он сильно рвался в небо,— видимо, привязь была ему не по вкусу. Он летел величественно, немного тяжело, боком, освещенный закатным солнцем.

Лила уже бежала к дому. Я не двигался. Мне было страшно. Я не смел верить. В Париже я снова стучался во все двери: обращался в Министерство заключенных и депортированных, в Красный Крест, в польское посольство,— и мне подтвердили, что Амбруаз Флери значится в списках узников Аушвица.

Надежда пугает. Все мое тело оледенело, и я уже плакал от разочарования и отчаяния. Это не он, это кто-то другой, или просто дети решили сделать мне сюрприз. Наконец, не в силах справиться с собой, я сел на землю и закрыл лицо руками.

— Это он, Людо! Он вернулся!

Лила тянула меня за руку. Остальное было как счастливый бред. Дядя Амбруаз, который не мог меня обнять, чтобы не упустить своего «де Голля», смотрел на меня нежно и весело.

— Ну, что скажешь, Людо? Хорош змей, правда? Я не разучился. Таких понадобятся сотни, вся страна будет их заказывать.

Он не изменился. Не состарился. Такие же густые и длинные усы, то же веселье в темных глазах. Ничего они не могут сделать. Не знаю, кого я подразумевал под «ними». Наверное, фашистов или просто всех им подобных.

— Я за тебя беспокоился,— сказал он.— И за тебя тоже, Лила. Иногда даже спать не мог. Подумать только, двадцать месяцев ничего не знать...

«Черт возьми,— подумал я,— он двадцать месяцев пробыл в Бухенвальде и Аушвице — и мог беспокоиться за нас!»

— Я вернулся через Россию,— сказал он,— там я несколько месяцев работал. После всего, что они пережили, детям там действительно нужны воздушные змеи. Я вижу, ты хорошо поработал, но еще много надо сделать.

Мы весь вечер составляли список того, что у нас осталось.

— Некоторые можно починить,— сказал дядя,— но за историческую серию придется браться заново. Посмотри только!

«Паскаль» и «Монтень», «Жан-Жак Руссо» и «Дидро», которых мы забрали от соседей, висели под потолком все в пятнах, покрытые плесенью, поломанные и поблекшие.

— Так, это мы сделаем, а потом...

Он немного подумал.

— Не знаю, стоит ли восстанавливать то, что было. Нет, наверное, стоит, чтобы была память. Но нужно новое. Пока будем делать «де Голля», на какое-то время этого хватит. Но потом надо будет найти что-то новое, видеть дальше, смотреть в будущее...

Мне хотелось поговорить с ним о «Прелестном уголке» и Марселене Дюпра, что-то подсказывало мне, что будущее с ними, но нет пророка в своем отечестве, и рано еще было подводить итоги.

Возвращение Амбруаза Флери отмечалось как национальный праздник — у каждого было ощущение, что Франция обрела прежнее лицо. Дети помогли нам собрать тайком воздушного змея с его изображением, и все воскресенье он парил над площадью, которая теперь носит его имя, рядом с музеем воздушных змеев в Клери; к сожалению, этот музей более известен за рубежом, чем во Франции, и славится далеко не так, как «Прелестный уголок». В стенах музея нет воздушного змея «Амбруаз Флери» — мой дядя решительно отказался быть музейным экспонатом, однако, как немного зло говорит Марселен Дюпра, «этого недолго ждать». Отношения между этими двумя уже не те, что прежде. Возможно, они слегка завидуют друг другу: иногда кажется, что они не могут поделить будущее. «Посмотрим, за кем будет последнее слово»,— ворчат иногда они оба. Заканчивая наконец свою повесть, я хочу еще раз написать слова: *пастор Андре Трокме и Шамбон-сюр-Линьон,* потому что лучше не скажешь.

■

ГОЛДА МЕИР

Моя жизнь

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод с иврита Р. ЗЕРНОВОЙ

Детство

Вероятно, то немногое, что я помню о своем раннем детстве в России — первые восемь лет,— и есть мое начало, то, что теперь называют «формирующими годами». Но если это так, то жаль, что радостных или хотя бы просто приятных воспоминаний об этом времени у меня очень мало. Эпизоды, которые я помнила все последующие семьдесят лет, связаны большей частью с мучительной нуждой, в которой жила наша семья; я помню бедность, холод, голод и страх. Со страхом связано одно из самых отчетливых моих воспоминаний. Вероятно, мне было тогда года три с половиной — четыре. Мы жили тогда в Киеве, в маленьком доме на первом этаже. Ясно помню разговор о погроме, который вот-вот должен обрушиться на нас. Конечно, я тогда не знала, что такое погром, но мне уже было известно, что это как-то связано с тем, что мы евреи, и с тем, что толпа подонков с ножами и палками ходит по городу и кричит: «Христа распяли!» Они ищут евреев и сделают что-то ужасное со мной и с моей семьей.

Потом я стою на лестнице, ведущей на второй этаж, где живет другая еврейская семья; мы с их дочкой держимся за руки и смотрим, как наши папы стараются забаррикадировать досками входную дверь. Погрома не произошло, но я до сих пор помню, как сильно я была напугана и как сердилась, что отец, для того чтобы меня защитить, может только сколотить несколько досок и что мы все должны покорно ожидать прихода хулиганов. Но больше всего помню, что все это происходит со мной потому, что я еврейка и оттого не такая, как другие дети во дворе. Много раз в жизни мне пришлось испытать те ощущения: страх, чувство, что все рушится, что я не такая, как другие. И — инстинктивная глубокая уверенность: если хочешь выжить, ты должен что-то предпринять сам.

И еще я помню, слишком даже хорошо, до чего мы были бедны. Никогда у нас ничего не было вволю — ни еды, ни теплой одежды, ни дров. Я всегда немножко мерзла, и всегда у меня в животе было пустовато. В моей памяти ничуть не потускнела одна картина: я сижу на кухне и плачу, глядя, как мама скармливает моей сестре Ципке несколько ложек каши — моей каши, принадлежащей мне по праву! Каша была для нас настоящей роскошью в те дни, и мне обидно было делиться ею даже с младенцем. Спустя годы я узнала, что́ это значит, когда голодают собственные дети, и каково матери решать, который из детей должен получить больше; но тогда, на кухне в Киеве, я знала только, что жизнь тяжела и что

© Русский текст «Библиотека — Алия», 1990

справедливости на свете не существует. Теперь я рада, что никто не рассказал мне, как часто моя старшая сестра Шейна в школе падала в обморок от голода.

Мои родители были в Киеве приезжими. Они встретились и обвенчались в Пинске, где жила семья моей матери, и в Пинск мы все через несколько лет вернулись — это было в 1903 году, когда мне было пять лет. Мама очень гордилась своим романом с нашим отцом, часто нам о нем рассказывала, и мне никогда не надоедало слушать, хотя я его знала наизусть. Мои родители поженились не по обычаю, а без всякой выгоды для «шадхена» — традиционного свата.

Не знаю, как получилось, что мой отец, родившийся на Украине, должен был проходить призыв в Пинске, но именно там мама однажды увидела его на улице. Он был высоким и красивым молодым человеком; она влюбилась в него сразу же и даже отважилась рассказать о нем родителям. Послали за сватом — но роль его, как мы сказали бы теперь, была чисто техническая. Для нее — и для нас тоже — было гораздо важнее, что ей удалось убедить родителей, что достаточно любви с первого взгляда; между тем у жениха не было отца, не было денег, да и семья его не принадлежала к числу особо уважаемых. Одно говорило в его пользу: он не был невеждой. Некоторое время, когда ему было лет тринадцать-четырнадцать, он учился в иешиве и знал Тору. Мой дед учел это обстоятельство; но, полагаю, он, вероятно, учел и то, что моя мать, как уже тогда было известно, никогда не меняла своих решений даже по мало-мальски важным вопросам.

Мои родители были очень не похожи друг на друга. Отец, Моше Ицхак Мабович, стройный, с тонкими чертами лица, был по природе оптимистом и во что бы то ни стало хотел верить людям — пока не будет доказано, что этого делать нельзя. Вот почему в житейском смысле его можно было считать неудачником. В общем, он был скорее простодушным человеком, из тех, кто мог бы добиться большего, если бы обстоятельства хоть когда-нибудь сложились чуть более благоприятно. Блюма, моя медноволосая мать, была хорошенькая, энергичная, умная, далеко не такая простодушная и куда более предприимчивая, чем мой отец; но, как и он, она была прирожденная оптимистка, к тому же весьма общительная. Несмотря ни на что, по вечерам в пятницу у нас дома было полно народу, как правило родственников: двоюродных и троюродных братьев и сестер, теток, дядей. Никто из них не остался в живых после Катастрофы, но они живы в моей памяти, и я вижу, как все они сидят вокруг кухонного стола, пьют чай из стаканов и, если это суббота или праздник,— поют, целыми часами поют, и нежные голоса моих родителей выделяются на общем фоне.

Наша семья не отличалась особой религиозностью. Конечно, родители соблюдали еврейский образ жизни: и кошер, и все еврейские праздники. Но религия сама по себе — в той мере, в которой она отделяется от традиции,— играла в нашей жизни очень небольшую роль. Не помню, чтобы я ребенком много думала о Боге или молилась личному божеству, хотя, когда я стала старше — уже в Америке,— я иногда спорила с мамой о религии. Помню, однажды она захотела доказать мне, что Бог существует. Она сказала: «Почему, например, идет дождь или снег?» Я ответила ей то, чему меня научили в школе, и она сказала: «Ну, Голделе, раз ты такая умная, сделай, чтобы пошел дождь». Поскольку никто в те дни не слыхивал о возможности сеять тучи, я не нашлась, что ответить. А с положением, что евреи — избранный народ, я никогда полностью не соглашалась. Мне казалось, да и сейчас кажется, правильнее считать, что не Бог избрал евреев, но евреи были первым народом, избравшим Бога, первым народом в истории, совершившим нечто воистину революционное, и этот выбор и сделал еврейский народ единственным в своем роде.

Как бы то ни было, в этом — как и во всем другом — мы жили, подобно всем евреям городов и местечек Восточной Европы. По воскресеньям и в дни поста ходили в «шул» (синагогу), благословляли субботу и держали два календаря: один русский, другой — относящийся к далекой стране, из которой мы были изгнаны 2 тысячи лет назад и смены времен года и древние обычаи которой мы все еще отмечали в Киеве и в Пинске.

Родители переехали в Киев, когда Шейна была совсем еще маленькая — а она старше меня на девять лет. Отец хотел улучшить свое материальное положение, и хотя Киев не входил в черту оседлости, а за ее пределами евреям, как правило,

жить воспрещалось, он все же был ремесленником, и если бы ему удалось на проверке доказать, что он квалифицированный плотник, он получил бы драгоценное разрешение — перебраться в Киев. Он сделал прекрасный шахматный столик, прошел испытание, и мы набили наши мешки и покинули Пинск, полные надежд. В Киеве отец нашел казенную работу — он делал мебель для школьных библиотек — и даже получил аванс. На эти деньги и еще на те, которые они с мамой взяли в долг, он построил маленькую столярную мастерскую. Казалось, все пойдет хорошо. Но под конец работы не стало. Может, это было потому, как он говорил, что он был еврей, а Киев славился антисемитизмом. Как бы то ни было, очень скоро не стало ни работы, ни денег, а были только долги, которые каким-то образом надо было платить. И эта ситуация повторялась снова и снова на всем протяжении моих детских лет.

Отец стал искать хоть какой-нибудь работы; он пропадал целыми днями и вечерами, а когда возвращался домой после хождения по темным, ледяным зимним улицам, в доме редко бывали продукты, чтобы сварить ему горячую еду. Надо было обходиться хлебом с селедкой.

Но у мамы были другие горести. Заболели дети: четыре мальчика и одна девочка. Двое умерли сразу, не дожив до года, двое — спустя месяц. Мама рыдала над каждым, но, как большинство еврейских матерей ее поколения, она смирялась перед Божьей волей, и маленькие могилы не толкали ее на размышления о том, как надо растить детей. Но после смерти четвертого богатая семья, жившая поблизости, предложила ей пойти в кормилицы к их новорожденному. Они поставили только одно условие: чтобы мои родители с Шейной переехали из своей жалкой и сырой каморки в более просторную и светлую комнату; опытной няньке велено было научить мою молоденькую маму основам ухода за ребенком. Благодаря этому «молочному брату» жизнь Шейны улучшилась, и я родилась в более чистой и здоровой обстановке. Наши благодетели следили за тем, чтобы маме хватало еды, и скоро у моих родителей стало трое детей — Шейна, Ципке и я.

В 1903 году — мне было лет пять — мы вернулись в Пинск. У отца, который никогда не унывал, появилась новая мечта. Ничего, что ему не повезло в Киеве,— он поедет в Америку. «А голдене медине» — «золотая страна» — называли ее евреи! Там он разбогатеет. Мама, Шейна, Ципке и я будем ждать его в Пинске. И он снова собрал свое убогое имущество и отправился в неведомую часть света, а мы переехали в дом бабушки и дедушки.

Не знаю, имел ли кто из них на меня влияние, хотя в Пинске я долго жила у маминых родителей. Конечно, мне трудно поверить, что отец отца сыграл хоть какую-то роль в моей жизни, поскольку он умер прежде, чем мои родители встретились. Но все-таки он стал одним из персонажей, населивших мое детство, и теперь, обращаясь к прошлому, я чувствую, что он имеет право на место в этой истории. Он был среди тех тысяч еврейских мальчиков в России, которых «похитили» у их семей и заставили 25 лет служить в царской армии. Плохо одетые, плохо накормленные, запуганные, эти мальчики страдали еще и от того, что их вынуждали креститься. Моего деда Мабовича угнали в армию, когда ему было тринадцать лет,— а он принадлежал к очень религиозной семье и приучен был соблюдать все тонкости еврейских обрядов. Он прослужил в русской армии тринадцать лет и ни разу, несмотря на угрозы, насмешки, а зачастую и наказания, не прикоснулся к трефному. Все годы он питался лишь хлебом и сырыми овощами. Его хотели заставить креститься; за неповиновение его наказывали — целыми часами он простаивал на коленях на каменном полу,— но он не покорился. И все-таки, когда он вернулся домой, его мучил страх, что по незнанию он мог нарушить Закон. Искупая возможный грех, он годами спал на скамейке в неотапливаемой синагоге, и подушкой ему служил камень. Неудивительно, что он умер молодым.

Дед Мабович был не единственным моим родственником, отличавшимся упорством или, чтобы воспользоваться более ходовым словом, которым меня обычно характеризуют те, кому я не слишком нравлюсь,— нетерпимостью. Была еще прабабка с материнской стороны, которой я не знала и имя которой я ношу. Она была известна железной волей и любовью командовать. Нам говорили, что никто в семье не смел ничего предпринять, не посоветовавшись с ней. В действительности именно бабке Голде обязаны мои родители тем, что им разрешили пожениться. Когда мой отец пришел к моему деду Найдичу просить руки моей матери, дед

только скорбно качал головой и вздыхал при мысли, что его милая Блюма выйдет замуж за простого плотника, будь он хоть краснодеревец. Но тут на помощь явилась бабка. «Самое главное,— сказала она,— чтобы это был Человек («а менч»)! Если он Человек, то сегодня он плотник, а завтра может стать коммерсантом...» Мой отец остался плотником до конца своих дней, но бабка Голда постановила — и дед дал свое благословение. Бабка Голда дожила до девяноста четырех лет, и особенно меня поразил рассказ, что она клала в чай соль вместо сахара, ибо, говорила она, «хочу взять с собой на тот свет вкус галута (диаспоры)». И вот что интересно: по словам моих родителей, я поразительно на нее похожа.

Конечно, теперь все они умерли: и они, и их дети, и дети их детей, и их образ жизни. Нет и восточно-европейских местечек, погибших в огне пожарищ; память о них сохраняется лишь в еврейской литературе, которую они породили и через которую себя выразили. Это местечко, возрожденное в романах и фильмах, известное теперь в местах, о которых и не слыхивали мои деды, веселое, добродушное, очаровательное местечко, где на крышах скрипачи вечно играют сентиментальную музыку, не имеет ничего общего с тем, что помню я: с нищими, несчастными маленькими общинами, где евреи еле-еле перебивались, поддерживая себя надеждами на то, что когда-нибудь станет лучше, и веруя, что в их нищете есть какой-то смысл. В большинстве своем это были богобоязненные, хорошие люди, но жизнь их была, в сущности, трагична, как и жизнь моего деда Мабовича. Я лично никогда не чувствовала никакой тоски по прошлому, несмотря на то что оно окрасило всю мою жизнь и наложило глубокий отпечаток на мои убеждения. Именно оттуда пошло мое убеждение, что мужчины, женщины и дети, кто бы они ни были и где бы ни жили, а в частности и в особенности — евреи, должны жить производительно и свободно, а не униженно. Я нередко рассказывала своим детям, а потом и внукам о жизни в местечке, какой я ее смутно помню, и нет для меня большего счастья, чем сознавать, что для них это только урок истории. Очень важный урок, ибо речь идет об очень важной части их наследия, но ни с чем там они не могут себя отождествить, ибо с самого начала их жизнь была совершенно иной.

В общем, отец провел в Америке три одиноких и трудных года. С великим трудом он наскреб денег на поездку туда; как многие тысячи русских евреев, хлынувших в «золотую страну» на рубеже столетия, он верил, что Америка — единственное место, где он сможет разбогатеть, чтобы вернуться в Россию и начать там новую жизнь. Конечно, все произошло не так — и с ним, и с другими,— но мысль, что он к нам вернется, помогла нам прожить эти три года.

Киев, где я родилась, скрылся от меня в тумане времени, но образ Пинска я сохранила — возможно, потому, что я столько слышала и читала о нем. Многие из тех, кого я встретила в последующей жизни, были родом из Пинска и близлежащих городков, в том числе семьи Хаима Вейцмана [1] и Моше Шарета.

Много лет спустя я два раза чуть не попала в Пинск. В 1939 году, когда я находилась в Польше с поручением от рабочего движения, я заболела в тот самый день, когда должна была туда поехать, и поездка была отменена. Летом 1948 года, когда я была назначена послом Израиля в Советском Союзе, меня охватило внезапное желание поехать в Пинск и увидеть своими глазами, не остался ли в живых кто-нибудь из моих родственников после нацистов, но советское правительство не дало мне разрешения. Я надеялась, что со временем мне его все-таки дадут; но в начале 1949 года мне пришлось вернуться в Израиль, и поездка в Пинск была отложена на неопределенное время. Может, оно было и к лучшему; впоследствии я узнала, что из всей нашей огромной семьи в живых остался только один дальний родственник.

Пинск, который я помню, был полон евреев. Это был один из самых прославленных центров русско-еврейской жизни, и в какое-то время евреи даже составляли там большинство. Он стоял на двух больших реках — Пина и Припять (притоки Днепра),— и эти-то реки и давали большинству пинских евреев средства к существованию. Они ловили рыбу, разгружали грузовые суда, работали носильщиками, а зимой кололи лед на огромные глыбы и таскали этот лед в погреба богачей, приберегавших его на лето. Было время, когда мой дед, который по сравнению

[1] Хаим Вейцман (1874—1952) — первый президент Государства Израиль, президент Всемирной сионистской организации. *(Здесь и далее, кроме оговоренных случаев,— прим. М. Горелика.)*

с моими родителями был зажиточным человеком, имел такой погреб; в жару соседи ставили туда свои субботние и праздничные блюда и оттуда же брали лед для больных. Богатые евреи вели торговлю лесом и солью; в Пинске было даже несколько фабрик — гвоздильная, фанерная и спичечная,— которыми владели евреи, дававшие, разумеется, работу десяткам еврейских рабочих.

Но больше всего я помню «пинскер блотте», как мы их называли,— болота, казавшиеся мне тогда океанами грязи, которых нас научили бояться как чумы. Для меня они навеки связаны с моим всегдашним ужасом перед казаками. Как-то зимним вечером я играла с детьми на краю запретного болота, как вдруг откуда ни возьмись — а может, и прямо из самого болота — выскочили казаки верхом и понеслись дальше, перескакивая через наши скорчившиеся дрожащие тела. «Ну,— сказала мама, которая сама дрожала и плакала, слушая меня,— ну, что я тебе говорила?»

Но Пинск был для меня страшен не только казаками и черными бездонными болотами. Помню ряд высоких зданий на улице, ведущей к реке, а напротив них, на холме,— монастырь. Целыми днями перед монастырем сидели и лежали толпы калек, с всклокоченными волосами, с вытаращенными глазами; они громко молились и просили подаяния. Я старалась там не ходить, но если случалось мне проходить мимо, я бежала бегом, зажмурив глаза. Когда мама хотела меня по-настоящему припугнуть, достаточно было заикнуться о тех нищих, и я тут же переставала капризничать.

Но не все же было так страшно! Я была ребенком, и, как все дети, я играла, и пела, и сказки придумывала для маленькой сестры. С помощью Шейны я научилась читать и писать и даже немного арифметике, хотя мне и не пришлось пойти в пинскую школу. «Про тебя все говорили — золотое дитя! — вспоминала мама.— Вечно чем-нибудь занята». Думаю, моим главным занятием в Пинске было знакомство с жизнью, опять-таки главным образом через Шейну.

Шейна, которой исполнилось четырнадцать лет, когда отец уехал в Америку, была замечательная девушка, умная и глубоко чувствующая. Ее влияние на меня было и всегда оставалось очень сильным — может быть, самым сильным, если не считать моего будущего мужа. Она и вообще-то была необычной личностью; для меня же всегда и везде она была образцом, другом и наставником. И позже, когда мы стали взрослыми, а потом старыми женщинами, бабушками, ее одобрение, ее похвала — нечасто удавалось мне это заслужить — имели для меня первостепенное значение. В сущности, Шейна — это часть моей истории. Она умерла в 1972 году, но я думаю о ней постоянно, и ее дети и внуки мне так же дороги, как мои собственные.

Несмотря на то что мы в Пинске были ужасно бедны и маме, с помощью деда, еле удавалось нас кое-как тащить, Шейна отказалась пойти работать. Возвращаться в Пинск ей было очень тяжело. В Киеве она посещала прекрасную школу; теперь ей хотелось учиться, приобретать знания, образование, и не только ради того, чтобы ее собственная жизнь стала лучше и полнее, но и для того, чтобы она смогла изменить и улучшить мир. В четырнадцать лет это была революционерка, серьезная и преданная участница сионистского социалистического движения — то есть в глазах полиции вдвойне опасная и подлежащая наказанию. Она и ее друзья были не только «заговорщиками», стремившимися свергнуть всемогущего царя, но они прямо объявляли, что их мечта — создать еврейское социалистическое государство в Палестине. В России начала двадцатого века такие взгляды считались подрывной деятельностью и за них арестовывали даже четырнадцати-пятнадцатилетних школьниц. До сих пор помню крики молодых людей — девушек и юношей,— которых избивали в полицейском участке, рядом с которым мы жили.

Моя мать тоже слышала эти крики и ежедневно умоляла Шейну не иметь ничего общего с этим движением: она ведь подвергала опасности не только себя и нас, но даже отца в Америке! Но Шейна была неумолима. Мало того, что она желала перемен: она еще хотела участвовать в их осуществлении. По ночам мать не спала — ждала, когда наконец Шейна вернется домой с какой-то таинственной «сходки»; я лежала молча, стараясь понять все это: преданность Шейны делу, в которое она так сильно верила; материнскую отчаянную тревогу; необъяснимое — для меня — отсутствие отца, и все это на фоне топота казацких коней, то и дело раздававшегося на улице.

По субботам, когда мама ходила в синагогу, Шейна устраивала сходки у нас

дома. Даже когда мама об этом узнала и стала упрашивать Шейну не рисковать всеми нами, ей ничего не оставалось, кроме как ходить по нашей улице взад и вперед, когда она возвращалась из синагоги домой. По крайней мере так она была на страже и, если бы показался полицейский, могла предупредить молодых конспираторов. Но бедную маму больше всего пугало не то, что в любую минуту может налететь полиция и арестовать Шейну. Все эти месяцы ее сердце терзал страх (в те дни очень распространенный в России), что кто-нибудь из друзей Шейны окажется провокатором.

Конечно, я была слишком мала, чтобы понимать, что означают все эти споры, слезы и хлопанья дверью. Но в эти субботние утренние часы я забивалась на печку, встроенную в стену, и сидела там часами, слушая Шейну и ее друзей, стараясь понять, что их так волнует и почему из-за этого плачет мама. Иногда, делая вид, что я с увлечением рисую или копирую странные буквы из сидура (еврейский молитвенник) — это была одна из немногих книг в нашем доме,— я вслушивалась, стараясь понять, что именно Шейна с таким жаром объясняет маме. Но я только и поняла, что она участвует в какой-то борьбе, которая касается не только русских, но и, в особенности, евреев.

Многое уже написано — и, конечно, еще больше будет написано — о сионистском движении. Теперь большинство людей имеет представление, что означает самое слово «сионизм», а также, что оно как-то связано с возвращением еврейского народа в страну их отцов — в землю Израиля, как она называется на иврите. Но, вероятно, и сегодня не все понимают, что это замечательное движение возникло спонтанно и почти одновременно в разных частях Европы в конце девятнадцатого века. Словно драма, поставленная на разных сценах, на разных языках, по-разному, но везде разрабатывавшая одну и ту же тему: так называемый еврейский вопрос. Еврейский вопрос в действительности был, конечно, христианским вопросом и возник в результате того, что у евреев не было своего дома; он не будет и не может быть разрешен до тех пор, пока у евреев не будет собственной страны. Очевидно, этой страной мог быть только Сион, страна, откуда евреев изгнали две тысячи лет тому назад, но которая оставалась духовным центром еврейства на протяжении веков и которая в те дни, когда я жила в Пинске, и до конца первой мировой войны была запущенной и заброшенной провинцией Османской империи под названием Палестина.

Первые евреи, осуществившие современное возвращение в Сион, прибыли туда уже в 1878 году. Они основали первое поселение еврейских земледельцев и назвали его Петах-Тиква (Врата надежды). К 1882 году маленькие группы сионистов из России, называвшие себя Ховевей Цион (Возлюбленные Сиона), прибыли в страну с решением вытребовать себе землю, чтобы возделывать ее и защищать. Но в 1882 году Теодор Герцль, будущий основатель Всемирной сионистской организации и отец государства Израиль, еще ничего не знал ни о том, что делают с евреями в Восточной Европе, ни о существовании Ховевей Цион. Только в 1894 году, освещая в прессе дело Дрейфуса, этот утонченный и удачливый корреспондент видной венской газеты «Нойе фрайе прессе» заинтересовался судьбой евреев. Потрясенный несправедливостью к офицеру-еврею и открытым антисемитизмом во французской армии, Герцль тоже уверовал, что для еврейского вопроса существует только одно настоящее решение. Его дальнейшие достижения и ошибки, вся поразительная история о том, как он пытался создать еврейское государство, изучается теперь всеми израильскими школьниками, и ее следовало бы изучить тем, кто хочет понять, что же такое сионизм.

Мама и Шейна знали о Герцле, но я впервые услышала его имя, когда моя тетка (жившая с Вейцманами в одном доме и часто приносившая оттуда важные новости, как дурные, так и хорошие) однажды прибежала с глазами, полными слез, и сказала мне, что произошло невообразимое: Герцль умер. Никогда не забуду, какое молчание наступило вслед за ее сообщением. А Шейна — что типично для нее — решила в знак траура по Герцлю носить только черное; так она и носила траур до тех пор, пока мы не приехали в Милуоки через долгих два года.

Тоска евреев по собственной стране не была результатом погромов (идея заселения Палестины евреями возникла у евреев и даже у некоторых неевреев задолго до того, как слово «погром» вошло в словарь европейского еврейства); однако русские погромы времен моего детства придали идее сионистов ускорение, особенно когда стало ясно, что русское правительство использует евреев как козлов отпущения в своей борьбе с революционерами.

Большинство еврейской революционной молодежи в Пинске, объединенной огромной тягой к образованию, в котором они видели орудие освобождения угнетенных масс, и решимостью покончить с царским режимом, по этому вопросу разделилось на две основные группы. С одной стороны были члены Бунда (Союза еврейских рабочих), считавшие, что положение евреев в России и в других странах переменится, когда восторжествует социализм. Как только изменится экономическая и социальная структура еврейства — говорили бундовцы,— исчезнет и антисемитизм. В этом лучшем, просветленном, социалистическом мире евреи смогут, если того пожелают, сохранять свою культуру: продолжать говорить на идиш, соблюдать традиции и обычаи, есть что захотят. Но не будет причины цепляться за отжившую идею еврейской национальности.

Поалей Цион — сионисты-социалисты, к которым принадлежала Шейна,— смотрели на это по-другому. Они верили, что так называемый еврейский вопрос имеет и другие корни, и потому решать его надо шире и радикальнее, чем просто исправляя экономические и социальные несправедливости. Разделяя социалистические убеждения, они сохраняли верность национальной идее, основанной на концепции единого еврейского народа и восстановлении его независимости. Оба эти направления были нелегальны и находились в подполье, но по иронии судьбы злейшими врагами сионистов были бундовцы, и большинство дебатов, гремевших над моей головой, когда Шейна устраивала сходку у нас дома, касалось конфликта между этими двумя группами.

Бывало, когда мы с Шейной ссорились и я выходила из себя, я грозилась, что расскажу про политические собрания нашему краснорожему полицейскому Максиму. Разумеется, я никогда бы этого не сделала, да и Шейна не сомневалась, что это только пустые угрозы, но она все-таки беспокоилась. «Что ты расскажешь Максиму?» — спрашивала она. «Расскажу, что ты и твои приятели хотите покончить с царем!» — кричала я. «Знаешь, что тогда со мной сделают? Сошлют в Сибирь, и там я умру от холода и больше никогда не вернусь,— говорила она.— Так бывает с теми, кого отправляют в ссылку».

По правде говоря, я старалась не попадаться Максиму на глаза. Если я замечала, что его сапоги громыхают по направлению ко мне, я пускалась наутек. Много лет спустя Шейна рассказала мне, что хоть Максим никогда никого не арестовал, она не сомневалась, что он систематически докладывал властям обо всех молодых людях, с которыми она была связана.

Пожалуй, там же, на печке, я получила еще один важный неполитический урок: ничто в жизни никогда не происходит само собой. Недостаточно верить во что-нибудь; надо еще иметь запас жизненной силы, чтобы преодолевать препятствия, чтобы бороться. Теорию, лежавшую в основе всего, что делала Шейна, я стала усваивать в возрасте шести-семи лет. Что бы ты ни делал, делай это правильно! Шейна в свои пятнадцать лет уже была совершенной максималисткой: она сама жила, сообразуясь с самыми высокими принципами, чего бы ей это ни стоило, и так же сурово и требовательно относилась к другим.

Мы уже много лет прожили в Палестине, а потом в Израиле, и она могла бы позволить себе какие-то приобретения, облегчающие жизнь; но она обходилась без них, находя, что жизненный уровень, которому они соответствуют, слишком высок для страны. В шестидесятые годы, старая и больная, она позволила себе единственную роскошь — холодильник. Она обходилась без духовки, всю жизнь готовила на газовой горелке и считала, что не может позволить себе иметь в Израиле электрический миксер. Будь она менее непреклонной, менее требовательной к себе и другим, она, может быть, поняла бы, каким ужасом были для мамы те пинские сходки, и, может быть, даже уступила бы ей. Но в том, что Шейна считала важным, она была неумолима — и политические сходки у нас дома продолжались, несмотря на бесконечные раздоры с мамой. Однажды Шейна ушла из дому и прожила некоторое время у тетки; но там люди оказались еще нетерпимее, так что она вынуждена была вернуться домой.

В это время Шейна встретилась с Шамаем Корнгольдом, своим будущим мужем; это был сильный, умный, одаренный юноша, отказавшийся от великого счастья учиться — предметом его страстного интереса была математика,— чтобы примкнуть к революционному движению. Между ними расцвел почти безмолвный роман, и Шамай тоже стал навсегда частью моей жизни. Он был одним из лидеров

молодых сионистов по кличке «Коперник». Шамай был единственным внуком известного знатока Торы; он жил с родителями, и все они зависели от него материально. Шамай часто бывал у нас; помню, как он перешептывался с Шейной про подъем революционного движения в городе и про казачий полк, который движется сюда и будет усмирять Пинск своими сверкающими саблями. По их разговорам я догадалась, что с кишиневскими евреями случилось что-то ужасное и что пинские евреи готовятся защищать себя оружием и самодельными бомбами.

Шейна и Шамай реагировали на ухудшение положения своеобразно: они не только продолжали устраивать и посещать тайные сходки — они вовлекали в движение других молодых людей и даже — о, ужас! — дочку нашего седовласого шойхета — ультраправоверного ритуального резника, у которого наша семья снимала комнату. Тут тревога мамы за Шейну, за Ципке и за меня стала нестерпимой, и она начала писать отчаянные письма отцу. Она писала, что не может быть и речи о том, чтобы нам торчать в Пинске; мы должны ехать к нему в Америку.

Но, как и многое в жизни, это легче было сказать, чем сделать. Отец, который к этому времени переехал из Нью-Йорка в Милуоки, едва сводил концы с концами. Он написал, что надеется получить работу на железной дороге и тогда у него будут деньги нам на билеты. Мы перебрались от шойхета к бубличнику. Бублики пекли ночью, так что в квартире всегда было тепло, и бубличник дал маме работу. А в конце 1905 года пришло письмо из Милуоки. У отца была работа, так что мы могли начинать сборы в дорогу.

Сборы были долгие и трудные. Непростое дело было в те времена женщине с тремя дочками — из них две совсем маленькие — проделать одним весь путь от Пинска до Милуоки. Для мамы это было не только облегчение, но и новые тревоги, а для Шейны расстаться с Россией значило расстаться с Шамаем и с тем, ради чего они так трудились и так рисковали. Помню только суету этих последних недель в Пинске, прощание с родственниками, поцелуи и слезы. В те времена уехать в Америку было почти то же самое, что отправиться на Луну. Может, мама и тетки плакали бы не так горько, если бы знали, что я вернусь в Россию как посланник еврейского государства; или что как премьер-министр Израиля я буду встречать поцелуями и слезами сотни и сотни русских евреев. Но предстоявшие годы несли нашим родственникам, остававшимся в Пинске, нечто пострашнее слез, и один Бог об этом знал. Может, и мы не так бы боялись, если бы знали, что по всей Европе тысячи семей, вроде нашей, пустились в дорогу, справедливо надеясь на лучшую жизнь в Новом Свете. Но мы знать не знали о множестве нееврейских женщин и детей из Ирландии, Италии и Польши, которые в таких же условиях, как мы, пробирались к своим мужьям и отцам в Америку, и мы были очень напуганы.

Немного я помню подробностей о нашем путешествии в Милуоки в 1906 году, и, думаю, даже то, что, как мне кажется, я помню, я знаю из рассказов мамы и Шейны. Помню только, что в Галиции мы должны были нелегально перейти границу, потому что три года назад наш отец помог своему знакомому добраться до Америки, вписав его жену и дочерей в свои собственные бумаги как своих. Так что когда наступил наш черед уезжать, мы тоже шли под чужими именами. И хотя мы послушно запомнили и фальшивые имена, и фальшивые подробности — Шейна отлично выдрессировала нас всех, даже Ципке,— переход границы был осуществлен с помощью взятки, которую мама, каким-то образом скопившая необходимые деньги, дала полицейскому. В суматохе про-

пала — или была украдена — большая часть нашего «багажа». Как бы то ни было, я помню, что в холодное весеннее утро мы наконец вошли в Галицию, и помню будку, в которой мы ждали поезда в порт. Мы прожили в этой неотапливаемой будке два дня и спали на холодном полу, и Ципке, помню, все время плакала, пока ее не отвлек прибывший наконец поезд. И мы двинулись, с остановками, которых не помню, сначала в Вену, потом в Антверпен, где мы еще 48 часов просидели в эмиграционном центре, ожидая парохода, который отвезет нас в Америку к отцу.

Четырнадцать дней на пароходе — это не была увеселительная прогулка. Нас втиснули в темную душную каюту еще с четырьмя людьми: ночью мы спали на голых койках, а днем большей частью стояли в очереди на раздаче еды. Мама, Шейна и Ципке мучились морской болезнью; я же чувствовала себя хорошо, часами смотрела на океан и старалась представить себе Милуоки. Пароход был набит русскими эмигрантами — бледными, измученными и перепуганными, как мы. Иногда я играла с детьми, которые тоже ехали четвертым классом, и мы рассказывали друг другу, какие невообразимые богатства ожидают нас в «золотой стране». Но мне кажется, что и они сознавали, что мы едем в места, о которых ровнешенько ничего не знаем, в совершенно чужую для нас землю.

Начало новой жизни

Хотя в то жгучее июльское утро, когда я впервые его увидела сквозь грязное окно кантарского поезда, Тель-Авив и показался мне большой и не слишком красивой деревней, он уже был на пути к тому, чтобы стать самым юным городом мира и гордостью ишува [1]. Не знаю, чего я ожидала — но во всяком случае не того, что увидела.

В сущности, я, да и мы все, знали к тому времени о Тель-Авиве только то, что он был основан в 1909 году шестьюдесятью оптимистически настроенными еврейскими семьями. Кое-кто из них даже осмеливался предсказывать, что когда-нибудь в их дачном предместье, построенном на окраине арабского Яфо, будет 25 тысяч жителей. Но никому из них и не снилось, что всего через пятьдесят лет Тель-Авив станет большим городом, в котором еле будет хватать жилья для более чем четырехсоттысячного населения, а в 1948 году станет первой, временной столицей еврейского государства.

Во время войны [2] турки выслали из Тель-Авива все его население. Но к тому времени, как мы приехали, там опять уже жило 15 тысяч человек, и начался настоящий строительный бум. Некоторые части города, как я впоследствии для себя открыла, были и в самом деле очень красивы: ряды чистеньких домиков — каждый с собственным садом — выстроились на мощеных улицах, обсаженных деревьями — казуариной и перечными, а вдоль улицы тянулись караваны ослов и верблюдов, груженных мешками с песком, который брали с морского берега для строительства. Но иные районы казались — и были — построенными без всякого плана, незаконченными и ужасающе запущенными. После майских беспорядков 1921 года Тель-Авив запрудили еврейские беженцы из Яфо, и, когда мы приехали — это случилось всего через несколько недель,— несколько сот беженцев все еще жили в жалких хибарах и даже в палатках.

Население Тель-Авива в 1921 году частью состояло из тех, кто прибыл в Палестину с третьей волной сионистской иммиграции, в основном из Литвы, Польши и России; они известны под именем «Третья Алия». Другую часть составляли «старики», которые находились тут с самого начала. И хотя некоторые из новых иммигрантов сами себя называли «капиталистами» — то были купцы и торговцы, открывавшие маленькие фабрики и лавки,— подавляющее большинство состояло из рабочих. За год перед тем была создана Всеобщая федерация еврейских трудящихся (Гистадрут), и через двенадцать месяцев она уже насчитывала более 4 тысяч членов.

Тель-Авив, хоть ему было всего двенадцать лет, быстро двигался к самоуправлению. Как раз в это время британские власти дали разрешение Тель-Авиву собирать налоги за дома и фабрики, а также иметь собственную систему

[1] Ишув *(ивр.)* — обобщенное название еврейского населения Палестины.

[2] Имеется в виду первая мировая война.

водоснабжения. Тюрьмы, правда, он еще не имел — много лет прошло, пока появилась тюрьма, но зато у него была собственная, чисто еврейская полиция в количестве двадцати пяти человек, которой все чрезвычайно гордились. Главная улица (названная именем Теодора Герцля) была с одного конца украшена Герцлийской гимназией — первым и импозантнейшим зданием города. Было еще несколько улиц, и маленький «деловой центр», и водокачка, у подножия которой собиралась тогда молодежь. Городской транспорт представляли собой маленькие автобусы и повозки, запряженные лошадьми, а мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф ездил по городу верхом на великолепной белой лошади.

В 21-м году культурная жизнь уже била в Тель-Авиве ключом; множество писателей селилось в городе, и среди них был великий еврейский философ и писатель Ахад-ха-Ам и поэт Хаим Нахман Бялик. Уже функционировала состоявшая из рабочих театральная группа «Огель» («Палатка») и несколько кафе, где каждый день и каждый вечер живо обсуждались вопросы политики и культуры. Но мы, высадившиеся наконец на крошечной городской станции, ничего этого не видели — ни культурной жизни, ни скрытых возможностей города. Трудно было выбрать более неудачное время для приезда; все нас слепило — воздух, песок, белая штукатурка домов; все пылало на полуденном солнце, и мы совсем увяли, когда, оглядев пустую платформу, поняли, что никто нас не встречает, хоть мы и написали в Тель-Авив нашим друзьям (эмигрировавшим в Палестину два года назад), когда нас следует ожидать. Потом мы узнали, что в этот самый день они отправились в Иерусалим завершить формальности, связанные с отъездом из страны. Это еще усугубило то состояние растерянности и неуверенности, в котором мы находились.

Как бы то ни было, теперь, после своего ужасного путешествия, мы наконец уже были в Тель-Авиве. Мечта сбылась. И станция, и дома, которые мы различали вдали, и даже глубокие пески, окружавшие нас,— все было частью еврейского национального очага. Но нелегко было вспомнить, зачем, собственно, мы приехали, стоя под жгучим солнцем и не зная, куда идти, куда повернуться. Кто-то, может быть Йосл, даже выразил наши чувства словами. Он повернулся ко мне и сказал то ли в шутку, то ли всерьез: «Ну, Голди, ты хотела в Эрец-Исраэль. Вот мы и приехали. А теперь можем ехать обратно — с нас хватит». Я не помню, кто это сказал, но помню, что я не улыбнулась.

Неожиданно к нам подошел мужчина и представился на идиш: господин Бараш, владелец близлежащей гостиницы. Может быть, он может нам помочь? Он кликнул повозку, и мы с благодарностью взвалили на нее свои вещи. Повозка двинулась, мы устало потянулись за ней, прикидывая, далеко ли уйдем по этой страшной жаре. Сразу за вокзалом я увидела дерево. Оно, по американским понятиям, было не слишком высокое, но все-таки это было первое дерево, которое я в тот день увидела. И подумала, что оно — символ молодого города, чудом поднявшегося из песков.

В гостинице мы поели, напились и выкупались. Комнаты были большие и светлые, господин и госпожа Бараш — очень гостеприимные. Мы повеселели. Решили не распаковывать вещей и не строить никаких планов, пока не отдохнем. И тут, к своему ужасу, мы увидели на постелях следы клопов. Господин Бараш с негодованием отверг обвинение: «Мухи — возможно,— сказал он,— но клопы? Никогда!» Когда белье сменили, Шейна, Регина и я уже вовсе не хотели спать; остаток нашего первого дня в Тель-Авиве мы провели, уверяя друг друга, что нам предстоят проблемы посерьезнее, чем клопы.

Рано утром Шейна вызвалась сходить на рынок за фруктами для детей. Вернулась она очень скоро, сильно приунывшая. «Все, все покрыто мухами,— сказала она,— не достать ни бумаги, ни бумажных мешков; все до того примитивно; и солнце, солнце, которого просто нельзя выдержать!» Никогда я прежде не слышала, чтобы Шейна на что-нибудь жаловалась; теперь я призадумалась, сможем ли мы с ней привыкнуть к нашей новой жизни. Очень хорошо было рассуждать в Милуоки о пионерстве, но, может быть, мы и в самом деле неспособны справиться с незначительными неудобствами, и литовцы были правы, считая нас слишком мягкотелыми для этой страны? Чувство неловкости и вины за собственную слабость — не говоря уж о том, как нервировала меня реакция Морриса на наши неудачи,— я испытывала всю нашу первую неделю в Тель-Авиве. Может, если бы мы приехали осенью или поселились поближе к морю с его бризами, все прошло бы легче. Но теперь мы почти всегда страдали от жары, усталости и упадка духа.

В довершение всего вернулись из Иерусалима наши друзья и пригласили нас на субботний ужин. Мало того, что они бесконечно распространялись обо всех трудностях, которые нас ожидают,— они подали котлеты, пахнувшие мылом, которых никто из нас не мог в рот взять. Все были сконфужены. Когда удалось успокоить вопящих детей, выяснилось, что в бесценный фарш упал кусок мыла. Но от объяснения мясо не стало более съедобным, и мы возвратились в гостиницу господина Бараша, чувствуя тошноту и подавленность.

Через несколько дней стало ясно, что оставаться в гостинице господина Бараша не имеет смысла. Раньше или позже мы должны были пустить корни, как то дерево у вокзала; к тому же деньги уходили. Хоть мы и приехали из Америки, средства наши были очень ограниченны — несмотря на то, что в это, по-видимому, никто не хотел верить. Тем летом в Тель-Авиве я встретилась с женщиной, которая обняла меня, поцеловала и сказала со слезами на глазах: «Слава Богу, что вы, миллионеры, приехали к нам из Америки. Теперь все у нас пойдет хорошо».

Мы планировали провести в Тель-Авиве неделю-другую, а потом вступить в киббуц. Еще в Милуоки мы выбрали киббуц, в который будем предлагать себя. Но в Тель-Авиве нам сказали, что надо ждать конца лета: тогда только можно будет подавать заявления по всей форме. Итак, вместо того чтобы сразу отправиться на завоевание земли, мы пустились на куда менее героическое предприятие: завоевание квартирохозяев. Но и это было непростым делом. Квартир было мало, цены на них колоссальные, а нам нужно было помещение, куда можно было бы поставить по крайней мере семь кроватей. Мы разбились на группы и начали лихорадочно носиться по городу в поисках жилья. Через несколько дней мы нашли двухкомнатную квартиру в конце немощеной улицы Неве Цедек; это была самая старая часть города, основанная на границе Яфо еще раньше, чем Тель-Авив. Там не было ни электричества, ни ванной, ни уборной: «удобства», которыми пользовалось еще человек сорок, помещались во дворе. Зато была кухонька, и квартплату с нас попросили только за три месяца вперед, несмотря на то что мы приехали из Штатов и, конечно, считались богачами.

Мы въехали туда без особого энтузиазма, но с большим чувством облегчения и начали организовывать свой быт. Мы заняли у знакомых простыни, горшки и сковородки, вилки, ложки и ножи, и Шейна взялась вести наше общее хозяйство; готовила она на примусе (род керосиновой плитки), который то и дело с шумом взрывался. Регина устроилась в контору машинисткой; Йосл поступил в парикмахерскую; Морриса взяли чем-то вроде библиотекаря в британское управление общественных работ в Лидде; я стала давать частные уроки английского. Мне, правда, предложили преподавать в средней школе, но так как мы собирались в самом скором времени вступить в киббуц, то я решила не связывать себя постоянной работой. Однако большинство встречавшихся с нами в Тель-Авиве людей считало преподавание слишком интеллектуальным занятием для будущего халуца [1], и мне каждый раз приходилось объяснять, что это только временно и что не за тем я приехала в Палестину, чтобы распространять американскую культуру.

В общем, мы справлялись неплохо, хотя понадобилось немало времени, чтобы соседи привыкли к нашим странным американским обычаям. Мы, например, вставили в окна сетки от мух. Все ставили на окна сетки, чтобы в комнаты не лезли

[1] Халуц (пионер; *ивр.)* — активный участник еврейского заселения и освоения Палестины.

бродячие кошки, которых в городе было полно, но мухи? Подумаешь, важность — мухи! Разве без мух тут проживешь? Но мы хотели сделать квартиру пригодной для жилья, и, в общем, нам это удалось. Когда из Неаполя пришли наши сундуки, мы превратили их в диваны и столы. Моррис расписал голые стены, мы украсили комнаты покрывалами и занавесками. Но, конечно, самым дорогим нашим достоянием был патефон с пластинками, и постепенно люди стали заходить к нам по вечерам выпить чаю и послушать музыку.

Меня часто тянуло рассказать новым репатриантам, как хорошо я понимаю их трудности и каково было мне, когда я впервые приехала в Палестину, но на горьком опыте я убедилась, что люди считают все это пропагандой или, того пуще, проповедью, а чаще всего вообще не желают слушать. Но факт остается фактом: мы сами пробивали себе дорогу в стране, которую избрали. Не было еще ни Государства Израиль, ни министерства абсорбции, ни Еврейского агентства. Никто не помогал нам устраиваться, или изучать иврит, или найти жилище. Мы все для себя должны были делать сами, и нам и в голову не приходило, что кто-нибудь морально обязан нам помогать. Не хочу сказать, что мы были «выше», чем те репатрианты, которые приезжают в Израиль сегодня, и никаких сентиментальных чувств я не испытываю по поводу тех величайших — и в значительной части совершенно необязательных — неудобств, которые мы претерпели шестьдесят лет назад и к которым оказались так печально неподготовленными. Но теперь, глядя назад, я совершенно убеждена, что мы так быстро акклиматизировались в Палестине потому, что, во-первых, всегда помнили о цели своего приезда, а во-вторых, не забывали, что никто нас туда не приглашал и никто нам ничего не обещал. Мы знали, что от каждого из нас зависит сделать свою жизнь в Палестине легче, или лучше, или значительнее и что для нас возможно только одно решение: устраивать свою жизнь здесь, и как можно скорее.

Это первое лето и вообще-то было нелегким, а тут еще у сына Шейны, Хаима, началась глазная болезнь, а у Юдит кишечное заболевание, державшееся несколько недель. И все-таки, насколько мне известно, никто из нас не думал серьезно о том, чтобы покинуть страну. И по мере того как проходили недели, мы стали ощущать себя ее частью. Конечно, мы писали родителям и друзьям очень осторожно и несколько лакировали самые неприятные обстоятельства нашей жизни. Но письмо, которое я написала Шамаю через шесть недель после приезда в Палестину, до некоторой степени отражает наши чувства:

«О возвращении толкуют те, кто недавно приехал. Старый труженик преисполнен веры и кипуч духом. И пока те, кто создал то немногое, что здесь есть, остаются тут, я не могу уехать, а ты должен приехать. Я не сказала бы этого, если бы не знала, что ты готов к тяжелой работе. Правда, тут нелегко найти и тяжелую работу, но у меня нет сомнений, что ты что-нибудь найдешь. Конечно, это не Америка, и человек должен быть готов к тому, что материально ему придется трудно. И арабские волнения тоже могут повториться. Но если человек хочет иметь собственную страну и хочет этого всем сердцем, он должен быть готов ко всему этому. Когда ты приедешь, мы, я уверена, сможем составить план... Ждать нечего».

То, что я так чувствовала,— по-моему, естественно. В конце концов мне было немногим более двадцати лет, я делала именно то, что хотела, физически я чувствовала себя хорошо, энергии было хоть отбавляй, и со мной были самые дорогие для меня люди — муж, сестра, лучшая подруга. У меня не было детей и связанных с этим тревог, и мне наплевать было, есть у нас ледник или нет, и не поражало, что, мясник заворачивает наше мясо в кусок газеты, который он подобрал с пола. Все эти мелкие неприятности возмещались хотя бы тем, что, идя в первый свой предсубботний вечер по тель-авивской улице, я чувствовала, что нет для меня в жизни большей радости, чем находиться здесь — в единственном чисто еврейском городе, какой есть в мире, где все, от шофера до нашей квартирной хозяйки, разделяют со мной в глубочайшем смысле этого слова не только общее прошлое, но и цели на будущее. Все эти люди, спешащие домой с цветами в руках справлять субботу, были мои братья и сестры, и я знала, что мы с ними связаны до конца жизни. Хоть мы и приехали в Палестину из разных стран с разной культурой, хоть зачастую мы и говорим на разных языках, мы все одинаково верим, что только здесь евреи могут жить по праву, а не потому, что их терпят, и только здесь евреи будут хозяевами —

а не жертвами — своей судьбы. Потому и неудивительно, что, несмотря на все вспышки раздражения и неутрясенные вопросы, я была счастлива.

Но когда я вспоминаю, как Шейна справлялась со всем и со всеми, даже не заикаясь о том, что на нее навалили слишком много, а ведь ее дети болели, и Шамай был так далеко, и почта работала из рук вон плохо, так что его письма к ней шли месяцами; когда вспоминаю, как держался Моррис, который и поехал-то в Палестину не без колебаний, а тут еще его книги, которыми он так дорожил, пришли в изорванном и подмоченном виде,— когда я вспоминаю об этом, я вновь восхищаюсь ими и размышляю, сумела ли бы я быть так же тверда на их месте. Конечно, и тогда были новички вроде тех, что должны были нас встретить, которые не смогли принять то, что увидели, и уехали,— как и теперь, некоторые не приемлют всего и уезжают. Я всегда их жалела, потому что теряли на этом деле, в сущности, они.

В сентябре мы подали заявление в киббуц Мерхавия в Изреельской долине, которую мы называем «Эмек». Мы выбрали этот киббуц, как часто бывает, по случайным причинам: там находился наш с Моррисом друг, прибывший в Палестину с Еврейским легионом. О самой Мерхавии мы знали очень мало, да и вообще о киббуцах мы знали только то, что это поселения, где фермеры живут сообща, не имея личной собственности, наемной рабочей силы и частной торговли, и что коллектив целиком отвечает и за производство, и за обслуживание, и за индивидуальное снабжение. Но оба мы верили — я без всяких сомнений, Моррис с оглядкой,— что жизнь в киббуце больше всего поможет каждому из нас выявить себя как сиониста, как еврея и как человека.

Может быть, здесь следует вкратце рассказать об Эмеке, потому что борьба за его развитие является неотъемлемой частью всего сионистского движения. Когда закончилась первая мировая война и Лига Наций вручила Великобритании мандат на управление Палестиной, надежды, порожденные Декларацией Бальфура, на создание еврейского национального очага в полном смысле этого слова, казалось, были на пути к осуществлению. Но еще в 1901 году сионистское движение создало Еврейский национальный фонд с целью покупать и возделывать землю Палестины для всего еврейского народа. Много принадлежащей евреям земли в Палестине купил «народ» — булочники, портные, плотники из Пинска, Берлина и Милуоки. С детских лет я помню синюю жестяную копилку, что стояла у нас в гостиной рядом с субботними свечами, в которую не только мы, но и наши гости еженедельно опускали монеты; такая синяя копилка имелась в каждом еврейском доме, где мы бывали. И на эти-то монеты еврейский народ начал с 1904 года покупать обширные участки палестинской земли.

Честно говоря, мне здорово надоело слышать о том, как евреи «украли» у арабов землю в Палестине. Дело обстояло совершенно иначе. Много полновесной монеты перешло из рук в руки, и много арабов стало очень богатыми людьми. Конечно, были и другие организации и частные лица, скупавшие участки. Но к 1947 году только Еврейскому национальному фонду — то есть миллионам тех самых синих копилок — принадлежало больше половины всех еврейских землевладений в стране. Так что пусть хоть с этой клеветой будет покончено.

В то время когда мы приехали в Палестину, землю в Эмеке скупали довольно широко, хотя земля эта в большой своей части представляла черные малярийные болота, распространявшие малярию и черную лихорадку. Но важно было то, что эту зачумленную землю можно было купить, хоть и недешево. Кстати, немалый кусок ее Еврейский национальный фонд купил у богатой арабской семьи, проживавшей в Бейруте.

Затем надо было сделать эту землю пригодной для обработки. Разумеется, и это в природе вещей, фермеры-частники не заинтересовались, да и не могли заинтересоваться проектом, сулившим хоть какую-то выгоду только через годы каторжного и опасного труда. Только высокоидейные халуцим, как наши Поалей Цион, готовые взять землю, несмотря на все предстоящие трудности и жертвы, могли приступить к осушению эмекских болот. Мало того — они собирались делать это сами, а не руками наемных арабских рабочих под наблюдением еврейских управляющих. Таковы были эти первые поселенцы в Мерхавии, и многие из них дожили до того времени, когда Эмек стал самой плодородной и красивой долиной Израиля с ее цветущими деревнями и киббуцами.

Мерхавия (в переводе «Божьи просторы») — один из первых киббуцев,

основанных в Эмеке. В 1911 году группа молодых людей из Европы устроила тут ферму, но еле-еле справлялась с ней. Когда в 1914 году разразилась война, соединенные усилия малярии, враждебно настроенных соседей-арабов и турецких властей, уговаривавших покинуть это место, сделали свое дело: первая группа не устояла и рассеялась. После войны новое поселение было основано на том же месте, опять-таки пионерами из Европы, к которым присоединились британские и американские ветераны Еврейского легиона (а позже и мы с Моррисом). Но и эта группа распалась. В 1929 году на то же место пришла третья группа поселенцев, и на этот раз группа выполнила свою задачу и осталась на месте.

Нам так хотелось вступить именно в Мерхавию, мы так торопились подать свои заявления — и каково же было наше изумление, когда мы просто-напросто получили отказ, совершенно, по-моему, необоснованный. Собственно, вначале никто даже объяснить нам не хотел, почему нас отвергли; однако я настаивала, я хотела знать правду, и наконец мне очень неохотно назвали два препятствия. Первое: киббуц не хотел еще принимать супружеские пары, потому что дети — роскошь, которую не может позволить себе новое поселение. И второе, которое я отвергла с порога: коллектив, состоявший из семи женщин и тридцати мужчин, не допускал мысли, что «американская» девушка сможет или захочет выполнять все необходимые тяжелые работы. Они, понятное дело, считали себя экспертами во всем американском, в том числе и в вопросе о характере и способностях «американских» девушек вроде меня. Особенно возражали некоторые из девушек — членов киббуца: они уже были в Палестине ветеранами и немало наслышались от экспертов-мужчин об американских девушках. Мне показалось, что я опять среди литовцев и должна доказать им, что не боюсь тяжелой работы, хоть и жила в Соединенных Штатах. Я яростно спорила: они не имеют права делать такие прогнозы, справедливо было бы дать нам испытательный срок, чтобы мы им показали, на что способны. Помнится, лично против меня аргументировали тем, что в Тель-Авиве я предпочла давать уроки английского, чем заняться физической работой. Одно это должно было показать, как я «избалована».

Мы победили. Нас пригласили в Мерхавию на несколько дней, чтобы члены киббуца на нас посмотрели и сделали бы свои выводы на месте. Я была уверена, что в конце концов они позволят нам остаться — и так оно и произошло. Наша тель-авивская «коммуна» стала распадаться: Регина устроилась на другую работу, Йосл тоже переехал. В квартире оставалась только Шейна с детьми. Жарким сентябрьским вечером я радостно укладывала вещи, чтобы ехать в Мерхавию, когда мне вдруг пришло в голову, что, собственно говоря, мы бросаем Шейну одну, в квартире, которую она не в состоянии оплачивать в одиночку, с больными детьми и без Шамая, который все еще был за тысячи миль отсюда. Тогда я спросила, не хочет ли она, чтобы мы еще немного задержались в Тель-Авиве, но она и слышать об этом не захотела. «Одну комнату я сдам,— сказала она резко,— и буду искать работу. Не беспокойся обо мне». Еще она сказала, что попробует устроиться сестрой без оплаты в Хадассу, больницу, только что открывшуюся в Тель-Авиве, и, может быть, ее со временем зачислят в штат. А Шамай, она не сомневалась, скоро приедет в Палестину. До того времени она как-нибудь справится. Я сделала вид, что поверила,— такова уж человеческая природа,— сознавая в глубине души, что как ни трудна будет наша жизнь в Мерхавии, она будет легче, чем то, что предстоит одинокой Шейне в Тель-Авиве.

Сегодня Мерхавия — большой шумный поселок с районной средней школой, куда съезжаются дети со всех концов Эмека. Как и в других больших киббуцах, здесь успешно соединили сельское хозяйство с промышленным производством, и теперь в Мерхавии существует фабрика пластмассовых труб и своя типография. Люди в Мерхавии живут хорошо, хотя и тяжело работают. Там у них красивые и удобные комнаты, обширная общая столовая с кондиционером, полностью механизированная кухня — и все это они получили, не принося в жертву и даже не меняя радикально тех принципов, на которых была основана киббуцная жизнь в 1921 году. Киббуцники по-прежнему работают восемь часов ежедневно там, куда их назначает комиссия по распределению работы, хотя теперь они обычно имеют возможность делать ту работу, которой они обучены, которую делают лучше всего и которая дает им удовлетворение. По-прежнему все они поочередно несут дежурства — в столовой, на кухне, в охране и т. д.,— и все участвуют в решении основных

вопросов, которые обсуждаются и ставятся на голосование на еженедельных собраниях. Дети киббуца, как и в 1921 году, воспитываются все вместе: вместе едят, спят в общих спальнях, вместе учатся, хотя, разумеется, родительская комната — их дом, место сбора семьи, и в некоторых киббуцах дети даже спят в комнате рядом.

Я лично считала и считаю, что киббуц — единственное место в мире, где человека судят, принимают и дают возможность полностью проявить себя в родной общине вне зависимости от того, какую работу он делает и как он ее делает, но в зависимости от его человеческой ценности. Нельзя сказать, что киббуцникам неведомы зависть, нечестность или лень: киббуцники не ангелы. Но, насколько я знаю, только они в самом деле разделяют поровну почти все — проблемы, награды, ответственность и удовлетворение. И благодаря своему образу жизни они способствовали развитию Израиля несравненно больше, чем то позволяло их число. Сегодня в Израиле только 230 киббуцев, но невозможно себе вообразить — по крайней мере, я не могу,— что собой представляла бы страна без них. Тридцать лет моя дочь Сарра является членом киббуца Ревивим в Негеве, и каждый раз, когда я посещаю там ее и ее семью — а в прошлом это бывало, только когда мне это позволяли обстоятельства, то есть нечасто,— я всегда вспоминаю, с какими надеждами и страхами мы с ее отцом давным-давно отправлялись в Мерхавию, рассчитывая провести там всю свою жизнь — если только нас захотят.

Много лет я надеялась когда-нибудь вернуться к киббуцной жизни, и то, что я так этого и не сделала, разочаровывает меня в самой себе. Конечно, всегда были причины, отчего это представлялось невозможным, особенно же общественные обязанности, которыми я была связана. Но и до сих пор я жалею, что не нашла в себе сил пренебречь всеми настояниями и убеждениями, а когда наконец пришло время, я была уже слишком стара для перемен. Много есть вещей, в которых я не уверена, но одно я знаю: если бы я осталась на всю жизнь членом киббуца — настоящим членом, а не праздничным посетителем,— то это дало бы мне во всяком случае не меньшее внутреннее удовлетворение, чем моя государственная деятельность.

Киббуц, куда мы прибыли осенью 1921 года, состоял из нескольких домов и группы деревьев, оставшихся от первого поселения. Не было ни фруктовых садов, ни лугов, ни огородов — ничего не было, кроме ветра, камней и сожженных солнцем полей. Весной весь Эмек цветет. Горы, окаймляющие долину, даже черные болота — все покрывается цветами, и на несколько недель Мерхавия превращается в самое красивое место, какое я когда-либо видела. Но впервые я ее увидела задолго до того, как начались живительные зимние дожди, и она выглядела совсем не так, как я себе представляла. Но не пейзаж был тем препятствием, которое предстояло преодолеть. Я твердо решила доказать, что по закалке ничуть не уступаю киббуцникам и смогу справиться с любым заданием. Не помню уже всех работ, какие мне поручали во время этого «испытательного срока»; помню, что целыми днями собирала миндаль в роще около киббуца и участвовала в посадке леса в скалах по дороге в Мерхавию. Теперь это уже настоящий лес, и каждый раз, когда я там проезжаю, я вспоминаю, как мы выкапывали бесчисленные ямы в земле между камнями, как осторожно опускали туда каждый саженец, спрашивая себя, доживет ли он до зрелого возраста, и воображая, как прекрасна станет дорога, да и вся земля, если примутся хотя бы вот эти наши деревья. Тут я работала. Возвращаясь в свою комнату по вечерам, я и пальцем уже не могла пошевелить, но знала, что, если я не приду на ужин, все начнут смеяться: «А что мы вам говорили? Вот вам американская девушка!» Я бы с радостью отказалась от ужина, потому что гороховая каша, которую мы ели, не стоила труда, затрачиваемого мною на то, чтобы поднять ко рту вилку, но я все-таки шла в столовую. В конце концов деревья выжили, и я тоже. Через несколько месяцев нас с Моррисом приняли в члены киббуца, и Мерхавия стала моим домом.

Киббуцная жизнь в двадцатые годы была далеко не роскошна. Прежде всего, еды было очень мало, а та, что была нам доступна, была страшно невкусна. Наш рацион состоял из прокисших каш, неочищенного растительного масла (арабы продавали его в мешках из козьих шкур, отчего оно невероятно горчило), некоторых овощей с бесценного киббуцного огородика, мясных консервов, оставшихся после войны от британской армии, и еще одного неописуемого блюда, которое готовилось из «свежей» селедки в томатном соусе. Мы эту «свежатину» каждый день ели на

завтрак. Когда наступила моя очередь работать на кухне, я, ко всеобщему удивлению, была в восторге. Теперь-то наконец я смогу что-нибудь сделать с этой ужасной едой.

Имейте в виду, что в те дни киббуцницы ненавидели работу на кухне, и не потому, что это тяжело — по сравнению с другими эта работа легкая, а потому, что они считали ее унизительной. Они боролись не за равные «гражданские» права — в этом у них недостатка не было,— а за равное распределение обязанностей. Они хотели делать те же работы, что и мужчины,— мостить дороги, мотыжить землю, строить дома, нести сторожевую службу; они не хотели, чтобы с ними обращались, как будто они какие-то не такие, и сразу же отправляли их на кухню. Все это происходило лет за пятьдесят до того, как был изобретен неудачный термин «уимен'с либ», но факт, что киббуцницы были первыми в мире успешными борцами за настоящее равенство. Но я относилась к работе на кухне иначе. Я никак не могла понять, о чем тут беспокоиться, и так и сказала. «А почему? — спросила я девушек, унывавших (или бушевавших) от работы на кухне.— Чем, собственно, лучше работать в хлеву и кормить коров, чем работать на кухне и кормить своих товарищей?» Никто не сумел на это убедительно ответить, и я позволила себе больше думать о качестве нашего питания, чем о женской эмансипации.

Я начала энергично — с преобразования меню. Прежде всего я избавилась от ужасного растительного масла. Потом я отменила «свежатину» и ввела вместо нее овсянку, чтобы люди, возвращающиеся домой с работы в холодное и мокрое зимнее утро, могли съесть что-то горячее и питательное вместе со своей обязательной порцией хинина. Никто не возражал против исчезновения растительного масла, но все восстали против овсянки: «Еда для младенцев! Всё ее американские идеи!» Но я не сдавалась, и Мерхавия постепенно привыкла к этому новшеству. Потом мне пришло в голову обновить посуду: наши эмалированные кружки, выглядевшие такими белыми и чистыми, когда их только что купили, через несколько недель облупились и заржавели, и от одного взгляда на них у меня начиналась депрессия. И вот, ободренная успехом овсянки, я, перед тем как опять настало мое дежурство по кухне, купила для каждого стаканы. Они были куда красивее, и пить из них было куда приятнее, хотя надо признаться, что за неделю почти все они были перебиты, и киббуцникам пришлось пить чай по очереди из трех оставшихся стаканов.

Проблемой стала и селедка, которую теперь с утреннего завтрака передвинули на середину дня. Не у каждого были вилка, нож и ложка; у кого была только вилка, у кого только ложка или нож. Девушки, работавшие на кухне, мыли селедку и нарезали ее на маленькие кусочки, но не снимали с нее кожу, так что за столом каждый делал это сам. И поскольку руки вытирать было нечем, каждый вытирал их о рабочую одежду. Я стала снимать кожу. Девушки возопили: «Вот, теперь она их еще и к этому приучит!» Но у меня на это был ответ: «А что бы вы делали у себя дома? Как бы вы подавали селедку к столу? А это ваш дом, ваша семья!»

По утрам в субботу мы варили кофе. Ввиду того, что по субботам мы не могли отправить в Хайфу молоко, наше субботнее меню на молоке и основывалось. Из этого молока мы делали «лебен» — простоквашу и «лебениа» — та же простокваша, но пожирнее. Девушка, которая пекла печенье, входившее в субботнее расписание, стерегла его как зеницу ока, потому что весь завтрак состоял из кофе и печенья. В пятницу вечером кое-кто из молодых людей после ужина начинал рыскать в поисках этого печенья и, случалось, находил его — и тогда за завтраком разыгрывались трагедии. Когда пришла моя очередь готовить на субботу, я рассудила так: ни масла, ни сахару, ни яиц (хозяйство наше начиналось с нескольких тощих кур, иногда откладывавших сиротливые яички) добавить неоткуда; зато можно прибавить воды и муки, и таким образом напечь столько печенья, чтобы хватило и на пятницу вечером, и на субботу утром. Сперва это сочли «контрреволюцией», но потом всем понравилось, что печенье, за те же деньги, будет два раза в неделю.

Но самое «буржуазное» мое нововведение, о котором весь Эмек говорил месяцами, была «скатерть», сделанная из простыни, которую по пятницам я стала стелить на столы для ужина, да еще и цветы ставила посередине! Мерхавийцы вздыхали, ворчали, предупреждали, что наш киббуц будут «дразнить», но позволили мне делать по-своему.

Такие же споры возникали у нас и по другим поводам — об одежде, например. Тогда все наши девушки носили одинаковые платья: в сотканной арабами меш-

ковине прорезались три дырки — одна для головы и две для рук,— получалось платье, которое оставалось только подвязать веревкой. В пятницу вечером киббуцники переодевались: мужчины надевали чистые рубашки, а женщины — юбки и блузки вместо брюк и рабочих платьев. Но я не понимала, почему аккуратность допускалась только раз в неделю. Мне неважно было, что носить по будням, но платье должно было быть проглажено. И каждый вечер я тщательно гладила свой «мешок» тяжелым утюгом на углях, зная, что киббуцники не только считают меня сумасшедшей, но и в глубине души подозревают, что я не настоящий пионер. Так же не одобрялся и цветочный узор, которым Моррис расписал стены нашей комнаты, чтобы они выглядели красивее, не говоря уж о ящиках, которые он расписал и превратил в шкафы для нас. В общем, киббуцникам понадобилось немало времени, чтобы принять наши странные «американские» обычаи, да и нас самих. Очень возможно, что помог этому наш знаменитый патефон. Я оставила его в Тель-Авиве у Шейны, но через несколько месяцев решила, что киббуцу он нужнее, чем ей, и перетащила его в Эмек, где он стал притягивать почти столько же народу, сколько в Тель-Авиве. Я даже иногда думаю: а не приятнее ли было бы киббуцу получить приданое без невесты?!

В ту зиму я была назначена работать на киббуцном птичьем дворе, и меня послали на несколько недель в сельскохозяйственную школу изучить всякие тонкости в деле выращивания домашней птицы. Когда много лет спустя я рассказала родным об этом периоде моей жизни, они очень веселились, что я стала таким специалистом по курам, ибо до работы в Мерхавии я славилась в семье полным отсутствием любви к животным — и к птицам в том числе. Не могу сказать, что я полюбила обитателей птичьего двора, но я очень увлеклась своим делом и была страшно горда, когда птичники со всего Эмека приехали смотреть наши курятники и перенимать наш опыт. В то время я с утра до вечера говорила только о птице и о том, как ее выращивать и кормить, а после того как однажды около курятников показался шакал, я много ночей подряд видела во сне убийство моих кур. Энергия и время, затраченные мною на птичьем дворе, дали немаловажный побочный результат. Бог свидетель, мы не могли быть особенно щедры с нашими питомцами, и все-таки через некоторое время на нашем обеденном столе появились яйца и даже куры и гуси. Иногда, когда к нам в Мерхавию приезжала Шейна с Хаимом и Юдит, мы приготовляли мерхавийское «фирменное блюдо»: жареный лук с мелко нарубленными крутыми яйцами. Запивали мы это теплым чаем. Теперь это звучит не так уж прекрасно, но тогда нам казалось чудесным.

Месяцы шли быстро. Нам по-прежнему не хватало рабочих рук; казалось порой, что все, кто не болен малярией, страдает дизентерией или «папатачи» — очень неприятной формой лихорадки. Всю зиму киббуц утопал в грязи; по грязи мы тащились в столовую, в амбары и на работу. Лето было не легче: очень длинное и страшно жаркое. С весны до осени нас мучили полчища оводов, песочных мух и москитов. В четыре утра обычно мы уже были на месте работы, потому что с поля надо было возвращаться до того, как поднимется беспощадное солнце. Единственным средством от насекомых был вазелин (когда его можно было достать); им мы обмазывали все незакрытые части тела, к которым оводы и мухи прилипали немедленно; поднятые воротники, длинные юбки и рукава, платки — вот в каком виде мы ходили все лето, несмотря на жару. Я тоже раза два болела, и до сих пор помню,

как благодарна я была парню, принесшему мне из соседней деревни кусочек льда и лимон, чтобы я могла приготовить себе лимонад. Может, если бы мы могли вскипятить себе чашку чаю, когда холодно, или приготовить холодное питье, когда нас изнуряла летняя жара, нам было бы физически легче. Но киббуцная дисциплина не разрешала брать что-нибудь одному, не делясь со всеми.

Я понимала и одобряла причины, на которых основывались такие крайности, но Моррис, которому киббуцная жизнь нравилась все меньше и меньше, считал, что такое поведение — абсурд и что нельзя из-за преданности доктрине делать трудную жизнь еще труднее. Он очень страдал от отсутствия уединения и от того, что называл интеллектуальной ограниченностью нашего образа жизни. В то время никто в Мерхавии не интересовался тем, что интересовало Морриса,— книгами, музыкой, живописью; никто не стал бы об этом разговаривать. Не то чтобы киббуцники были необразованны — напротив. Но их больше интересовало другое. Вопрос, может ли киббуц позволить себе купить «гигантский» инкубатор на 500 яиц, или попытка выколотить идеологический смысл из того, что кто-то сказал на очередном собрании, занимал их нисколько не меньше, чем книги, музыка и картины. Но все равно, по мнению Морриса, мерхавийцы мыслили очень односторонне — и даже эта «одна сторона» была слишком узкая. Еще, по его словам, они были чересчур серьезны и полагали, что чувство юмора в киббуце неуместно.

И, конечно, он не был кругом не прав. Теперь я вижу, что если бы у тогдашних киббуцев были средства и хватило идеологической гибкости хотя бы на то, чтобы принять то, что теперь и не обсуждается,— отдельные уборные и душевые для каждого и возможность для каждого заваривать чай в своей комнате,— то тысячи таких людей, как Моррис, покинувших киббуцы впоследствии, остались бы там навсегда. Но в 1920 годы ни один киббуц не мог себе этого позволить, и меня это не слишком беспокоило.

Я наслаждалась тем, что нахожусь среди своих, среди людей, разделяющих мои общественно-политические взгляды, серьезно и горячо их обсуждающих, серьезно относящихся к социальным проблемам. Мне в киббуце нравилось все, все я делала с удовольствием: работала в курятнике, постигала тайны хлебопечения, когда месила тесто в подвальчике, служившем нам пекарней, сидела на кухне, куда являлись что-нибудь перехватить ребята, несшие сторожевую службу,— истории, которые они рассказывали, я готова была слушать часами. Очень скоро я почувствовала себя здесь дома, словно бы я нигде больше никогда не жила, и именно те аспекты жизни, которые так мешали Моррису, особенно мне нравились. Были, конечно, в Мерхавии люди, к которым мне нелегко было приспособиться,— главным образом кое-кто из «ветеранш», считавших, что имеют право устанавливать законы, кто как себя должен и не должен в киббуце вести. Но в самом главном, я чувствовала, мои желания исполнились.

Конечно, за тяжелую работу, за круглый год под открытым небом и за примитивные бытовые условия приходилось расплачиваться. Солнце и ветер обжигали и сушили кожу, а в то время, в отличие от теперешнего, в киббуцах не было ни кабинетов красоты, ни косметичек, отчего женщины киббуца старились гораздо быстрее, чем горожанки. Но они были ничуть не менее женственны, несмотря на морщины. Одна моя мерхавийская подруга, приехавшая из Нью-Йорка и вступившая в киббуц за полгода до нас, рассказала мне, что она поехала проститься с молодым поэтом, служившим в Еврейском легионе в Палестине и возвращавшимся в Штаты. Когда она протянула ему свою загрубевшую от работы руку, он сказал: «В Америке держать вашу руку было удовольствие. Теперь это честь». Ее очень взволновала эта любезность, а я подумала, что это чепуха. И тогда, и теперь мужчины в киббуцах с удовольствием брали женщин за руку, как, впрочем, и везде. Тогда, как и теперь, киббуцные романы и браки были похожи на все романы и браки — одни удаются лучше, другие хуже. Конечно, в то время молодые люди гораздо сдержаннее рассказывали о своей любовной жизни, но не потому, что в Мерхавии или в Дгании не влюблялись, а потому, что в 1921 году люди вообще относились к этому более пуритански.

Я была очень счастлива все эти годы, несмотря на трудности. Я любила киббуц, и киббуц любил меня и выражал свое отношение. Начать с того, что я была избрана в правление поселения (правление отвечало за общую политическую линию), что было большой честью для новичка. Потом меня избрали делегатом от Мерхавии на

съезд киббуцного движения, проходивший в 1922 году,— и это действительно было выражением доверия. Я и сейчас, когда это пишу, испытываю чувство гордости, что именно мне киббуц поручил представлять его на таком важном собрании и даже разрешил говорить по ходу дела на идиш, поскольку мой иврит все еще хромал.

Съезд происходил в Дгании, которая считалась «матерью киббуцев»; именно это поселение помогал строить Гордон [1], именно там его через год похоронили. На заседаниях, которые я посещала, речь шла в основном о проблемах, непосредственно относящихся к будущности киббуцев как таковых. Человеку со стороны могло бы, вероятно, показаться странным, даже нереалистичным, учитывая, какое это было время, что люди в течение нескольких дней жарко спорят о том, каков должен быть максимальный размер киббуца, сколько раз в день матери должны навещать своих детей в общественных яслях, как лучше отбирать среди претендентов будущих членов киббуца. Ведь тогда в Палестине киббуцев было раз-два и обчелся, киббуцников же — лишь несколько сот. Только что по стране прокатились серьезные антиеврейские волнения, и вообще статус восьмидесятитрехтысячного еврейского населения (в 1922 году это составляло 11 процентов всего населения страны) был еще очень неопределенный. Какой же смысл имели все эти бесконечные дебаты по мелочам, затягивавшиеся далеко за полночь в продолжение целой недели? Как сейчас вижу: чадит керосиновая лампа, а мы все сидим вокруг, всецело поглощенные каким-нибудь теоретическим аспектом киббуцной жизни, и стараемся разрешить сложные проблемы, которые еще и не возникали.

А с другой стороны, ведь в конце концов вопрос о том, что реалистично, а что нет, очень зависит от того, кто дает определение. Факт тот, что никто из участников собрания, весь день работавших в условиях, которые теперь считались бы невыносимыми, и по ночам охранявших поселение и разрабатывавших сложные идеологические аргументы,— никто не сомневался, что они закладывают основы для идеального общества на заре величайшего эксперимента в еврейской истории. И, разумеется, они были правы.

Здесь, в Дгании, я встретила многих выдающихся представителей Рабочего движения — не только Бен-Гуриона и Бен-Цви, с которыми я познакомилась еще в Милуоки, но и других замечательных людей, впоследствии ставших моими друзьями и коллегами. Тут были — назову хоть немногих — Аврахам Хартцфельд, Ицхак Табенкин, Леви Эшкол, Берл Кацнельсон, Залман Рубашов (Шазар) и Давид Ремез. В бурные предстоявшие нам годы все мы оказались тесно связаны общей судьбой; но тогда, в Дгании, я только слушала с упоением их речи и не осмеливалась с ними заговаривать. В Мерхавию я вернулась вдохновленная, с новым стимулом и еле дождалась минуты, когда смогла рассказать Моррису обо всем, что там говорилось и делалось.

В те годы мне удалось увидеть часть страны. В Палестину приехала жена выдающегося лидера британской лейбористской партии Филипа Сноудена, которая и сама была видной политической фигурой; понадобился англоговорящий гид; партия вызвала меня в Тель-Авив и попросила меня принять это поручение. Я рассвирепела: «Тратить время на то, чтобы с кем-то кататься по стране?» Но партийная дисциплина взяла верх, и я уступила, хоть и не слишком покорно. Потом я радовалась, что поехала. Впервые в жизни я увидела лагерь бедуинов; вместе с миссис Сноуден, сидя на полу, мы съели огромное количество баранины с рисом и с питтой (лепешкой), для чего наши хозяева арабы предусмотрительно снабдили нас ложками: я, наверное, нескрываемо ужаснулась от мысли, что придется есть, как все, руками. Думаю, миссис Сноуден тоже осталась довольна; я должна была показывать ей всяких важных особ, хотя я так никогда и не приучилась делать это в рабочие часы.

Но жизнь, как раз когда кажется, что все идет хорошо, любит сделать неожиданный поворот. Моррису не только было не по себе в киббуце — он заболел. Климат, малярия, пища, тяжелая работа в поле — для него все это оказалось слишком тяжело. И как он ни старался все стерпеть ради меня, стало ясно, что нам придется покинуть киббуц, по крайней мере до тех пор, пока он опять не наберется

[1] Ахарон Давид Гордон (1856—1922) — один из основателей, идеолог и духовный руководитель халуцианского движения в сионизме. Физический сельскохозяйственный труд каждого при общественной собственности на землю и средства труда — вот, по мнению Гордона, обязательные условия возрождения еврейского народа.

сил. Это произошло раньше, чем я ожидала. Мы прожили в Мерхавии два с половиной года — последнее время Моррис болел несколько недель подряд. И однажды доктор очень серьезно сказал мне, что если я не хочу, чтобы Моррис стал хроником, то нам надо уезжать из Мерхавии как можно скорее.

Потом я часто спрашивала себя: а не приспособился ли бы Моррис к киббуцу, и физически, и эмоционально, если бы я была внимательнее, проводила бы с ним больше времени и не позволяла бы жизни коллектива поглотить себя целиком? Но мне в голову не приходило, что я лишаю чего-нибудь Морриса, когда готовлю что-нибудь перекусить для ребят, возвращавшихся с дежурства, или учусь на курсах птицеводов, или трачу столько времени на разговоры и пение песен с другими. Если бы я задумалась, побеспокоилась о нашем браке, я бы, конечно, поняла, что Моррис борется в одиночку, стараясь привыкнуть к невероятно трудной для него жизни.

Был серьезный вопрос, по которому мы так никогда и не смогли прийти к согласию. Я очень хотела ребенка, но Моррис был категорически против киббуцного метода коллективного воспитания детей. Точно так же, как он хотел жену для себя одного, так и детей наших он хотел, чтобы мы воспитывали сами, по своему разумению, не подвергая каждую подробность их жизни проверке и одобрению (или неодобрению) комитета или всего киббуца. И он отказался заводить детей, пока мы не уедем из Мерхавии. Может, он со временем и изменил бы свое решение, но со здоровьем у него уже было так плохо, что мы в любом случае должны были уезжать.

И снова мы запаковали вещи — в третий раз за три года! — и распростились с друзьями. Оторваться от киббуца мне было тяжело, но, проливая слезы, я утешала себя надеждой, что мы скоро вернемся, что Моррис выздоровеет, у нас родится ребенок и наши отношения — совсем разладившиеся в Мерхавии — опять улучшатся. К сожалению, все произошло не так.

Мы провели несколько недель в Тель-Авиве. К этому времени в Палестину приехал Шамай, и семья перебралась в новый дом (с ванной). Шейна получила довольно хорошую зарплату; Шамай стал через некоторое время управляющим обувного кооператива, у которого дела шли неблестяще. Как бы то ни было, у них был дом, и они зарабатывали себе на жизнь. По сравнению с нами их положение было завидным. Мы в Тель-Авиве почему-то не смогли прижиться. Я получила место кассирши в Гистадрутовском комитете гражданского строительства (то, что стало потом называться «Солел Боне»), а Моррис старался прийти в себя. Но мы как-то не могли наладить нашу жизнь. Мне не хватало киббуца даже больше, чем я себе могла представить, а Морриса бомбили письмами мать и сестры, умоляя его вернуться в Штаты и предлагая оплатить ему билет. Я знала, что он не покинет ни меня, ни страну, но мы оба чувствовали себя неспокойно и угнетенно.

По сравнению с эмекскими «Божьими просторами» Тель-Авив казался невыносимо маленьким, шумным и многолюдным. Моррис нескоро смог встать на ноги и отделаться от последствий своей долгой болезни, а я без Мерхавии была как без руля и без ветрил, и казалось, словно мы обречены оставаться вечными транзитниками. Мне не хватало дружеского тепла, которое я ощущала в киббуце, и чувства удовлетворения, которое мне давала моя работа. Мне приходило в голову, что постоянный оптимизм и целеустремленность покинули меня навсегда, а если так, то что же будет с нами? Хотя никто из нас не произносил этого вслух, но, думаю, мы оба винили друг друга в том, что с нами произошло. Во-первых, Моррис поехал в Мерхавию из-за меня, а теперь оттого, что он там «не справился», я должна была с такой болью оторваться от киббуца. Может, для нас было бы лучше, если бы мы стали открыто упрекать друг друга, но мы этого не сделали. И потому мы все время были какие-то неприкаянные и раздражительные.

Понятно, что когда Давид Ремез, с которым я познакомилась в Дгании и теперь случайно встретилась на улице, спросил, не захотим ли мы с Моррисом работать в иерусалимском отделении «Солел Боне», мы оба ухватились за возможность покинуть Тель-Авив. Быть может, думали мы, на крепком горном воздухе Иерусалима мы опять оживем, и все наладится. Особенно добрым предзнаменованием показалось мне то, что накануне отъезда я узнала, что беременна.

Осенью, 23 ноября, в Иерусалиме родился наш сын Менахем. Это был прекрасный здоровый ребенок, и мы с Моррисом были вне себя от радости, что стали родителями. Целыми часами мы разглядывали младенца, которого произвели на

свет, и разговаривали о его будущем. Но меня все еще тянуло в Мерхавию, и когда Менахему исполнилось шесть месяцев, я на некоторое время возвратилась в киббуц с ним вместе. Мне казалось, что если я вернусь туда, то обрету себя вновь. Все оказалось не так просто. Оставаться там без Морриса я не могла и теперь уже не строила никаких иллюзий: ясно было, что он не сможет и не захочет вернуться в Мерхавию. Пришла пора принимать решение, и принимать его должна была я. Грубо говоря, я должна была решить, что для меня важнее: мой долг перед мужем, домом, ребенком или тот образ жизни, который был для меня по-настоящему желанным. И не в первый раз — да уж, конечно, и не в последний — я поняла, что в конфликте между долгом и самыми сокровенными желаниями долг для меня важнее. Нечего тосковать о жизни, которая мне недоступна,— тут нет никакой альтернативы. И я вернулась в Иерусалим не без опасений, но с твердым решением начать новую жизнь. В конце концов ведь я — счастливая женщина. Я замужем за мужчиной, которого люблю. Ну и пусть он не создан для жизни в коллективе и физической работы — ведь я хочу оставаться его женой и хочу, если это окажется в моих силах, сделать его счастливым. Если я буду очень стараться, думала я, мне это удастся — особенно теперь, когда у нас сын.

У нас есть свое государство

1946 год был тяжелым, но о 1947 годе я могу сказать, что британцы полностью утратили контроль над тем, что происходило в стране. Борьба против нелегальной иммиграции превратилась в открытую войну не только с ишувом, но и с самими беженцами. У Бевина, казалось, только одно и было на уме, как бы не впустить еврейских беженцев в еврейское отечество. И то, что мы отказались разрешить для него эту проблему, привело его в такое бешенство, что он и вовсе перестал рассуждать; честно говоря, я думаю, что некоторые его решения определялись именно бешенством против евреев, которые не могут и не желают согласиться с мнением британского министра иностранных дел о том, как и где им жить.

Не знаю — да сейчас это и неважно,— помешался ли слегка Бевин, или просто был антисемитом, или то и другое вместе. Знаю лишь, что он настойчиво противопоставлял мощь Британской империи еврейской воле к жизни и принес этим не только тяжкие страдания народу, и так уже вынесшему страдания невероятные, но и навязал тысячам английских солдат и моряков такую роль, которая должна была преисполнить их ужасом. Я побывала в 1947 году на Кипре, и, глядя на молодых англичан, стороживших лагеря, я думала, как же могут они примириться с тем, что еще совсем недавно они освобождали из нацистских лагерей тех самых людей, которых теперь держат за колючей проволокой только потому, что те не хотят жить нигде, кроме Палестины. Я смотрела на этих славных английских ребят, и меня переполняла жалость. Нельзя было не думать, что они такие же жертвы бевинской одержимости, как и те мужчины, женщины и дети, на которых день и ночь были нацелены их винтовки.

На Кипр я поехала, чтобы выяснить, что можно сделать — если вообще это возможно — для сотен находившихся там в заточении детей. В это время в кипрских лагерях находилось около 40 тысяч евреев. Ежемесячно англичане выдавали ровно 1 500 разрешений на въезд в Палестину: 750 — евреям Европы и 750 — тем, кто был на Кипре. Принцип отправки с Кипра был: «кто первый приехал, первый уедет», а это означало, что множество маленьких детей были обречены месяцами находиться в очень тяжелых условиях. Наши врачи в кипрских лагерях были этим очень озабочены, и однажды в моем иерусалимском кабинете появилась медицинская делегация.

«Мы не можем взять на себя ответственность за здоровье детей, если они проведут в лагерях еще одну зиму»,— заявили они. И я вступила в переговоры с палестинским правительством. Мы предложили, чтобы семьи с ребенком до года были отправлены с Кипра вне очереди, с тем чтобы потом их количество вычли из месячной квоты разрешений очередникам. Таким образом, надо было одновременно убедить палестинские власти, чтобы они проявили не свойственные

им рассудительность и гибкость, а самих перемещенных — чтобы они установили специальную систему очередности. Мне понадобилось немало времени, чтобы договориться с властями, но в конце концов это удалось, и удалось даже получить разрешение отправлять с Кипра детей-сирот как можно быстрее.

После этого мне надо было ехать на Кипр договариваться с «перемещенными». «Они тебя и слушать не станут,— предупреждали меня друзья.— Ты только нарвешься на неприятности. Люди только и ждут, когда им разрешат уехать с Кипра, а ты хочешь просить их, чтобы они позволили рвануть оттуда тем, кто там находится всего неделю-другую. Это не пройдет!» Но я представляла себе это не так и считала, что во всяком случае стоит попытаться. И я поехала.

Прибыв на Кипр, я тут же представилась коменданту лагеря, пожилому, высокому, сухопарому англичанину, который много лет прослужил в Индии. Это было что-то вроде визита вежливости. Я вкратце объяснила ему, кто я такая и что мне нужно, и спросила, не будет ли он возражать, если я завтра начну обход лагерей.

Он выслушал меня и сухо сказал:

— О семьях с детьми мне все известно, но я не получил никаких инструкций по поводу сирот.

— Но это входит в мое соглашение с верховным комиссаром,— сказала я.

— Придется проверить,— сказал он довольно нелюбезно.

Тем не менее мы продолжали беседовать, и вдруг он сказал:

— Да ладно! Включайте и сирот!

Я не могла понять, почему он так быстро сдался, но утром мне стало известно, что он получил правительственную телеграмму из Иерусалима, где говорилось: «Остерегайтесь миссис Мейерсон, это незаурядная личность». По-видимому, он решил отнестись к предупреждению серьезно.

Лагеря производили еще более удручающее впечатление, чем я ожидала, и в чем-то были еще хуже, чем американские лагеря для перемещенных лиц в Германии. Выглядело это как тюрьма — уродливое скопление лачуг и палаток со сторожевыми вышками по углам, а вокруг только песок: ни деревьев, ни травы. Питьевой воды было мало, воды для мытья — еще меньше, несмотря на жару. Лагеря находились на берегу, но плавать беженцам не разрешалось, и они проводили почти все время в грязных, душных палатках, по крайней мере защищавших их от палящего солнца. Когда я проходила по улице, перемещенные толпами собирались у колючей проволоки, отделявшей их от меня, и в одном из лагерей двое крошечных детей поднесли мне букет бумажных цветов. Много букетов получила я с тех пор, но ни один не растрогал меня так, как этот, изготовленный кипрскими детьми, вероятно, забывшими — если они когда и знали! — на что похожи настоящие цветы и которым помогали в работе посланные нами в лагеря учительницы. Кстати, на Кипре в это время находилась палестинская еврейка — потом ей удалось бежать — по имени Айя, хорошенькая радистка с корабля, принадлежавшего Хагане [1]; теперь она детский психиатр в Тель-Авиве и моя невестка.

Первым делом я встретилась с представлявшим всех беженцев комитетом, которому я объяснила цель своей миссии. Затем, прямо под открытым небом, я выступила на митинге кипрских лагерников; выразив свою уверенность, что они не останутся здесь надолго и через некоторое время их всех отпустят, я сказала, что в ожидании этого я нуждаюсь в их содействии ради спасения детей. Сторонники Эцела [2], имевшиеся в лагерях, яростно возражали против моей договоренности с британцами. «Все или ничего!» — кричали они; кто-то даже попытался наброситься на меня с кулаками. Но в конце концов они успокоились, и мы обо всем договорились.

Оставался еще один беспокоивший меня вопрос. Мы просили, чтобы сиротам было разрешено въехать в Палестину вне очереди, а как же поступать с теми, у кого в живых остался только один из родителей? Вернувшись в Иерусалим, я отправилась к верховному комиссару сэру Алану Каннингему и поблагодарила его за то, что он сделал. «Но у нашего договора есть один трагический аспект,— сказала я.—

[1] Хагана (оборона; *ивр.*) — подпольная организация еврейской самообороны в подмандатной Палестине, ставшая основой Армии обороны Израиля.

[2] Эцел (сокращенно от Иргун Цван Леуммни — Национальная военная организация) — подпольная организация в подмандатной Палестине, созданная рядом командиров Хаганы, отделившаяся от нее в знак протеста против ее оборонительной тактики. Эцел широко практиковал методы террора.

Получается несправедливо: ребенок, у которого мать или отец убиты в Европе, остается на Кипре, а его друг, которому «посчастливилось» потерять обоих родителей, может уехать. Нельзя ли что-нибудь сделать?»

Каннингем — последний верховный комиссар Палестины, добрый и порядочный человек — покачал головой, подавил вздох с выражением покорности судьбе, улыбнулся и сказал: «Не беспокойтесь, миссис Мейерсон, я сейчас же об этом позабочусь».

Я изредка встречалась с ним и потом, и какой бы напряженной и хаотичной ни была обстановка в Палестине, мы с ним всегда разговаривали как друзья. После того как Каннингем 14 мая 1948 года уехал из Палестины, я уже не думала, что когда-нибудь о нем услышу. Но через много лет, когда я стала премьер-министром, я получила от него письмо. Оно было написано от руки, послано из сельской местности в Англии, куда он удалился после своей отставки, и в нем говорилось, что какое бы сильное давление на нас ни оказывали, Израиль не должен уходить с территорий, занятых во время Шестидневной войны, пока у него не будет надежных и хорошо защищенных границ. Это письмо меня очень тронуло.

Но куда менее приятное воспоминание о том времени мне пришлось пережить в 1970 году в Хайфе, когда у прелестного подножия горы Кармел произошло перезахоронение ста детей, умерших в ужасных кипрских лагерях. Я не могла отогнать от себя мысль, что те две девочки, которые так торжественно поднесли мне бумажные цветы в 1947 году, быть может, находятся среди них. Но я часто сталкивалась с людьми, присутствовавшими на митинге кипрских лагерников и хорошо его помнившими. Пять лет тому назад в негевском киббуце ко мне робко подошла женщина средних лет.

— Вы меня простите за беспокойство,— сказала она,— но мне впервые представился случай вас поблагодарить.

— За что? — спросила я.

— Я в 1947 году была на Кипре с маленьким ребенком, и вы нас спасли. А теперь я бы хотела познакомить вас с этим маленьким ребенком.

«Маленький ребенок» оказался крепкой, хорошенькой двадцатилетней девушкой, только что окончившей военную службу, которая, видно, решила, что я свихнулась, когда я, не говоря ни слова, крепко расцеловала ее у всех на глазах.

На Базельском сионистском конгрессе в 1946 году было решено, что Моше Шарет возглавит политический сектор Еврейского агентства в Вашингтоне, а я — в Иерусалиме. Но жизнь в Иерусалиме в 1947 году была подобна жизни в городе, оккупированном враждебной державой. Британцы замкнулись в импровизированной крепости в центре города (мы прозвали ее Бевингradом) под сильной охраной и по малейшему поводу высылали на улицы танки, причем войскам было запрещено входить в какие бы то ни было отношения с евреями. Когда Эцел или группа Штерна [1] брали дело в свои руки — что, к несчастью, происходило довольно регулярно,— британцы обрушивали репрессии на весь ишув, особенно на Хагану, и не проходило недели, чтобы чего-нибудь не случалось: то обыски (искали оружие), то массовые аресты, то комендантский час, на несколько дней парализовавший нормальную жизнь, то депортации евреев без предъявления обвинений, не говоря уж о суде. Когда британцы начали наказывать членов Эцела или группы Штерна, диссидентские организации ответили похищением и казнью двух британских сержантов — и все это происходило в разгар нашей борьбы за свободную иммиграцию и устройство страны.

Конечно, теперь я вижу, что почти любая колониальная держава, стремясь подчинить себе строптивых туземцев (чем мы и были в глазах англичан), вероятно, действовала бы еще более сурово. Но и британцы не были мягкосердечными. Невыносимой ситуацию делали не только их жестокие карательные меры, но и то, что мы знали — они поддерживали и покрывали арабов, если не прямо их науськивали. С другой стороны, вечное кровопролитие в Палестине тоже не устраивало Англию, особенно при ее послевоенных настроениях, и в феврале 1947 года сам господин Бевин решил, что его правительству все это надоело, о чем и заявил на

[1] Группа Штерна-Лехи (сокращенно от Лохамей Херут Исраэль — Борцы за свободу Израиля) — организация, возникшая в результате раскола Эцела. Причиной раскола послужило решение Эцела прекратить вооруженную борьбу против британских властей во время второй мировой войны.

заседании Палаты общин. Пусть палестинской проблемой занимаются Объединенные Нации. С британцев хватит. Не думаю, чтобы Объединенные Нации пришли в восторг от того, что на них переложили эту ответственность, но и отказаться они не могли.

Специальная комиссия Объединенных Наций по Палестине прибыла в страну в июне. 1 сентября 1947 года она должна была доложить Генеральной Ассамблее свои выводы и конкретные предложения. Палестинские арабы, как всегда, отказались с ней сотрудничать, но все остальные, хоть и без энтузиазма, согласились: и лидеры ишува, и палестинское правительство, и под конец даже лидеры некоторых арабских государств. Я проводила много времени с одиннадцатью людьми, составлявшими комиссию, чье полное незнание истории Палестины и сионизма приводило меня в ужас. Но поскольку очень важно было, чтобы они ознакомились с этим как можно скорее, мы стали им все объяснять и показывать, как столько раз делали прежде, и через некоторое время они стали понимать, из-за чего разгорелся весь сыр-бор и почему мы не собираемся отказываться от права привезти в Палестину уцелевших после Катастрофы.

Потом, как раз перед тем как комиссия должна была покинуть Палестину, британцы — по причинам, непонятным для меня, да и для всех,— решили продемонстрировать, как жестоко и беспощадно они относятся к нам и к проблеме еврейской иммиграции. На глазах у потрясенных членов комиссии они насильно отправили назад в Германию 4500 беженцев, прибывших в Палестину на корабле Хаганы «Эксодус-1947», и, думаю, этим в значительной мере повлияли на рекомендации, которые дала комиссия. Сколько жить буду — не забуду кошмарную картину: сотни британских солдат в полной боевой форме с дубинками, пистолетами и гранатами наступают на несчастных беженцев «Эксодуса», из которых 400 — беременные женщины, решившие дать жизнь своим детям в Палестине. И не забуду отвращения, которое я почувствовала, узнав, что этих людей перевезут, как животных в клетках, в лагеря перемещенных лиц, находящиеся в стране, ставшей символом кладбища для европейского еврейства.

За несколько дней до того как пассажиры «Эксодуса» были отправлены в свое печальное обратное путешествие, я, выступая на митинге Национального комитета, попыталась выразить возмущение и горесть ишува — и проблеск надежды, что кто-нибудь, где-нибудь, как-нибудь вмешается, чтобы спасти беженцев от новых страданий:

«Британцы надеются, что депортация «Эксодуса» поможет им запугать евреев, содержащихся в лагерях, и терроризировать нас. Мы можем дать на это только один ответ: корабли будут прибывать сюда по-прежнему. Я знаю, какие трудности предстоят евреям, желающим въехать в Палестину, и тем, кто им помогает: вся мощь Британской империи сейчас сконцентрирована против этих утлых суденышек, нагруженных человеческим страданием. И все-таки я уверена, что ответ может быть только один — непрерывное прибытие новых и новых «нелегальных» кораблей. У меня нет сомнения, что евреи в лагерях готовы преодолеть все опасности — только бы покинуть эти лагеря. Уцелевшие в европейских странах евреи не могут оставаться там, где они находятся.

Если мы, евреи Палестины, а также американское, южноафриканское и английское еврейство не дадим себя запугать, прибытие кораблей не прекратится. Им придется положить на это еще больше тяжкого труда, чем раньше,— но они будут прибывать. Ни на минуту я не закрываю глаза на то, что предстоит в ближайшем будущем тысячам таких кораблей. Знаю, что каждый из нас с радостью был бы на них и сделал все возможное. Всех нас тревожит судьба, которая постигнет евреев «Эксодуса» в Германии, при том что никто не помешает британской армии проучить этих «нарушителей закона». Они-то будут упорствовать, как упорствовали до сих пор. Вопрос лишь в том, есть ли надежда, что в последнюю минуту британцы смягчатся.

Мы не умеем отчаиваться и потому обращаемся еще раз теперь и отсюда ко всему миру, к народам, которые так тяжело пострадали от войны, к тем, на чьих фронтах евреи сражались и помогали освобождению. К этим народам мы обращаемся сейчас. Возможно ли, чтобы ни один голос не поднялся, чтобы сказать британскому правительству: перестаньте размахивать бичом и винтовкой над головами евреев «Эксодуса»? Британцам же мы должны сказать: считать нас слабыми —

большое заблуждение. Пусть знает Британия с ее мощным флотом, с ее пулеметами и самолетами, что не так уж слаб этот народ и не намерен расслабляться».

Но судьба «Эксодуса» уже была решена, и корабль вернулся в Германию.

А лето 1947 года тянулось и тянулось. Несмотря на то что дорога Тель-Авив — Иерусалим все больше попадала под контроль арабских вооруженных банд, с вершины холмов обстреливавших еврейские машины и грузовики, я не могла отказаться от челночных поездок между этими городами, совершаемых под защитой двух молодых членов Хаганы. Дело было не в том, что меня могли убить или ранить; на очереди стоял вопрос, удастся ли арабам, как они хотели, полностью перерезать дорогу и уморить иерусалимских евреев голодной смертью. И, уж конечно, не я стала бы им в этом помогать, избегая единственной дороги, соединявшей Иерусалим с еврейскими центрами страны. Раза два пули со свистом влетали в окно машины Еврейского агентства, в которой я обычно ездила; один раз мы свернули не там и въехали в арабскую деревню, известную как разбойничье гнездо, но нам удалось уйти без единой царапины.

Бывали и другие «приключения». Однажды британские солдаты стали искать в моей машине оружие — как раз после того, как сам главный секретарь обещал мне, что эти обыски прекратятся ввиду растущей опасности для еврейского транспорта на этой дороге. Мои протесты были бесполезны. У сопровождающей меня девушки (члена Хаганы) нашли пистолет — и ее тут же арестовали.

— Куда вы ее потащите? — спросила я офицера, возглавлявшего эту блистательную операцию.

— В Маджаль,— ответил он.

Маджаль (сейчас Ашкелон), арабский городок, явно не годился для ночлега молодой девушки, и я сказала командиру, что если ее туда повезут, то я буду настаивать, чтобы и меня повезли туда тоже. К этому времени он уже знал, кто я такая, и вряд ли ему улыбалось давать объяснения своим начальникам, почему член правления Еврейского агентства отправился ночевать в Маджаль, поэтому он отказался от своего намерения, и все мы отправились в полицейский участок ближайшего еврейского города. Была уже полночь, но мне все-таки надо было добраться до Тель-Авива, что я и сделала под королевским эскортом британских полицейских и девушки из Хаганы, которую тут же освободили. Но не всем так везло. Количество жертв на дороге возрастало каждую неделю, и в ноябре 1947 года арабы, на глазах у британцев, начали осаду Иерусалима.

31 августа, за минуту или две до того, как истекло их время, одиннадцать членов комиссии, собравшейся в Женеве, представили свой отчет о Палестине. Восемь членов комиссии рекомендовали — как и комиссия Пиля,— чтобы страна была разделена на два государства — арабское и еврейское, с интернациональным анклавом, включающим Иерусалим и его окрестности. Меньшинство (в которое входили представители Индии, Ирана и Югославии — стран с большим мусульманским населением) предложило создание федерального арабо-еврейского государства. Генеральная Ассамблея ООН должна была теперь принимать решение. В это же время все заинтересованные стороны довели до ее сведения свой ответ — и нельзя сказать, чтобы ее ожидали какие-либо сюрпризы. Мы, разумеется, этот план приняли — без восторга, но с большим облегчением — и потребовали, чтобы мандату был немедленно положен конец. Все арабы ответили, что им дела нет до каких бы то ни было рекомендаций, и пригрозили войной, если вся Палестина не будет объявлена арабским государством. Британцы заявили, что пока арабы и евреи не примут раздела с восторгом, они не будут участвовать в его осуществлении — а мы хорошо понимали, что это значит. Америка и Россия опубликовали — каждая со своей стороны — заявление, поддерживающее рекомендацию большинства.

На следующий день я дала пресс-конференцию в Иерусалиме. Поблагодарив комиссию за быстрое завершение работы, я подчеркнула, что «нам трудно представить себе еврейское государство без Иерусалима» и что «мы все еще надеемся, что Ассамблея ООН исправит этот недочет». «Нас также очень огорчило,— сказала я,— исключение Западной Галилеи из еврейского государства, и мы рассчитываем, что и это будет принято Ассамблеей во внимание». Но главное, что я особенно выделила, было наше страстное желание установить иные, новые отношения с арабами, которых, как я думала, в еврейском государстве будет около 500 тысяч. «Еврейское государство в этой части мира,— сказала я представителям прессы,— это

не только решение вопроса для нас. Оно может и должно помочь каждому жителю Ближнего Востока». Сердце разрывается, как подумаешь, что мы без конца повторяем эти слова с самого 1947 года.

Голосование произошло 29 ноября в Нью-Йорке, в Лейк-Саксе [1]. Как и весь ишув, я сидела, словно прикованная, у радиоприемника с бумагой и карандашом и записывала, как кто голосует. Наконец около полуночи по нашему времени были объявлены результаты: тридцать три нации, включая Соединенные Штаты и Советский Союз, голосовали за план раздела; тринадцать, в том числе все арабские страны, голосовали против; десять, в том числе Великобритания, воздержались. Я немедленно отправилась в Еврейское агентство. У здания уже толпился народ. Это было невероятное зрелище: сотни людей, среди них и британские солдаты, пели и танцевали, держась за руки, и к зданию один за другим подъезжали грузовики с новыми толпами. Я прошла в свой кабинет одна, не в силах принять участие в общем ликовании. Арабы отвергли план раздела и говорили только о войне. Пьяная от радости толпа требовала речей; я поняла, что нехорошо портить им настроение отказом. Выйдя на балкон своего кабинета, я сказала короткую речь. Но обращена была моя речь, в сущности, не к массам народа под балконом, но опять-таки к арабам.

«Вы провели битву против нас в Объединенных Нациях,— сказала я.— Объединенные Нации — большинство стран мира — выразили свое решение. План раздела — компромисс: не то, чего хотели вы, не то, чего хотели мы. Но давайте теперь жить в мире и дружбе». Нельзя сказать, чтобы моя речь разрешила создавшееся положение. На следующий день по всей Палестине вспыхнули арабские волнения (семь евреев было убито из засады), а 2 декабря толпа арабов подожгла еврейский коммерческий центр в Иерусалиме на глазах у британской полиции, которая вмешивалась только тогда, когда попытки активности проявляла Хагана.

Конечно же, мы были совершенно не готовы к войне. То, что нам так долго удавалось более или менее удерживать в известных границах местных арабов, вовсе не означало, что нам удастся справиться с регулярными армиями. Нам срочно нужно было оружие — если мы сумеем найти кого-нибудь, кто захочет нам его продать; но прежде этого нам нужны были деньги — и не те малые деньги, на которые мы озеленили страну или перевезли в нее беженцев, а миллионы долларов. Во всем мире была только одна группа людей, от которой, может быть, можно было эти доллары получить: американские евреи. Больше некуда и не к кому было обращаться.

Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Бен-Гурион в это время покинул Палестину. Он играл тут самую главную роль. Думаю, он и сам чувствовал, что никто другой не сможет собрать сумм, о которых говорилось на наших закрытых заседаниях в Тель-Авиве в декабре 1947 и в начале января 1948 года, и я, конечно, была с ним согласна. Но он должен был оставаться в стране. Кто же поедет? На одном из этих заседаний я окинула взглядом своих усталых и измученных коллег, сидевших за столом, и впервые подумала: не предложить ли мне свою кандидатуру? В конце концов мне уже приходилось собирать деньги в Соединенных Штатах, и по-английски я говорила свободно. Моя работа в Палестине могла подождать недельку-другую. Хоть я и не привыкла предлагать себя, я почувствовала, что надо подсказать Бен-Гуриону. Сначала он и слышать об этом не хотел. Он сказал, что поедет сам и возьмет с собой Элиэзера Каплана, казначея Еврейского агентства.

— Но тут тебя никто не может заменить,— возразила я,— а в Соединенных Штатах я, может быть, и сумею.

Он был непоколебим.

— Нет, ты мне нужна здесь.

— Тогда поставим вопрос на голосование,— сказала я. Он посмотрел на меня, потом кивнул. Мое предложение прошло.

— Но ехать немедленно,— сказал Бен-Гурион.— Даже в Иерусалим не возвращайся.

В тот же день я улетела в Соединенные Штаты — без багажа, в том же платье, в каком я была на заседании,— только надела сверху зимнее пальто.

Первое мое появление в 1948 году перед американским еврейством было не запланировано, не отрепетировано и, разумеется, не объявлено. Таким образом, люди, перед которыми я выступала, совершенно меня не знали. Это произошло 21

[1] Там помещалось временное здание ООН. *(Прим. перев.)*

января в Чикаго на общем собрании совета еврейских федераций и благотворительных фондов. Это не были сионистские организации. Палестина у них не стояла на повестке дня. Но это было совместное заседание профессиональных сборщиков денег, людей с огромным опытом, контролировавших еврейскую машину денежных сборов в Соединенных Штатах, и я понимала, что если мне удастся их пронять, то, возможно, и удастся собрать нужные суммы — ключ к нашей самообороне. Я говорила недолго, но высказала все, что у меня было на сердце. Я описала положение, создавшееся в Палестине к дню моего отъезда, и продолжала:

«Еврейское население в Палестине будет сражаться до самого конца. Если у нас будет оружие, мы будем сражаться этим оружием. Если его у нас не будет, мы будем драться камнями.

Я хочу, чтобы вы поверили, что цель моей миссии — не спасение семисот тысяч евреев. За последние несколько лет еврейский народ потерял шесть миллионов евреев, и было бы просто дерзостью беспокоить евреев всего мира из-за того, что еще несколько сот тысяч евреев находятся в опасности.

Речь не об этом. Речь идет о том, что если эти семьсот тысяч останутся в живых, то жив будет еврейский народ как таковой и будет обеспечена его независимость. Если же эти семьсот тысяч теперь будут перебиты, то нам придется на много веков забыть мечту о еврейском народе и его государстве.

Друзья мои, мы воюем. Нет в Палестине еврея, который не верил бы, что в конце концов мы победим. Таков в стране моральный дух... Но этот дух не может противостоять в одиночку винтовкам и пулеметам. Без него винтовки и пулеметы немногого стоят, но без оружия дух может быть сломлен вместе с телом.

Наша проблема — время... Что мы можем получить немедленно? И когда я говорю «немедленно», я имею в виду не через месяц. И не через два. Я имею в виду — сейчас, сегодня.

Я приехала довести до сознания американских евреев один факт: в кратчайший срок, не более чем за две недели, нам нужно собрать чистоганом сумму от двадцати пяти до тридцати миллионов долларов. Через две-три недели после этого мы уже сумеем укрепиться. В этом мы уверены.

Египетское правительство может провести такой бюджет, который поможет нашим противникам. То же самое может сделать и правительство Сирии. На нашей стороне нет таких правительств. Но в диаспоре у нас миллионы евреев, и я верю в евреев США не меньше, чем в нашу палестинскую молодежь; верю, что они поймут, в какой опасности мы находимся, и сделают то, что должно.

Знаю, что сделать это будет нелегко. Мне приходилось участвовать во всяких кампаниях по сбору средств, и я знаю, как непросто сразу собрать ту сумму, которую мы просим. Но я видела наших людей там, дома. Видела, как, когда мы призвали общину отдавать свою кровь для раненых, они пришли прямо со службы в больницы и стояли в длинных очередях, чтобы отдать свою кровь. В Палестине отдают и кровь, и деньги.

Мы не лучшей породы; мы не лучшие евреи из еврейского народа. Случилось так, что мы — там, а вы — здесь. Уверена, что если бы вы были в Палестине, а мы в Соединенных Штатах, вы делали бы там то же самое, что делаем мы, и просили бы нас здесь сделать то, что придется сделать вам.

В заключение я хочу перефразировать одну из самых замечательных речей времен второй мировой войны — речь Черчилля. Я не преувеличиваю, говоря, что палестинский ишув будет сражаться в Негеве, в Галилее, на подступах к Иерусалиму до самого конца.

Вы не можете решить, следует нам сражаться или нет. Решать будем мы. Еврейское население Палестины не выкинет белый флаг перед муфтием. Это решение уже принято. Никто не может его изменить. Вы можете решить только одно: кто победит в этой борьбе — мы или муфтий. Этот вопрос могут решить американские евреи. Но сделать это надо быстро — за дни, за часы.

И прошу вас — не запаздывайте. Чтобы не пришлось вам через три месяца горько сожалеть о том, чего вы не сделали сегодня. Время уже настало».

Они слушали, они плакали, они собрали столько денег, сколько еще никогда не собирала ни одна община. Я провела в Штатах шесть недель — больше я не могла находиться вне дома,— и повсюду евреи слушали, плакали и давали деньги, иногда даже делая для этого банковские займы. В марте я вернулась в Палестину, собрав 50

миллионов долларов, немедленно ассигнованные на тайные закупки в Европе оружия для Хаганы. И даже когда Бен-Гурион сказал мне: «Когда-нибудь, когда будет написана история, там будет рассказано о еврейской женщине, доставшей деньги, необходимые для создания государства»,— я никогда не обманывалась. Я всегда знала, что эти доллары были отданы не мне, а Израилю.

В тот год эта поездка в Штаты была моей единственной поездкой. За полгода, предшествовавшие созданию государства, я дважды встречалась с трансиорданским королем Абдаллахом — дедом нынешнего короля Хуссейна. И хотя содержание наших переговоров много лет хранилось в тайне — даже долгое время после 1951 года, когда Абдаллах был убит своими арабскими врагами (думаю, людьми муфтия),— никто до сих пор не знает, какие слухи об этих переговорах вызвали его убийство. Убийство — эндемическая болезнь в арабском мире, и первое, что узнает каждый арабский правитель, это прямая связь между соблюдением секретности и продолжительностью жизни. Убийство Абдаллаха произвело незабываемое впечатление на всех арабских лидеров, пришедших затем к власти; однажды Насер сказал посреднику, которого мы направили в Каир: «Если бы Бен-Гурион приехал в Египет переговорить со мной, его встретили бы дома как героя-победителя. Но если бы я поехал к нему, то по возвращении меня бы застрелили». И я боюсь, что в этом смысле ничего не изменилось.

Впервые я встретилась с королем Абдаллахом в начале ноября 1947 года. Он согласился встретиться со мной — как с главой политического отдела Еврейского агентства — в Нахарааме (на реке Иордан), в доме, где помещалась электростанция, принадлежавшая палестинской компании. Я приехала туда с одним из наших экспертов по арабским делам — Элияху Сассоном. Мы выпили, как полагалось по этикету, по чашечке кофе и потом начали беседовать. Абдаллах был невысокий, очень стройный человек, обладавший большим обаянием. Вскоре главное стало ясным: он не присоединится к нападающим на нас арабам. Он сказал, что всегда останется нашим другом и больше всего, как и мы, он хочет мира. В конце концов враг у нас был общий — иерусалимский муфтий, хадж Амин аль-Хуссейни. Мало того: он предложил, чтобы после голосования в Объединенных Нациях мы встретились опять.

По дороге обратно в Тель-Авив Эзра Данин, не раз встречавшийся с Абдаллахом прежде, объяснил мне его концепцию роли евреев на Ближнем Востоке: Бог рассеял евреев по Западному миру для того, чтобы они усвоили европейскую культуру и потом принесли ее с собой обратно на Ближний Восток, чтобы его опять оживить. Однако в его надежности Данин сомневался. «Абдаллах не то чтобы лгун,— сказал он,— но он бедуин, а у бедуинов свое представление о правде, куда менее абсолютное, чем наше». Но, по его мнению, Абдаллах был совершенно искренен в своих выражениях дружбы, хотя он из-за этого и не будет чувствовать себя связанным по рукам и ногам.

И в январе, и в феврале мы продолжали поддерживать контакт с Абдаллахом обычно через общего друга, передававшего ему мои послания. Эти послания постепенно стали выражать все большее беспокойство. Атмосфера была насыщена предположениями; были сведения, что, несмотря на свои обещания, Абдаллах собирается вступить в Арабскую лигу. «Так ли это?» — спрашивала я. Из Аммана очень скоро пришел отрицательный ответ. Король был изумлен и обижен моим вопросом. Он просил меня запомнить три вещи: во-первых, он — бедуин, и потому человек чести; во-вторых — король, и потому дважды человек чести; в-третьих, он никогда не нарушит обещания, данного женщине. Поэтому моя тревога ничем не оправдана.

Но мы-то знали другое. Уже к первой неделе мая не оставалось сомнений, что, несмотря на все свои заверения, Абдаллах связал свою судьбу с Арабской лигой. Мы обсудили, стоит ли попросить о новой встрече, пока еще не поздно. Может, удастся его отговорить в последнюю минуту. А если нет, то, может, удастся у него выяснить, что именно он и его обученный англичанами и возглавляемый английскими офицерами Арабский легион собираются предпринять в войне против нас. Многое лежало тогда на чаше весов: легион не только намного превосходил все остальные арабские армии, но тут примешивались и другие жизненно важные соображения. Если случится чудо и Трансиордания не вступит в войну, то и иракской армии будет куда труднее вступить в Палестину и напасть на нас. Бен-Гурион считал, что мы ничего не потеряем, если сделаем еще одну попытку, поэтому

я попросила о новой встрече, договорившись с Эзрой Данином, что он будет меня сопровождать.

Но на этот раз Абдаллах отказался приехать в Нахараим. Как передал нам его посланец, это будет слишком опасно. Если я хочу его увидеть, я должна приехать в Амман, приняв риск на себя: он не может поднять легион по случаю того, что ожидает еврейских гостей из Палестины, и никакой ответственности за то, что может произойти с нами по дороге, он тоже на себя не возьмет. Начать с того, что в Тель-Авив попасть тогда было почти так же трудно, как и в Амман. Я с самого утра и до семи вечера ожидала в Иерусалиме тель-авивского самолета, а когда он наконец приземлился, то было так ветрено, что ему трудно было взлететь. В нормальной обстановке я отложила бы полет на завтра, но уже почти не было «завтра». Было 10 мая, а 14 мая должно было быть провозглашено еврейское государство. Это был наш последний шанс переговорить с Абдаллахом. Поэтому я настояла, чтобы мы полетели, хотя казалось, что наш «пайпер каб» перевернется от простого ветра, не говоря уж о буре. Когда мы уже взлетели, на иерусалимский аэродром пришло сообщение, что погода слишком опасна для полета, но мы уже были в воздухе.

На следующее утро я поехала в Хайфу, где должна была встретиться с Эзрой. Было решено, что он наденет на голову арабскую «куфию». Он свободно говорил по-арабски, знал арабские обычаи, и его легко было принять за араба. Я же должна была надеть традиционное темное и широкое арабское платье. По-арабски я не говорила вовсе, но было маловероятно, чтобы от мусульманки, сопровождающей своего мужа, потребовались бы какие-то разговоры. Арабское платье и покрывало для меня уже были заказаны, а Эзра объяснил мне дорогу. Мы будем часто менять машины, предупредил он, чтобы убедиться, что за нами не следят, а вечером в назначенном месте, недалеко от королевского дворца, нас будет ожидать человек, который проводит нас к Абдаллаху. Главное было — не вызвать подозрений у арабских легионеров на проверочных пунктах по дороге к дворцу.

Это была длинная поездка, в темноте, с несколькими пересадками. Сначала мы ехали на одной машине, потом вышли, потом пересели в другую, проехали еще несколько километров, потом, в Нахараиме, пересели в третью. Друг с другом мы во время пути не разговаривали. Я полностью доверяла способностям Эзры провезти нас через неприятельские линии и слишком занята была вопросом об исходе нашей миссии, чтобы думать о том, что случится, если нас, сохрани Боже, схватят. К счастью, хоть нам и пришлось несколько раз предъявлять удостоверения, мы прибыли на место встречи вовремя, и неразоблаченные. Человек, который отвез нас к Абдаллаху, был его самым доверенным сотрудником; это был бедуин, с детства живший в его семье и привыкший исполнять самые опасные поручения своего господина.

Он отвез нас к себе домой в своей машине с затянутыми плотной черной материей окнами. В ожидании Абдаллаха я разговорилась с привлекательной и умной женой нашего проводника, происходившей из богатой турецкой семьи; она горько жаловалась на монотонность своего существования в Трансиордании. Я подумала, что некоторая монотонность мне лично сейчас бы не помешала, но продолжала сочувственно кивать головой.

В комнату вошел Абдаллах. Он был очень бледен; казалось, его что-то мучило. Эзра переводил, мы беседовали около часу. Я сразу же взяла быка за рога, спросив:

— Итак, нарушили вы данное мне обещание, после всего?

Он не ответил на вопрос прямо. Он сказал:

— Когда я давал обещание, я думал, что судьба моя в моих руках и я могу делать все, что считаю правильным, но с тех пор я узнал кое-что другое.

Он объяснил, что прежде был один, а теперь «я — один из пяти». Мы поняли, что четверо остальных — это Египет, Сирия, Ливан и Ирак. И все-таки он считал, что войны можно избежать.

— Почему вы так торопитесь провозгласить создание своего государства? — спросил он.— К чему такая спешка? До чего же вы нетерпеливы!

Я сказала, что о народе, ожидавшем этого две тысячи лет, нельзя говорить, что он слишком тороплив. Он, по-видимому, принял это возражение.

— Неужели вы не понимаете,— сказала я,— что мы — ваши единственные союзники во всем районе? Все остальные — ваши враги.

— Да,— сказал он,— я это знаю. Но что я могу сделать? Это зависит не от меня.

И тогда я сказала:

— Вы должны знать, что, если нам навяжут войну, мы будем сражаться и мы победим.

Он вздохнул и повторил:

— Да. Я это знаю. Ваш долг сражаться. Но почему бы вам не подождать несколько лет? Бросьте ваше требование свободной иммиграции. Я стану во главе всей страны, и вы будете представлены в моем парламенте. Я буду очень хорошо с вами обращаться, и войны не будет.

Я попыталась объяснить, почему этот план невозможен.

— Вы знаете все, что мы сделали, вы знаете, как тяжело мы работали,— сказала я.— И вы думаете, что мы сделали все это ради того, чтобы быть представленными в чужом парламенте? Вы знаете, чего мы хотим, к чему стремимся. Если вы больше ничего не можете нам предложить, значит, будет война, и мы победим. Но, быть может, мы встретимся снова — после войны, когда будет существовать еврейское государство.

— Вы слишком уж полагаетесь на свои танки,— сказал Эзра.— У вас нет настоящих друзей в арабском мире, и мы разгромим ваши танки, как была разгромлена линия Мажино.

Это была очень смелая речь, особенно если учесть, что Данину было точно известно наше положение с оружием. Но Абдаллах стал еще серьезнее и снова повторил, что мы должны исполнить свой долг. И еще он добавил — с грустью, как мне показалось,— что события должны идти своим чередом. В свое время мы все узнаем, что нам уготовила судьба.

Очевидно, говорить больше было не о чем. Я хотела сразу же уехать, но Данин и Абдаллах затеяли новую беседу.

— Надеюсь, мы останемся в контакте и после того, как начнется война,— сказал Данин.

— Конечно,— ответил Абдаллах.— Вы будете приезжать ко мне.

— Но как я смогу до вас добраться? — спросил Данин.

— О, я не сомневаюсь, что уж вы-то найдете дорогу,— с улыбкой сказал Абдаллах.

Потом Данин попенял ему, что он недостаточно осторожен.

— Вы молитесь в мечети,— сказал он,— и позволяете своим подданным целовать край вашей одежды. Какой-нибудь злодей, чего доброго, может учинить что-нибудь дурное. Пора вам отменить этот обычай ради своей безопасности.

Абдаллах был, видимо, шокирован этими словами.

— Никогда я не стану пленником своей охраны,— сурово сказал он Данину.— Я родился бедуином, свободным человеком, и останусь свободным. Пусть те, кто хотят убить меня, попробуют это сделать. Я на себя цепей не надену.

После этого он попрощался с нами и ушел.

Жена хозяина пригласила нас к столу. В конце комнаты стоял огромный стол, уставленный яствами. Я совершенно не чувствовала голода, но Данин сказал, что я должна наполнить свою тарелку, буду я есть или нет, а то получится, что я отказываюсь от арабского гостеприимства. Я наполнила свою тарелку до краев, но только поковыряла еду. У меня не осталось сомнений, что Абдаллах поведет против нас войну. И, несмотря на всю браваду Данина, я хорошо знала, что танки Арабского легиона не игрушка, и сердце мое падало при мысли о том, какие известия я привезу в Тель-Авив. Время близилось к полуночи. Нам предстоял длинный и опасный путь — на этот раз без всяких обманчивых надежд.

Через несколько минут мы простились и уехали. Была очень темная ночь, и арабский шофер, который вез нас в Нахараим (откуда мы должны были отправиться в Хайфу), приходил в ужас всякий раз, когда машину останавливали на контрольном пункте легионеры. В конце концов на некотором расстоянии от электростанции он велел нам выходить. Было около трех часов ночи, и мы должны были сами найти дорогу. Мы не были вооружены, и должна признаться, что я была

и подавлена, и испугана. Из окон машины мы видели иракские части, скопившиеся у лагеря Мафрак; шепотом мы рассуждали о том, что может случиться 14 мая. Помню, как застучало мое сердце, когда Данин сказал: «Если нам повезет и мы победим, мы потеряем только десять тысяч человек. Если же нам не повезет, наши потери могут дойти до пятидесяти тысяч». Я была подавлена. Тогда мы решили переменить тему разговора, и все остальное время пути мы беседовали только о мусульманских обычаях и об арабской кухне. Когда же мы остались одни в кромешной тьме, мы уже не разговаривали ни о чем. Мы боялись даже вздохнуть. Арабская одежда мешала мне двигаться, притом я вовсе не была уверена, что мы идем в нужном направлении, да еще не могла избавиться от подавленности и ощущения полного провала моих переговоров с Абдаллахом.

Вероятно, мы с Данином шли уже полчаса, когда нас заметил молодой солдат Хаганы, целую ночь с тревогой ожидавший нас. Я не могла разглядеть его лица, но никогда я так крепко и с таким облегчением не сжимала чужую руку. Без всякого затруднения он провел нас в Нахараим через холмы и вади. Второй раз я увидела его несколько лет назад: пожилой человек подошел ко мне в фойе иерусалимского отеля и сказал: «Миссис Меир, вы меня не узнаете?» Я стала вспоминать, но так и не вспомнила. Тут он ласково улыбнулся и сказал: «Это я привел вас в ту ночь в Нахараим».

Но Абдаллаха я больше никогда не видела, хотя после Войны за независимость с ним велись долгие переговоры. Потом мне передавали, что он сказал обо мне: «Если кто-нибудь лично ответствен за войну, то это она, ибо она была слишком горда, чтобы принять мое предложение». Признаться, когда я думаю о том, что случилось бы с нами, если бы мы были меньшинством в государстве и под протекцией арабского короля, убитого арабами через каких-нибудь два года, я не жалею о том, что в ту ночь так разочаровала Абдаллаха. Жаль, что ему не хватило храбрости на то, чтобы не вступать в войну. Насколько лучше было бы для него — да и для нас, если бы он был чуть более горд.

Прямо из Нахараима меня повезли в Тель-Авив. На следующее утро в помещении Мапай было назначено заседание — разумеется, в эти дни заседания шли беспрерывно, одно за другим,— на котором, как я знала, будет присутствовать Бен-Гурион. Когда я вошла, он поднял голову и спросил: «Ну?» Я села и написала ему записку: «Не удалось. Будет война. Мы с Эзрой видели у Мафрака скопления войск и огни». Мне тяжело было смотреть на лицо Бен-Гуриона, читавшего мою записку, но, слава Богу, он не изменил ни своего, ни нашего решения.

Окончательное решение надо было принимать через два дня. Провозглашать еврейское государство или нет? После моего доклада о переговорах с Абдаллахом множество народу из так называемой Минхелет Хаам (буквально — народная администрация), куда входили члены Еврейского агентства, Национального совета (Ваад Леуми) и некоторых малых партий и групп, и которая позднее стала временным правительством Израиля, стало просить Бен-Гуриона в последний раз взвесить «за» и «против». Они хотели знать, в какой мере Хагана подготовлена к решающему часу. Бен-Гурион вызвал Игаэля Ядина — начальника оперативного отдела Хаганы и Исраэля Галили — фактического главнокомандующего. Они ответили одинаково, одинаково жестко. Только в двух вещах можно быть уверенными, сказали они: британцы уйдут и арабы вторгнутся. И тогда? Оба замолчали. Через минуту Ядин сказал: «В лучшем случае, шансы наши — пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят — что победим, пятьдесят — что потерпим поражение».

На этой оптимистической ноте и было принято окончательное решение. 14 мая 1948 года (пятого ияра 5708 года по еврейскому календарю) будет провозглашено еврейское государство с населением в 650 тысяч человек; шанс этого государства пережить день своего рождения зависел от способности этих 650 тысяч отразить нападение пяти регулярных арабских армий, активно поддерживаемых миллионом палестинских арабов.

По первоначальному плану я должна была в четверг вернуться в Иерусалим и там остаться. Нечего и говорить, что мне очень хотелось остаться в Тель-Авиве, хотя бы на церемонию провозглашения государства, время и место которой держалось в тайне от всех, кроме 200 приглашенных, и должно было быть объявлено лишь за час. Всю среду я, несмотря ни на что, надеялась, что Бен-Гурион уступит, но он был непоколебим. «Ты должна ехать в Иерусалим»,— сказал он. И в четверг 13

мая я опять сидела в «пайпер кабе». Пилоту был дан приказ отвезти меня в Иерусалим и немедленно возвратиться с Ицхаком Гринбаумом, которому предстояло стать министром внутренних дел временного правительства. Но как только мы, перевалив за Прибрежную равнину, оказались над Иудейскими холмами, мотор забарахлил. Я сидела рядом с пилотом (крошечные «примусы», как мы их ласково называли, имели только два сиденья) и видела, что даже он очень беспокоится. По звуку казалось, что мотор вот-вот вообще оторвется, почему меня и не удивило, когда пилот сказал:

— Прости, пожалуйста, но я, кажется, не смогу перелететь холмы. Надо возвращаться.

Он развернул самолет; мотор продолжал угрожающе гудеть, я заметила, что пилот оглядывает окрестности под нами. Я не сказала ни слова, машина чуть-чуть поднялась, пилот спросил:

— Ты понимаешь, что происходит?

— Понимаю,— ответила я.

— Я искал арабскую деревню, где мы могли бы приземлиться. (Помните, что это происходило 13 мая.) Но, пожалуй,— сказал он,— я смогу приземлиться в Бен-Шемене.— Звук мотора улучшился.— Нет,— сказал пилот,— пожалуй, мы сможем вернуться в Тель-Авив.

Таким образом, мне удалось присутствовать на церемонии, а бедному Ицхаку Гринбауму пришлось остаться в Иерусалиме, и он сумел подписать Декларацию Независимости только после первого прекращения огня.

Утром 14 мая я участвовала в собрании Ваад Леуми, где решалось, какое название мы дадим нашему государству, и окончательно формулировалась Декларация. Вопрос о названии казался менее дискуссионным, чем формулировка Декларации, ибо в последнюю минуту возник спор: упоминать ли в ней Бога. Собственно говоря, выход был найден накануне. Небольшой комитет, которому было поручено составить последнюю версию Декларации, получил текст, в котором самая последняя фраза начиналась словами: «Уповая на Твердыню Израиля, мы скрепляем нашими подписями...» Бен-Гурион надеялся, что слова «Твердыня Израиля» своей недвусмысленностью могут удовлетворить и евреев, не допускавших мысли, чтобы документ о создании еврейского государства мог обойтись без упоминания о Боге, и евреев, которые наверняка будут упорно протестовать против малейшего намека на клерикализм.

Но принять этот компромисс оказалось не так-то легко. Представитель религиозных партий рабби Фишман-Маймон потребовал, чтобы ссылка на Бога была сделана безо всяких экивоков, и сказал, что одобрит выражение «Твердыня Израиля», только если будет прибавлено «и его Искупитель»; представитель левого крыла Рабочей партии Ахарон Цизлинг столь же решительно выступил с противоположных позиций. «Я не могу подписать документ, в какой бы то ни было форме упоминающий Бога, в которого я не верю»,— сказал он. Бен-Гуриону понадобилось чуть ли не все утро, чтобы убедить обоих, что слова «Твердыня Израиля» имеют двойное значение. Для многих, может быть для большинства евреев, они означают «Бог», но могут рассматриваться и как символ, означающий «силу еврейского народа». В конце концов Маймон согласился, чтобы слово «Искупитель» не было включено в текст. Забавно то, что в первом английском переводе, опубликованном в этот день для заграницы, не было вообще никакого упоминания о «Твердыне Израиля»; военный цензор вычеркнул весь последний параграф из соображений безопасности, ибо в нем было указано время и место церемонии.

Может показаться странным, что за несколько часов до провозглашения государства, да еще под угрозой иностранного вторжения, будущий премьер-министр тратит время на такие споры, но надо иметь в виду, что эти споры отнюдь не были чисто терминологическими. Мы глубоко сознавали, что Декларация не только объявляет о конце двухтысячелетней еврейской бездомности, но и выражает основные принципы Государства Израиль. И потому каждое слово имеет огромное значение. Кстати, мой добрый друг Зеев Шареф, первый секретарь будущего правительства, заложивший основы государственности, нашел время проследить за тем, чтобы грамота, которую нам предстояло днем подписать, была сразу после церемонии отправлена в подвал Англо-Палестинского банка и таким образом сохранена для потомства на случай, если государство и все мы проживем не очень долго.

Около двух часов дня я вернулась к себе в гостиницу на набережной, вымыла голову и надела свое лучшее черное платье. Потом я посидела несколько минут — для того, чтобы перевести дух и впервые за несколько дней подумать о детях. Менахем в то время учился в Штатах, в Манхэттенском музыкальном училище. Я понимала, что теперь, когда война неизбежна, он вернется, и думала, когда и где мы опять увидимся. Сарра была в киббуце Ревивим — относительно не очень далеко; но мы были совершенно отрезаны друг от друга. Несколько месяцев назад банды палестинских арабов вместе с вооруженными египтянами, перешедшими границу, блокировали дорогу, соединявшую Негев со всей страной, и систематически взрывали или перерезали водопровод, снабжавший двадцать семь еврейских поселений, там находившихся. Хагана делала что могла, чтобы прорвать осаду. Она открыла грунтовую тропу, параллельную главной дороге, по которой прорывались конвои, доставлявшие пищу и воду тысяче южных поселенцев. Но кто знает, что будет с Ревивимом, да и с любым маленьким, плохо вооруженным и плохо оснащенным негевским поселением, когда начнется широкое египетское вторжение в Израиль, что почти наверняка произойдет через несколько часов? И Сарра и ее Зехария были в Ревивиме радистами, и до сих пор мне удавалось поддерживать связь с ними. Но уже несколько дней я ничего о них не слышала и очень беспокоилась. Именно от таких молодых людей, как они, от их духа и отваги зависело будущее Негева и, следовательно, Израиля, и я содрогалась при мысли о том, что им придется противостоять вторгшимся частям регулярной египетской армии.

Я так углубилась в свои мысли о детях, что телефонный звонок заставил меня вздрогнуть: оказалось, меня ждет машина, чтобы отвезти в музей. Решено было провести церемонию провозглашения государства в тель-авивском музее на бульваре Ротшильда не потому, что это было особенно импозантное здание — таким оно не было! — а потому, что оно было маленькое и поэтому его легко было охранять. Когда-то этот дом, один из первых домов Тель-Авива, принадлежал его первому мэру Дизенгофу, и он завещал его гражданам города с тем, чтобы они устроили там художественный музей. Огромная сумма — двести долларов! — была отпущена на его украшение к этому дню; полы были выскоблены, картины на стенах, изображавшие наготу, целомудренно задрапированы, окна затемнены на случай воздушной тревоги, а над столом, за которым должно было разместиться тридцать человек — члены временного правительства,— висел большой портрет Теодора Герцля. Однако хотя предполагалось, что только 200 человек приглашенных знают, когда и где будет происходить церемония, у музея, когда я подъехала, уже собралась большая толпа.

Через несколько минут, ровно в четыре часа, началось торжественное заседание. Бен-Гурион, в темном костюме и при галстуке, встал и постучал председательским молотком. По плану этим подавался знак оркестру, упрятанному на галерею второго этажа, сыграть «Ха-Тиква» [1]. Что-то не сработало, и музыка так и не раздалась. Но мы все поднялись со своих мест и спели наш национальный гимн. Тогда Бен-Гурион откашлялся и негромко сказал: «Сейчас я прочту Декларацию Независимости». Чтение заняло всего четверть часа. Он читал медленно, очень внятно, и помню, как изменился и слегка усилился его голос, когда он дошел до одиннадцатого параграфа:

«На этом основании мы, члены Народного Совета, представители еврейского населения Эрец-Исраэль и сионистского движения, собрались в день истечения британского мандата на Эрец-Исраэль и в силу нашего естественного и исторического права и на основании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций настоящим провозглашаем создание еврейского государства в Эрец-Исраэль — Государства Израиль».

Государство Израиль! Глаза мои наполнились слезами, руки дрожали. Мы добились. Мы сделали еврейское государство реальностью, и я, Голда Мабович-Мейерсон, дожила до этого дня. Что бы ни случилось, какую бы цену ни пришлось за это платить, мы воссоздали еврейскую родину. Долгое изгнание кончилось. Отныне мы будем жить в стране своих отцов не потому, что нас соглашаются терпеть; теперь мы — такая же нация, как другие, и впервые за двадцать веков мы — хозяева своей судьбы. Мечта осуществилась — слишком поздно для спасения погибших при Катастрофе, но не слишком поздно для грядущих поколений. Пятьдесят лет назад,

[1] «Ха-Тиква» (надежда; *ивр.*) - государственный гимн Израиля.

после Первого сионистского конгресса в Базеле, Теодор Герцль записал в дневнике: «В Базеле я основал еврейское государство. Если бы я сказал это сегодня — это было бы встречено общим смехом. Может быть, через пять лет — и без всякого сомнения, через пятьдесят — это увидят все». Так оно и произошло.

Пока Бен-Гурион читал, я опять думала о своих детях и о детях, которые у них родятся,— как не похожа их жизнь будет на мою и как теперь изменится моя собственная жизнь; я думала о своих коллегах в осажденном Иерусалиме, которые сейчас, собравшись в помещении Еврейского агентства, слушают торжественное заседание по радио, а я, по чистой случайности, нахожусь в музее. И я почувствовала, что большей привилегии, чем у меня в этот день, не было ни у одного еврея на земле.

Вдруг, словно по сигналу, мы все поднялись со своих мест, плача и аплодируя: Бен-Гурион сорвавшимся (впервые за все время) голосом прочитал: «Государство Израиль будет открыто для репатриации и объединения в нем всех рассеянных по свету евреев». В этих словах билось самое сердце Декларации, в них была выражена и причина, и смысл создания государства. Я плакала в голос, услышав, как эти слова прозвучали в жарком, переполненном зале. Но Бен-Гурион опять постучал молотком, призывая к порядку, и продолжал:

«Призываем сынов арабского народа, проживающих в Государстве Израиль,— даже в эти дни кровавой агрессии, развязанной против нас много месяцев тому назад,— блюсти мир и участвовать в строительстве государства на основе полного гражданского равноправия и соответствующего представительства во всех его учреждениях, временных и постоянных».

И далее:

«Протягиваем руку мира и предлагаем добрососедские отношения всем соседним государствам и их народам и призываем их к сотрудничеству с еврейским народом, обретшим независимость в своей стране. Государство Израиль готово внести свою лепту в общее дело развития всего Ближнего Востока».

Когда он прочел все 979 ивритских слов, из которых состояла Декларация, он попросил всех встать и «принять акт, устанавливающий создание еврейского государства», так что все мы поднялись еще раз. И тогда произошло нечто очень трогательное и непредвиденное. Рабби Фишман-Маймон, встав, дрожащим голосом произнес традиционную еврейскую молитву-благодарение: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, сохранивший нас в живых и давший нам все претерпеть и дожить до этого дня. Аминь». Часто мне приходилось слышать эту молитву, но никогда она не звучала для меня так, как звучала в тот день.

Но перед тем как все мы, в алфавитном порядке, стали подходить и подписывать Декларацию, надо было покончить еще с одним делом, требовавшим нашего внимания: Бен-Гурион прочел первые декреты нового государства. «Белая книга» [1] объявлялась недействительной и отменялась, остальные же распоряжения и правила мандатного правительства, во избежание законодательного вакуума, подтверждались и объявлялись временно действующими. После этого началась церемония подписания Декларации. Когда пришла моя очередь, я заметила Аду Голомб, стоявшую неподалеку. Мне хотелось подойти к ней, обнять, сказать, что я знаю, что вместо меня здесь должны были бы быть Элияху и Дов, но я не могла задерживать движение очереди и потому прямо подошла к столу, за которым сидели Бен-Гурион и Шарет; между ними лежала Декларация. Я плакала открыто, даже не утирая слез. Шарет подвинул ко мне Декларацию, а Давид Пинкас, член религиозной партии Мизрахи, стал меня успокаивать.

— Почему ты так плачешь, Голда? — спросил он.

— Потому что сердце мое разрывается при мысли о тех, кто должен был бы тут быть и кого здесь нет,— ответила я, не переставая плакать.

14 мая Декларацию Независимости подписали только двадцать пять членов Народного Совета. Одиннадцать были в Иерусалиме и один — в Штатах. Последним в тот день подписался Моше Шарет. В сравнении со мной он казался совершенно спокойным и ровным, словно исполнял свои обычные обязанности. Потом, когда мы говорили об этом дне, он сказал, что ему почудилось: он стоит на скале, а вокруг бушует буря, и удержаться не за что — только и было у него, что твердое решение

[1] «Белая книга» (здесь — официальный документ, формулирующий политику Великобритании в Палестине) ограничивала еврейскую иммиграцию.

не быть сброшенным в бушующее море. Но ничего этого нельзя было угадать по его лицу.

Палестинский филармонический оркестр сыграл «Ха-Тиква». Бен-Гурион в третий раз постучал своим молотком. «Государство Израиль создано. Заседание окончено». Мы пожимали друг другу руки, обнимались. Церемония окончилась. Израиль стал реальностью.

Как и следовало ожидать, вечер не принес нам успокоения. Я сидела у себя в гостинице и беседовала с друзьями. Открыли бутылку вина и выпили за наше государство. Некоторые из гостей и молодые солдаты Хаганы, охранявшие их, стали петь и плясать, с улицы тоже доносились песни и взрывы смеха. Но мы знали, что ровно в полночь мандат окончится, британский верховный комиссар отплывет на корабле, последние британские солдаты тоже покинут Палестину, и мы не сомневались, что арабские армии перейдут границы государства, которое мы только что основали. Да, мы теперь независимы, но через несколько часов у нас начнется война. Я не только не была весела — я испытывала страх, и не без оснований. Но одно дело испытывать страх, а другое — не иметь веры, а я была уверена, что хотя еврейское население нового государства и составляет всего 650 тысяч, мы уже вросли в него, и никто никогда не сможет опять нас рассеять или переместить.

Но, кажется, я только на следующий день осознала, чем было чревато торжественное заседание в тель-авивском музее. Три как бы не зависевших друг от друга, но в действительности тесно связанных события с предельной ясностью дали мне понять, что все бесповоротно изменилось и для меня, и для еврейского народа, и для Ближнего Востока. Начать с того, что в субботу перед рассветом я увидела в окно фактическое начало Войны за независимость: четыре египетских «Спитфайра» прожужжали над городом, направляясь бомбить тель-авивскую электростанцию и аэропорт,— это был самый первый воздушный налет. Затем, несколько позже, я увидела, как в тель-авивский порт свободно и гордо вошел корабль с еврейскими репатриантами — уже не «нелегальными». Больше никто не охотился за ними, не гнал их, не наказывал за то, что они приехали домой. Постыдная эра «сертификатов» и счета человеческого поголовья окончилась, и когда я, не прячась от солнца, смотрела на этот корабль (старое греческое судно «СС Тети»), я почувствовала, что никакая цена за это не может быть слишком высока. Первый легальный иммигрант, высадившийся на землю Государства Израиль, был усталый, бедно одетый старый человек по имени Сэмюэл Бранд, узник Бухенвальда. В руке он держал скомканный клочок бумаги, на котором стояло: «Дано право поселиться в Израиле». Но бумага была подписана Отделом иммиграции Государства Израиль — и это была первая выданная нами виза.

И третье событие — прекрасная минута нашего формального вступления в семью наций. 14 мая, через несколько минут после полуночи, мой телефон зазвонил. Он звонил весь вечер; подбегая, я готова была к дурным известиям. Ликующий голос прокричал: «Голда? Ты слушаешь? Трумэн признал нас!» Не помню, что я ответила, что я сделала, но хорошо помню свои чувства. То, что случилось в минуту нашей наибольшей уязвимости, накануне вторжения, показалось мне чудом; я почувствовала облегчение, сердце мое переполнилось радостью. Весь Израиль испытывал эти же чувства, но мне кажется, что для меня то, что сделал президент Трумэн, значило больше, чем для моих коллег, потому что я была «американка» среди них, я больше всех знала о Соединенных Штатах, об их истории, их людях — ведь только я выросла в этой великой демократической стране. И хотя быстрота признания изумила меня не меньше, чем всех прочих, великодушные и добрые побуждения, стоявшие за этим действием, ничуть меня не изумили. Теперь я думаю, что, как и большинство чудес, это чудо было вызвано двумя очень простыми вещами: во-первых, Гарри Трумэн понимал и уважал наше стремление к независимости, потому что такой человек, как он, при других обстоятельствах сам мог бы стать одним из нас; во-вторых, Хаим Вейцман, которого он принимал в Вашингтоне, так объяснил ему ситуацию и так защищал перед ним наше дело, как никто еще в Белом доме этого не делал,— и произвел на него большое впечатление. То, что совершил Вейцман,— бесценно. Признание Америки стало для нас величайшим событием этой ночи.

Признание Советского Союза, последовавшее за американским, имело другие корни. Теперь я не сомневаюсь, что для Советов основным было изгнание Англии

с Ближнего Востока. Но осенью 1947 года, когда происходили дебаты в Объединенных Нациях, мне казалось, что советский блок поддерживает нас еще и потому, что русские сами оплатили свою победу страшной ценой и потому, глубоко сочувствуя евреям, так тяжко пострадавшим от нацистов, понимают, что они заслужили свое государство. Как бы радикально ни изменилось советское отношение к нам за последующие двадцать пять лет, я не могу забыть картину, которая представлялась мне тогда. Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии и транспортировать через Югославию и другие балканские страны в те черные дни начала войны, пока положение не переменилось в июне 1948 года? В первые шесть недель войны мы очень полагались на снаряды, пулеметы и пули, которые Хагане удалось закупить в Восточной Европе, тогда как даже Америка объявила эмбарго на отправку оружия на Ближний Восток, хотя, разумеется, мы полагались не только на это. Нельзя зачеркивать прошлое оттого, что настоящее на него не похоже, и факт остается фактом: несмотря на то что Советский Союз впоследствии так яростно обратился против нас, советское признание Израиля 18 мая имело для нас огромное значение. Это значило, что впервые после второй мировой войны две величайшие державы пришли к согласию в вопросе о поддержке еврейского государства, и мы, хоть и находились в смертельной опасности, по крайней мере знали, что мы не одни. Из этого сознания — да и из суровой необходимости — мы почерпнули ту если не материальную, то нравственную силу, которая и привела нас к победе.

Позвольте мне добавить, раз уж я об этом говорю, что второй страной, признавшей Израиль в день его рождения, была маленькая Гватемала, чей представитель в Объединенных Нациях Хорхе Гарсиа Гранадос был одним из активнейших членов Специальной комиссии по Палестине.

Итак, наше государство уже приняли как факт. Оставался один вопрос, который, как это ни невероятно, остается в силе и теперь,— как мы сможем выжить. Не «сможем ли мы», но «как». Утром 15 мая Израиль был атакован с трех сторон: Египтом с юга, Сирией и Ливаном — с севера и северо-востока, Иорданией и Ираком — с востока. По газетам складывалось представление, что арабская похвальба уничтожить Израиль за десять дней имеет, возможно, некоторое основание.

Самым серьезным было наступление Египта, хотя в смысле какой бы то ни было выгоды оно сулило ему меньше, чем остальным. У Абдаллы было объяснение, хоть и дурное, и он мог его сформулировать: он хотел всю страну и, в особенности, Иерусалим. Причины для войны были и у Сирии с Ливаном: они рассчитывали разделить между собой Галилею. Ирак желал принять участие в кровопускании и, в качестве дополнительной выгоды, приобрести выход к Средиземному морю, если будет необходимо — через Иорданию. Но у Египта не было никаких военных целей — только разграбить и разрушить все созданное евреями. Вообще меня всегда поражало, что арабы так стремились к войне против нас. Почти с самого начала, с первых сионистских поселений, и до сегодняшнего дня их сжигает ненависть к нам.

С другой стороны, чем мы когда-либо угрожали арабским государствам? Правда, мы не становились в очередь, чтобы поскорее возвращать территории, выигранные в затеянных ими войнах, но арабская агрессия затевалась вовсе не ради территорий, и, уж конечно, не потребность в территориях толкнула Египет на север в 1948 году, чтобы разрушить Тель-Авив и еврейский Иерусалим. Тогда что же? Иррациональное всепобеждающее стремление физически нас уничтожить? Страх, что мы принесем прогресс на Ближний Восток? Отвращение к западной цивилизации? Кто знает. Что бы это ни было, оно не перестает существовать — но и мы тоже; и решение, вероятно, не скоро еще будет найдено, хотя я не сомневаюсь, что придет время, когда арабские государства нас признают и примут. Коротко говоря, мир зависит — и всегда зависел — лишь от одного условия: арабские лидеры должны согласиться с нашим присутствием.

Но в 1948 году было ясно, что арабские государства, как всегда увлекаемые игрой воображения, в своих мечтах за несколько дней проносятся как буря по территории, ставшей ныне Израилем. Прежде всего, войну начали они, что давало им важные тактические преимущества. Во-вторых, у них был легкий, чтобы не сказать — незатруднительный, доступ в Палестину, с ее арабским населением, которое долгие годы натравливалось на евреев. В-третьих, у арабов не было

проблем передвижения из одной части страны в другую. В-четвертых, арабы контролировали почти все высотные районы Палестины, откуда было нетрудно атаковать наши поселения, расположенные в низинах. Наконец, у арабов было абсолютное преимущество в людях и вооружении, причем они разными путями получали прямую и косвенную помощь от англичан.

А что было у нас? Всего понемножку — но и это будет преувеличением. Несколько тысяч винтовок, несколько сот пулеметов, еще кое-какое огнестрельное оружие, но на 14 мая 1948 года — ни одной пушки, ни одного танка, хотя, правда, целых девять самолетов (но только один из них двухмоторный). Благодаря изумительному предвидению Бен-Гуриона за границей было закуплено оборудование для производства вооружения, но до ухода англичан его нельзя было ввезти в страну, а его еще предстояло собрать и пустить в ход. Судя по статистике, с кадрами офицеров и солдат дело тоже обстояло неблестяще. 45 тысяч мужчин, женщин и подростков в Хагане, несколько тысяч членов в подпольных диссидентских организациях и несколько сот вновь прибывших, прошедших какое-то подобие военного обучения (с деревянными винтовками и игрушечными пулями) в германских лагерях для перемещенных лиц, в кипрских лагерях и в стране после объявления независимости; еще несколько тысяч еврейских и нееврейских добровольцев из-за границы. Вот и все. Но мы не могли позволить себе роскошь пессимизма, поэтому мы строили совершенно другие расчеты, базировавшиеся на том, что у всех нас — у всех 650 тысяч — была такая сильная воля к жизни, которая даже и не могла быть понята за пределами Израиля; если мы не хотели, чтобы нас столкнули в море, нам оставалось только победить. И поэтому мы победили. Не легко, не быстро и не малой ценой. С того дня как в Объединенных Нациях была принята резолюция о разделе Палестины (29 ноября 1947 года) и до подписания первого перемирия между Израилем и Египтом (24 февраля 1949 года), было убито 6 тысяч молодых израильтян — 1 процент всего населения, и, хоть мы еще не могли этого знать, даже ценой всех этих жизней мы не купили мира.

Трудно выразить, как тяжело было мне покидать страну в момент, когда только что было провозглашено государство. Меньше всего на свете хотелось мне тогда ехать за границу. Но 16 мая пришла телеграмма от Генри Монтора, вице-президента организации Юнайтед джуиш аппил (Объединенный еврейский призыв). Американское еврейство, говорилось там, глубоко затронуто тем, что произошло. Люди бесконечно счастливы и горды. Если я приеду сейчас, даже на небольшой тур, то, по его мнению, мы сможем собрать еще 50 миллионов долларов. Мне ли было не знать, что значат эти деньги для Израиля, как отчаянно мы нуждаемся в оружии, которое на эти деньги можно будет купить, как дорого будет стоить перевозка и устройство 30 тысяч евреев, запертых на Кипре и так долго ожидавших отправки в Израиль! При одной мысли оторваться от Израиля сейчас у меня падало сердце, но выбора не было. Обсудив все с Бен-Гурионом, я тотчас телеграфировала, что вылечу первым же самолетом. К счастью, готовиться к поездке не приходилось. Вся моя незатейливая одежда была в Иерусалиме, недоступном, как луна, так что багаж мой состоял из зубной щетки, щетки для волос и чистой блузки; правда, в Нью-Йорке я обнаружила, что покрывало, которое я носила в Аммане, все еще лежало у меня в сумке. Мне удалось немного поговорить с Саррой и сообщить ей, что я вернусь самое большее через месяц, а также получить наскоро изготовленный пропуск, первый выездной документ, выданный Государством Израиль своему гражданину. После этого на первом же самолете я улетела.

В Штатах меня приветствовали так, как если бы я была живым воплощением Израля. Снова и снова я рассказывала, как было провозглашено государство, как началась война, как происходит осада Иерусалима,— и снова, и снова заверяла евреев Америки, что с их помощью Израиль выстоит. Я выступала в разных городах Америки, на завтраках, обедах и чаепитиях Объединенного еврейского призыва, на встречах в частных домах. Когда меня смаривала усталость — а это бывало нередко,— мне стоило вспомнить, что я выступаю как посланец еврейского государства, и усталость моя испарялась бесследно. Понадобились недели, чтобы я привыкла к звуку слова «Израиль» и к тому, что теперь у меня новое подданство. Но цель моей поездки была отнюдь не сентиментальная. Я приехала, чтобы собрать деньги, как можно больше, как можно скорее, и говорила об этом в мае так же недвусмысленно, как несколько месяцев назад в январе. «Государство Израиль не может

прожить на аплодисменты,— сказала я евреям Америки.— Войну не выиграешь речами, декларациями и даже слезами радости. И главное — это время, а то аплодировать будет нечему».

«Мы не можем обойтись без вашей помощи,— повторяла я в десятках публичных выступлений и в частных разговорах.— Мы просим вас разделить нашу ответственность и все, что входит в это понятие,— трудности, проблемы, беды и радости. Ведь то, что происходит в еврейском мире сейчас, так серьезно, так жизненно важно, что и вы можете изменить свой образ жизни — на год, на два, на три,— пока мы все вместе не поставим Израиль на ноги. Решайтесь же и дайте мне ответ».

Ответ был дан — невиданно щедрый и скорый, от всего сердца, от всей души. Считалось, что тут не может быть «слишком много» или «слишком хорошо». И, ответив таким образом, они, как я и надеялась, подтвердили, что они наши партнеры. И хотя в это время еще не было отдельного счета для Израиля, и хотя Израилю досталось менее 50 процентов собранных ОЕП в 1948 году 150 миллионов — остальное было передано Джойнту для помощи евреям в Европе,— эти 50 процентов бесспорно помогли нам выиграть войну. А кроме того, мы узнали, что американское еврейство вовлечено в дела Израиля настолько, что мы вправе на него рассчитывать в дальнейшем.

Во время нашей поездки я познакомилась с людьми, позднее ставшими «пропагандистами» Израиля; до 1948 года они не имели особых связей с сионизмом, но теперь Израилю предстояло стать делом их жизни. Когда в 1950 году мы основали организацию займа Израиля, они были моими ближайшими помощниками. Раньше я приезжала в Соединенные Штаты как посланец Гистадрута и почти все время проводила среди сионистов — членов Рабочей партии. Теперь же я познакомилась с другими американскими евреями — богатыми, очень деловитыми и полностью преданными делу. Прежде всего назову самого Генри Монтора; резкий, одаренный, одержимый Израилем, он стал чем-то вроде надсмотрщика, беспощадно подгонявшего и себя, и других в попытках сбора новых и новых средств. Но были и жесткие бизнесмены, опытные капиталисты, как Билл Розенвальд, Сэм Ротберг, Лу Бойер, Харолд Голденберг. Это лишь немногие из тех, с кем я сумела поговорить во время своего стремительного тура и обсудить возможности продажи облигаций займа для Израиля, помимо призывов к филантропии.

Но все время я стремилась домой, хоть и знала, что только что созданное министерство иностранных дел имеет на меня другие планы. За день до моего отъезда мы встретились с Шаретом в гостинице, где я жила; он говорил, что трудно набрать людей для посольств и консульств Израиля в странах, которые уже его признали или признают в ближайшие недели.

— У меня никого нет для Москвы,— говорил он, очень озабоченный.

— Ну, слава Богу, этого ты мне предложить не можешь! — сказала я.— Я-то русского языка почти совсем не знаю.

— Собственно говоря, это не имеет значения,— ответил он.

Но он не развивал эту тему, а я постаралась принять это все как шутку. И хоть иногда вспоминала наш разговор в самолетах между американскими городами, но искренне надеялась, что Шарет о нем забыл.

Но однажды из Тель-Авива пришла телеграмма. Я сперва взглянула на подпись — не о Сарре ли это или о Менахеме, уже участвующем в боях со своей бригадой. Но увидев подпись Моше, я поняла, что речь идет о Москве, и мне пришлось взять себя в руки, чтобы прочесть текст телеграммы. Государству не было и месяца. Война не кончилась. Дети не были в безопасности. В Израиле у меня была семья, близкие друзья — мне казалось очень несправедливым, что меня опять просят срочно собраться и отправиться к такому далекому и незнакомому месту назначения. «Почему всегда я?» — пожалела я себя. Многие могли справиться с таким постом не хуже, чем я, и даже лучше. Подумать только — Россия, откуда я уехала маленькой девочкой, которая не оставила у меня ни одного приятного воспоминания! В Америке я занималась реальным, конкретным и практическим делом, а что я знаю о дипломатии? Меньше, чем любой из моих товарищей. Но я понимала, что Шарет заручился согласием Бен-Гуриона, а уж Бен-Гуриона не смягчишь никакими личными просьбами. К тому же это был вопрос дисциплины. Кто я такая, чтобы ослушаться или скромничать, когда ежедневно приходят сооб-

щения о новых потерях? Долг есть долг, и справедливость тут ни при чем. Мне хочется жить в Израиле — ну и что? Другим людям хотелось, чтобы их дети были целыми и невредимыми. И я, после короткого обмена телеграммами и телефонными звонками, ответила Шарету согласием, хоть и без особого энтузиазма. Себе же я обещала: «Когда вернусь в Израиль, постараюсь убедить Моше и Бен-Гуриона, что они сделали ошибку». Но в конце первой недели июня сообщение о моем назначении послом в Москву было опубликовано.

Я взяла выходной день, чтобы повидать старых друзей в Нью-Йорке и проститься с новыми. Я хотела перед отъездом посетить Фанни и Джейкоба Гудманов. Ни я, ни дети никогда не теряли контакта с ними; я надеялась, что часок-другой с ними в разговорах о Сарре с Зехарией и Шейниных детях, которых они так давно не видели, поднимет мое настроение. Но я так до них и не добралась. По дороге в Бруклин на мое такси налетела другая машина, и я пришла в себя с переломанной ногой, уже положенной в гипс. На ближайшие несколько недель моим адресом оказался не Тель-Авив и не Москва, а Нью-Йоркский хирургический госпиталь. Вспоминая свое тогдашнее настроение, я думаю, что ничего, даже начавшийся у меня тромбофлебит, не удержало бы меня в госпитале, не подоспей сообщение о том, что 11 июня сражение в Израиле временно закончилось.

К 11 июня продвижение арабов было остановлено. Попытка египтян взять Тель-Авив и Иерусалим провалилась, несмотря на то что иорданцы все еще воевали к востоку и западу от Иерусалима и Еврейский квартал Старого города был захвачен Арабским легионом Абдаллаха. Сирийцы, хоть их продвижение на севере и было остановлено, все еще удерживали предмостное укрепление на реке Иордан, а иракские войска по-прежнему стояли у самой узкой части страны в Самарии. Объединенные Нации уже несколько недель старались добиться перемирия, но пока у арабов оставалась надежда сломить Израиль, они не были в этом заинтересованы. Однако едва только им, как и нам, стало ясно, что этого не произойдет, они согласились на прекращение огня. Это было первое перемирие, длившееся двадцать восемь дней, давшее нам передышку, возможность перегруппироваться и выработать план наступательных операций, в июле закончившихся ликвидацией угрозы Тель-Авиву и прибрежной полосе, снятием осады Иерусалима и разгромом всех крупнейших арабских баз в Галилее.

Казалось бы, несмотря на боли, я могла отдохнуть в госпитале — физически и морально,— но я не имела ни минуты покоя. Прежде всего — из-за телевизионных камер и журналистов. В 1948 году женщина-посол в Москве была для них в новинку, но женщина-посол в Москве, да еще представлявшая крошечное воюющее государство — Израиль, да еще неподвижно лежащая в Нью-Йоркском госпитале — это уже была находка. Вероятно, я могла бы отказаться давать интервью, и сегодня в подобных обстоятельствах я бы так и сделала. Но тогда я думала, что чем больше «паблисити», тем лучше для Израиля, и потому не считала себя вправе отвергать кого бы то ни было из представителей прессы, хотя моих близких, особенно Клару, просто пугали толпы, набивавшиеся в мою палату.

Но было нечто и похуже — давление, которое на меня оказывали, чтобы я поехала в Москву. Израиль бомбил меня телеграммами: «Когда сможешь уехать из Нью-Йорка?» «Когда сможешь заступить на свой пост?» «Как себя чувствуешь?» В Израиле носились слухи, что у меня «дипломатическая» болезнь и все дело в том, что я не хочу ехать в Россию. И, словно мало было этого противного шепотка, были признаки того, что советское правительство задето моим промедлением, которое есть не что иное, как тактический прием, чтобы задержать обмен послами, и, таким образом, американский посол приедет в Израиль первый и станет главой дипломатического корпуса. Несмотря на состояние здоровья, я должна была отнестись к этому со всей серьезностью. И я начала мучить докторов, чтобы они разрешили мне выписаться из госпиталя. Надо ли говорить, что этого делать не следовало. Надо было оставаться в больнице до полной поправки. Оба министерства иностранных дел, и наше, и советское, обошлись бы еще несколько недель без меня, а я бы избежала всяких хлопот со здоровьем и еще одной операции. Но недостаток всякого служебного положения в том и заключается, что человек утрачивает меру вещей, и я была уверена, что, если в ближайшее время не явлюсь в Москву, произойдет какой-нибудь ужасный кризис.

Прибыв в Израиль, я сделала еще одну попытку переубедить Шарета, но я сама

уже не надеялась на успех. К тому же мне рассказали историю, поднявшую мое настроение: Эхуд Авриэль, член Хаганы, много сделавший для доставки нам оружия из Чехословакии и позже ставший первым послом Израиля в Праге, был приглашен там на беседу с советским послом. В разговоре посол сказал Авриэлю: «Вы, вероятно, ищете человека для посылки в Москву. Не думайте, что он должен свободно говорить по-русски или быть экспертом по марксизму-ленинизму. Ни то, ни другое не обязательно». Через некоторое время как бы между прочим он спросил: «Кстати, что с миссис Мейерсон? Она остается в Израиле или у нее другие планы?» Из этого мои друзья, и Шарет в том числе, заключили, что русские по-своему запросили меня,— и я стала относиться к своему назначению по-другому.

Среди немногих приятных минут, пережитых мною в госпитале, была та, когда я получила из Тель-Авива телеграмму: «Не возражаешь ли против назначения Сарры и Зехарии в московское посольство радистами?» Я была растрогана и преисполнена благодарности. Иметь Сарру и Зехарию в России, рядом — для этого чуть ли не стоило покинуть Израиль. Приехав в Тель-Авив, я первым делом спросила Шейну, можно ли обвенчать Сарру и Зехарию в маленьком доме, который они с Шамаем купили много лет назад. Мы решили, что это будет чисто семейное торжество с немногими приглашенными. Отец мой умер в 1946 году — еще один из самых дорогих мне людей, не дождавшийся создания государства,— а бедная мама уже несколько лет как стала совершенно беспомощной — ничего не помнила, плохо видела и так потускнела и изменилась, что почти и следов не осталось той насмешливой, энергичной, задорной женщины, которой она была. Но Моррис был тут, такой же милый, как всегда, и весь лучащийся от гордости, и тут же были родители Зехарии, тоже сияющие. Отец явился в Палестину из Йемена, когда страной еще правили турки. Он был очень беден, очень религиозен и не получил никакого формального образования — его учили только Торе. Но он вырастил прекрасную и любящую семью, хотя сам Зехария к тому времени и отошел от иеменитских обычаев и традиций.

Я опять поселилась в гостинице на набережной. Сарра, приехавшая в Тель-Авив из Ревивима, поселилась на несколько дней у меня, а Зехария, который тяжело болел и несколько недель лежал в больнице под Тель-Авивом, был, наконец, оттуда выписан. Из нашей семьи в саду Шейны, где происходила свадьба, не было только Менахема и Клары. Конечно, я вспоминала собственную свадьбу и думала, как не похожа эта была на ту, да и начинали мы с Моррисом нашу совместную жизнь в совершенно иных условиях. Не стоило думать теперь, кто был виноват и почему наш брак не удался, но я предчувствовала (и в этом не ошиблась), что Сарра и Зехария, хоть и стоят под брачным балдахином в том самом возрасте, в котором стояли когда-то мы, были зрелее и больше подходили друг другу, и то, что не удалось нам с Моррисом, удастся им.

Но в предотъездной суматохе между партийными собраниями, последними деловыми указаниями и дорожными сборами я сосредоточенно думала: какого типа должно быть наше представительство в Советском Союзе? В каком виде мы хотим показаться за границей? Какое представление о себе хотим внушить миру, и в частности Советскому Союзу? Что за государство мы создаем и что нам сделать, чтобы отразить его качества? Чем больше я об этом думала, тем меньше хотела, чтобы наше правительство просто копировало другие. Израиль был мал, беден и все еще находился в состоянии войны. Правительство там все еще было временным (первые выборы в кнессет состоялись только в январе 1949 года), но большинство в нем, разумеется, представляло рабочее движение. Я была убеждена, что мы должны показать миру свое лицо без всяких прикрас. Мы создали халуцианское государство в осажденной стране, лишенной природных и иных богатств; в это государство уже устремились сотни тысяч беженцев — у которых тоже ничего не было — в надежде построить для себя новую жизнь. И если мы хотим, чтобы нас понимали и уважали другие государства, мы и за границей должны оставаться такими же, как дома. Роскошные приемы, великолепные квартиры, всякого рода потребительство — это не для нас. Мы можем проявлять лишь строгость, воздержанность, скромность и понимание нашего значения и задач — все остальное будет фальшью.

Какая-то смутная мысль была у меня все время, и наконец мне удалось ее сформулировать. Наше посольство в Москве будет управляться самым типичным израильским способом: как киббуц. Мы будем вместе работать, вместе есть, полу-

чать равное количество денег на карманные расходы и нести по очереди дежурства. Как в Мерхавии или в Ревивиме, люди будут делать ту работу, которой они обучены, и для которой, по мнению нашего министерства иностранных дел, они подходили, но дух и атмосфера нашего посольства будут те же, что и в коллективном поселении; я верила, что помимо всего прочего русским это должно было особенно понравиться (хоть их собственный коллективизм не вызывал особых восторгов ни тогда, ни потом). Всего нас должно было быть двадцать шесть человек, включая Сарру, Зехарию, меня и советника посольства Мордехая Намира, вдовца с пятнадцатилетней дочерью по имени Яэль. (Потом Намир стал послом Израиля в СССР, затем он был министром труда, а позже в течение десяти лет — мэром Тель-Авива.) В личные помощницы для себя я выбрала Эйгу Шапиро, которая не только говорила по-русски, но и знала куда больше меня об изящной стороне жизни и которой смело можно было поручить решение страшного для меня вопроса — как обставить помещение и как одеть персонал посольства.

Еще до приезда в Тель-Авив я написала Эйге письмо с просьбой поехать со мной, если я в самом деле отправлюсь в Москву, и, к большой моей радости, она согласилась немедленно. Передо мной лежит записка, которую я от нее получила в конце июня в Нью-Йорке, и, по-моему, из нее видно, что́ надо было предусматривать, посылая на высший дипломатический пост женщину, особенно такую, как я, не сомневавшуюся, что в России она сможет жить как дома. Она писала:

«Я поговорила с Эхудом. Он говорит, что мы должны быть очень «comme il faut». Так что, Голда, пожалуйста,— как насчет мехового пальто для вас? Там, куда вы едете, очень холодно, и зимой там очень многие носят шубы. Норку покупать необязательно, но хорошая персидская цигейка очень пригодится... Вам понадобится и несколько вечерних платьев, и еще купите себе всякие шерстяные вещи — ночные рубашки, чулки, белье. И еще, пожалуйста, купите пару хороших зимних ботинок».

Конечно, вопрос туалетов не слишком меня занимал, но тут я пожалела немножко, что у нас нет национального костюма — это бы, по крайней мере, разрешило для меня хоть одну проблему, как для миссис Пандит, которая тоже была дипломатом в Москве и, разумеется, на всех официальных приемах появлялась в сари. В конце концов мы с Эйгой согласились, что на вручении верительных грамот я буду в длинном черном платье, которое мне сшили в Тель-Авиве, и, если надо, надену на голову маленькую черную бархатную шляпу-тюрбан. Обстановку для посольства Эйга решила покупать в скандинавских странах, как только мы найдем постоянное помещение. В ожидании этого мы устроили свой «киббуц» в гостинице. Кроме всего, надо было найти и привезти в Россию кого-нибудь, в совершенстве владеющего французским языком, поскольку было принято решение, что дипломатическим языком Израиля станет французский.

Эйга познакомила меня с умной, забавной, тоненькой как былинка Лу Каддар; она родилась в Париже, ее французский был безупречен, она прожила в Иерусалиме все время осады и была тяжело ранена. Она понравилась мне с первого взгляда — и это было очень хорошо, потому что на долгие годы она стала моим ближайшим другом, незаменимой помощницей и почти постоянной спутницей в поездках. Как бы то ни было, она согласилась отправиться с нами в Россию.

Я пробыла в Израиле в то лето достаточно долго, чтобы приветствовать первого посла Соединенных Штатов, восхитительно-искреннего и теплого человека — Джеймса Дж. Макдональда, с которым уже была знакома прежде, и русского посла — Павла Ершова. Государство было новое, подходящих зданий не хватало, и, типичная черта этого времени — американское и советское посольства расположились в Тель-Авиве в одном и том же отеле, недалеко от меня; я так и не привыкла к виду обоих этих флагов — со звездами и полосами, и с серпом и молотом,— развевавшихся с разных сторон одной и той же крыши. За первые недели этого «сосуществования» произошло немало инцидентов. Например, во время гала-представления в израильской Национальной опере оркестр сыграл сначала «Ха-Тиква», потом в честь Макдональда — «Звездно-полосатый флаг», но «Интернационала» так и не сыграл, хотя советник Ершова тут присутствовал — во всяком случае до той минуты, когда он и сопровождавшие его довольно шумно удалились. В министерстве иностранных дел все трепетали, пока Ершов лично не дал согласие принять наше объяснение, что если бы он сам присутствовал, то, конечно, был бы исполнен

советский гимн. Сегодня эти мелкие несчастья кажутся смехотворными, но тогда мы относились к ним очень серьезно. Все казалось нам важным, а Шарет, от природы щепетильно-точный, считал — как, кстати, и русские,— что протокол имеет огромное значение, хоть я никогда не могла понять почему.

Второе перемирие началось 19 июля, открыв собой длинную и трудную череду переговоров по поводу Негева, который, по рекомендации посредника ООН шведского графа Фольке Бернадота, следовало передать арабам. Учитывая, что он был судьей в этом вопросе, надо признать, что он проявил крайнюю необъективность, и его очень невзлюбили, особенно же когда к нанесенной обиде он прибавил еще и оскорбление, выступив за отрыв Иерусалима от еврейского государства и передачу израильских портов и аэродромов под наблюдение ООН. Конечно же, эти рекомендации были неприемлемы и доказывали только, что Бернадот так никогда и не понял, ради чего было создано еврейское государство. Но тупость — еще не преступление, и я буквально пришла в ужас 17 сентября, всего через две недели после приезда в Москву, узнав, что Бернадота застрелили на тихой улице Иерусалима. И, хоть напавшие на него люди так и не были найдены, мы знали: все решат, что это сделали евреи. Мне казалось, что наступил конец света. Чего бы я только не дала за то, чтобы полететь домой и быть там во время неминуемого кризиса! Но в это время я уже была глубоко вовлечена в совершенно новый и не дававший спуску образ жизни.

Посланник в Москве

Мы прибыли в Москву через Прагу серым дождливым утром 3 сентября 1948 года. Первым делом чиновники советского министерства иностранных дел, встретившие меня на аэродроме, сказали, что сейчас добраться до гостиницы будет непросто, поскольку хоронят Андрея Жданова, одного из ближайших сотрудников Сталина. Поэтому первым моим впечатлением от Советского Союза были продолжительность и торжественность этих похорон и сотни тысяч — а то и миллионы — людей на улицах по дороге к гостинице «Метрополь». Это была гостиница для иностранцев, и она казалась пережитком другой эпохи. Огромные комнаты со стеклянными подсвечниками, длинные бархатные занавеси, тяжелые плюшевые кресла и даже рояль в одной из комнат. На каждом этаже сидела строгая немолодая дама, которой полагалось сдавать ключи при выходе, но, по-видимому, главное ее дело было доносить госбезопасности о посетителях, хотя вряд ли она была единственным источником информации. Мы так и не обнаружили микрофонов в своих комнатах, хотя систематически их искали, и старые аккредитованные в Москве дипломаты не сомневались, что каждое слово, сказанное в двух комнатах, которые мы занимали с Саррой и Зехарией, было записано.

Прожив в гостинице неделю, я поняла, что если мы немедленно не начнем жить «по-киббуцному», то останемся без копейки. Цены были невероятно высоки, первый гостиничный счет меня совершенно оглушил. «У нас есть только один способ уложиться в наш тощий бюджет,— сказала я членам миссии,— столоваться в гостинице только один раз в день. Я добуду продукты для завтраков и ужинов, а в пятницу вечером будем обедать все вместе». На следующий день мы с Лу Каддар купили электроплитки и распределили их по номерам, занятым нашей делегацией; посуду и ножи с вилками пришлось одолжить в гостинице — купить это в послевоенной Москве было невозможно. Раза два в неделю мы с Лу нагружали корзинки сыром, колбасой, хлебом, маслом, яйцами (все это покупалось на базаре) и клали все это между двойными рамами окон, чтобы не испортилось. По субботам я готовила что-то вроде второго завтрака на электроплитке — для своей семьи и холостяков, в том числе Эйги и Лу.

Пожалуй, эти походы на базар ранним утром были самым приятным из всего, что мне пришлось делать в течение семи месяцев пребывания в Советском Союзе. Ни я, ни Лу не говорили по-русски, но крестьяне на базаре были с нами приветливы и терпеливы и давали понять улыбками и жестами, что мы можем не торопиться, выбирая. Я, как и почти все, была очарована вежливостью, искренностью и тепло-

той простых русских людей, хотя, разумеется, меня как социалистку поражало то, что я наблюдала в этом так называемом бесклассовом обществе. Я не верила своим глазам, когда, проезжая по московским улицам при сорокаградусном морозе, увидела, как пожилые женщины, с тряпками, намотанными на ногах, роют канавы и подметают улицы, в то время как другие, в мехах и на высоких каблучках, садятся в огромные сверкающие автомобили.

С самого начала мои комнаты по пятницам были открыты для посетителей. Я надеялась, что местные люди будут, как в Израиле, заходить на чашку чая с пирогом, но это была наивная надежда, хотя традиция пятничных вечеров сохранялась долго и после того, как я покинула Москву. Приходили журналисты, приходили евреи и неевреи из других посольств, приходили заезжие еврейские бизнесмены (например, меховщики из Штатов), но русские — никогда. И ни разу, ни разу — русские евреи. Но об этом позже.

Первым моим официальным демаршем было письмо к советскому министру иностранных дел г-ну Молотову с выражением соболезнования по поводу смерти Жданова, после чего я вручила верительные грамоты. Президент СССР Николай Шверник отсутствовал, так что церемония происходила при его заместителе. Не отрицаю, я очень нервничала. А вдруг я сделаю или скажу не то, что нужно? Это может иметь дурные последствия для Израиля. А если я разочарую русских? Мне никогда не приходилось делать ничего в этом роде, и меня переполняло чувство ответственности. Но Эйга меня успокоила, уговорила надеть ее ожерелье, и я в сопровождении Намира, Арье Левави (нашего первого секретаря) и Иоханана Ратнера (военного атташе) более или менее спокойно приняла участие в коротком ритуале, отметившем начало официального существования израильского посольства в СССР. После того как верительные грамоты были прочитаны, я сказала короткую речь на иврите (предварительно мы послали ее начальнику советского протокольного отдела, чтобы был приготовлен перевод), а потом в мою честь состоялся скромный, довольно приятный официальный прием.

После того как с главными формальностями было покончено, мне страстно захотелось завязать связи с евреями. Я уже сказала членам миссии, что как только я вручу верительные грамоты, мы все пойдем в синагогу. Я была уверена, что уж тут-то мы во всяком случае встретимся с евреями России; тридцать лет, с самой революции, мы были с ними разлучены и почти ничего о них не знали. Какие они? Что еврейского осталось в них, столько лет проживших при режиме, объявившем войну не только всякой религии, но и иудаизму как таковому и считавшем сионизм преступлением, наказуемым лагерями или ссылкой? Но в то время как иврит был запрещен, идиш еще некоторое время терпели и даже была создана автономная область для евреев, говорящих на идиш,— Биробиджан, близ китайской границы. Ничего из этого не получилось, и после второй мировой войны (в которой погибли миллионы русских евреев) советские власти постарались, чтобы большая часть еврейских школ и газет не были восстановлены. К тому времени как мы приехали в Советский Союз, евреев уже открыто притесняли и уже начался тот злобный, направляемый правительством антисемитизм, который пышно расцвел через несколько лет, когда евреи преследовались широко и беспощадно и еврейские интеллигенты — актеры, врачи, писатели — были высланы в лагеря за «космополитизм» и «сионистский империализм». Положение сложилось трагическое: члены миссии, имевшие в России близких родственников — братьев, сестер, даже родителей,— все время терзались, не понимая, можно ли им увидеться с теми, о встрече с которыми они так мечали, ибо, если откроется, что у них есть родственники-израильтяне, это может закончиться судом и ссылкой.

Трудная это была проблема: бывало, мы несколько дней подряд взвешивали «за» и «против» — должен ли Икс встретиться со своей сестрой, надо ли передать продукты и деньги старой больной матери Игрека — и, как правило, приходили к выводу, что это может причинить им вред и ради них же лучше не предпринимать ничего. Были, конечно, исключения, но я сегодня не решаюсь о них написать, потому что это может быть опасно для евреев, все еще находящихся в России. Теперь весь цивилизованный мир знает, что случается с советскими гражданами, если они игнорируют извращенные правила, с помощью которых руководители стремятся их себе подчинить. Но был 1948 год, время нашей, так сказать, «первой

любви», и нам было очень трудно понять и принять систему, в которой встреча матери с сыном, которого она не видела тридцать лет да который к тому же член дипломатического корпуса и «персона грата» в Советском Союзе, приравнивается к государственному преступлению.

Как бы то ни было, в первую же субботу после вручения верительных грамот все мы пешком отправились в главную московскую синагогу (другие две — маленькие деревянные строения); мужчины несли талесы и молитвенники. Там мы увидели сто — сто пятьдесят старых евреев, разумеется, и не подозревавших, что мы сюда явимся, хотя мы и предупредили раввина Шлифера, что надеемся посетить субботнюю службу. По обычаю, в конце службы было произнесено благословение и пожелание доброго здоровья главным членам правительства — а потом, к моему изумлению, и мне. Я сидела на женской галерее, и когда было названо мое имя, все обернулись и смотрели на меня, словно стараясь запомнить мое лицо. Никто не сказал ни слова. Все только смотрели и смотрели на меня.

После службы я подошла к раввину, представилась, и мы несколько минут поговорили. Остальные члены миссии ушли вперед, и я пошла домой одна, вспоминая субботнюю службу и тех немногих, бедно одетых, усталых людей, которые, живя в Москве, все еще ходили в синагогу. Только успела я отойти, как меня задел плечом старый человек — и я сразу поняла, что это не случайно. «Не говорите ничего,— шепнул он на идиш.— Я пойду вперед, а вы за мной». Немного не доходя до гостиницы, он вдруг остановился, повернулся ко мне лицом и тут, на прохваченной ветром московской улице, прочел мне ту самую благодарственную молитву — «Шехехиану», ту самую, которую прочитал рабби Фишман-Маймон 14 мая в Тель-Авиве. Я не успела открыть рта, как старый еврей скрылся, и я вошла в гостиницу с полными слез глазами, еще не понимая, реальной была эта поразительная встреча, или она мне пригрезилась.

Несколько дней спустя наступил праздник Рош-ха-Шана — еврейский Новый год. Мне говорили, что по большим праздникам в синагогу приходит гораздо больше народу, чем просто по субботам, и я решила, что на новогоднюю службу посольство опять явится в полном составе. Перед праздником, однако, в «Правде» появилась большая статья Ильи Эренбурга, известного советского журналиста и апологета, который сам был евреем. Если бы не Сталин, набожно писал Эренбург, то никакого еврейского государства не было бы и в помине. Но, объяснял он «во избежание недоразумений»: государство Израиль не имеет никакого отношения к евреям Советского Союза, где нет еврейского вопроса и где в еврейском государстве нужды не ощущается. Государство Израиль необходимо для евреев капиталистических стран, где процветает антисемитизм. И вообще не существует такого понятия — «еврейский народ». Это смешно, так же, как если бы кто-нибудь заявил, что люди с рыжими волосами или с определенной формой носа должны считаться одним народом. Эту статью прочла не только я, но и все евреи Москвы. И так же, как я, поскольку они привыкли читать между строк, они поняли, что их предупреждают: от нас надо держаться подальше. Тысячи евреев сознательно и отважно решили дать свой ответ на это мрачное предостережение — и этот ответ, который я видела своими глазами, поразил и потряс меня в то время и вдохновляет меня и теперь. Все подробности того, что произошло в тот новогодний день, я помню так живо, как если бы это было сегодня, и волнуюсь вспоминая, ничуть не меньше, чем тогда.

В тот день, как мы и собирались, мы отправились в синагогу. Все мы — мужчины, женщины, дети — оделись в лучшие платья, как полагается евреям на еврейские праздники. Но улица перед синагогой была неузнаваема. Она была забита народом. Тут были люди всех поколений: и офицеры Красной Армии, и солдаты, и подростки, и младенцы на руках у родителей. Обычно по праздникам в синагогу приходило примерно сто-двести человек — тут же нас ожидала пятидесятитысячная толпа. В первую минуту я не могла понять, что происходит и даже — кто они такие. Но потом я поняла. Они пришли — добрые, храбрые евреи,— пришли, чтобы быть с нами, пришли продемонстрировать свое чувство принадлежности и отпраздновать создание Государства Израиль. Через несколько секунд они обступили меня, чуть не раздавили, чуть не подняли на руках, снова и снова называя меня по имени. Наконец они расступились, чтобы я могла войти в синагогу, но и там продолжалась демонстрация. То и дело кто-нибудь на галерее для женщин подходил ко мне,

касался моей руки, трогал или даже целовал мое платье. Без парадов, без речей, фактически — без слов евреи Москвы выразили свое глубокое стремление, свою потребность участвовать в чуде создания еврейского государства, и я была для них символом этого государства.

Я не могла ни говорить, ни улыбнуться, ни даже помахать рукой. Я сидела неподвижно, как каменная, под тысячами устремленных на меня взглядов. Нет такого понятия — еврейский народ! — написал Эренбург. Евреям Советского Союза нет дела до Государства Израиль! Но это предостережение не нашло отклика. Тридцать лет были разлучены мы с ними. Теперь мы снова были вместе, и, глядя на них, я понимала, что никакие самые страшные угрозы не помешают восторженным людям, которые в этот день были в синагоге, объяснить нам по-своему, что для них значит Израиль. Служба закончилась, и я поднялась, чтобы уйти — но двигаться мне было трудно. Такой океан любви обрушился на меня, что мне стало трудно дышать; думаю, что я была на грани обморока. А толпа все волновалась вокруг меня, и люди протягивали руки, и говорили «наша Голда» и «шалом, шалом», и плакали.

Две фигуры из всех я и теперь вижу ясно: маленького человека, все выскакивавшего вперед со словами «Голделе, лебн золст ду, Шана това» (Голделе, живи и здравствуй, с Новым годом!), и женщину, которая только повторяла «Голделе! Голделе!», улыбаясь и посылая воздушные поцелуи.

Я не могла бы дойти пешком до гостиницы, так что, несмотря на запрет евреям ездить по субботам и праздникам, кто-то втолкнул меня в такси. Но такси тоже не могло сдвинуться с места — его поглотила толпа ликующих, смеющихся, плачущих евреев. Мне хотелось хоть что-нибудь сказать этим людям, чтобы они простили мне нежелание ехать в Москву, недооценку силы наших связей. Простили мне то, что я позволила себе сомневаться — есть ли что-нибудь общее между нами. Но я не могла найти слов. Только и сумела я пробормотать не своим голосом одну фразу на идиш: «А данк айх вос ир зайт геблибен иден!» («Спасибо вам, что вы остались евреями!») И я услышала, как эту жалкую, не подходящую к случаю фразу, передают и повторяют в толпе, словно чудесное пророчество. Наконец, еще через несколько минут, они дали такси уехать. В гостинице все собрались в моей комнате. Мы были потрясены до глубины души. Никто не сказал ни слова. Мы просто сидели и молчали. Откровение было для нас слишком огромным, чтобы мы могли это обсуждать, но нам надо было быть вместе. Эйга, Лу и Сарра рыдали навзрыд, несколько мужчин закрыли лицо руками. Но я даже плакать не могла. Я сидела с помертвевшим лицом, уставившись в одну точку. И вот так, взволнованные до немоты, мы провели несколько часов. Не могу сказать, что тогда я почувствовала уверенность, что через двадцать лет я увижу многих из этих евреев в Израиле. Но я поняла одно: Советскому Союзу не удалось сломить их дух; тут Россия, со всем своим могуществом, потерпела поражение. Евреи остались евреями.

Кто-то сфотографировал эту новогоднюю толпу — наверное, фотография была размножена в тысячах экземпляров, потому что потом незнакомые люди на улице шептали мне еле слышно (я сначала не понимала, что они говорят): «У нас есть фото!» Ну, конечно, я понимала, что они бы излили свою любовь и гордость даже перед обыкновенной шваброй, если бы швабра была прислана представлять Израиль. И все-таки я каждый раз бывала растрогана, когда много лет спустя русские иммигранты показывали мне эту пожелтевшую от времени фотографию или ту, где я вручаю верительные грамоты, она появилась в 1948 году в советской печати, и ее тоже любовно сохраняли два десятилетия.

В Йом-Киппур (Судный день), который наступает через десять дней после еврейского Нового года, тысячи евреев опять окружили синагогу — и на этот раз я оставалась с ними весь день. Помню, как раввин прочитал заключительные слова службы: «Ле шана ха баа б'Ирушалаим» («В будущем году в Иерусалиме») и как трепет прошел по синагоге, и я помолилась про себя: «Господи, пусть это случится! Пусть не в будущем году, но пусть евреи России приедут к нам поскорее!» Но и тогда я не ожидала, что это случится при моей жизни.

Некоторое время спустя я удостоилась чести встретиться с господином Эренбургом. Один из иностранных корреспондентов в Москве, англичанин, заглядывавший к нам по пятницам, спросил, не хочу ли я встретиться в Эренбургом.

— Пожалуй, хочу,— сказала я,— мне бы хотелось кое о чем с ним поговорить.

— Я это устрою,— обещал англичанин.

Но обещание так и осталось обещанием. Несколько недель спустя на праздновании Дня независимости в чешском посольстве он ко мне подошел.

— Г-н Эренбург здесь,— сказал он,— подвести его к вам?

Эренбург был совершенно пьян — как мне сказали, такое с ним бывало нередко — и с самого начала держался агрессивно. Он обратился ко мне по-русски.

— Я, к сожалению, не говорю по-русски,— сказала я.— А вы говорите по-английски?

Он смерил меня взглядом и ответил:

— Ненавижу евреев, родившихся в России, которые говорят по-английски.

— А я,— сказала я,— жалею евреев, которые не говорят на иврите или хоть на идиш.

Конечно, люди это слышали, и не думаю, чтобы это подняло их уважение к Эренбургу.

Гораздо более интересная и приятная встреча произошла у меня на приеме у Молотова по случаю годовщины русской революции, на который всегда приглашаются все аккредитованные в Москве дипломаты. Послов принимал сам министр иностранных дел в отдельной комнате. После того как я пожала руку Молотову, ко мне подошла его жена Полина.

— Я так рада, что вижу вас наконец! — сказала она с неподдельной теплотой, даже с волнением. И прибавила: — Я ведь говорю на идиш, знаете?

— Вы еврейка? — спросила я с некоторым удивлением.

— Да! — ответила она на идиш.— Их бин а идише тохтер (я дочь еврейского народа).

Мы беседовали довольно долго. Она знала, что произошло в синагоге, и сказала, как хорошо было, что мы туда пошли. «Евреи так хотели вас увидеть»,— сказала она. Потом мы коснулись вопроса о Негеве, обсуждавшегося тогда в Объединенных Нациях. Я заметила, что не могу отдать его, потому что там живет моя дочь, и добавила, что Сарра находится со мной в Москве. «Я должна с ней познакомиться»,— сказала госпожа Молотова. Тогда я представила ей Сарру и Яэль Намир; она стала говорить с ними об Израиле и задала Сарре множество вопросов о киббуцах — кто там живет, как они управляются. Она говорила с ними на идиш и пришла в восторг, когда Сарра ответила ей на том же языке. Когда Сарра объяснила, что в Ревивиме все общее и что частной собственности нет, госпожа Молотова заметно смутилась. «Это неправильно,— сказала она.— Люди не любят делиться всем. Даже Сталин против этого. Вам следовало бы ознакомиться с тем, что он об этом думает и пишет». Прежде чем вернуться к другим гостям, она обняла Сарру и сказала со слезами на глазах: «Всего вам хорошего. Если у вас все будет хорошо, все будет хорошо у всех евреев в мире».

Больше я никогда не видела госпожу Молотову и ничего о ней не слышала. Много позже Генри Шапиро, старый корреспондент Юнайтед пресс в Москве, рассказал мне, что после разговора с нами Полина Молотова была арестована, и я вспомнила тот прием и военный парад на Красной площади, который мы смотрели накануне. Как я позавидовала русским — ведь даже крошечная часть того оружия, что они показали, была нам не по средствам. И Молотов, словно прочитав мои мысли, поднял свой стаканчик с водкой и сказал мне: «Не думайте, что мы все это получили сразу. Придет время, когда и у вас будут такие штуки. Все будет в порядке».

Но в январе 1949 года стало ясно, что русские евреи дорого заплатят за прием, который они нам оказали, ибо для советского правительства радость, с которой они нас приветствовали, означала «предательство» коммунистических идеалов. Еврейский театр в Москве закрыли. Еврейскую газету «Эйникайт» закрыли. Еврейское издательство «Эмес» закрыли. Что с того, что все они были верны линии партии? Слишком большой интерес к Израилю и израильтянам проявило русское еврейство, чтобы это могло понравиться в Кремле. Через пять месяцев в России не осталось ни одной еврейской организации, и евреи старались не приближаться к нам больше.

Я в то время наносила визиты другим послам в Москве и ожидала постоянного помещения. Наконец нам предоставили дом, двухэтажный особняк с большим двором, где размещалось несколько маленьких зданий, пригодных для жилья. Трудно мне было не думать о том, что происходит в Израиле, и трудно было

рассуждать об обстановке для нового дома на обедах и файф-о-клоках, которые мне приходилось посещать. Но чем скорее мы переедем, тем лучше! — и я послала Эйгу в Швецию купить мебель, занавеси и лампы. Нелегко было найти то, что нам нужно, по тем ценам, которые мы могли себе позволить, но Эйга за несколько недель великолепно с этим справилась и обставила семь спален, приемную, столовую, кухню и все кабинеты — недорого и мило. Кстати, уезжая в Стокгольм, она захватила с собой все наши письма в чемодане, но по дороге решила, что Израилю нужна настоящая «сумка дипкурьера», и заказала ее по спецобразцу в стокгольмском магазине. Купила она для нас и теплую одежду, и консервы.

За семь месяцев, что я была послом в Москве, я возвращалась в Израиль дважды, и каждый раз с таким чувством, будто возвращаюсь с другой планеты. Из огромного холодного царства всеобщей подозрительности, враждебности и молчания я попадала в тепло маленькой страны — все еще воюющей, стоящей перед огромными трудностями, но открытой, преисполненной надежд, демократической и моей собственной,— и каждый раз я отрывалась от нее с трудом. В первый же мой приезд — после выборов в январе 1949 года — Бен-Гурион спросил, не войду ли я в кабинет, который он тогда формировал. «Я хочу, чтобы ты была министром труда»,— сказал он. Партия труда, Мапай, одержала сокрушительную победу на выборах, завоевав 35 процентов всех голосов (на 20 процентов больше, чем Мапам, ее ближайшая соперница), при том что в голосовании приняло участие 87 процентов всех имеющих право голоса. Первое правительство государства представляло коалицию, куда вошли: Объединенный религиозный фронт, Прогрессивная партия и сефарды (крошечная партия, представлявшая интересы так называемых восточных евреев).

Религиозный блок восстал было против назначения женщины министром, но через некоторое время пошел на уступки, согласившись, что в древнем Израиле Дебора была судьей — что во всяком случае равнялось министру, если не больше. Религиозный блок возражал против моего назначения (потому что я женщина) и в пятидесятые годы, когда я была кандидатом в мэры Тель-Авива,— и в этом случае, в отличие от 1949 года, победа осталась за ним. Как бы то ни было, предложение Бен-Гуриона очень меня обрадовало. Наконец-то я буду жить там, где хочу, делать то, что я больше всего хочу, притом на этот раз то, что я по-настоящему умею. Конечно, ни я, ни другие члены правительства еще не знали, что, собственно, входит в юрисдикцию министерства труда. Но более благодарной и конструктивной работы, чем эта, в которую, кроме всего прочего, во всяком случае, входило трудоустройство и расселение сотен тысяч эмигрантов, которые уже начали приезжать в Израиль, я и представить себе не могла. Я сейчас же, ни минуты не колеблясь, дала Бен-Гуриону согласие и никогда об этом не пожалела. Те семь лет, что я была министром труда, были, без сомнения, самым счастливым временем моей жизни. Эта работа приносила мне глубокое удовлетворение.

Но перед тем как окунуться в эту работу, я должна была вернуться в Москву еще на несколько недель. И очень скоро благотворное влияние путешествия домой сошло на нет. Явное социальное неравенство, общий страх, изоляция, в которой пребывал дипломатический корпус,— все это угнетало меня неимоверно, и к этому присоединялось чувство вины, что я-то скоро уеду, а Намир, Левави и все прочие останутся. Сарра и Зехария очень хотели уехать, как и Лу, но им предстояло провести в посольстве еще несколько месяцев. У меня началась серия прощальных приемов. Я простилась с немногими советскими официальными лицами, лично мне известными. Эти люди всегда были вежливы и, в девяти случаях из десяти, всегда уклончивы, отвечая на наши запросы. Однако с нами обходились не хуже (если не лучше), чем с другими дипломатическими миссиями, и, как и те, мы постепенно привыкли к полному отсутствию утвердительных ответов — да и ответов вообще. Конечно, больше всего мне хотелось сказать евреям не «прощайте», а «до свидания», но почти никто не отважился появляться в посольстве, да и в синагоге больше не было толпы.

20 апреля 1949 года я вернулась в Израиль. Пожалуй, тут надо рассказать о том, что там происходило, ибо в течение 1949 и 1950 годов Израиль пережил нечто такое, чего не пережила ни одна страна: его население за это время удвоилось. Война за независимость закончилась (если считать, что она закончилась) весной 1949 года, и перемирие — но не мир — было подписано с Египтом, Ливаном, Иорданией

и Сирией при помощи и содействии доктора Ральфа Банча (ставшего посредником от ООН вместо графа Бернадота). Увы, это не означало, что арабские страны примирились с нашим существованием. Это означало лишь, что война с нами, к которой они так стремились и которую проиграли на полях сражений, теперь будет вестись по-иному, так, чтоб она не могла окончиться их поражением и, как они надеялись, привела бы к разрушению еврейского государства. Побитые арабы сменили военное оружие на экономическое. Они бойкотировали компании и частных лиц, торговавших с нами. Они закрыли Суэцкий канал для еврейского судоходства, пренебрегая международной конвенцией о том, что канал должен быть всегда открыт для всех государств.

И они не перестали нападать на евреев. Годами продолжалось проникновение вооруженных арабских шаек на нашу территорию; они убивали и грабили, поджигали поля и сады, уводили скот и вообще превращали жизнь наших пограничных поселений в сплошные невзгоды. Когда мы протестовали или пытались убедить Объединенные Нации, что эти постоянные рейды на нашу территорию являются, в сущности, продолжением войны и полным нарушением условий перемирия, арабские государства кричали, что они к этому не причастны и потому не в их силах прекратить подобные «инциденты»; мы же знали, что они поставляют деньги, оружие и плацдарм, и даже могли это доказать. При обычных обстоятельствах, полагаю, они бы довели нас своими вечными коварными и очень опасными вылазками до такого бешенства, что мы бы ответили по-настоящему, как полагается суверенному государству. Но в то время мы были так озабочены проблемой прокорма, расселения и трудоустройства 684 тысяч евреев, прибывших в Израиль из семидесяти стран между 14 мая 1948 года и концом 1951 года, что поначалу только жаловались в Объединенные Нации, надеясь, что они хоть что-нибудь предпримут.

Трудно представить себе сегодня, что являл собой этот человеческий поток. Они были не такие, как иммигранты нашего с Шейной времени,— здоровые, крепкие молодые идеалисты; им не терпелось поскорее осесть на земле, и все неудобства, они считали, были частью великого сионистского эксперимента, в котором с таким жаром приняли участие. И не такие, как специалисты, коммерсанты и ремесленники, прибывавшие в 30-е годы с собственными сбережениями, которые стали помогать развитию экономики ишува, едва доехали до Палестины. Сотни тысяч евреев, прибывших в Палестину в те первые годы, были совершенно неимущими. У них не было ничего, кроме воли к жизни и желания уйти от своего прошлого. Многие были сломлены, если не духовно, то физически, многие тысячи — и физически и духовно. Евреи Европы пережили страшную трагедию; евреи арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки жили там в бедности, терроризированные в своих гетто и казбах самыми угнетательскими режимами мира, и вообще не слишком хорошо представляли себе жизнь в двадцатом веке. Словом, это был поток евреев с разных концов земли; они говорили на разных языках, ничего не знали о чужих традициях и обычаях, ели разную еду и вообще разнились, казалось бы, во всем — кроме одного: все они были евреями. А это значило много — в сущности, все.

Я знаю, что статистика — чтение скучное, во всяком случае для меня, но с вашего разрешения я все-таки приведу некоторые цифры, иллюстрирующие круг проблем, которыми нам — и израильскому министру труда в частности — пришлось заниматься. В 1949 году 25 тысяч европейских евреев приехали в Израиль из кипрских лагерей и 75 тысяч — из немецких и австрийских лагерей перемещенных лиц. Из 80 тысяч евреев, живших в Турции, 33 тысячи к концу 1950 года оказались в Израиле. Чехословакия тоже выпустила своих выживших евреев — по 20 тысяч в год. Осенью 1950 года 37 тысяч болгарских евреев и 7 тысяч югославских — почти все, оставшиеся в живых после Катастрофы,— добрались до Израиля. Известие о создании еврейского государства вызвало иммиграцию 5 тысяч евреев из Шанхая и 35 тысяч из Марокко, Туниса и Алжира менее чем за три года. Польша и Румыния поначалу не отпускали евреев, но в 1949 году у их правительства на короткое время переменилось настроение, и с декабря 1949 по февраль 1951 года из Польши приехало 28 тысяч человек. В 1950—1951 годах присоединились еще 88 тысяч евреев из Румынии. В 1950 году началось движение венгерских евреев — по 3 тысячи в месяц, и прежний подпольный ручеек эмигрантов из Ирана превратился в целый поток, захвативший тех, кто приезжал ради этого из соседних с Ираном стран. В том же 1950 году в Ираке был принят закон, дававший право на эмиграцию

в течение двенадцати месяцев, и 121 тысяча иракских евреев была перевезена в Израиль самолетами, пока еще было время.

Каждая из этих миграций, каждый из этих массовых ответов на создание Израиля имели собственную историю, не похожую на другие. Но, конечно, самой замечательной была переправка на самолетах евреев Йемена. Никто не знает, когда впервые евреи пришли в Йемен. Может быть, в дни царя Соломона, а может быть, были евреи, которые пересекли горы Аравии с римскими войсками, сражавшимися здесь в начале христианской эры. Как бы то ни было, евреи прожили с мусульманами-йеменцами много столетий, отрезанные от еврейского мира, преследуемые, лишенные политических прав, обедневшие, но не изменившие своей религии и Библии, в течение веков остававшейся единственным источником их знаний и учености. Они жили как рабы, как собственность правителей Йемена; им запрещалось заниматься профессиями, разрешенными для других, им запрещалось даже ходить по той же стороне улицы, что и мусульмане. В этой отсталой, изуверской, бедной стране евреи были самыми бедными, самыми униженными гражданами, но, в отличие от других, они были грамотными. В своих синагогах и школах они учили мальчиков читать и писать на иврите; помню, мое первое впечатление от йеменских евреев было, что они умеют читать «вверх ногами». Книги были так редки, что дети, сидевшие кружком в хатках-мазанках, служивших школами в еврейских кварталах, должны были научиться читать Библию под любым углом.

Как они сохранились? Они стали мастерами-ремесленниками — серебряных и золотых дел мастерами, ткачами, каменщиками. Сегодня вы можете увидеть и купить где угодно в Израиле их изящные, экзотические, филигранные работы. Конечно, те, кто не могли поддержать существование семьи ремеслом, становились сезонными рабочими и разносчиками; но жизнь евреев там была не только унизительной, но и опасной. Из 1000 рождавшихся еврейских детей умирало 800, и всех осиротевших мальчиков вынуждали перейти в мусульманство. И все-таки еврейская община в Йемене так и не исчезла никогда; бывало, имам сам кому-нибудь разрешал покинуть Йемен, или они убегали через пустыню в Аден, надеясь оттуда перебраться в Святую Землю — хотя это удавалось очень немногим.

И все-таки, когда я приехала в Палестину в 1921 году, там уже были йеменские евреи. Они меня очаровали. Я знала, что они способны на чудеса силы и ловкости, но мне они казались темными хрупкими куколками в своих разноцветных традиционных одеждах (в Йемене им разрешалось одеваться, как арабам). Женщины тогда поверх узких великолепно расшитых брюк носили прелестные платья с капюшонами, а мужчины — все поголовно с длинными пейсами — носили полосатые халаты. Во время войны несколько тысяч йеменцев, получивших разрешение англичан уехать из Адена в Палестину, приплыли через Красное море и Суэцкий канал. Но большинство все еще оставалось в западне. В 1947 году, через несколько дней после голосования в Объединенных Нациях по поводу раздела Палестины, в Адене произошли сильные арабские волнения, и положение евреев в Йемене ухудшилось. В отчаянии и ужасе тысячи йеменских евреев, прослышав, что создано наконец еврейское государство, взяли свою судьбу в собственные руки и решились бежать. Они побросали свое небольшое имущество, собрали семьи и, как библейские дети Израиля, двинулись из рабства к свободе, веря, что так или иначе достигнут обетованной страны. О новом движении за создание поселений в Палестине они узнали от Явнеэли, восточноевропейского еврея из Палестины, проехавшего в 1908 году через Йемен. Они шли группами, по 30—40 человек; на них нападали арабы разбойники, они ели только питты (арабские лепешки), мед и фиги, которые смогли унести, они платили огромные выкупы за каждого мужчину, новорожденного младенца и отдельно за Библию в бесчисленных княжествах пустыни, через которые они проходили. Большая часть их дошла до Адена, где были лагеря для них, организованные Объединенной комиссией по распределению, укомплектованные израильскими врачами и социальными работниками; там они отдыхали, молились и читали свои Библии. Но когда египтяне закрыли Суэцкий канал для израильского судоходства, остался один лишь путь — по воздуху. И ежедневно в Израиль прибывало 500—600 йеменских евреев на огромных транспортных самолетах, перелетавших Красное море. Эта операция вскоре получила название «Ковер-самолет». Переброска шла в течение всего 1949 года. К концу года в Израиль было доставлено 48 тысяч йеменских евреев.

Иногда я приезжала в Лод, видела, как приземляются самолеты из Адена, удивлялась терпению и доверию измученных пассажиров.

— Вы видели когда-нибудь самолет? — спросила я бородатого старика.

— Нет,— отвечал он.

— И не побоялись лететь?

— Нет,— ответил он твердо.— Все это написано в Библии. В книге Исаии: «Поднимешься ты на крыльях орла».

И тут же, на аэродроме, он прочел мне весь отрывок, и лицо его сияло радостью — оттого что пророчество сбылось и путешествие окончилось. Теперь в Йемене фактически не осталось евреев, и шрамы, нанесенные долгим изгнанием, начинают исчезать. Бен-Гурион говорил, что счастливейшим днем для него будет тот, когда йеменский еврей будет назначен начальником штаба израильской армии, и я думаю, что этот день уже недалек.

Перечитав все это, я опять изумилась количеству иммигрантов, которых мы абсорбировали. Но тогда мы имели дело не с абстрактными цифрами. В Законе о возвращении — принятом в июле 1950 года, по которому все евреи получают право въезда и автоматически израильское гражданство,— нас беспокоила не арифметика. Нас беспокоило, как мы сумеем прокормить, одеть, расселить, дать образование и вообще позаботиться об этих людях. Как и на что? Когда я вернулась в Израиль, 200 тысяч человек жило (если это можно так назвать) в палатках, чаще всего — по две семьи в одной палатке. И не обязательно обе семьи были из одной страны или с одного континента. Не говоря уже о том, что все наши службы, созданные второпях, работали не слишком хорошо и что их не хватало на такую массу людей, было множество больных, истощенных, увечных, которые в нормальных условиях еще могли бы кое-как справиться, но тут были совершенно беспомощны. Человек, переживший годы нацистского рабства и лагеря перемещенных лиц, отважившийся на путешествие в Израиль, в лучшем случае не вполне здоровый, в худшем с физическими увечьями, которому полагались бы идеальные условия, оказывался — вместе со своей семьей, если она сохранилась,— в невыносимой тесноте, бок о бок с людьми, с которыми у него не было даже общего языка. В девяти случаях из десяти он считал своих соседей дикарями, потому что они никогда не видели ватерклозета. Но при всем том он пришел бы в себя скорее, если бы мы могли сразу же предоставить ему работу, или переселить его в более пригодное жилье, или еще как-нибудь дать ему то чувство стабильности, к которому он стремился, как все беженцы. Или вообразите неграмотную женщину из Ливии, Йемена или пещер Атласского хребта, которую вместе с детьми сунули в открытую всем ветрам и дождям палатку с польскими или чешскими евреями, которые готовят не так, едят то, от чего ее тошнит, и, по ее представлению, даже и неевреи вовсе — не то неверующие, не то соблюдают другие обряды и молятся по-другому.

Теоретически это не должно иметь значения. Теоретически ни теснота, ни нищета, ни интеллектуальные или культурные различия не должны иметь значения для людей, переживших Катастрофу или ушедших пешком из Йемена через кишащую разбойниками раскаленную пустыню. Но теория — это для теоретиков. Люди — это люди, а те неудобства и надрывы, которые я сама наблюдала в палаточных городках 1949 года, были поистине невыносимы. Их всех надо было немедленно как-то расселить и создать для них рабочие места. О здоровье их и о питании заботились более или менее прилично; с болезнями, которые привезли с собой иммигранты,— туберкулез, трахома, глисты, малярия, тиф, дизентерия, корь, пеллагра — удавалось справиться, хоть я и не понимаю, как наши измученные доктора и сестры это делали. И во всех палаточных городках были какие-то школы, где шло интенсивное преподавание иврита. Но проблема расселения в 1949 году казалась неразрешимой.

Несмотря на замечательную поддержку мирового еврейства, денег у нас всегда было недостаточно. Благодаря соседям наш военный бюджет оставался самым высоким, да и другие потребности государства надо было как-то удовлетворять. Мы не могли закрыть школы, больницы, общественный транспорт, промышленность (какая бы она ни была), мы не могли каким бы то ни было образом сдерживать государственное развитие. Все надо было делать одновременно. Но были вещи, без которых можно было обойтись — и мы обошлись. Мы ввели карточки на все — на еду, на одежду, на обувь,— и это длилось годами, и мы

к этому аскетизму привыкли. Недавно я нашла свои карточки — коричневый буклет, выпущенный в 1950 году министерством торговли и промышленности,— и вспомнила часы, которые я проводила в очередях — за несколькими картофелинами, за тремя яйцами, за мороженой рыбой. Когда мы ее получали, это был настоящий пир.

К счастью, после России у меня осталась одежда. Но большинству израильтян приходилось по-настоящему нелегко. Уровень жизни резко снизился. То, чего в 1948 году хватало на одну семью, теперь надо было разделить между двумя или тремя. Если бы ветераны израильтяне, только что закончившие тяжкую многомесячную войну, возмутились — их можно было бы понять. Но никто не возмущался. Некоторые говорили, что, возможно, иммигрантам следовало бы переждать на местах и приехать сюда, когда дела пойдут лучше. Но никто, ни один человек, никогда даже не заикнулся, что это бремя нам не под силу и что новорожденное государство может его и не вынести. Мы все туже и туже затягивали пояса — но все-таки дышали. И в одном мы все были согласны: без этих евреев не стоило иметь Израиля.

С чего-то надо было начинать в первую очередь. И мне казалось, что начинать надо с расселения и трудоустройства иммигрантов. Не все коллеги по министерству со мною соглашались. Эксперты встали стеной и подробно, с картами и планами объясняли мне, почему моя идея расселения не годилась. Это все приведет к инфляции, утверждали они. Куда умнее вложить те небольшие деньги, которыми мы можем распоряжаться, в фабрики или в рационализацию сельского хозяйства. Но я не могла ни принять, ни поддержать никаких рекомендаций, которые бы решали проблемы абсорбции без учета простых человеческих потребностей. И с точки зрения будущего страны я была уверена, что никакие меры не будут «продуктивнее», чем расселение. Мне было совершенно ясно, что гражданские чувства, ощущение принадлежности, начало интеграции, то есть само создание общества, главным образом зависит от того, в каких условиях люди живут. Все возвышенные рассуждения о социальной ответственности, образовании и даже здравоохранении ни к чему, пока мы не вытащим хоть часть иммигрантов из этих страшных палаток и не переселим их в подходящие дома.

Через несколько недель после приезда из Москвы я пришла в кнессет с планом домостроительства (на 30 тысяч единиц) и провела его, несмотря на возражения. Но строить дома из молока и меда невозможно (и достать молоко и мед — тоже!), и поэтому я поехала в Штаты для сбора средств и опять обратилась к американским евреям с просьбой о помощи. На этот раз «не для того, чтобы выиграть войну, но для того, чтобы поддержать жизнь». Я сказала:

«Две недели назад, во вторник, я представила нашему парламенту план — построить тридцать тысяч домов до конца этого года. Парламент одобрил мое предложение, и в стране очень обрадовались. Но, собственно говоря, я сделала странную вещь: представила план, на выполнение которого у меня нет денег.

Мы хотим предоставить каждой семье роскошную квартиру — из одной комнаты; комнаты мы построим из бетонных блоков. Мы даже не будем штукатурить стены. Мы подведем дома под крышу, но не будем делать потолки. Мы надеемся, что, строя свои дома, люди научатся ремеслу и закончат их сами, а позже — пристроят к одной комнате другую. Мы будем довольны, и они будут довольны, хотя это значит, что семья из двух, трех, четырех, пяти человек будет жить в одной комнате. Но это все же лучше, чем две или три семьи в одной палатке.

Это ужасно — подделать подпись на чеке,— но я это сделала. Я обещала людям в лагерях, что правительство выстроит тридцать тысяч домов; и мы уже начали строить на те небольшие деньги, что у нас есть. Но на тридцать тысяч домов этих денег не хватит. От вас зависит — держать ли этих людей в лагерях, посылая им продуктовые посылки, или дать им работу, которая восстановит в них чувство собственного достоинства».

Деньги я собрала, и мы начали строить. Что говорить, поначалу немало мы наделали ошибок, в том числе и в планировке, и в выполнении. Мы плохо рассчитывали, плохо выбирали места застройки, не поспевали за потоком иммигрантов. Под конец мы научились строить довольно быстро и довольно хорошо, но к октябрю 1950 года мы выстроили только треть запланированных домов, потому что из-за необычно суровой зимы нам пришлось потратить предназначавшиеся для стро-

ительства деньги на покупку тысяч металлических бараков; на зиму они годились, но летом — а лето в Израиле длинное — превращались прямо-таки в духовки. И все же ни одна семья, въехавшая в Израиль, не осталась без крова. Каким-то образом мы находили или изобретали жилье для всех. Когда ржавые металлические бараки пришли в негодность, мы создали десятки тысяч хижин из парусины, прибитой к деревянным рамам; когда и они вышли из строя, мы на некоторое время, вздыхая, вернулись к палаткам. Но никто никогда не спал под открытым небом, и мы продолжали строить.

Однако к концу 1950 года мы поняли, что нельзя считать наши лагеря «временными центрами» абсорбции, которым предстоит прослужить всего несколько месяцев. Ясно было, что пользоваться ими придется в течение нескольких лет, а раз так, то они должны были измениться. Их надо было превратить в рабочие поселки на окраинах городов, чтобы иммигранты жили поблизости от мест, где потребуется их труд. Организовать их следует так, чтобы люди могли обслуживать себя сами: готовить, а не ходить в общественные столовые и участвовать в системе обслуживания. Мы не могли взимать налоги с совершенно неимущих людей, но могли избавить их от ощущения иждивенчества.

Новые лагеря были названы «маабараот», от ивритского слова «маабара» — транзитный пункт, и к ноябрю 1951 года у нас было 112 маабараот, где жило 227 тысяч иммигрантов. Но, поскольку мы не желали создать в Израиле два класса — сравнительно благополучных «старожилов», с одной стороны, и новых иммигрантов в их перенаселенных и уродливых маабараот — с другой, то думать надо было не только о расселении. Надо было обеспечить людей работой и зарплатой, и я считала, что сделать это можно, только создав программу общественных работ.

Это тоже было нелегко. Большая часть так называемых восточных евреев (уроженцев Ближнего Востока и Северной Африки) не имели профессий, применимых в новом государстве. Мы опасались, как бы многие из них не приучились годами жить на подачки, ничего не делая, что расширило бы брешь между нами и ими. Благотворительность, даже просвещенная, ничего тут не решает. Надо было создать рабочие места, и создать их должны были мы; поэтому мы пустили в ход целый ряд проектов, по которым людям, в жизни не державшим в руках сверла или кирпича и даже не знавшим, что такое сельскохозяйственный труд, предоставлялась работа. Министерство труда решило строить дороги по всей стране — и сотни акров каменистой, неудобной земли были очищены, пересыпаны и обсажены лесом вручную. А мы все это время продолжали строить и обучать иммигрантов, хотя волна иммиграции не снижалась до 1952 года.

Но ни трудности по подготовке рабочей силы, ни домостроительство, ни абсорбция тысяч новых иммигрантов в нашу экономику не являлись главной проблемой. Конечно, это все было важно, но не это заботило нас больше всего. По-настоящему в те дни нас заботило то, что и сегодня заботит в немалой степени мыслящих израильтян: как объединить людей, у которых, по всей видимости, так мало общего и которым так трудно понять друг друга. Но опять-таки потому, что у нас не было выбора, нам удавались порой самые безнадежные предприятия. Помню, как пессимистически — чтобы не сказать отрицательно — кое-кто из моих коллег относился к строительству дорог. Не говоря уж о том, что такая дорожная сеть нам вообще не нужна, самый ввоз строительного материала — непозволительная роскошь, да и дороги в конце концов плохие, потому что у нас не такие рабочие, какие тут нужны. Я же рассчитывала на три вещи: на преданность и изобретательность старожилов; на возрастающее стремление новых иммигрантов честно зарабатывать свой хлеб, вместо того чтобы быть на содержании у государства или у Еврейского агентства; на понимание и щедрость мирового еврейства, которое снова и снова отзывалось на наши бесконечные просьбы о помощи. Надо сказать теперь, что меня очень редко постигало разочарование, хотя, вспоминая, как прокладывались в 1949 и в начале 1950 года эти дороги, я признаю, что посторонним мы могли показаться сумасшедшими. Мы обычно нанимали одного квалифицированного рабочего-строителя из Иерусалима или Тель-Авива, тут же делали его десятником, и он отправлялся строить дорогу где-нибудь на юге, начальствуя над десятком людей из десятка стран, говорящих на десяти разных языках и пробывших в Израиле каких-нибудь несколько месяцев. Как он с ними договаривался — ему одному известно. Но так или иначе, может быть, и не слишком хорошо и не

слишком дешево, эти дороги (в мою честь их иронически прозвали «золотые дороги» [1]) были построены.

В 1952 году, когда иммиграция стала уменьшаться вплоть до 1000 человек в день, мы стали направлять вновь прибывших из маабараот в новые кварталы городов и пограничных деревень по всему Израилю, нажимая более на сельское хозяйство, чем на общественные работы. Мы давали каждой семье не только крошечный дом, но и участок земли, скот и уроки по обработке земли. Тут мы тоже наделали ошибок. Мы, вероятно, слишком рано стали торопиться с нашим «плавильным котлом», создавая деревни, как строительные дорожные бригады — из людей очень разных. Между ними было очень мало общего, и им было трудно (а подчас и невозможно) жить вместе в совершенно изолированной части страны; к тому же у них не было никакого земледельческого опыта и никакого желания заниматься земледелием. Многие не подчинились и бежали в города, где поселились в трущобах. Но большинство осталось на месте, превратившись в первоклассных фермеров, и их дети теперь выращивают израильские фрукты, овощи и цветы, которые покупаются во всем мире.

Не уверена, что мои посещения строительных площадок, новых дорог и поселений доставляли большое удовольствие ответственным за строительство инженерам и архитекторам. Не могла я не замечать, заходя в эти крошечные домики, что стена между так называемой столовой и кухней делает домик еще меньше и что сама кухня спроектирована так, что ее невозможно содержать в чистоте, особенно для женщины, в жизни не готовившей под крышей; что для домика, стоящего на откосе, недостаточно двух ступенек крыльца — нужна третья, особенно для семей, где есть семь-восемь детей, и мать беременна, и есть еще старики. «Но тогда это будет стоить гораздо дороже»,— слышала я ответ на свои пожелания.

Конечно, можно было согласиться, что иммигрантам — особенно из Йемена и Северной Африки — теперь даже в плохо спроектированных домах лучше, чем было. «Они не знают, как жить в домах, которые вы хотите для них построить,— говорили мне.— Они не знают, что такое ванные и уборные со сливом. Они превратят их в кладовки для всякого хлама». Это правда, они не знали, что такое ванные и как пользоваться душем, но это не значило, что они не имеют на них права и что их не надо учить, как всем этим пользоваться. Все это, кстати, относилось и к кухням, и к школам, и к самому государству. Но мы и впрямь ничего не могли сделать без денег.

И, хотя я терпеть не могла отрываться от Израиля, я снова пускалась в путь — произносить речи и собирать деньги: в Европу, в Соединенные Штаты, в Южную Америку. Но и сбор денег надо было приспособлять к нашим изменившимся обстоятельствам. Объединенный еврейский призыв стал великолепным инструментом для сбора средств — но это все еще был «призыв», и деньги нам давали «даром». Уже не один год меня смущал образ еврейского государства, рассчитывающего на благотворительность, которая, не говоря ни о чем прочем, никак не могла соответствовать нашей растущей потребности в капиталовложениях. Я не была ни экономистом, ни инженером-строителем; но чтобы понять, на какой высоте должна находиться кухонная раковина, мне не нужна была рулетка, и чтобы понять, что филантропические деяния будут уменьшаться, мне не надо было быть финансистом. Однако меня беспокоило не только количество денег; меня тревожило их происхождение. Я считала, что вечная зависимость от филантропии разрушает основные идеи сионизма — опираться на себя, работать на себя, не говоря уж о национальной независимости. И я стала думать о других источниках средств, источниках, которые сделали бы мировое еврейство партнерами и в наших предприятиях, и в собирании изгнанников. После моей поездки в США в 1948 году я постоянно переписывалась по этому поводу с Генри Монтором, и когда мы встречались — он, я и Элиэзер Каплан (первый израильский министр финансов),— мы подробно и тщательно обсуждали возможность новых путей — в частности, возможность выпуска израильских облигаций.

Идея выпуска облигаций впервые была высказана публично в сентябре 1950 года в Иерусалиме, на трехдневной конференции, созванной Бен-Гурионом с участием представителей главнейших еврейских общин в США. Вначале она не вызвала энтузиазма. А что, если продажа облигаций подорвет усилия

[1] Голда — золотая *(идиш)*.

Объединенного еврейского призыва? И кому придет охота делать деньги в Израиле или, что более вероятно,— потерять их? Филантропические даяния списываются с налогов — но не облигации. А что, если правительство США не отнесется благосклонно к выпуску облигаций? Но под всеми этими явно выражаемыми тревогами и опасениями я чувствовала одну скрытую тревогу, и касалась она изменения характера отношений с Израилем. Никто не сказал напрямик, что рисковать не стоит, но я видела, что сама идея долговых обязательств в настоящее время крайне нежелательна. Однако она нашла мощного защитника, куда более влиятельного, чем Бен-Гурион, Каплан, Монтор и я, вместе взятые. Генри Дж. Моргентау, бывший председатель Объединенного еврейского призыва, в свое время министр финансов США, с которым я в 1948 году много разъезжала по еврейским общинам, сразу все понял и одобрил. Он сделал больше. Он пошел в Белый дом к Трумэну, и выяснилось, что президент тоже понял и одобрил. Новая конференция была созвана — на этот раз в Вашингтоне,— и мне было поручено трудное дело: убедить неверующих и превратить их скептицизм и сопротивление в поддержку и сотрудничество.

И тут я прямо взяла быка за рога. Для того чтобы Израиль мог развиваться, расти и расцветать, даже для того, чтобы он мог сам себя прокормить, нам нужно было полтора миллиарда в течение предстоящих трех лет. Мы сами — все миллионное население — берем на себя треть этой огромной суммы. Но две трети, разными способами, должны будут обеспечить американские евреи, в частности, путем покупки наших облигаций.

«Часть денег может быть принесена в дар, но часть — большая часть — должна быть вложена нами в доходные предприятия и возвращена с процентами. В помощь широкому и сильному Объединенному еврейскому призыву мы хотим получить еще и капиталовложения; хотим продавать облигации; хотим взять у вас деньги взаймы. Не знаю, какое обеспечение мы можем вам предоставить, какого обеспечения вы можете от нас потребовать. Думаю, что от имени правительства Израиля я могу предложить вам только одно обеспечение. Обеспечение самого лучшего качества: народ Израиля, сотни тысяч евреев, которые еще приедут в Израиль, и десятки тысяч тех, кто уже приехал и живет в палатках. Могу еще предложить и наших детей — детей наших «ватиков», старожилов, и йеменских, иракских, румынских детей, которые растут в Израиле гордыми, ничего не боящимися и уважающими себя евреями. Они уплатят этот долг, и честь заставит их выплатить его с процентами».

Говоря это, я видела этих детей и их родителей, которые каждое утро длинными рядами выходили из палаток, деревянных бараков и парусиновых лачуг сажать деревья на холмах и строить дороги. Многие были немолоды, одежда у всех износилась, тела казались хрупкими — но ведь всего несколько месяцев назад они, согнувшись и понурившись, ходили по йеменским улицам или, безучастные ко всему, сидели в еврейских лагерях перемещенных лиц. Теперь они подняли головы, выпрямились, и в руках у них кирки и лопаты. Я знала, что они — хорошее капиталовложение, и, слава Богу, не ошиблась. С мая 1951 года, когда мы начали свою кампанию, по сегодняшний день, продано было на миллиарды облигаций, и один миллиард уже выплачен. Влившись в израильскую экономику, в бюджет развития, эти облигации сразу и в очень большой степени помогли ее жизнеспособности.

Но, конечно, я не только работала. Были у меня и личные радости и горести в жизни, как у всех. В 1951 году, когда я была в поездке — в одной из бесконечных поездок по сбору средств,— я получила телеграмму о смерти Морриса. Я немедленно полетела в Израиль на похороны, и всю дорогу думала, какую жизнь мы бы прожили вместе, если бы я была не такая, какая есть. О своей печали я не могла и не хотела говорить ни с кем, даже с родными. И писать об этом теперь я не могу. Скажу лишь, что над его могилой я снова поняла, какую тяжкую цену я заплатила — и заставила заплатить Морриса — за все, что пережила и совершила в годы нашей разлуки.

И была Саррина беременность, болезнь, мертворожденный первенец и невыносимая тревога за нее, когда мы с Зехарией старались добиться от врачей заверения, что все будет хорошо, а вместо этого слышали, что надежды очень мало. Я не могла в это поверить, может быть, потому, что много лет назад я уже слышала эти самые

слова, а может быть, потому, что человек вообще им не верит. Но она выкарабкалась и на этот раз и — уж такая она была! — захотела тут же вернуться в Ревивим и обязательно родить второго ребенка. Несмотря ни на что, страх за нее у меня не проходил несколько месяцев, и всякий раз, когда я вспоминала ее страшную болезнь, мне хотелось тут же перетащить ее из Ревивима в Иерусалим, чтобы ухаживать за ней самой. Но я знала, что мне это не удастся, что я должна позволить ей жить своей жизнью, где и как она хочет, несмотря на все мои тревоги.

В дни, когда я была министром труда, больше всего удовольствия мне доставляла моя квартира в Иерусалиме. Меня никогда особенно не интересовала обстановка жилища — было бы чисто, удобно и уютно. Дом — это всего-навсего дом, и я переменила немало домов с тех пор, как было создано государство: резиденцию министра иностранных дел, резиденцию премьер-министра, а теперь — маленький домик в дачном предместье Тель-Авива, в другой половине которого живут Менахем, Айя, их три сына и кокер-спаниель по имени Дэзи, который меня любит куда больше, чем я его. Но ни одно из этих жилищ не значило для меня столько, сколько прелестная квартира, которая была моей с 1949 по 1956 год. Ее история — это не просто рассказ про недвижимость. В конце 1949 года по распоряжению Бен-Гуриона кнессет и многие министерства переехали из Тель-Авива в Иерусалим. Принять это решение было для Бен-Гуриона не просто, но зато — как типично для него! Несмотря на то что открытие кнессета произошло в Иерусалиме, что доктор Вейцман принес там свою президентскую присягу, казалось, что только израильтяне знают, какое место во все века занимал Иерусалим в сердцах евреев. Остальной мир и внимания не обращал на узы между нами и городом Давида. И комиссия Пиля и комиссия Объединенных Наций придерживались того взгляда, что Иерусалим не должен быть включен ни в еврейское (предполагавшееся), ни в арабское государство, а Генеральная Ассамблея постановила, что Иерусалим должен быть интернационализирован, управляться специальным советом и своим губернатором и охраняться интернациональными полицейскими силами. Очевидно, все это имело целью защиту святых мест, чтобы «мир и порядок» воцарился в Иерусалиме навеки. Арабы, конечно, отвергли этот план с порога вместе с планом раздела Палестины. Но мы его приняли, хоть и очень неохотно, и утешали себя обещанием ООН провести через 10 лет референдум, «который может привести к некоторым изменениям». Так как в 1948 году в Иерусалиме было 100 тысяч евреев и только 65 тысяч арабов, казалось не невероятным, что в конце концов Иерусалим будет наш. Мы никогда не собирались изгонять оттуда арабское население (что доказала Шестидневная война), и, конечно, нам было очень обидно предположение, что мы можем нарушить «мир и порядок» в священном для нас городе. Мы-то знали — даже если остальные об этом забыли — историю арабских беспорядков и бесчинств в Иерусалиме с самого 1921 года и знали, что евреи не спровоцировали там ни одного инцидента.

Специальный совет так никогда и не был создан, зато Иерусалим попал под огонь арабов на долгие месяцы. Во время осады Иерусалима, когда город беспощадно обстреливали египтяне и иорданцы, попечение других государств о святых местах куда-то сразу испарилось. Если не считать нескольких слабеньких резолюций в Объединенных Нациях, никто, кроме евреев, не сказал и не сделал ничего, чтобы остановить арабский штурм города, и никто, кроме евреев, не стал спасать ни население, ни древние памятники. Арабский легион занял Старый город, и каждый еврей, оставшийся там, был оттуда выгнан. В сущности, мы стали единственным народом, кому был запрещен доступ к святым местам — и опять никто, кроме евреев, не сказал ни слова. Никто даже не спросил: «Да почему это евреям больше нельзя ходить в синагогу в Еврейском квартале Старого города и молиться у Западной стены?» При таком оглушительном молчании мы уже, разумеется, не рассчитывали на чью бы то ни было помощь при защите Иерусалима и не принимали всерьез тревогу христиан или мусульман по поводу святых мест. Мы были вполне готовы охранять их сами, как и другие исторические и связанные с религией места Израиля. Более того — не было причин дожидаться референдума об Иерусалиме. Вместо него мы получили войну, которую нам навязали.

Тем не менее Бен-Гуриону потребовалась большая смелость, чтобы перевести правительство в Иерусалим, учитывая, что резолюция, призывающая к немедленной интернационализации города, была принята в ООН в декабре 1949 года — и он не

стал дожидаться ее проведения в жизнь. Даже в Израиле раздавались голоса против такого опасного — в политическом и военном отношении — действия. Но Бен-Гурион слушался своего внутреннего голоса, и, хотя большинство иностранных представительств (а потому и министерство иностранных дел) остались в Тель-Авиве, мое министерство и многие другие переехали в столицу — в Иерусалим.

Это значило, что мне надо было найти в Иерусалиме жилье. Разумеется, я не хотела жить в гостинице или снимать комнату в чужой семье. И, хоть я лучше кого бы то ни было знала, как плохо обстоит там дело с жильем, я упросила сотрудников по министерству поискать для меня комнату в городе. «Мне нужно только одну комнату с отдельным входом,— объясняла я.— Это найти можно».

На это понадобилось время, но наконец у меня зазвонил телефон. «Голда, мы нашли комнату с отдельным входом, но вряд ли она тебе подойдет. В общем, приходи, посмотри сама...»

Я, конечно, немедленно пошла посмотреть. Комната была в квартале Талбие, в доме, где когда-то была штаб-квартира англичан и который назывался «Вилла Гарун аль-Рашида» (подумать только!). Дом был двухэтажный, с огромной крышей, на которой была построена уже разрушившаяся комната, всюду была непроходимая грязь. Дом, не говоря уж о комнате на крыше, был не только неподходящий — он был совершенно непригоден. И все-таки я поднялась на крышу. Пять минут я смотрела оттуда на вид Иерусалима, потом спустилась и объявила: «Это то, что надо. Я устроюсь пока в этой комнатушке, а вы постройте мне квартирку с другой стороны крыши». Начались протесты. Помещение слишком мало для министра. Слишком близко к границе. Когда еще квартира будет построена, а мне придется кто его знает сколько прожить в этой ужасной комнатке. Но я только улыбалась и повторяла, что перееду, как только комнату вымоют. Квартиры пришлось ожидать несколько месяцев, но дело того стоило. Из огромного углового окна я видела весь Иерусалим на Иудейских холмах, и зрелищем этим я не могла налюбоваться, какой бы тяжелый день ни был позади, сколько бы новых поселений, сколько бы заседаний я ни посетила. Когда я закрывала за собой дверь, заваривала себе чашку чая и, наконец, усаживалась перед окном и смотрела на бесчисленные рассыпавшиеся передо мной огни, я была совершенно счастлива. Тут я сиживала часами, с друзьями или одна, наслаждаясь красотой Иерусалима. Потом в этой же квартире были обвенчаны Менахем и Айя, и она стала частью нашей семейной истории.

Вспоминая это время, я понимаю, как мне повезло. Ведь я стояла у истоков столь многих событий! Не то что я влияла на их ход, но я была частью того, что происходило вокруг, а иногда мое министерство и я даже имели возможность играть определенную роль в строительстве государства. Если, как я вынуждена сделать, ограничиться рассказом только о некоторых случаях, особенно для меня важных и плодотворных, то начать надо с законодательства, за которое министерство труда несло полную ответственность. Для меня оно было символом социального равенства и справедливости, без чего я и не мыслила функции государства. В каждом уважающем себя обществе пенсии по старости, пособия вдовам и детям, отпуска и пособия матерям, страхование от несчастных случаев на производстве, по инвалидности, по безработице являются их неотъемлемой принадлежностью, и что бы мы ни отложили на потом, какие бы ни были у нас нехватки, эти основные законы мы провели.

Мы не могли сразу же возвести все завоевания лейбористской партии в ранг законов, но я считала, что мы должны провести как можно больше законов и как можно скорее! И когда, в январе 1952 года я впервые поставила в кнессете вопрос о национальном страховании — в значительной мере основанный на добровольном страховании Гистадрута,— это значило для меня очень много. Это проложило дорогу закону о национальном страховании, который вошел в действие весной 1954 года. Конечно, национальное страхование не было панацеей. Оно не отменило бедности в стране, не ликвидировало образовательного и культурного разрыва между гражданами, не решило проблем нашей безопасности. Но оно означало, как я сказала в тот день в кнессете, что «государство не потерпит у себя бедности постыдной, из-за которой счастливейшие часы материнства омрачены тревогой о том, как прокормить младенца, а люди, достигшие старости, проклинают день, когда они родились на свет». Утечка средств? Конечно. Потому нам и пришлось все делать постепенно. Но это имело не только социальное,

но и экономическое значение, способствуя наращиванию капитала и изыманию денег из свободного обращения, а это помогало нам бороться с инфляцией. И, главное, финансовое бремя распределялось равномерно, одна возрастная группа несла ответственность за другую и разделяла риск. Было еще одно сопутствующее обстоятельство, весьма, по-моему, важное: в результате пособий по материнству (включавших цену госпитализации) вырос процент детей, родившихся в больничных условиях, и снизилась детская смертность, которая среди новых иммигрантов и арабов была высока. Я сама повезла первый чек первой арабской женщине, родившей ребенка в назаретской больнице, и, кажется, я волновалась больше, чем она.

Другой проект министерства труда, в котором я принимала большое участие, касался профессионального обучения детей и взрослых. Опять-таки не надо думать, что можно было взмахнуть волшебной палочкой и превратить новых иммигрантов в ремесленников и техников. На обучение людей новым профессиям и ремеслам понадобились годы; сотни так никогда и не стали полноценными работниками — по старости, по болезни, по психологической склонности к безделью или просто потому, что они не могли приноровиться к требованиям современной жизни. Но тысячи других мужчин и женщин пошли в ремесленные училища, на курсы, научились управляться с машинами, разводить домашнюю птицу, работать водопроводчиками и электриками — и я не переставала дивиться переменам, происходившим у меня на глазах.

Каждый делал, что мог, чтобы обеспечить успех программе профессионального обучения: министерство труда работало вместе с министерством социального обеспечения, министерством образования, армией, Гистадрутом и старейшими добровольными организациями, как ОРТ (Организация перевоспитания трудом), Хадасса, ВИЦО (Женская международная сионистская организация), которые финансировали евреи из-за границы. Мы двигали это дело все вместе и получили работников, изготовлявших трикотажные изделия, гранивших промышленные алмазы, сидевших на конвейере или водивших тракторы. И все это не считая другого титанического труда: по ликвидации обыкновенной неграмотности и обучению ивриту.

По всему Израилю в это время начали как грибы расти города. Не все они получались такими, какими были на плане, некоторые совсем захирели; но другие выросли и расцвели, делая честь своим строителям и обитателям,— и почти все они были построены государством. Один из этих городов — Кирьят-Шемона на севере, в Верхней Галилее; к этому городу я всегда относилась по-особенному, может быть, из-за изумительных по красоте окрестностей, а может быть, потому, что я с самого начала верила, что, несмотря на все препятствия, Кирьят-Шемона сумеет выстоять. В общем, связи мои с этим городом с 1949 года никак нельзя назвать чисто формальными. Город начался как транзитный пункт, маабара, жестяной городок, «бидонвилль», переполненный удивленными иммигрантами, которых только что свезли сюда с пристаней и аэродромов и которые не понимали, где они и почему. До соблазнов Тель-Авива отсюда было далеко. Поблизости не было ни одного города — только несколько киббуцев со своими полями и садами и болота долины озера Хула, которые мы только начали осушать. Тут-то правительство и решило основать город, центр, который станет сердцем вновь заселяемой области; долгими неделями мы сидели над планами и картами, стараясь предвосхитить будущие его потребности и нужды. На месте маабары стал подниматься город. В Кирьят-Шемона были построены школы, общинный центр, легкая промышленность, даже плавательный бассейн, и все было продумано до последнего гвоздя, кроме одного: как отнесутся новые иммигранты к тому, чтобы им тут жить. Да, ландшафт прекрасен, и климат бодрящий, и новенькие домики очень хороши, говорили они; но — очень одиноко тут, и работы не хватает на всех. Европейские евреи говорили, что мы забросили их в сердце пустыни, а восточные недвусмысленно заявили, что мы слишком торопимся навязать им новые обычаи, разрушая их собственные, и вообще обходимся с ними как с гражданами второго сорта.

Население в городе все время менялось; каждый раз я возвращалась оттуда в Иерусалим со списком новых предложений, на осуществление которых, как правило, не было денег. У меня сердце разрывалось при виде домов, построенных нами с таким трудом, которые стояли пустые. Тогда мы увеличили субсидии — прибыли новые группы иммигрантов и большинство из них осталось на месте.

Остались и после Шестидневной войны, когда Кирьят-Шемона превратилась в излюбленную мишень арабских ракетчиков — террористов, действовавших из-за ливанской границы, и после того, как террористы, совсем недавно, вошли в город и стали убивать в самом городе. Как только представляется возможность, я отправляюсь в Кирьят-Шемона посидеть в городском сквере со старожилами, вспомнить то время, когда ни они, ни я не думали, что город сможет развиваться. Но и теперь я возвращаюсь оттуда со списком пожеланий, но и теперь не хватает денег на их выполнение.

То, что я сейчас скажу, вероятно, удивит сторонников «конструктивной критики» Израиля, в частности так называемых «новых левых». В те напряженные семь лет мы, кроме новых зданий и поселений для евреев, строили и для арабов, потому что, говоря о гражданах Израиля, мы имели в виду всех граждан Израиля. Когда у меня возникали споры с жителями Кирьят-Шемона и других поселений, непременно кто-нибудь из толпы кричал, что арабам лучше, чем им. Конечно, это было не так, но неправда — и неправда злобная — то, что мы якобы арабов игнорировали. Правда, мы заняли дома арабов, бежавших из страны в 1948 году, под квартиры для новых иммигрантов, хотя арабское имущество оставалось под специальной охраной. В то же время мы ассигновали 10 миллионов фунтов на новые дома для арабов и предоставили жилье сотням из них, оставшимся в Израиле, но потерявшим кров в результате войны. Но из-за того, что мы поселили новых иммигрантов в дома бежавших арабов, поднялся такой крик,— как будто можно было использовать эти дома по-другому! — что в 1953 году мы провели закон о приобретении земли, по которому по крайней мере две трети арабов, предъявивших претензии, получили за нее компенсацию и получили обратно свое имущество или равное по стоимости. Притом никто из них не должен был приносить присягу верности, перед тем как его требование выполнялось.

У меня кровь закипает, когда я читаю или слышу об арабах, с которыми мы якобы жестоко поступили. В апреле 1948 года я стояла часами на хайфском побережье и буквально умоляла арабов Хайфы не уезжать. Никогда я этого не забуду. Хагана только что взяла Хайфу, и арабы обратились в бегство — потому, что их руководство так красноречиво убеждало их, что это будет самое умное, а британцы так щедро предоставили им десятки грузовиков. Что ни делала, что ни говорила Хагана — все было тщетно. И обращения через громкоговорители, установленные на машинах, и листовки на арабском и на иврите, подписанные еврейским рабочим советом Хайфы, которые мы сбрасывали на арабские районы города. В них было написано: «Не убегайте! Вы этим навлечете на себя бедность и унижение. Оставайтесь в нашем и вашем городе!» Британский генерал, сэр Хью Стокуэл, командовавший тогда британскими войсками, сказал: «Первыми убежали арабские лидеры, и никто ничего не сделал, чтобы предупредить начавшееся общее бегство, которое переросло в панику». Они решили уйти. Сотни уехали через границу, но некоторые собрались на берегу — ожидать кораблей. Бен-Гурион позвонил мне и сказал: «Поезжай немедленно в Хайфу, проследи, чтобы с арабами, которые там останутся, обращались как следует. Постарайся уговорить тех арабов, которые собрались на берегу, вернуться. Внуши ты им, что им нечего бояться». Я поехала немедленно. Я сидела там на берегу и умоляла их разойтись по домам. Но у них был один ответ: «Мы знаем, что бояться нам нечего, но мы должны уехать. Мы вернемся». Я не сомневалась, что они уезжают не потому, что боятся нас, а потому, что до смерти страшатся, как бы их не сочли изменниками арабского «дела». Я говорила и говорила до хрипоты, но тщетно.

Почему мы хотели, чтобы они остались? На то были две причины: прежде всего мы хотели доказать миру, что евреи с арабами могут жить вместе — о чем бы ни трубили арабские руководители,— а во-вторых, мы прекрасно знали, что если полмиллиона арабов покинет сейчас Палестину, то это вызовет переворот во всей экономике страны. Тут уместно будет высказаться еще по одному вопросу. Я хочу, раз и навсегда, ответить на вопрос — сколько палестинских арабов в действительности покинуло свои дома в 1947—1948 годах. Ответ: максимум — 590 тысяч. Из них 30 тысяч уехало сразу после ноября 1947 года, после резолюции ООН о разделе; еще 200 тысяч — зимой и весной 1948 года (в том числе большинство из 62 тысяч хайфских арабов); еще 300 тысяч — после провозглашения еврейского государства в мае 1948 года и арабского вторжения в Израиль. Это действительно была трагедия, и она имела трагические последствия, но надо смотреть фактам в ли-

цо — и тогда, и теперь. Арабы кричат о «миллионах палестинских беженцев» — и это такая же неправда, как их утверждения, что мы заставили арабов покинуть свои дома. «Палестинские беженцы» были созданы в результате стремления (и попыток) арабов разрушить Израиль. Это был результат, а не причина. Конечно, в ишуве были люди, говорившие еще в 1948 году, что для Израиля было бы самое лучшее, если бы все арабы уехали, но я не знаю ни одного серьезного израильтянина, который бы так думал.

Во всяком случае арабам, оставшимся в Израиле, жилось легче, чем тем, кто уехал. До 1948 года по всей Палестине вряд ли была хоть одна арабская деревня с электричеством и водопроводом, а через двадцать лет не осталось, вероятно, ни одной, не присоединенной к электросети, и ни одного дома без водопровода. Когда я была министром труда, я проводила много времени в этих деревнях, и то, что мы там делали, радовало меня не меньше, чем исчезновение маабараот. Одно дело — слухи и пропаганда; другое дело — факты. Не «новые левые», а я, как министр труда Израиля, открывала новые дороги и посещала новые квартиры в арабских деревнях по всей стране. Кстати, мое любимое воспоминание этого времени — деревня в Нижней Галилее: деревня эта была на холме, а источник, из которого жители брали воду,— внизу, и таскать воду на холм было дело нешуточное. Мы построили для деревни дорогу, и по этому поводу был устроен праздник с угощением, флагами и речами. Неожиданно для всех слово взяла молоденькая женщина — для арабов это необычно. Она была очень хороша в своем длинном лиловом платье, и речь ее тоже была прелестна. Она сказала: «Мы хотим поблагодарить министерство труда и министра за то, что они сняли тяжесть с ног наших мужчин. Но теперь мы хотели бы попросить министра, если она может, снять тяжесть и с голов наших женщин». Этими поэтическими словами она дала понять, что хочет, чтобы провели водопровод и чтобы ей не надо было таскать воду на голове, даже по новой дороге. И через год я возвратилась в эту деревню отпраздновать новое радостное событие — и на этот раз я открыла десятки кранов.

В это время я чуть не лишилась своего поста в министерстве труда. В 1955 году подошло время выборов. Мапай очень стремилась иметь мэром Тель-Авива лейбориста, и Бен-Гурион решил, что я — единственный кандидат, имеющий шансы быть избранным. Я была не очень довольна, потому что мне не хотелось покидать министерство, но поскольку таково было партийное решение, у меня не было альтернативы.

— Но ты все-таки пойми, что в таком случае я должна буду выйти из кабинета,— сказала я Бен-Гуриону.

— Об этом не может быть и речи,— возразил он.— Мы тебя сделаем министром без портфеля.

— Нет,— сказала я.— Если я буду мэром, то я буду только мэром.

Он очень рассердился, но, к счастью для меня, мы не получили в Тель-Авиве большинства голосов. Поскольку мое избрание на тель-авивском совете зависело от двух мужчин, принадлежащих к блоку религиозных партий, и один из них отказался голосовать за женщину, я не стала мэром, а продолжала работать в министерстве труда, рассчитывая, что останусь там еще много лет.

Но, хоть я и была довольна таким исходом дела, я была вне себя от того, что блоку религиозников удалось в последний момент использовать в своих целях мою принадлежность к женскому полу, словно женщины Израиля не внесли своего вклада в построение государства. А ведь не было поселения в Негеве или в Галилее, где с самого начала не трудились бы женщины. И разве представители религиозного блока не сидели в кнессете вместе с женщинами в эту самую минуту? Разве они не согласились с участием женщин в Еврейском агентстве и в Ваад Леуми? Возражать против избрания меня мэром на том основании, что я женщина,— это та политическая тактика, которая внушает мне презрение, и так я и сказала, не выбирая выражений.

Религиозные вопросы — я имею в виду случаи, когда религиозные партии старались настоять на своем,— возникали несколько раз в течение пятидесятых годов. Мы твердо решили не вступать в открытый конфликт с религиозным блоком, если только его можно было избежать: у нас и без этого хватало тревог. Тем не менее, периодически возникали стычки, приводившие к правительственному кризису.

В те дни израильтяне повторяли анекдот. Человек говорит, вздыхая: «Две тысячи лет мы дожидались еврейского государства — и надо же, чтоб дождался его именно я!» В эти первые годы все мы порой, хоть и очень мимолетно, испытывали это чувство. И так как в Израиле ничто не стоит на месте, в 1956 году у Бен-Гуриона появились на меня новые виды.

Мы одиноки

На «организацию» моей отставки мне понадобилось несколько месяцев. Начать с того, что пришлось переехать из Иерусалима в маленький домик в тихом обсаженном деревьями тель-авивском предместье, рядом с Менахемом и Айей. Это был не просто переезд из одного города в другой. Часами приходилось сортировать вещи, решать, что мое, а что принадлежит правительству, что я хочу взять и что оставить. Я так много путешествовала за последние двадцать пять лет и скопила столько памятных сувениров, что разобраться в них была настоящая работа, притом меня не радовавшая. Но тут приехала из Америки Клара, и вместе с ней и с Лу мы все сделали. К счастью, я по натуре не коллекционер, и жизнь в музее меня не соблазняет, так что мне нетрудно было расстаться с большей частью своих вещей и подарков, сохранив лишь те книги, картины, наброски и ключи от городов, которые имели для меня особое значение. Конечно, я тогда была уверена, что мне никогда не придется перебирать вещи, распаковываться и упаковываться,— и горькое чувство окончательности немало мне помогало.

Мой новый дом — в котором я живу и сейчас — примерно в четыре раза меньше министерской резиденции, которую я занимала в течение девяти лет; но это было именно то, чего я хотела, и с первого же дня я почувствовала себя там удобно. Я сама проектировала его для себя: комбинированная гостиная-столовая, уставленная книжными полками, которая выходит в сад, общий с Менахемом и его семьей; достаточно большая кухня, где можно удобно хозяйничать, и две комнаты на втором этаже: спальня и кабинет, он же — комната для гостей. Я надеюсь в этом году пристроить наконец еще одну комнату, но и без нее дом всегда был для меня достаточно велик, а в 1965 году я испытывала восхитительное чувство, что поселяюсь тут навсегда.

Боюсь, что даже члены моей семьи не верили, что меня удовлетворит уход в частную жизнь,— а между тем я была очень довольна. Впервые за долгие годы я могла сама ходить за покупками, ездить в автобусе, не думая о том, что в любую погоду на улице меня ожидает шофер, а главное — я сама располагала своим временем. Право же, я чувствовала себя как узник, выпущенный на свободу. Я делала списки книг, которые должна была прочесть, приглашала старых друзей, которых уже много лет не видела, планировала поездки в Ревивим. И я готовила, я гладила, я убирала — и все это с огромным удовольствием. Я ушла в отставку вовремя, по собственному желанию, раньше, чем кто-нибудь мог бы сказать: «Господи, когда же эта старуха поймет, что пора ей уходить?» Я по-настоящему воспрянула духом.

Люди вокруг привыкли к моей новой ипостаси почти так же скоро, как я, хотя иной раз, признаться, мне оказывали привилегии. Хозяева ближних магазинов доставляли мне заказы на дом, полагая, что нехорошо бывшему министру иностранных дел таскать домой сумки с продуктами; шоферы автобусов иной раз делали лишнюю остановку поближе к моему дому — раза два меня даже подвезли до самой двери. Но мне самой ничуть не трудно было носить сумки и ходить пешком — свобода от обязательных встреч и официальных приемов все еще была для меня ежедневным чудом. И ни на минуту я не чувствовала себя изолированной от того, что происходит в стране. Я осталась членом кнессета и членом центрального комитета Мапай и работала и тут, и там столько, сколько хотела, и не больше. В общем, я была очень довольна своей судьбой.

Но мне следовало бы понимать, что покой, которым я так наслаждалась, не продлится долго. Он нарушался, и не раз, особенно же, когда коллеги по партии стали уговаривать меня возвратиться «на полный рабочий день» хоть временно,

чтобы помочь объединению партии, которую так потрясло «дело Лавона» [1]. Что и говорить, партии теперь как никогда было необходимо единство. Экономическое положение и настроение в Израиле были таковы, что впервые показалось, что руководству рабочей партии наступит конец, если как можно скорее не будет создан единый рабочий фронт. Мапай была ослаблена расколом: откололась партия Рафи, которую возглавили Бен-Гурион и Даян; по правде говоря, она так и не оправилась после раскола 1944 года, когда от нее откололась Ахдут ха-авода и еще через четыре года партия Мапам, которую поддерживали радикальные киббуцы и молодые интеллектуалы, все еще лелеявшие мысль о советско-израильском сближении, которого можно добиться, если как следует захотеть.

Но не так велики были разногласия между Мапай, Рафи и Ахдут ха-авода, чтобы нельзя было думать о создании объединенной рабочей партии. Нужен был человек, который бы взялся за наведение мостов, примирение разных точек зрения и разных людей, заживление старых ран без нанесения свежих, создание новых, жизнеспособных структур. Кто бы это ни был, он во всяком случае должен всей душой верить в необходимость рабочей коалиции и представлять себе единую рабочую партию, способную охватить политические фракции, годами враждовавшие между собой. Только один такой человек существует — утверждали мои коллеги, по очереди приходившие меня обрабатывать,— только один, у которого есть все необходимые качества и время. Если я из-за своих эгоистических соображений за это не возьмусь, то объединения не произойдет. А от меня им нужно только одно: чтобы я стала генеральным секретарем Мапай, пока не будет осуществлено и обеспечено это объединение. Как только оно станет реальностью — пожалуйста, я могу опять пойти на покой.

Против такого призыва я не могла устоять. Не потому, что я была уверена в удаче, не потому, что мне хотелось опять оказаться в самом центре борьбы, не потому, что я заскучала, как, вероятно, думали многие,— но по гораздо более простой и важной причине: я действительно считала, что на карту поставлено будущее рабочего движения. И как ни мучительно мне было пожертвовать, даже на несколько месяцев, впервые обретенным спокойствием, я не могла отказаться ни от своих принципов, ни от своих коллег. Я согласилась и снова стала работать, разъезжать, выступать на митингах, встречаться с разными людьми — но дала обещание себе и своим детям, что это моя последняя работа.

В это время на Ближнем Востоке произошли такие события, которые угрожали Израилю куда больше, чем отсутствие рабочего единства в стране. В 1966 году арабы закончили подготовку к новой стадии войны. Симптомы уже были известны. Прелюдия к Шестидневной войне была похожа на прелюдию к Синайской кампании: банды террористов при ободрении и поддержке президента Насера, как и фидаийуны 50-х годов, проникали на территорию Израиля из Газы и Иордании. Среди них была и новая, созданная в 1965 году организация Аль-Фатх, которая под руководством Ясира Арафата стала самой могущественной и самой разрекламированной из всей Организации освобождения Палестины. Было создано объединенное сирийско-египетское командование, и арабская конференция в верхах ассигновала крупные суммы на накопление оружия против Израиля; Советский же Союз, разумеется, снабжал арабские государства и деньгами, и оружием. Сирийцы склонны были, по-видимому, к эскалации конфликта: они не переставали бомбить израильские поселения у подножия Голанских высот, и израильские рыбаки и фермеры каждый день рисковали быть подстреленными подстерегавшими их снайперами. Мне приходилось бывать в этих поселениях и наблюдать, как жители отправляются на работу, будто ни в чем не бывало,— словно пахота под военным прикрытием или детские спальни в бомбоубежищах были самым обычным делом. Я не могла поверить, что они «привыкли» жить под огнем. Не верю, чтобы мои родители могли привыкнуть к мысли, что их детям грозит смертельная опасность.

И вдруг осенью 1966 года Советский Союз стал обвинять Израиль, что он готовится напасть на Сирию. Это было абсурдное обвинение, но Объединенные Нации тем не менее подвергли его тщательной проверке и, разумеется, нашли, что

[1] Многолетний политический скандал в Израиле, в который было вовлечено высшее руководство страны; назван именем Пинхаса Лавона, министра обороны в 1954 году, и связан с провалом израильской агентуры в Египте.

оно лишено всякого основания. Однако русские продолжали обвинять Израиль в «агрессии», которая вызовет третью арабо-израильскую войну; тем временем сирийцы, которым Советский Союз оказывал военную и финансовую помощь, продолжали свои рейды против наших пограничных поселений. Когда террор сирийцев становился невыносимым, израильская авиация предпринимала ответные действия против террористов, и поселенцы получали передышку на несколько недель. Но весной 1967 года эти передышки становились все реже и короче. В апреле посланные для ответных действий израильские самолеты приняли воздушный бой и сбили шесть МиГов. Тут Сирия, как всегда подстрекаемая Советским Союзом, опять завопила об израильских военных приготовлениях, и советский посол в Израиле господин Чувахин даже передал премьер-министру официальную жалобу от имени Сирии. Это само по себе нелепое происшествие способствовало тому, что в июне разразилась война.

«Нам известно,— очень нелюбезно сказал Чувахин Эшколу,— что, несмотря на все ваши официальные заявления, происходит большая концентрация израильских войск вдоль всей сирийской границы». Эшкол на этот раз не ограничился отрицанием. Он предложил Чувахину отправиться на север и посмотреть все самому, он даже предложил его сопровождать. Но Чувахин тут же отказался от приглашения, заявив, что у него другие дела, хотя речь шла всего о нескольких часах поездки в машине. Конечно, ему пришлось бы, если бы он поехал, доложить Кремлю и сирийцам, что никакого скопления израильских войск на границе нет и что так называемая сирийская тревога совершенно неоправданна. Отказавшись от поездки, он сумел вдохнуть новую жизнь в ложные обвинения, что привело к выступлению Насера и, таким образом, вызвало Шестидневную войну.

В начале мая Насер, чтобы поддержать Сирию в ее, как он выразился, «отчаянном положении», отдал приказ сконцентрировать египетские войска и бронечасти в Синае. Чтобы никто не усомнился в его намерениях, каирское радио резко заявило, что «Египет, со всей своей мощью... готов к тотальной войне, которая станет концом Израиля».

16 мая Насер сделал новый шаг — только на этот раз он отдал приказ не своим войскам, а Объединенным Нациям. Он потребовал, чтобы чрезвычайные силы ООН, с 1956 года стоявшие в Шарм-эль-Шейхе и Газе, немедленно оттуда убрались. Он имел на это легальное право, потому что международные полицейские силы были расположены на египетской земле только с разрешения самого Египта, но я уверена, что Насер не рассчитывал, что Объединенные Нации так смиренно выполнят его приказ. Убирать войска, специально поставленные сюда, чтобы следить за соблюдением условий перемирия, убирать их по просьбе одной из воюющих сторон и в тот момент, когда перемирие находится под угрозой,— это не лезло ни в какие ворота; Насер наверняка ожидал долгих дискуссий, споров и случаев поторговаться. Во всяком случае, он ожидал, что Объединенные Нации будут по крайней мере настаивать на постепенных действиях. Но по каким-то никому, и мне особенно, непонятным причинам генеральный секретарь ООН У Тан уступил Насеру немедленно. Он ни с кем не посоветовался. Он не запросил мнения Совета Безопасности. Он даже не попросил дать отсрочку на несколько дней. Он согласился, на собственный страх и риск, немедленно убрать войска ООН. Они стали уходить из Шарм-эль-Шейха и из Газы на следующий же день, и 19 мая, под оглушительные аплодисменты египтян, ушло последнее соединение, и египтяне остались единственными стражами своей границы с Израилем.

Не могу описать, до чего болезненно меня поразила смехотворная капитуляция У Тана. Господи, конечно же, не одна я понимала, что на самом деле происходит. Но мне опять мучительно вспомнились невыносимые месяцы в Нью-Йорке после Синайской кампании, когда весь мир навалился на нас, чтобы мы ушли из Синая и Газы, несмотря на то что мы знали, мы предупреждали, к чему это приведет. Снова и снова я вспомнила то, что происходило тогда: трудные и бесплодные разговоры с Даллесом, такие же трудные и бесплодные закулисные переговоры с представителями других могущественных государств, наши постоянные, безуспешные старания объяснить, что мир на Ближнем Востоке может быть достигнут не постоянным задабриванием арабов за наш счет, а другим и единственным путем: нужно настаивать на пакте о ненападении между арабскими государствами и Израилем, на разоружении региона, на прямых переговорах. Почему для нас все это было

так просто и очевидно, почему всем остальным это казалось совершенно недостижимым? Разве мы недостаточно ясно объясняли реальное положение вещей? А может быть, я допустила какую-нибудь ужасную ошибку и не сказала чего-то главного? Чем больше я думала о прошлом, тем яснее видела, что ничего не изменилось, арабам снова позволяют помечтать о том, что они могут стереть нас с лица земли.

22 мая эти мечтанья получили подкрепление: опьяненный своим успехом, Насер решил еще раз проверить, какова будет реакция мира, если он начнет настоящую войну против Израиля. Он объявил, что Египет возобновляет блокаду Тиранского пролива, несмотря на то что ряд стран (в том числе США, Англия, Канада и Франция) гарантировал Израилю право судоходства через Акабский залив. Конечно, это был сознательный вызов, и Насер ждал реакции. Ждать ему пришлось недолго. Никто ничего особенного не собирался предпринимать по этому поводу. Ну конечно, были и протесты, были и сердитые заявления. Президент Джонсон заявил, что блокада «незаконна» и «потенциально разрушительна для дела мира», и предложил, чтобы конвой судов, включая и израильские, прошел через пролив и не поддавался запугиванию. Но даже он не мог уговорить англичан и французов присоединиться к нему. Совет Безопасности собрался на чрезвычайное заседание, но тут уж постарались русские: никакого вывода не последовало. Английский премьер-министр, мой добрый друг Гарольд Вильсон, полетел в США и в Канаду и предложил создать международные морские силы, которые бы наблюдали за Тиранским проливом, но его предложение не имело последствий. Даже У Тан, наконец сообразивший, какую страшную ошибку он допустил, побеспокоился и съездил в Каир, чтобы поговорить с Насером, но было уже слишком поздно.

Насер сделал свои собственные выводы. Если так называемые гарантии, которые морские державы дали Израилю после Синайской кампании, оказались пустым клочком бумаги, то что и кто теперь остановит египтян, кто помешает им одержать славную, решительную, окончательную победу над еврейским государством, которая сделает Насера главной фигурой в арабском мире? Если у него и были какие-либо сомнения перед тем, как кинуться самому и ввергнуть свой народ в эту авантюру, то их развеяли русские. Советский министр обороны привез Насеру в последнюю минуту ободряющее напутствие Косыгина: Советский Союз поддержит Египет в предстоящей схватке. Действие было, значит, подготовлено. Что же касается целей войны, в той мере, в какой Насер собирался объяснять их народу, уже охваченному первыми приступами военной истерии, то тут достаточно было повторять: «Наша цель — уничтожить Израиль». Египетскому национальному собранию достаточно было сказать, как он сказал в последнюю неделю мая: «Речь идет не об Акабе, не о Тиранском проливе, не о войсках ООН... Речь идет об агрессии, совершенной против Палестины в 1948 году». Иными словами, война, которая сейчас готовится, должна стать последней арабской войной против нас, и внешне все выглядело так, что у Насера были все основания рассчитывать на победу.

К 1 июня 100 тысяч египетских солдат и больше 900 египетских танков было сконцентрировано в Синае: на севере 6 сирийских дивизий и 300 танков стояли наготове. Поколебавшись несколько недель, король Иордании Хуссейн решил рискнуть и примкнул к великому делу Насера. И хоть мы все время передавали ему заверения, что, если он не влезет в войну, с ним ничего не случится (последнее предупреждение — от Эшкола — было передано через ооновскую организацию для наблюдения за перемирием утром того дня, когда началась война), соблазн участвовать в победе и страх вызвать гнев Насера были так велики, что Хуссейн им покорился и тоже связал свою судьбу с Египтом. Это обогатило арабскую сторону еще семью бригадами, 270 танками и хоть и небольшими, но хорошо обученными военно-воздушными силами. Последним в антиизраильскую коалицию вступил Ирак, подписавший с Египтом договор о совместной обороне за день до начала войны. Это была, конечно же, огромная армия, и так как Запад казался то ли парализованным, то ли совершенно равнодушным, а русские на все сто процентов поддерживали арабов, то, в общем, нельзя особенно упрекать Насера за то, что он вообразил, что теперь наконец он в состоянии нанести Израилю смертельный удар.

Все это — арабские настроения и арабские мечты. А мы? Что произошло с нами? Не хочу и не считаю необходимым пересказывать историю Шестидневной войны, о которой столько уже было написано. Но думаю, что никто, живший в Израиле перед ее началом, не забудет, как мы встретили страшную опасность.

И израильскую реакцию нельзя постигнуть, не поняв того, что мы поняли насчет самих себя, насчет арабских государств и всего остального мира в течение тех страшных трех недель, которые получили на иврите название «коненут» («готовность»). Я, конечно, уже не была членом кабинета, но, естественно, меня не могли не позвать, когда кабинет принимал решения о жизни или смерти, и, думаю, все понимали, что я не стану прятаться от ответственности.

Вначале все как один считали, что войны надо избежать — чуть ли не любой ценой. Конечно, если придется сражаться, мы будем сражаться — и победим, но сначала надо испробовать все прочие пути. Эшкол, посеревший от тревог и забот, стал искать чьего-нибудь дипломатического вмешательства. Вот и все, о чем он просил; надо ли добавлять, что мы никогда не просили о военной помощи людьми? Эбан был отправлен с этой миссией в Париж, Лондон и Вашингтон; в это же время Эшкол подал знак народу, что он должен, в третий раз за девятнадцать лет, готовиться защищать свое право на существование. Эбан вернулся — и привез самые безотрадные новости. Самые серьезные наши опасения подтверждались: Лондон и Вашингтон были обеспокоены и очень нам сочувствовали, но и теперь не были готовы предпринять что бы то ни было. Очень жаль, конечно, но, может быть, арабская ярость как-нибудь пройдет. На всякий случай они рекомендовали терпение и самообладание. Поживем — увидим, альтернативы у Израиля нет. Де Голль был менее уклончив. Что бы ни случилось, сказал он Эбану, Израиль не должен сделать первого шага, пока арабы не нападут. Когда это произойдет, Франция выступит и спасет положение. «А если некого будет спасать?» — спросил Эбан. На это де Голль предпочел не ответить, но дал ясно понять Эбану, что дружба с Францией целиком зависит от того, будем мы его слушаться или нет.

Вопрос о самом нашем существовании за несколько дней был поставлен на карту. Мы были одиноки — в самом буквальном смысле этого страшного слова. Западный мир, частью которого мы всегда себя считали, нас просто выслушал, выслушал и нашу оценку положения, как крайне опасного, правда, народ и на улицах, и на любом собрании нас поддерживал. И мы начали готовиться к неизбежной войне. Армия стала готовиться согласно плану. Эшкол объявил всеобщую мобилизацию. Старики, женщины и дети Израиля принялись энергично очищать подвалы и погреба, подходящие для бомбоубежищ, набивать песком мешки, которыми устилали самодельные, выкопанные отцами и дедами траншеи во всех садиках и школьных двориках страны, и вообще брали на себя обычные дела гражданской жизни, пока войска, под камуфляжными сетками в песках Негева, ждали, тренировались и снова ждали. Казалось, будто где-то тикают для всех нас гигантские часы, хотя никто, кроме Насера, не знал, когда пробьет решающий час.

Та обычная жизнь, к которой мы приспособились за предшествующие месяцы, кончилась вместе с маем. День, казалось, насчитывал двойное количество часов, и каждый час длился бесконечно. Стояла жара, начиналось лето, я сделала то же, что и все: упаковала самое необходимое, что могло понадобиться в бомбоубежище, в мешочек и положила так, чтобы при первом звуке сирены его можно было схватить. Я помогла Айе сделать клеенчатые номерки для детей, затемнила по комнате в каждом доме, чтобы там можно было зажигать по вечерам свет. Я поехала в Ревивим повидаться с Саррой и детьми. Я видела, как знакомый мне с самого рождения киббуц спокойно готовится к арабскому нападению, которое может превратить его в груду развалин; я встретилась, по их просьбе, с некоторыми из Сарриных друзей, и мы поговорили о том, что может случиться. Но больше всего они хотели узнать, когда же кончится ожидание, и на это я ответить не могла. И часы тикали, а мы ждали и ждали.

Были и другие, зловещие приготовления, которые держались в секрете: парки во всех городах были освящены, на случай, если они будут превращены в массовые кладбища; гостиницы освобождены от постояльцев — на случай их превращения в гигантские пункты первой помощи; неприкосновенный запас заготовлен на случай, если снабжение населения придется централизовать, перевязочные материалы, лекарства, носилки были получены и распределены. Но главнее всего были военные приготовления, потому что, хоть мы уже и усвоили окончательно, что мы можем надеяться только на себя, не было, по-моему, человека в Израиле, не понимавшего, что в этой навязанной нам войне у нас нет альтернативы. Только выиграть. Первое, что вспоминается, когда думаешь о тех днях, это поразительное ощущение единства

и целеустремленности, в несколько дней превратившее нас из небольшой общины с признаками клаустрофобии, нелегко переживающей всякие экономические, политические и социальные неприятности, в 2 500 000 евреев, каждый из которых чувствовал личную ответственность за то, чтобы государство Израиль выжило, и каждый из которых знал, что противостоящий нам враг поклялся нас уничтожить.

Таким образом, для нас вопрос стоял не так, как иногда для других стран: как бы не слишком пострадать в неминуемой войне; для нас вопрос был в том, как выжить народу. Ответ ни у кого не вызывал сомнения. Только победа позволит нам выжить. Все мелочи, все разногласия от нас отлетели; мы, проще говоря, стали одной семьей, твердо решившей: ни шагу назад. Ни один еврей не уехал из Израиля в тяжкие недели ожидания. Ни одна мать не бежала с детьми из поселений у подножия Голанских высот. Ни один узник нацистских лагерей (а среди них многие потеряли в газовых камерах детей) не сказал: «Я не могу больше страдать». И сотни израильтян, которые были за границей, вернулись, хотя никто их не призывал. Они вернулись, потому что не могли оставаться в стороне.

Более того. Мировое еврейство смотрело на нас, видело опасность, видело нашу изоляцию и, может быть впервые, задалось вопросом: а что, если государство Израиль перестанет существовать? Только один ответ был на это: если будет уничтожено еврейское государство, ни один еврей на земле уже никогда не почувствует себя свободным. После войны, точнее в последние ее дни, я полетела в США и выступила на огромном митинге, который Объединенный еврейский призыв организовал в Мэдисон-сквер-гардене. В моем расписании не осталось зазора, и я очень торопилась домой, но мне хотелось увидеть кого-нибудь из тех тысяч молодых американских евреев, которые осаждали израильские консульства по всей Америке, добиваясь возможности быть в этой войне вместе с нами. Я хотела понять, что заставляет их и других, например английских евреев, поднявших шум в лондонском аэропорту из-за того, что Эль-Ал (единственная авиалиния, работавшая во время войны в Израиле) не может взять всех желающих,— что заставляет их соваться в петлю, которая так крепко затянулась у нас на шее? В Израиле их ожидала не романтическая пограничная стычка. Огромный механизм, созданный, чтобы убивать, калечить и уничтожать нас, был собран на наших границах и с каждым днем придвигался все ближе и ближе. Как и мы, они видели по телевизору отвратительное зрелище — истерические толпы по всему арабскому миру, требующие устроить кровавую баню, которая прикончит Израиль. Министерство иностранных дел добровольцев остановило, да и война закончилась за шесть дней — но мне необходимо было понять, что именно значит для них Израиль, и я попросила друзей устроить мне встречу с кем-нибудь из тех 2500 молодых ньюйоркцев, которые во время войны хотели поехать в Израиль.

Нелегко было устроить это за одни сутки, но это было сделано, и более тысячи юношей пришло поговорить со мной. «Скажите,— спросила я,— почему вы хотели приехать? Из-за воспитания, которое получили? Или потому, что вам казалось, что это будет интересно? Или потому, что вы сионисты? Что вы думали, когда стояли в очередях и просили разрешения уехать в Израиль?»

Ответы, конечно, были разные, но мне кажется, что общие чувства выразил один молодой человек, сказавший: «Не знаю, как это вам объяснить, миссис Меир, но я понял одну вещь. Моя жизнь уже никогда не будет прежней. Шестидневная война и то, что Израиль чуть не уничтожили, изменило для меня все: отношение к себе, к семье, даже к соседям. Теперь уже никогда и ничто не будет для меня таким, как было».

Это был не слишком членораздельный ответ, но он шел от сердца, и я понимала, что он хочет сказать. Он понял, что он еврей, и понял, что, несмотря на все разногласия, он принадлежит к большой семье — еврейскому народу. Угроза, вставшая перед нами, была угроза прекращения рода — и на это все евреи, ходят ли они в синагогу или нет и живут ли в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Париже, Москве или Петах-Тикве, отвечают одинаково. Это была угроза народу, и когда Насер с подручными ее произнес, он произнес смертный приговор своей войне, потому что мы — все мы — решили: повторения гитлеровского «окончательного решения», повторения Катастрофы не будет.

В каком-то смысле это объединение нации перед общей угрозой подготовило поднявшееся в Израиле требование «всеобщей коалиции» всех политических партий

(кроме коммунистов) и передачи портфеля министра обороны человеку, более опытному в военном деле, чем Леви Эшкол. Надо сказать, что я не сочувствовала ни одному из этих требований. Национальная коалиция — и в свое время я узнала, что это такое, на собственном опыте — хороша при нормальных условиях, когда есть время на длинные споры, выражающие разные точки зрения; но тогда, когда надо принимать роковые решения, она не помогает, а мешает, ибо только общность идеологии, предпосылок и позиций способствует эффективной и гармоничной работе правительства. Если и была нужда, в чем я лично сомневаюсь, в те последние дни перед войной укреплять правительство Эшкола, это можно и нужно было сделать без особых замен. Я-то знала — чего в Израиле тогда не знали многие,— что Эшкол, без фанфар и развернутых знамен, в тишине сделал как премьер-министр и министр обороны все, что нужно, для того, чтобы наши оборонные силы могли справиться со своей задачей. Он знал армию, понимал ее нужды и умел их удовлетворять — это никому не внушало сомнений.

Я не слепая, и, конечно, я, как и все, видела какую-то робость в его манере держаться. В самые трудные дни «коненут» он раза два обращался к нации и сказал все, что сказал бы любой другой на его месте; но сказал как-то нерешительно, без понимания аудитории — а страна в это время нуждалась в более энергичном руководителе. Я-то не думала — да и теперь не думаю,— что это имеет значение. Эшкол был мудрый и преданный делу человек, сознававший, что на него возложена самая тяжкая для государственного деятеля ответственность, и тяжесть этой ответственности его подавляла. Только безумец мог бы испытывать при этом другие чувства, и то, что Эшкол слегка заикался, говоря о том, чтобы послать свой народ на войну, делает ему честь.

Я впоследствии тоже узнала, что это значит, и не раз вспоминала Эшкола во время войны Судного дня [1], когда мрачная, как смерть, я выступила по телевизору, ибо то, что я должна была сказать — и никто кроме меня сказать не мог,— было так серьезно, что мне было не до выбора слов. Но опять-таки: кто никогда там не побывал, тот вряд ли может себе представить, как было дело. У израильтян нервы были натянуты до предела, выступления Эшкола их разочаровали, отчаянные попытки найти другой, невоенный, выход из положения — тоже. К чему заставлять Аббу Эбана стучаться еще в одну дверь? Сколько же еще продлится неизвестность? Что ж мы так и будем дальше — отмобилизовались и сидим ждем? Эшкол казался слишком нерешительным, слишком пассивным. Времена были героические — но где же герой?

Все критиковали Эшкола, но никто не требовал, чтобы он ушел в отставку, просто нарастало всеобщее, хоть и неоправданное, недовольство им, вылившееся в настоятельное требование назначить нового, более смелого и более популярного в народе министра. К концу мая ясно было, что тысячи израильтян считают Моше Даяна подходящим выразителем решимости нации все вытерпеть и победить. Словно бы израильтяне — не все, но очень многие — ожидали, что Даян привнесет что-то такое, чего у Эшкола не было. Я и теперь не могу в точности определить, чего они искали. Возможно, уверенности, что в такое трудное время их поведет боец, а возможно, им импонировало известное всем даяновское бесстрашие. Как бы то ни было, сопротивляться такому напору было невозможно. В конце концов Эшкол, оскорбленный до глубины души, но понимавший, что главное — это сохранять единство, сдался, а я перестала спрашивать себя, как же это получилось: если Даян такой явный кандидат на пост министра обороны, почему же Бен-Гурион так никогда и не вручил ему этого портфеля?

Даян оставался министром обороны Израиля до 1974 года; в моем кабинете не было другого министра обороны, и мы с ним очень хорошо работали вместе. Однако я надеюсь, он простит мне, если я скажу, что и теперь не верю, будто его назначение в 1967 году особенно изменило ход Шестидневной войны и будто он — главный зодчий нашей победы. Армия обороны Израиля не дожидалась 1 июня, чтобы разработать стратегический план и обучить своих солдат. И герои этой войны — люди Израиля. Не думаю, что исход войны был бы иным, если бы Даян не вошел в правительство. Но как бы то ни было, скажу здесь, что хоть я и считала, что с Эшколом поступили несправедливо, израильское общество получило наконец

[1] Война Судного дня — четвертая арабо-израильская война (с 6 по 24 октября 1973 года) началась внезапным нападением Египта и Сирии в Йом-Киппур — Судный день.

энергичного и эффектного военного руководителя, которого оно так добивалось и в котором, может быть, даже нуждалось, и я была довольна, что вопрос этот наконец решился.

Еще два замечания по поводу Шестидневной войны. Первое само собой разумеется, и все-таки я уже знаю, что все приходится повторять, ибо есть еще люди, не понимающие, что мы провели эту войну столь успешно не только потому, что вынуждены были это сделать, но и потому, что всей душой надеялись одержать такую полную победу, после которой больше не придется воевать. Если нам удастся нанести собранным против нас арабским армиям тотальное поражение, то, может быть, наши соседи наконец откажутся от «священной войны» против нас и поймут, что мир нужен им так же, как и нам, что жизнь их сыновей не менее дорога, чем жизнь наших. Мы ошибались. Арабы были разбиты наголову, они понесли тяжелейшие потери — но и это не помогло им осознать, что Израиль не исчезнет с карты мира просто для того, чтобы оказать им услугу. И второе, о чем я бы хотела напомнить читателям: в июне 1967 года и Синай, и Газа, и Цисиордания — на запад от Иордана,— и Голанские высоты, и Восточный Иерусалим — все находилось в руках арабов; поэтому смешно сейчас говорить, что причины напряженности на Ближнем Востоке и причины войны Судного дня — присутствие на этих территориях Израиля с 1967 года! Когда арабские государственные деятели настаивают, чтобы Израиль отошел к границам, существовавшим до 1967 года, можно спросить: если эти границы для арабов священны, то зачем было затевать Шестидневную войну, чтобы их нарушить?

Война началась рано утром в понедельник 5 июня. Как только мы услышали вой сирены, мы поняли, что ожидание кончено, хотя о размахе сражений нация узнала только поздно ночью. Весь день наши самолеты, волна за волной, летели через Средиземное море бомбить египетские аэродромы с заготовленными против нас самолетами — и весь день мы, припав к транзисторам, ждали новостей. Но новостей не было, только музыка, ивритские песни и шифровки — призывы еще не мобилизованных резервистов. Только после полуночи жители Израиля, сидевшие в своих затемненных комнатах, услышали от командующего военно-воздушными силами официальный, почти невероятный отчет об этом первом дне: за шесть часов, которые понадобились военно-воздушным силам для уничтожения более 400 вражеских самолетов (в том числе и базировавшихся на сирийских и иорданских аэродромах) и завоевания полного господства в воздухе от Синая до сирийской границы, народ Израиля был спасен. И хотя меня весь день информировали о ходе событий, я тоже не вполне понимала, что произошло, пока не услышала радиопередачи. Несколько минут я простояла одна у дверей своего дома, вглядываясь в безоблачное, бестревожное небо, и тут только уразумела, что нам больше не надо бояться воздушных налетов, которых мы боялись так много лет. Да, война только началась, и будет и смерть, и траур, и горе. Но самолеты, которые должны были бомбить нас, валялись на земле, изуродованные, и аэродромы, с которых они должны были взлететь, лежали в обломках. Я вдыхала ночной воздух так глубоко, словно мне много недель не удавалось вздохнуть по-настоящему.

Но мы одержали решающую победу не только в воздухе. В тот же день наши наземные силы, поддержанные авиацией, мчались по трем взятым в 1956 году дорогам; они уже углубились в Синай, побеждая в танковом бою, где сражалось больше машин, чем было в Западной пустыне во время второй мировой войны; они уже шли к Суэцкому каналу. Протянутая для примирения рука Израиля сжалась в кулак, и остановить наступление израильской армии уже было невозможно. Но Насер был не единственный арабский правитель, чьи планы были вдребезги разбиты в день пятого июня.

Был еще Хуссейн, который взвешивал: на одной чаше весов обещание Эшкола, что Иордании ничего не грозит, если она не влезет в войну, на другой — полученное им утром от Насера сообщение, что египтяне бомбили Тель-Авив (хотя к тому времени у Насера практически уже не было самолетов). Как когда-то его дед, Хуссейн долго примеривался — и сделал ошибку. 5 июня он отдал приказ своим войскам начать обстрел Иерусалима и еврейских поселений на иордано-израильской границе. Его армия должна была стать восточной половиной задуманных клещей, но ей это не удалось. Как только Иордания начала обстрел, Армия обороны Израиля ударила и по Хуссейну, и, хотя битва за Иерусалим стоила жизни многим

молодым израильтянам — дравшимся врукопашную на узких улочках, чтобы танками и снарядами не разрушать города и священные для христиан и мусульман места,— уже этой ночью стало ясно, что жадность Хуссейна будет стоить ему по меньшей мере Восточного Иерусалима. Не боясь повториться, я опять подчеркиваю, что как в 1948 году арабы били по городу, нисколько не заботясь о сохранности церквей и святых мест, так и в 1967 году иорданские войска без колебаний использовали церкви и даже минареты собственных мечетей под огневые точки. Потому-то мы возмущаемся, когда кое-кто выражает опасения за святой Иерусалим под израильским управлением, не говоря уж о том, что открылось нам, когда мы впервые вошли в Восточный Иерусалим. Еврейские кладбища были осквернены, старые синагоги Еврейского квартала сравнены с землей, еврейскими надгробными камнями с Масличной горы были вымощены иорданские дороги и армейские уборные. Так что не стоит и пытаться убедить меня, что Иерусалиму лучше быть в арабских руках или что нам нельзя доверить заботу о нем.

Египет был побит за три дня, Хуссейн в два дня расплатился за свою ошибку. В четверг 8 июня сдался губернатор Газы, израильские войска вышли на восточный берег Суэцкого канала и закрепились там. Тиранский пролив снова находился под контролем Израиля — восемьдесят процентов, если не более, египетской военной техники было уничтожено. Даже Насер, не слишком точный в подсчетах, допускает, что погибло 10 тысяч египетских солдат и 1500 офицеров; к нам в плен попали 6 тысяч египтян или около того. К Израилю опять попал весь Синай и Газа, а также Восточный Иерусалим, Старый город и практически половина иорданского королевства. Но мы еще не знали, сколько наших ребят погибло в боях, и нам надо было управиться еще с одним агрессором. 9 июня Армия обороны Израиля обратила внимание на Сирию и решила доказать ей, что она ошибается, считая непобедимыми орудия, без конца обстреливающие еврейские поселения с Голанских высот. Должна признаться, что для такой ее самоуверенности были некоторые основания. Когда после войны я поехала на Голанские высоты и увидела своими глазами растянувшиеся на много километров бетонные бункеры, щетинящиеся колючей проволокой, набитые противотанковыми пушками и артиллерийскими орудиями, я поняла, почему сирийцы были так самоуверенны и почему Армии обороны Израиля понадобилось два дня и целая ночь кровопролития, чтобы совершить, дюйм за дюймом, подъем на эти высоты и пробиться в бункеры. Но благодаря армии, авиации, парашютистам и бульдозеристам это было сделано, и 10 июня сирийцы стали просить Объединенные Нации устроить прекращение огня. Командующий Северным фронтом генерал Давид Элазар (будущий начальник штаба во время войны Судного дня), когда сражение закончилось, послал телеграмму поселенцам в долине: «Только с этих высот я увидел, какие вы великие люди».

Все кончилось. Арабские государства и их советские патроны проиграли войну. Но теперь мы потребуем за свое отступление высочайшую цену. Этой ценой будет мир, постоянный мир, по мирному договору, основанному на оговоренных и надежных границах. Война была недолгая, но жестокая. По всей стране шли военные похороны, и нередко хоронили ребят, чьи отцы или старшие братья пали в Войне за независимость или в какой-нибудь стычке, которыми нас так часто мучили. Мы сделаем все, чтобы не подвергаться снова этому ужасу. Мы не будем больше слушать льстивых похвал израильскому народу. Замечательный народ! Каждые десять лет выигрывают войну! И опять выиграли! Изумительно! А теперь пусть возвращаются на свое место — чтобы сирийские стрелки могли стрелять с Голанских высот по киббуцам, а иорданские легионеры — с башен Старого города, и чтобы Газа опять превратилась в гнездо террористов, а Синай — в плацдарм для насеровских дивизий.

— Есть тут кто-нибудь,— спросила я на том самом митинге в Нью-Йорке,— кто осмелится сказать нам: идите по домам! Начинайте готовить ваших восьми- и девятилетних мальчиков к будущей войне! Я уверена, что каждый порядочный человек скажет на это «нет!». И самое главное, простите за откровенность, то, что «нет!» говорим мы сами.

Мы в одиночестве сражались за свое существование и безопасность, и большинству из нас уже казалось, что вот-вот забрезжит новый день, что арабы, побитые в войне, согласятся наконец сесть за стол переговоров и обсудить наши разногласия, среди которых нет и не было неразрешимых.

То был не триумф, то был новый подъем надежд. И тут, в сознании заслуженного облегчения после победы, радости, что мы живы и сравнительно невредимы, надежды на мир, весь Израиль позволил себе каникулы, которые продолжались почти все лето. Не было, пожалуй, семьи — и моя собственная не исключение,— которая бы после Шестидневной войны не предприняла поездки по новым местам. Иностранцам это казалось чем-то вроде массового туризма, а в действительности это было паломничество к тем местам Святой Земли, от которых мы были оторваны в течение двадцати лет. Прежде всего, конечно, евреи стремились в Иерусалим; ежедневно тысячи людей толпились в Старом городе, молились у Стены, пробирались через развалины бывшего Еврейского квартала. Но мы ездили в Бетлехем, Иерихон, Хеврон, Газу, Шарм-эль-Шейх. Учреждения, фабрики, киббуцы, школы выезжали на экскурсии; сотни битком набитых легковушек, автобусов, грузовиков, даже такси пересекали страну в северном направлении к горе Хермон и в южном — к Синаю. И везде, куда мы приезжали в то радостное, почти беззаботное лето, мы встречали арабов, живших на территориях, которыми мы отныне управляли, улыбались им, покупали у них продукты, разговаривали, разделяя с ними, пусть и не на словах, надежду на то, что мир станет реальным, и стараясь сообщить им нашу радость по поводу того, что отныне мы сможем нормально жить рядом.

Буквально все в то время были на колесах, потому что арабы управляемых территорий ездили не меньше, чем мы. Они неслись в Тель-Авив, к морю, в зоосад, толпились у витрин Западного Иерусалима и сидели в кафе на всех центральных улицах. Большинство переживало те же волнения, то же любопытство, что и мы, и всматривалось в ландшафты, которые взрослые успели позабыть, а дети никогда не видели. Все это сегодня похоже на сказку. Я вовсе не хочу этим сказать, будто арабы пять раз в день поворачивались лицом к Мекке, дабы возблагодарить за то, что их разбили, или что не было евреев, предпочитавших сидеть дома, а не участвовать в непристойном, как им казалось, праздновании мира в то время, когда раны войны еще не затянулись. Но каждый, кто побывал в Израиле летом 1967 года, может подтвердить, что настоящая эйфория охватила евреев и даже передалась арабам. У людей было чувство, словно им отменили смертный приговор — и в сущности, так оно и было.

Если бы надо было выбрать самый эффектный момент для иллюстрации общей атмосферы тех дней, то я выбрала бы разрушение бетонной баррикады и проволочных заграждений, с самого 1948 года разделявших Иерусалим на две части. Эти отвратительные баррикады больше чем что-нибудь символизировали ненормальность нашей жизни, и когда бульдозер срыл их прочь и Иерусалим за одну ночь опять стал единым городом,— это и было знаком и символом, что наступила новая эра. Человек, впервые в жизни приехавший в Иерусалим именно тогда, сказал мне: «Город словно светился изнутри»,— и я поняла, что он имеет в виду. И внукам я говорила: «Скоро солдаты разойдутся по домам, наступит мир, мы сможем ездить в Иорданию и Египет, и все будет хорошо». Я в это верила — но так не случилось.

В августе 1967 года на Хартумской конференции в верхах арабы рассмотрели положение вещей и пришли к совершенно противоположному выводу. Они произнесли свои три знаменитых «нет»: нет — миру с Израилем, нет — признанию Израиля, нет — переговорам. Нет, нет, нет! Израиль должен полностью и безоговорочно покинуть территории, занятые в Шестидневной войне; террористы, приглашенные на конференцию, сделали от себя еще одно полезное добавление: «Израиль должен быть разрушен — даже в границах 1967 года». Таков был ответ на призыв израильского правительства: давайте встретимся не как победители и побежденные, но как равные, чтобы обсудить мир — без всяких предварительных условий. Неважно, кто начал войну и кто ее выиграл. Но у арабов ничего не изменилось, и все так называемые плоды победы пошли прахом, не успев созреть, и увяла мечта о немедленном мире. Но если арабы ничему не научились, то кое-чему научились мы. Мы не собирались повторять маршировки 1956 года. Дискутировать, обсуждать, искать компромисса, уступать — пожалуйста. Но не отходить к линии 4 июня 1967 года. Эта любезность была нам не по средствам, и мы не могли себе ее позволить даже ради того, чтобы Насер сохранил лицо и Сирия не так страдала от того, что ей не удалось нас уничтожить. Очень жаль, что арабы, проиграв ими самими затеянную войну, чувствовали себя до того посрамленными, что даже не могли заставить себя

разговаривать с нами, но, с другой стороны, и от нас не нужно было ожидать, что мы их вознаградим за попытку сбросить нас в море. Мы были горько разочарованы, но ответ мог быть только один: Израиль не уйдет с завоеванных территорий до тех пор, пока арабские государства раз и навсегда не положат конец конфликту. Мы решили — и, поверьте, нелегкое это было решение,— что останемся на линии прекращения огня, несмотря ни на какое давление, чего бы нам это ни стоило в смысле общественного мнения, затрат энергии и денежных затрат. Мы решили ждать, пока арабы примирятся с фактом, что единственной альтернативой войне является мир, а единственным путем к миру — переговоры.

В то же время арабы, живущие на контролируемых нами территориях — около 1 миллиона, из них более 600 тысяч — на Западном берегу Иордана, около 365 тысяч — в Синае и Газе, и друзы-феллахи, которые решили оставаться на Голане после отступления сирийской армии,— будут жить так же, как жили до Шестидневной войны. Не велико удовольствие жить под управлением военной администрации, и никому из арабов на территориях не нравилось, что там ходят израильские патрули, но армия старалась не слишком бросаться в глаза, а военная администрация — в значительной степени благодаря Даяну — почти не вмешивалась в каждодневную жизнь. Сохранялись местные законы, сохранялись и местные руководители. Мосты через Иордан были открыты, арабы Западного берега продолжали по-прежнему торговать с арабскими государствами, учиться там, посещать своих родственников; их родственники тоже могли посещать их — и приходили тысячами. Конечно, все это было временно; ни один нормальный израильтянин не считал, что все территории останутся под управлением Израиля. Конечно, Иерусалим останется единым, но можно прийти к соглашению о мусульманском контроле над мусульманскими святыми местами. Между Иорданией и Израилем должны быть проведены новые границы; маловероятно, что Голан будет целиком возвращен Сирии и весь Синай сразу — Египту; Газа тоже являет собой нелегкую проблему. Но пока все это не было обсуждено с единственными людьми, кого это касалось, т. е. с нашими соседями, нечего было намечать будущую карту Ближнего Востока и даже обсуждать между собой, кому какие территории возвращать. Не по почте же их возвращать! Мы продолжали ждать ответа на наши повторные призывы к переговорам.

В это время Совет Безопасности принял резолюцию — знаменитую резолюцию 242, предложенную англичанами, намечавшую рамки мирного урегулирования «арабо-израильских разногласий» и назначившую специального представителя для наблюдения за «мирным и приемлемым» урегулированием — доктора Гуннара В. Ярринга. Об этой резолюции 242 столько писалось и говорилось, ее так коверкали и арабы, и русские, что, пожалуй, я тут ее приведу, тем более что она не длинная:

Резолюция 242 (1967)
от 22 ноября 1967 года

Совет Безопасности,

выражая свое продолжающееся беспокойство по поводу серьезного положения на Ближнем Востоке,

подчеркивая недопустимость приобретения территории путем войны и необходимость добиваться справедливого и прочного мира, при котором каждое государство в данном районе может жить в безопасности,

подчеркивая далее, что все государства — члены Организации Объединенных Наций, принимая Устав Организации Объединенных Наций, взяли на себя обязательство действовать в соответствии со статьей 2 Устава,

1. *утверждает,* что выполнение принципов Устава требует установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, который должен включать применение обоих нижеследующих принципов:

i) вывод израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных во время недавнего конфликта;

ii) прекращение всех претензий или состояний войны и уважение и признание суверенитета, территориальной целостности и политической независимости каждого государства в данном районе и их права жить в мире в безопасных и признанных границах, не подвергаясь угрозам силой или ее применением;

2. *утверждает далее* необходимость:

a) обеспечения свободы судоходства по международным водным путям в данном районе;
b) достижения справедливого урегулирования проблемы беженцев;
c) обеспечения территориальной неприкосновенности и политической независимости каждого государства в данном районе с помощью мер, включающих установление демилитаризованных зон.

Следует отметить, что в ней не говорится, что Израиль должен отступить со всех или с таких-то территорий. Но в ней говорится, что каждая страна в регионе имеет право мирно жить в «безопасных и признанных границах», и в ней говорится о конце состояния войны. Далее, там не говорится о палестинском государстве, а говорится о проблеме беженцев. Но не только резолюция 242 была неверно истолкована — неверно истолкована была и наша позиция. Известный израильский сатирик Эфраим Кишон и карикатурист Дош выпустили после Шестидневной войны книгу под названием «Просим прощения, что мы победили». Звучало это горько, но для израильских читателей вполне понятно. Собственно говоря, это название выражало довольно точно наше самочувствие в начале 1968 года — если хочешь улучшить представление мира об Израиле, то забудь про мирный договор. По-видимому, наша вина была в том, что мы снова и снова говорили арабам: «Давайте приступим к переговорам». Предполагалось, что нам скажут: «Вот вам новая карта, подпишитесь вот тут»,— и мы так и сделаем. А вместо этого мы призываем к переговорам!

По каким-то таинственным причинам это превратило нас в злодеев. Хоть вы меня режьте, не могу понять, почему Вилли Брандт, признавший границу по Одеру — Нейсе, поскольку пришло время исправить зло, которое Германия причинила Польше во время второй мировой войны, получил (и вполне заслуженно) Нобелевскую премию и был всюду прославлен как великий государственный деятель и поборник мира, а Эшкол и впоследствии я, желавшие точно такого же урегулирования границ между Израилем и его соседями, были заклеймены как экспансионисты. И не только это; наши друзья все время осведомлялись, не тревожит ли нас, что Израиль превращается в милитаристскую страну (тогда только и слышалось: «маленькая Спарта»), которая поддерживает закон и порядок на контролируемых территориях с помощью «грубой силы» — оккупационных войск. И эпитет «непреклонная» прирос ко мне навсегда. Но ни Эшкол, ни я, ни подавляющее большинство израильтян не скрывали, что мы не хотим прекрасного, либерального, антимилитаристского и *умершего* еврейского государства или такого «урегулирования», которое принесет нам лавры умных-разумных людей — и поставит нашу жизнь под угрозу. Доктор Вейцман говаривал, что стал президентом государства, где все президенты; Израиль — это живая демократия, и голубей там столько же, сколько ястребов, но я еще не встречала израильтянина, который считал бы, что ради того, чтобы внушать симпатию, нам надо навсегда превратиться в глиняных голубков.

Я была занята объединением рабочих партий всю зиму 1967—1968 годов. И, конечно, Эшкол всегда находил у меня поддержку при каждом очередном кризисе — то на контролируемых территориях усиливалась деятельность Аль-Фатх и прочих маленьких террористических групп, объявивших себя единственными истинными представителями арабского народа; то в очередной раз делались попытки использовать резолюцию 242, чтобы заставить Израиль отступить со всех контролируемых территорий в неприемлемое для нас время и неприемлемым образом. В январе 1968 года была создана израильская лейбористская партия, объединившая Мапай, Ахдут ха-авода и Рафи, а в феврале я была избрана ее генеральным секретарем. Это было только частичное объединение; в таком виде это была скорее федерация трех партий, и лишь в следующем году было создано более широкое объединение — Маарах, как его называют на иврите,— куда вошла и Мапам. Но хотя узы были не слишком тесными, все-таки отныне все три партии находились под одной политической крышей, чего я и хотела добиться. Теперь, добившись этого, я могла снова уйти в отставку — что я и сделала в июле.

Мне было семьдесят лет. Семьдесят — это не грех, конечно, но и не шутка. Я опять болела в 1967 году, и, как вы понимаете, Шестидневная война и формирование Маараха не слишком согласовывались с врачебными предписаниями. Я чувствовала, что мне действительно необходим покой и отдых, и тут никто уже не мог меня отговорить. Я поехала в Штаты по делам израильского займа, навестила в Коннектикуте Менахема, Айю и детей: Айя получила стипендию в университете, Менахем преподавал игру на виолончели. Я даже провела несколько недель в Швейцарии — это были первые настоящие каникулы в моей жизни, и когда я вернулась домой, я чувствовала себя как будто только что родилась.

Однако положение дома не слишком улучшилось. Несмотря на прекращение огня, на Суэцком канале шло нечто вроде войны. Египтяне, зная, что русские уже поставили им новые пушки, танки и самолеты вместо тех, что были потеряны в Шестидневной войне, расхрабрились и то и дело устраивали настоящую бомбовую завесу. «Придет время — мы нанесем удар!» — гремел Насер и повторял так называемые «принципы египетской политики»: ни переговоров, ни мира, ни признания Израиля. Весной 1969 года он начал «войну на истощение».

Тем, кто наблюдал все это издалека, постоянный обстрел позиций израильской армии на канале казался, вероятно, просто одним из «инцидентов», которые происходят на Ближнем Востоке с незапамятных времен; ну еще одно доказательство невозможности сосуществования между арабами и евреями; по-видимому, никто за границей не относился серьезно к постоянному нарушению Египтом договора о прекращении огня. Но мы относились вполне серьезно, потому что знали, что эти нарушения обещают в будущем, и потому начали строить оборонительную линию — линию Бар-Лева,— чтобы защищать наши войска по обоим берегам канала.

В это же время арабские террористические организации, которым не удалось спровоцировать серьезные антиизраильские действия на контролируемых территориях — если не считать спонтанного, хоть и выражавшего глубокие чувства, марша протеста в Хевроне или забастовки в Дженине,— решили перейти к террористическим действиям за тысячи миль от Израиля. Разумеется, для них это было куда безопаснее, и куда эффективнее тоже, да и выбор мишеней был широкий, в том числе гражданская авиация и ни в чем не повинные пассажиры на чужих аэродромах. К тому же, террористы в то время вовсе не собирались ограничиться одними евреями. Саудовская Аравия следила за тем, чтобы Аль-Фатх не нуждался в деньгах; Насер снова послал ей официальное благословение («Аль-Фатх,— сказал он,— выполняет важнейшую задачу, пуская кровь врагу»); король Хуссейн опять блеснул искусством канатоходца. Но, как и в Шестидневную войну, и тут просчитался, с энтузиазмом поддержав террористов, которые скоро начали отчаянную борьбу с ним за господство в Иордании и стали для него много опаснее, чем для нас. Когда в 1970 году ему пришлось худо от палестинских террористических организаций и он, как затравленный, стал озираться по сторонам в поисках помощи, мне пришло в голову, что он похож на человека, убившего отца и мать, который просит о милосердии на том основании, что он сирота.

На севере мира не было тоже. Южный Ливан постепенно превращался в игровую площадку для террористов. Города, поселки и фермы Израиля, даже школьные автобусы с детьми постоянно подвергались обстрелу из мест, получивших название «Фатхландии», а ливанское правительство проливало крокодиловы слезы, заявляя, что ничего не может сделать с террористами и с тем, что Ливан стал базой для их операций и местом их тренировки.

Но мы решили оборонять линию прекращения огня, не обращая внимания ни на Насера, ни на Фатх; более того, мы решили продолжать поиски путей к миру, хотя и не радовало сердце это занятие. Мы привыкли не терять надежды в любой обстановке, в основном благодаря тому, что наши молодые люди ради будущего Израиля соглашались неделями сидеть на Хермоне, в Синае и в Иорданской долине, удерживая линию прекращения огня, что не доставляло им удовольствия. Надо понять, какие жертвы они приносили. Это была армия резервистов — фермеров, официантов, студентов, владельцев химчисток, врачей, шоферов и так далее,— мало было среди них профессиональных военных, получающих приличную зарплату за свою военную службу. Эти люди пошли по призыву, великолепно исполнили свой долг и теперь больше всего на свете хотели вернуться домой. У них были свои дела и свои обязанности, и, право же, никогда еще свет не видел такой грустной армии

победителей, ибо война, которую они выиграли, так никогда и не кончилась. Резервисты возвращались по домам на несколько недель или месяцев, а потом их призывали снова. Они ворчали, бурчали, но принимали необходимость стоять на линии прекращения огня, пока не будет достигнут постоянный мир.

26 февраля 1969 года мой дорогой друг Леви Эшкол, с которым я столько лет проработала и которого так любила и уважала, умер от сердечного приступа. Я узнала об этом дома и несколько минут сидела у телефона, оглушенная настолько, что даже не могла собраться с силами и попросить кого-нибудь отвезти меня в Иерусалим. Казалось невозможным, что Эшкола нет больше. Ведь я только вчера с ним разговаривала, ведь мы условились о встрече на завтра. Я не могла вообразить, что теперь будет и кто станет премьер-министром вместо него. Приехав в Иерусалим, я сначала пошла к Эшколу домой. Потом министры собрались на чрезвычайное заседание, а я сидела в чьем-то кабинете, ожидая конца заседания, чтобы узнать все насчет похорон. И тут вошел израильский журналист.

— Я понимаю, что ты сейчас переживаешь,— сказал он.— Но я прямо из кнессета. Все говорят одно: Голда должна вернуться.

— Не понимаю, о чем ты говоришь,— ответила я гневно.— Пожалуйста, не тревожь меня сейчас. Сейчас не время говорить о политике. Пожалуйста, пожалуйста, уходи!

— Ладно,— сказал он.— Но мой редактор хочет знать, где ты будешь сегодня вечером. Он хочет с тобой поговорить.

— Слушай,— сказала я.— Я никого не хочу видеть. Я ничего не знаю и не хочу ничего знать. Я только хочу, чтобы ты оставил меня в покое.

Заседание кабинета закончилось. Игал Аллон — заместитель премьер-министра — стал временно исполняющим обязанности премьера. Я вместе с министрами опять пошла к Мириам Эшкол. Вечером я возвратилась в Тель-Авив. В 10 часов вечера явился редактор газеты. «Пришел сообщить тебе,— сказал он,— все решили, что ты должна занять место Эшкола. Ты — единственный человек в партии, по общему мнению, достаточно для этого авторитетный, опытный и уважаемый».

Если бы я была в другом настроении, я бы напомнила ему, что при недавнем опросе общественного мнения — кто должен стать премьер-министром? — я получила как раз три процента голосов, что никак не назовешь подавляющим большинством, хоть я ничуть не огорчилась. Больше всех голосов получил Моше Даян, да и Игал Аллон получил немало. Но не то у меня было настроение, чтобы все это обсуждать. «Эшкола еще не похоронили,— сказала я редактору,— а ты уже приходишь об этом со мной разговаривать!» И отправила его домой.

Но через несколько дней партия начала нажимать. «В октябре будут всеобщие выборы; надо назначить премьер-министра на это время; это же всего на несколько месяцев! И больше назначить некого!» Сам Аллон меня уговаривал — ради партии, которая только что объединилась, ради страны, которая все еще в опасности,— сослужить еще эту последнюю службу. Не вся партия, конечно, так стремилась иметь меня премьер-министром. Бывшая фракция Рафи, возглавляемая Даяном и Пересом, ничуть об этом не мечтала, и я вполне понимала людей нашей страны, не уверенных, что семидесятилетняя бабушка — подходящий кандидат для того, чтобы возглавить двадцатилетнюю страну.

А я никак не могла решиться. С одной стороны, я понимала, что если я не соглашусь, то начнется отчаянная борьба между Даяном и Аллоном, а это Израилю совсем не было нужно. Хватало и войны с арабами; война между евреями может подождать, пока закончится эта. С другой стороны, я в самом деле не хотела ответственности и вечного напряжения всех сил, которые связаны с постом премьер-министра. Хотелось посоветоваться с родными. Я позвонила Менахему и Айе в Коннектикут; потом позвонила в Ревивим Сарре и Зехарии, сказала, что хочу их увидеть, но не могу приехать в Негев — очень устала; не приедут ли они сами? В полночь они прибыли на грузовике — и мы до утра просидели вместе; разговаривали, пили кофе и курили. Наутро Сарра сказала, что они с Зехарией приняли решение: они согласны с Менахемом и Айей, у меня нет выбора. «Има, мы понимаем, как тебе будет трудно, труднее, чем кто-нибудь может себе представить. Но тут просто нет другого выхода — ты должна согласиться». И я согласилась. 7 марта центральный комитет лейбористской партии проголосовал за мое назначение премьер-министром: семьдесят — за, ни одного — против, фракция Рафи — воздержалась. Меня часто

спрашивают, что я чувствовала в эту минуту, и мне хотелось бы найти для ответа поэтическую форму. Но я только помню, что у меня по щекам текли слезы, что я закрыла лицо руками, когда голосование закончилось,— а из своих чувств помню лишь изумление. В мои планы никогда не входило сделаться премьер-министром; собственно, я вообще никогда не думала о должностях. У меня было в плане поехать в Палестину, отправиться в Мерхавию, принимать активное участие в рабочем движении, но никогда я не задумывалась о том, какой пост займу. А тут я поняла, что теперь мне придется принимать решения, от которых будет зависеть жизнь миллионов людей, и, вероятно, потому я и плакала. Однако на размышления времени не было, и раздумья о пути, который довел меня из Киева до кабинета премьера, надо было отложить на потом. Да и сейчас, когда времени хватает, эти мысли и раздумья меня не занимают. Стала премьер-министром — и стала, точно так же, как мой молочник стал командиром нашего аванпоста на горе Хермон. Ни мне, ни ему особого удовольствия работа не доставляла; и он, и я старались выполнить ее как могли лучше.

Премьер-министр

И опять я переехала, на этот раз в обширную, не слишком уютную резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, где до меня жили Бен-Гурион, Шарет и Эшкол,— и стала приучать себя к постоянному присутствию полицейских-телохранителей, к шестнадцатичасовому рабочему дню, к почти полной невозможности уединения. Конечно, выпадали дни полегче, покороче, посвободнее — я вовсе не хочу, чтобы думали, что все пять лет моего премьерства я была какой-то великомученицей и что у меня не было радостей. Но мое премьерство с войны началось и войной закончилось, и было что-то символическое в том, что первой моей инструкцией военному секретарю Исраэлю Лиору было немедленно сообщать мне о каких-бы то ни было вооруженных столкновениях, будь то даже среди ночи.

— Я хочу знать, когда мальчики вернутся и как,— сказала я ему.

Слова «потери» я не употребила, но Лиор хорошо меня понял — и ужаснулся.

— Не хочешь же ты, чтобы я тебе звонил в три часа ночи? — спросил он.— Ты же все равно ничего не сможешь сделать, если будут потери. Обещаю, что позвоню рано утром.

Но я знала, мне будет невыносима мысль, что я буду спать спокойно, а в эту минуту будут умирать солдаты, и я заставила бедного Лиора покориться. Конечно, когда новости были плохие, я уже не могла заснуть; немало ночей я провела без сна, расхаживая по огромному пустому дому в ожидании утренней, более подробной информации. Телохранители у дома иногда и в четыре часа утра видели свет на кухне, и кто-нибудь один тогда заходил, чтобы убедиться, что все в порядке. Я заваривала чай для нас обоих, и мы рассуждали о том, что происходит на Канале или на севере, пока я не чувствовала, что теперь смогу заснуть.

Египетская война на истощение началась в первых числах марта 1968 года и продолжалась, становясь все более ожесточенной, до лета 1970 года. Советский Союз не только не старался удержать Насера от убийств, но напротив — срочно отправил в Египет тысячи инструкторов для переучивания побитой египетской армии и оказания ей помощи в войне против нас, а также огромное количество военных материалов, скромно оцениваемых в 3,5 миллиарда долларов.

Не только Египет пользовался советскими щедротами: они доставались и Сирии, и Ираку, но главным получателем был все-таки Насер. Две трети всех танков и самолетов, которыми Советский Союз запрудил регион сразу после Шестидневной войны, предназначались для него в надежде, что под постоянным огнем, терпя вечные потери, мы не выстоим на Канале и, сломленные телом и духом, отступим, не добившись ни мира, ни окончания конфликта.

Вероятно, теоретически и Насеру, и русским все это казалось очень просто. Они будут продолжать обстреливать наши укрепления на Канале, это будет настоящий ад для наших воинских частей, и рано или поздно (скорее рано) мы оттуда уберемся. Ни для Египта, ни для Советского Союза не было тайной, что каждый убитый, каждые военные похороны (а они все время происходили), каждая осироте-

вшая еврейская семья — это был нож в сердце нации, и я понимаю, почему Насер и его хозяева были уверены, что мы сдадимся. Но мы не сдались — просто потому, что не могли себе этого позволить. Мы не стремились бороться ни со всеми подряд, ни с египтянами, ни, особенно, с русскими, но у нас не было никакой альтернативы. У нас был только один способ предотвратить тотальную войну, которой, как Насер со всех крыш провозгласил, окончится война на истощение: наносить жесточайшие удары по египетским военным объектам не только на линии прекращения огня, но и в самом Египте; если понадобится — у самого крыльца египтянина, глубоко на его территории. Нелегко было принять такое решение, особенно потому, что мы понимали — это может вызвать еще большую вовлеченность Советов. (Кстати, то была первая советская интервенция за пределами советской сферы влияния со времен второй мировой войны.) И мы, без особого желания, начали стратегические рейды «в глубину», используя самолеты как летающую артиллерию и рассчитывая, что египтяне, слушая гул наших самолетов над каирским военным аэродромом, поймут, что они не смогут наслаждаться миром, если будут вести войну против нас. Ибо война — оружие обоюдоострое.

Много чего произошло с того времени, и война на истощение уже не очень свежа в памяти людей. Даже ужасная история советских кораблей, тайно доставлявших в Египет ракеты «земля — воздух» СА-3, которые советские специалисты должны были установить и обслуживать в зоне Канала, уже не вызывает большого интереса, хотя все мы знаем, как они были использованы против Израиля осенью 1973 года. Но для нас это была настоящая война, и понадобились решимость, мужество, сила и подготовка наших солдат и летчиков для того, чтобы удержать линию прекращения огня и любой ценой задерживать продвижение вперед ракетных установок, которые египтяне со своими русскими друзьями так старательно устанавливали у самой этой линии. Но нашему умению делать все в одиночку тоже был предел. Нам нужны были помощь и поддержка, самолеты и оружие, и как можно скорее.

Только одна была страна, к которой мы могли обратиться: Соединенные Штаты, традиционный великий друг, который продавал нам самолеты, но, как мы опасались, не вполне понимал наше положение и мог приостановить эту продажу в любую минуту. Президент Никсон относился к нам более чем дружелюбно. Но его, как и его министра иностранных дел Уильяма Роджерса, сердил наш отказ принять любое навязанное нам другими странами решение ближневосточного вопроса, а также мое категорическое неприятие идеи мистера Роджерса, заключавшейся в том, чтоб русские, американцы, французы и англичане уселись где-нибудь поудобнее и выработали «выполнимый» компромисс для нас и арабов. Как я неоднократно объясняла мистеру Роджерсу, такой компромисс, возможно, будет очень хорош для американо-советской разведки, но никаких гарантий для безопасности Израиля он не создаст. Да и как бы он мог? Все военные приготовления Египта направлялись и снабжались русскими; французы в своем проарабизме почти не отставали от русских, а англичане — от французов; только американцы были хоть как-то заинтересованы в выживании Израиля. В лучшем случае окажется, что трое будут против одного, а при таких условиях никакого осуществимого решения принять нельзя. Но, с другой стороны, если все время вызывать неудовольствие президента Никсона и мистера Роджерса, то мы можем лишиться оружия вообще. Что-то надо было предпринять, чтобы вырваться из тупика.

Надо сказать, что мне лично Роджерс всегда нравился. Это очень милый, вежливый и терпеливый человек, и в конце концов именно он предложил и осуществил прекращение огня в августе 1970 года. Но боюсь — и надеюсь, что он простит мне эти слова,— что он никогда по-настоящему не понимал ни того, что лежит в основе арабских войн против Израиля, ни того, что верность своему слову арабские лидеры понимают совсем не так, как он сам. Помню, с каким восторгом он рассказывал мне о своих первых поездках в арабские страны и о том, как «жаждет мира» король Фейсал. Как многие известные мне джентльмены, Роджерс считал — и к сожалению, ошибочно,— что весь мир состоит только из джентльменов.

Все мои попытки завязать прямые контакты с арабскими руководителями провалились — в том числе и призыв, с которым я обратилась к ним в первый же день вступления в должность. Я заявила, что «мы готовы вести мирные переговоры с нашими соседями в любой день и по всем проблемам», а через 72 часа прочла

ответ Насера: «Нет голоса, который мог бы заглушить звуки войны... нет призыва более святого, чем призыв к войне». Не более вдохновляющими были отклики из Дамаска, Аммана или Бейрута. Вот выдержка из статьи в ведущей иорданской газете (июнь 1969), иллюстрирующая арабскую реакцию на мое предложение немедленно вступить в переговоры:

«...Г-жа Меир готова ехать в Каир беседовать с президентом Насером, но, к ее огорчению, ее туда не пригласили. Она верит, что в один прекрасный день на Ближнем Востоке родится мир без пушек. Голда Меир ведет себя, как настоящая бабушка: перед сном рассказывает внукам сказки».

Мы были словно в тисках. Пока шла война, люди за границей спрашивали, не входит ли в наши намерения низложить Насера — словно мы его назначали, а теперь думаем, кем его заменить. Бесило меня и то, что нас спрашивают, в самом ли деле необходимы наши бомбежки «в глубину» и самооборона ли это, словно надо дожидаться, чтобы убийца подошел к твоему дому, чтобы иметь моральное право помешать ему убивать, особенно когда — как в случае с Насером — его намерения не внушают никаких сомнений.

В общем, это был тяжелый период, затруднявшийся еще и тем, что я унаследовала от Эшкола правительство национального единства, куда входил оппозиционный блок Гахал (объединявший правую экстремистскую партию Херут и значительно более умеренную, но маленькую Либеральную партию), возглавляемый Менахемом Бегином. Не говоря уж о глубоких, основных разногласиях по идеологическим вопросам, всегда существовавших в Израиле между правыми и левыми, мы поразному смотрели на положение, в котором оказался Израиль. В июне американский министр иностранных дел Роджерс предложил, чтобы Израиль начал, под покровительством доктора Ярринга, переговоры с Египтом и Иорданией с целью достичь справедливого и прочного мира. Переговоры должны были быть основаны на «взаимном признании суверенитета, территориальной целостности и политической независимости» и на «отступлении Израиля с территорий, оккупированных в результате конфликта 1967 года», согласно резолюции 242. Он предложил также, чтобы прекращение огня, нарушенное во время войны на истощение, было бы возобновлено снова, хотя бы на 90 дней. Гахал, однако, стоял на том, что в 1967 году правительство решило сохранять Армию обороны Израиля на линии прекращения огня до тех пор, пока не будет заключен мир, и Гахал выполняет это решение. Формально они были правы. Я знала, что мне придется обращаться в кнессет за разрешением изменить политику. Но сколько я ни объясняла Гахалу, что ситуация сейчас изменилась, они, принимая предложение о прекращении огня, отказывались вести какие бы то ни было переговоры об отступлении, пока не будет заключен мир.

«Но мы не получим прекращения огня, если не примем некоторых менее удобных условий,— повторяла я господину Бегину.— Более того, мы перестанем получать оружие от Америки».— «Что значит — перестанем получать? — спрашивал он.— Мы *потребуем* его от американцев». Я так и не смогла ему внушить, что, хотя Америка, конечно, верна взятому на себя обязательству по отношению к Израилю, мы нуждаемся в мистере Никсоне и в мистере Роджерсе куда больше, чем они в нас, и мы не можем строить свою политику на том, что американское еврейство сумеет или захочет заставить Никсона поступать не так, как он хочет или считает правильным. Но Гахал, опьяненный собственной риторикой, убедил себя, что нам достаточно заявить Соединенным Штатам, что не уступим никакому давлению, и если будем повторять это все время, то в один прекрасный день давление исчезнет.

Через несколько месяцев после моего вступления в должность я приняла решение. Я поеду в Вашингтон, чтобы, если удастся, поговорить с президентом Никсоном, с конгрессменами и сенаторами и выяснить, как относится к нам американский народ, что о нас думает, что собирается сделать, чтобы нам помочь. Я не обольщалась иллюзиями, будто обладаю волшебным даром убеждения. Ведь как я ни старалась, я не сумела разубедить мистера Роджерса, считавшего необходимым участие русских в ближневосточном урегулировании. И не надеялась, что мне удастся добиться большего, чем удалось нашим талантам — министру иностранных дел Аббе Эбану или новому послу в Вашингтоне генералу Ицхаку Рабину. Но мне необходимо было раз навсегда лично для себя установить, в каком положении наши отношения с Соединенными Штатами,— и кабинет министров решил, что мне следует поехать. Как только было получено официальное приглашение из Белого дома, я начала готовиться к поездке.

Конечно, я совсем не была уверена в успехе. Я никогда не встречалась с Ричардом Никсоном и не знала почти никого из его окружения. Я понятия не имела, что именно рассказали президенту обо мне.

Подготовка гардероба была много проще. Я купила два вечерних платья (в том числе бежевое бархатное с кружевом, в котором я была на обеде в Белом доме), вязаный костюм, две шляпки (которых ни разу не надела) и перчатки (чтобы держать их в руках). С заботливостью, характерной для его будущего отношения ко мне, президент Никсон дал указание, чтобы Клару и Менахема с семьей пригласили на обед, который Белый дом дал в первый вечер моего приезда в Вашингтон, и мы договорились, что встретимся 24 сентября в Филадельфии (по каким-то — вероятно, историческим — причинам Филадельфия — первый город, где обычно останавливаются иностранные гости президента). Из Филадельфии нас на вертолете доставили на лужайку Белого дома. Перед отъездом из Израиля у меня было несколько недель для того, чтобы подработать с моими советниками — особенно с Даяном и начальником штаба Хаимом Бар-Левом — «закупочный список» для Вашингтона. Помимо специальной просьбы о 25 «фантомах» и 80 «скайхоках» я собиралась просить президента, чтобы США в течение пяти лет ссужали нам под низкие проценты 200 миллионов в год для оплаты самолетов, которые мы надеялись еще закупить. Должна пояснить тут, что первым президентом, разрешившим продажу «фантомов» и «скайхоков», был Джонсон, которого Эшкол посетил в Техасе и который обещал «отнестись с пониманием» к его просьбе. Но потребовалось некоторое время, пока эти первые «скайхоки» были нам переданы, почему я и думала, что, даже если президент Никсон и согласится продать нам «фантомы», мы получим их не скоро, если я не сумею объяснить, в какой крайности мы находимся и как неравномерно снабжается оружием Ближний Восток. Деньги, полагала я, мы получим (хотя в деньгах никогда нельзя быть слишком уверенным), хотя бы потому, что у нас была отличная репутация — Израиль никогда не опаздывал с платежами. Я с удовольствием вспомнила, как в 1956—1957 годах, после Синайской кампании, когда надо было возвращать Американскому импортно-экспортному банку большой заем, который мы от него получили (а в это время официальная Америка относилась к Израилю очень холодно), нам очень хотелось попросить об отсрочке платежа. В Израиле продолжался экономический спад, и нам было очень трудно наскрести необходимые деньги. Но мы взвесили все «за» и «против» и решили не задерживать выплату ни на один день, как это ни было трудно. Не забуду, как Эбан описывал изумление на обычно непроницаемых лицах сотрудников импортно-экспортного банка в Вашингтоне, когда он точно в назначенный день и час вошел туда и предъявил наш чек.

В общем, сидя в самолете, летевшем в США, я думала только о предстоящей встрече и гадала, сумеем ли мы поладить друг с другом. Да и вообще, я не была уверена, какой прием мне окажет Америка. После Шестидневной войны американское еврейство приветствовало меня с горячностью, любовью и гордостью; но прошло более двух лет, и вполне возможно, этот энтузиазм к израильскому делу за это время приостыл. Как выяснилось, все мои волнения были напрасны.

На филадельфийском аэродроме меня ожидала тысячная толпа; сотни школьников пели «Хевейну шалом Алейхем», потрясая флажками и лозунгами. На одном было написано: «Ты нам своя, Голда!», и я подумала, что это самое прелестное выражение поддержки Израилю,— и, возможно, лично мне! — которое я когда-либо видела. Но я не знала, как дать понять этим ребятам, если не ограничиваться улыбками и приветственными жестами, что они для меня — тоже свои. И я махала руками и улыбалась и очень обрадовалась, разглядев среди встречающих и моих собственных родных. На Индепенденс-сквер меня встречала еще большая толпа — 30 тысяч американских евреев, которые ради того, чтобы меня увидеть, простояли тут несколько часов. Я не могла оторвать глаз от этих людей, напиравших на полицейский заслон и аплодировавших. Я обратилась к ним с очень короткой речью, но, как кто-то сказал: «Ты могла просто прочесть страницу из телефонной книги — толпа все равно кричала бы ура!»

Мы переночевали в Филадельфии и отправились в Вашингтон на следующее же утро. Всю ночь шел дождь, и серое облачное небо обещало дождь и на сегодня. Но — казалось, что и это устроил Белый дом — за те две минуты, что я добиралась в лимузине от вертолета до зеленой лужайки, где происходил прием, выглянуло

солнце. Президент Никсон сразу же снял всякую натянутость. Он помог мне выйти из машины, госпожа Никсон подала мне огромный букет красных роз — и я с самого начала, благодаря такому приему, почувствовала себя как дома, за что была очень благодарна им обоим.

Официальная часть была и в самом деле очень официальной, с полным соблюдением всех формальностей. Президент и я стояли на возвышении, покрытом красным ковром, военный оркестр играл наши национальные гимны; я слушала «Ха-Тиква», стараясь выглядеть спокойной, но глаза мои наполнились слезами. Это я, премьер-министр еврейского государства, которое родилось и выжило, несмотря ни на что, стою рядом с президентом Соединенных Штатов и принимаю воинские почести, оказываемые моей стране. Я подумала: «Если бы ребята на Канале могли это видеть!» Но я знала, что сегодня вечером тысячи людей в Израиле увидят все это по телевизору и будут так же растроганы и воодушевлены, как я. Возможно, другие нации к этим церемониям привыкли, но мы еще не успели. Это было похоже на наши мечты, на то, как много лет назад мы с подругами мечтали о том, как у нас будет не только государство, но и все аксессуары, которые к нему полагаются.

Речь Никсона была короткой и деловой. Он сказал о заинтересованности США в мире на Ближнем Востоке и сделал мне несколько комплиментов. Одна встреча и даже несколько встреч не могут разрешить все вопросы, сказал он, но борьба за мир — это вопрос первостепенной важности. Я тоже говорила недолго. У меня было написано несколько слов — тоже о мире и дружбе,— и я их прочла. Но не за речами я ехала в Белый дом и даже не для того, чтобы принимать военный парад — хотя с этим, учитывая все обстоятельства, я справилась недурно.

Мои встречи с президентом были такие же теплые, как этот первый прием. Мы проводили вместе часа по два и говорили обо всем прямо и откровенно, так, как я и надеялась. Мы совершенно согласились, что Израиль должен не уступать, пока не будет заключено приемлемое соглашение с арабами, а также — что великая держава, которая обещает малой стране оказывать помощь в случае затруднений, должна держать свое слово. Говорили мы и о палестинцах, и я и по этому поводу высказалась так же откровенно, как и по другим. «Между Средиземным морем и границами Ирака,— сказала я,— там, где раньше была Палестина, существуют теперь два государства, одно — еврейское, другое — арабское, и для третьего там места нет. Палестинцы должны разрешить свою проблему с другим арабским государством — Иорданией, потому что «палестинское государство» между нами и Иорданией неизбежно превратится в базу, с которой будет удобно атаковать и разрушать Израиль». Господин Никсон очень внимательно прислушивался ко всему, что я говорила о Ближнем Востоке, словно ему только и дела было, что беседовать с Голдой Меир о проблемах Израиля; но он все еще был очень заинтересован в продолжении разговоров между «большой двойкой» и «большой четверкой», несмотря на то, что, по-видимому, признал справедливыми мои доводы о невозможности для России принять хоть что-нибудь, против чего возражают ее арабские клиенты. В это же время в Нью-Йорке происходила встреча между советским министром иностранных дел Андреем Громыко и Роджерсом; узнав об этом, я испытала некоторое удовольствие. Подумать только, как раздосадован должен был быть господин Громыко таким совпадением!

Что же касается более существенных вещей, о которых мы говорили с Никсоном, то я не рассказала о них тогда и не буду рассказывать теперь. Пресса замучила меня до полусмерти, но я повторяла одно: по моим впечатлениям и оценкам, в результате наших бесед «американская администрация собирается по-прежнему следовать своей политике поддержки равновесия военных сил в регионе». Официального коммюнике не было, и кое-кто из журналистов сделал из этого вывод, что я уехала с пустыми руками. Но дело в том, что я вообще не видела смысла в этих коммюнике (которые очень редко что-нибудь сообщают), и президент Никсон тоже, почему мы и решили никакого коммюнике не выпускать. Что же касается моего «закупочного списка», то он был переправлен дальше, что и требовалось.

Вечером президент и госпожа Никсон давали обед в мою честь. Потом вашингтонцы говорили, что это был один из самых приятных праздников в Белом доме времен Никсона, хотя никто не мог объяснить почему. Для меня это был один из прекраснейших вечеров в моей жизни, частью, вероятно, потому, что я встретила со стороны Никсона такое понимание, частью потому, что я убедилась — Соединен-

ные Штаты нас не покинут; впервые за многие месяцы я позволила себе перевести дух. Да и все было спланировано так, чтобы доставить мне удовольствие — от присутствия моей семьи до «шарлотки по-ревивимски» на десерт — деликатный намек на то, что Сарра и Зехария тоже участвуют в празднике. Из 120 приглашенных, принадлежавших к обеим политическим партиям, многие были моими старыми друзьями, в том числе посол США в Объединенных Нациях Артур Гольдберг и сенатор Джейкоб Джавитс. Ну, и, разумеется, мистер Роджерс, доктор Киссинджер, Эбан, и Рабин, и много других высших представителей администрации тоже находились здесь. Во время обеда исполнялась израильская музыка, а потом нас угостили выступлением Леонарда Бернстайна и Айзика Стерна, которые снова и снова играли на бис. Я видела, я слышала, как растроганы они были, а я пришла в такой восторг от их музыки и их присутствия, что совершенно забыла, где я, и когда они кончили играть, вскочила с места, чтобы обнять их обоих.

Перед обедом Никсоны и я сделали друг другу подарки. Они подарили мне золотую копию закрытой греческой урны с прекрасной резьбой и восхитительную вазу для цветов из голубых и золотых овальных пластин. Я привезла им в дар израильские древности: ожерелье 11 века до н. э. из агатовых бусин в форме лотоса для госпожи Никсон, древнюю еврейскую масляную лампу для президента, серебряные подсвечники для Джули и Дэвида Эйзенхауэров, серебряное йеменское ожерелье и серьги для Триши Никсон. После обеда провозглашались тосты. И снова президент был очень добр к Израилю и ко мне. «Народ Израиля,— сказал он,— заслужил мира, не того хрупкого мира, который записан в никого не интересующем документе, но настоящего, прочного мира. Мы надеемся, что результатом нашей встречи будет большой шаг вперед к этому миру, который значит так много для людей Израиля, для людей Ближнего Востока, для людей всей земли».

Я чувствовала, что он говорит от всего сердца. И я, тоже от всего сердца, сказала: «Господин президент, благодарю вас не только за гостеприимство, не только за замечательный сегодняшний день и за каждую минуту сегодняшнего дня, но больше всего за то, что вы дали мне возможность сказать дома моему народу, что у нас есть друг, большой друг в Белом доме. Это нам поможет. Поможет справиться со многими трудностями».

В 11 часов ночи президент, госпожа Никсон и я ушли; около моей машины мы с госпожой Никсон поцеловались на ночь, словно много лет были подругами. Остальные гости еще танцевали далеко за полночь.

Всего я провела в Вашингтоне четыре дня. Шагая в ногу со звенящим медалями американским генералом (что было мне довольно-таки нелегко!), я возложила венок из синих и белых цветов на могилу Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Я посетила мистера Роджерса в министерстве иностранных дел и была приглашена им на ленч; видела мистера Мелвина Лэрда в министерстве обороны, встретилась с членами комиссии по иностранных делам конгресса и «появилась» в Национальном пресс-клубе, где встретилась с самыми жестокими и опытными американскими журналистами; сперва у меня было такое чувство, какое, наверное, бывает у боксера на ринге. Но они были со мной очень милы и, по-видимому, были довольны, что я отвечаю на их вопросы очень коротко и очень просто — хотя, признаться, они не задали мне ни одного вопроса, которого бы мне раз двадцать уже не задавали прежде.

Правда, два раза я услышала нечто новое. Один газетчик спросил: «Применит ли Израиль ядерное оружие, если его существование будет под угрозой?» На это я правдиво ответила, что, по моему мнению, мы не так плохо справляемся и с обыкновенным оружием. Мой ответ был встречен смехом и аплодисментами. А президент пресс-клуба обратился ко мне с просьбой, которая рассмешила меня. «Ваш внук, Гидеон, говорит, что вы готовите самую лучшую фаршированную рыбу в Израиле,— сказал он.— Не дадите ли нам своего рецепта?»

«Я сделаю другое,— ответила я.— Обещаю, что в следующий раз я приеду на три дня раньше и приготовлю фаршированную рыбу на ленч для вас всех». Через несколько месяцев во время интервью в Лос-Анджелесе меня спросили, умею ли я готовить хороший куриный суп.

— Конечно,— ответила я.

— Не пришлете ли нам рецепт?

— С удовольствием,— сказала я, не подозревая, что через неделю интервьюер

получит 40 тысяч требований на этот рецепт. Надеюсь, что в конце концов было сварено сорок тысяч кастрюль хорошего еврейского супа. Но не о моих поварских талантах шла речь в Вашингтоне; речь шла о дружеских связях между США и Израилем и об отношении Соединенных Штатов к той политике, которую мы проводили в ответ на войну на истощение. Перед моим отъездом господин Никсон сделал заявление для прессы от своего и моего имени, в котором подводились итоги моему визиту, хотя кое-какие детали там отсутствовали.

— Думаю,— сказал он,— что вы прекрасно понимаете позицию, которую мы оба занимаем, и что после нашей встречи может начаться некоторый прогресс в решении труднейших проблем, с которыми мы сталкиваемся на Ближнем Востоке. Не думаю, что они могли быть разрешены молниеносно. С другой стороны, мы должны стараться — и мне было очень приятно встретить полное сочувствие премьер-министра и ее коллег по этому вопросу — искать и найти путь к миру. Мы не можем сообщить, что собираемся предпринять нечто новое, но мы полагаем, что достигли лучшего понимания, как двигаться в этом направлении в дальнейшем.

Из Вашингтона я отправилась в Нью-Йорк, где дела сменяли друг друга с такой быстротой, что я даже не успела ощутить усталость. Меня замечательно встретили в Сити-холле, я завтракала с У Таном, провела ряд встреч в своих апартаментах в отеле «Уолдорф-Астория», посетила дипломатический прием у Эбана и колоссальный банкет, устроенный ОЕП, израильским акционерным обществом и еще пятью-десятью еврейскими организациями — все это в первый же день. Потом я отправилась в Лон-Анджелес, потом в Милуоки, после чего возвратилась на Восточное побережье. Я рассчитывала вернуться домой 5 октября, но было одно приглашение, от которого я не могла отказаться,— и я осталась еще на один день, чтобы выступить на съезде АФТ-СИРМ в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Американская федерация труда и Союз индустриальных рабочих мира проводят съезды каждые два года. Много лет эта организация была очень близка с Израилем, особенно с Гистадрутом, и ее председатель, мой старый добрый друг Джордж Мини, был почетным председателем Совета американских профсоюзов по Гистадруту. Впервые после отъезда из Израиля я, обращаясь к этой огромной аудитории профсоюзных деятелей, почувствовала себя как дома. Говорила я о том же, о чем и в Филадельфии, Вашингтоне, Милуоки, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, о чем и теперь постоянно говорю — о мире между нами и арабами. «Это будет великий день,— сказала я своим друзьям, рабочим и профсоюзным лидерам Америки,— когда арабские фермеры перейдут Иордан не на танках, а на тракторах, и протянут руку дружбы — как фермер фермеру, как человек человеку. Может быть, это и мечта, но я уверена, что в один прекрасный день она сбудется».

Когда я возвратилась в Израиль, я уже знала, что мы «фантомы» получим, хотя еще и не могла об этом объявить, и поэтому на сердце у меня полегчало. Но война на истощение продолжалась, террористы продолжали действовать, число советских военных в Египте росло не по дням, а по часам, включая летчиков и обслугу ракет «земля — воздух». Словом, до мира было так же далеко, как и всегда. Собственно, почти ничего не изменилось с тех пор, как я вступила в должность. Каковы бы ни были причины, по которым я стала премьер-министром, они, к несчастью, продолжали существовать и накануне всеобщих выборов — седьмых со времени основания государства. За истекшие месяцы, однако, мои, так сказать, «оценки» улучшились, и хоть я не могла бы победить в конкурсе на популярность, все-таки приятнее получить оценку «семьдесят пять» или «восемьдесят», чем «три». Так или иначе, нельзя сказать, чтобы результаты выборов были непредсказуемы. Маарах получил 56 из 120 мест в кнессете, и я представила свой «всеохватывающий» кабинет без партии Гахал, которая покинула правительство.

Теперь, когда я стала премьер-министром как бы по закону, я очень надеялась приступить к разрешению растущих социальных и экономических трудностей Израиля, которые уже стали создавать настоящие трещины между разными слоями населения. Я уже много лет заявляла и в Гистадруте, и в партии, что ввиду невозможности для нас не поддерживать огромный военный бюджет, нам надо по крайней мере постараться всем вместе что-то предпринять, чтобы сократился все увеличивающийся разрыв между людьми, у которых есть все необходимое — если не все желаемое,— и теми десятками тысяч, которые все еще живут в плохих помещениях, плохо одеваются, иногда даже плохо питаются и недостаточно об-

разованны. В основном, это была та часть нашего народа, которая прибыла к нам в 1948, 1950 и 1951 годах из Йемена, Ближнего Востока и Северной Африки и чей жизненный уровень в конце 1960 и начале 1970 годов еще оставлял желать лучшего, выражаясь осторожно. Да, мы могли поздравлять друг друга с тем, что с 1949 по 1979 год мы построили более 400 тысяч общественных зданий и что не было самого изолированного местечка в стране, где бы не было школы, детского сада, а часто — и яслей. Но сколь законно мы бы ни гордились нашими свершениями, оставались и другие, менее приятные факторы. В Израиле были и богатство, и бедность. Ни то, ни другое не было чересчур велико, но и то, и другое существовало.

Были и есть еще израильтяне, живущие вдесятером в двухкомнатном домике, их дети бросают школу (хотя они были бы, вероятно, полностью освобождены от платы за обучение в средней школе), становятся преступниками (в значительной степени из-за своего происхождения) и, считая, что им угрожает опасность превратиться навсегда в непривилегированных второстепенных граждан, смотрят на новых иммигрантов, как на людей, из-за которых их положение станет еще хуже. Есть и другие израильтяне, хоть их и немного, которые живут в сравнительной роскоши, ездят в больших машинах, устраивают большие приемы, одеваются по последнему слову моды и вообще усвоили себе заграничный стиль жизни, который не имеет никакого отношения ни к экономическим возможностям страны, ни к условиям нашей национальной жизни. Между этими двумя группами находятся массы квалифицированных рабочих и «белых воротничков», с трудом сводящих концы с концами, не имеющих возможности сохранить свой, отнюдь не высокий, жизненный уровень на одну зарплату, в течение десятилетий доказывавших свою способность к самодисциплине, самопожертвованию и патриотизму, и тем не менее, как я считала, отвечавших за наш бич — забастовки, и виновных в том, что каждый раз, когда повышалась зарплата низкооплачиваемым, они требовали, чтобы она повышалась на всех уровнях.

С ними-то я, хоть и не слишком успешно, стала обсуждать сложившееся положение. Что-то происходило с профсоюзными массами, основой Гистадрута; что-то происходило со здравым смыслом израильских рабочих, и я не могла и не хотела об этом молчать. Никто сильнее меня не верил, что профсоюз не только может, но и обязан защищать права рабочих и призывать к забастовке, если переговоры затягиваются или соглашение не может быть достигнуто. Но когда соглашение подписано, то его надо выполнять, а не предъявлять немедленно новые требования, и тем, кто не находится в самом низу национальной экономической лестницы, нужно понимать, что повышение зарплаты в первую очередь должны получать наиболее нуждающиеся. Принцип дифференциации вовсе не должен быть для нас священным. Я боролась против него в Гистадруте много лет назад и готова была начать эту борьбу и теперь. Всему должен быть предел. Да, израильским врачам, медсестрам и учителям приходится нелегко экономически, но все-таки они могут продержаться, тогда как низкооплачиваемые при постоянном росте инфляции и дороговизны без повышения зарплаты не выживут. Что может быть проще этого рассуждения?

Особенно несочувственно я относилась к забастовкам жизненно важных служб в стране, находящейся в состоянии войны. Вряд ли я должна объяснять, как нелегко было мне решиться запретить забастовку больничного персонала. Но не было другого способа избежать возможных в случае забастовки смертей, и я стиснула зубы и издала приказ о запрещении.

— Правительство не может сделать все сразу,— повторяла я народу.— У него нет волшебной палочки, при помощи которой можно выполнить все требования: уничтожить бедность, но не вводить налогообложения, выигрывать войны, продолжать абсорбцию иммигрантов, развивать экономику и давать каждому что ему полагается. Никакое правительство не может сделать все это одновременно.

Но дело было не только в деньгах. Социальное равенство достигается не просто с помощью материальных ресурсов. Чтобы уничтожить бедность и ее последствия, нужно, чтобы усилие было сделано с обеих сторон, и тут я тоже высказывалась без обиняков.

— Прежде всего те из нас, кто беден, не должны позволить себе превратиться в объект забот для других. Они тоже должны проявлять активность. А более устроенные и обеспеченные слои населения должны включиться в добровольное

движение, имеющее целью социальную интеграцию. Разрыв между теми, кто получил образование и квалификацию, и теми, кто их не получил, во всяком случае не менее трагичен, чем разрыв между теми, кто может и кто не может экономически справиться.

Кое-что было достигнуто, но далеко не достаточно. Я сформировала комиссию при премьер-министре, занимающуюся проблемами молодежи. Туда входили выдающиеся педагоги, психологи, врачи, полицейские, инспекторы — наблюдатели за поведением условно осужденных и т. д. Все они работали бесплатно. Хоть им и понадобилось два года, а не несколько месяцев, как я надеялась, чтобы выработать рекомендации, но мы воспользовались некоторыми рекомендациями до того, как они были опубликованы. Когда нам приходилось поднимать цены на основные продукты питания, мы снимали налог с низкооплачиваемых; мы строили, сколько могли, дома для низкооплачиваемых, а я вела свою собственную войну, не имевшую конца, за строительство домов, где бы квартиры сдавались внаем; строительство, которое можно было бы субсидировать в случае надобности. Все это приходилось делать или во время военных действий, или в разгар терроризма, и денег всегда не хватало даже для самых неотложных нужд — и этого, не говоря обо всем прочем, я никогда не могла простить нашим соседям. Был бы мир — мы могли бы построить пусть не идеальное, но во всяком случае куда лучшее общество. Но где тот мир?

В августе 1970 года осуществилось наконец роджерсово прекращение огня. Насер сказал, что он принимает его на три месяца, но время сказало свое слово, и в сентябре Насер умер, а президентом Египта стал Анвар Садат. Садат производил впечатление более благоразумного человека, способного трезво оценить преимущества, которые прекращение войны сулит его собственному народу; мало того, были признаки, что он не слишком ладил с русскими. В Иордании же король Хуссейн, с такой радостью предложивший приют палестинским террористам, внезапно понял, что они являются для него серьезной угрозой, и в сентябре расправился с ними. Для Аль-Фатх это, может быть, был «черный сентябрь»; мне же стало казаться, что, чего доброго, у мирной инициативы США и доктора Ярринга появились некие слабые шансы на успех. Арабские лидеры ничуть не изменили свои заявления по поводу Израиля и по-прежнему требовали полного отвода наших войск, но речь уже шла о том, чтобы восстановить судоходство по Суэцкому каналу, отстроить египетские города на его берегах, дабы там началась нормальная жизнь,— и все это порождало в Израиле некоторый оптимизм. Прекращение огня вошло в силу, мы по-прежнему оставались где были, арабы отказывались встретиться с нами и вступить в переговоры, и оптимизм постепенно выдохся, но не окончательно, и войны не было ни в 1971, ни в 1972 году, и мира не было тоже, и арабский терроризм становился все ожесточеннее и бесчеловечнее.

Конечно, никто в цивилизованном мире не одобрял расстрела католических паломников из Пуэрто-Рико в аэропорту в Лоде, где вместе с ними погиб и один из самых выдающихся израильских ученых; или похищения и убийства израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде; или убийства израильских детей, запертых в школьном здании в городке Маалот. Никто не одобрял, и после каждого злодеяния я получала потоки официальных соболезнований и выражений сочувствия. Тем не менее считалось (и считается до сих пор), что мы должны прийти к соглашению с убийцами, как это сделали другие государства, и позволить фанатикам-самоубийцам шантажировать нас и поставить нас на колени. Давно уже доказано, что уступки террористам только порождают новый террор. Но никто никогда не узнает, чего стоит правительству Израиля отвечать «нет!» на требования террористов и понимать, что ни один из израильских представителей, работающих за границей, не застрахован от бомбы в письме, не говоря уж о том, что любой тихий пограничный городок Израиля может быть (и это бывало) превращен в бойню при помощи нескольких безумцев, взращенных в ненависти и в убеждении, что они смогут выдавить из Израиля его умение оставаться непоколебимым перед лицом страдания и печали.

Но мы научились противостоять террору, охранять наши самолеты и наших пассажиров, превращать посольства в маленькие крепости, патрулировать школьные дворы и городские улицы. Я шла за гробом жертв арабского терроризма, я посещала их семьи, и я испытывала чувство гордости, что принадлежу к нации,

которая сумела вынести все эти подлые и трусливые удары и не сказать: «Хватит! С нас хватит. Отдайте террористам то, чего они добиваются, потому что мы больше не можем». Другие правительства подчинялись террористам, отдавали в их распоряжение самолеты, выпускали их из тюрьмы, а новые левые и иностранная печать называли их «партизанами» и «борцами за свободу». Для нас, во всяком случае, они остались преступниками, а не героями, и хотя каждые похороны были для меня мукой, закладка мин в супермаркеты и автобусы, убийство семи старых евреев в мюнхенском доме для престарелых и прочие «славные» дела «священной войны» не поражали мое воображение. Меня буквально физически стошнило, когда через шесть недель после мюнхенских убийств 1972 года убийцы были освобождены с огромной рекламой и отправлены в Ливию. Арабские государства продолжали снабжать террористов оружием и деньгами, предоставляя им базы, и начинали вопить изо всех сил, когда, бомбя базы террористов в Сирии и в Ливане, мы давали понять, что считаем эти страны ответственными за происходящее.

Единственным решением вопроса был мир — не только почетный, но и прочный мир. И единственным способом добиться мира было убедить наших друзей, поскольку наши враги не хотят с нами разговаривать,— что наша позиция правильна и надо исследовать все возможности, которые могут привести к переговорам.

О целом ряде моих поездок и бесед рассказывать еще нельзя, но об одной из них я сегодня уже могу написать. В начале 1972 года помощник министра иностранных дел Румынии приехал в Израиль с целью встретиться с людьми в нашем министерстве иностранных дел. Но он попросил, чтобы ему была предоставлена возможность встретиться со мной, причем с глазу на глаз: больше никто не должен был присутствовать при нашей беседе. У нас с Румынией были очень хорошие отношения. Это была единственная восточно-европейская страна, не порвавшая с нами дипломатических отношений после Шестидневной войны, отказавшаяся принять участие в гнусной советской антиизраильской пропагандистской кампании и обличать, вместе с советским блоком, нашу «агрессию». У нас с Румынией были заключены взаимовыгодные торговые договоры, мы обменивались выставками, музыкантами, театральными коллективами, и из Румынии шла некоторая иммиграция. Я в 1970 году встречалась с энергичным и привлекательным румынским президентом Николае Чаушеску; он мне понравился и вызвал мое восхищение тем, что не уступил арабскому нажиму и сумел сохранить дипломатические связи и с нами, и с арабскими государствами. Я знала, что Чаушеску очень хотел бы способствовать заключению мира на Ближнем Востоке, и потому не слишком удивилась, когда заместитель министра иностранных дел, оставшись с глазу на глаз со мной, сказал, что явился в Израиль специально, чтобы сказать мне следующее:

«Мой президент просил меня передать вам, что во время недавнего посещения Египта он видел президента Садата и в результате этой встречи имеет для вас важное поручение. Он хотел бы передать его вам лично, но так как он сюда приехать не может (он отправлялся в Китай), он предлагает, чтобы вы приехали в Бухарест инкогнито, или, если хотите, он может прислать вам официальное приглашение».

Я не согласилась, что предстоящая поездка в Китай автоматически исключает поездку в Израиль, но сказала, что, разумеется, поеду в Бухарест при первой же возможности. Не инкогнито — я считала, что такой способ не подходит премьер-министру Израиля (если только это не совершенно необходимо),— а как только получу официальное приглашение. Приглашение от Чаушеску вскоре пришло, и я полетела в Румынию.

Всего в два приема я провела с Чаушеску четырнадцать часов. Он сказал мне, что со слов Садата понял: Садат готов встретиться с израильтянином — может быть, со мной, может быть, и не со мной; может быть, встреча будет происходить не на самом высшем уровне. Во всяком случае, встреча возможна. «Господин президент,— сказала я,— это самое приятное известие, какое мне пришлось услышать за много лет». Это была правда. Мы говорили об этом часами, и Чаушеску был почти так же взволнован, как и я. У него не было сомнений, что он передал исторические и совершенно подлинные слова. Он даже стал разрабатывать детали. «Мы не будем сноситься через послов и иностранных представителей,— сказал он,— ни через моих, ни через ваших». Он предложил, чтобы уже известный мне заместитель министра иностранных дел поддерживал контакты со мной через Симху Диница, в то время моего политического секретаря, вместе со мной приехавшего в Бухарест.

Казалось, что после стольких лет лед все-таки будет сломан. Но этого не произошло. После моего возвращения в Израиль мы стали ждать — но ждали напрасно. Продолжения не было. То, что Садат говорил Чаушеску — а он, конечно, что-то говорил,— не имело никакого значения, и я полагаю, что Чаушеску никогда больше не упоминал о своей встрече с Садатом потому, что не мог признаться даже мне, что Садат его надул.

Для народа и для прессы, и в Израиле, и в Румынии, это был обычный визит; Чаушеску дал в мою честь завтрак, премьер-министр — обед, я тоже дала им обед. Единственным значительным результатом моей поездки в Бухарест, на которую я возлагала столько надежд, было посещение пятничной службы в Хоральной синагоге, где я встретилась с сотнями румынских евреев; и хотя они были — и есть — гораздо свободнее, чем евреи Москвы, они были почти так же взволнованы моим присутствием среди них. Они приветствовали меня с таким жаром, что я физически почувствовала силу их любви к Израилю, и, пожалуй, я никогда не слышала более прекрасного и более нежного исполнения ивритских песнопений, чем в тот вечер. Когда я направлялась к своей машине, я увидела, что огромная толпа ожидает меня в полном молчании: десять тысяч евреев прибыли со всех концов Румынии, чтобы меня увидеть. Я повернулась к ним и сказала: «Шаббат шалом!» И услышала в ответ десять тысяч голосов: «Шаббат шалом!» Ради одной этой встречи стоило совершить путешествие. А единственным вещественным воспоминанием об этой поездке оказалась (хоть тогда я этого и не знала) огромная медвежья шкура, которую подарил мне премьер-министр Румынии (прославленный охотник) и которую я потом «одолжила» детям Ревивима. Они ее обожали, и у них с ней не были связаны грустные воспоминания, как у меня.

Были и другие поездки, и мне пришлось даже пережить приключение, после которого мне стало ясно, что ни одно мое действие больше никогда не пройдет незамеченным. Весной 1971 года я предприняла десятидневное путешествие по Скандинавии (Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия). Между Хельсинки и Стокгольмом как раз выдался уик-энд и редкая возможность, если все правильно спланировать, оказаться вне пределов досягаемости для телефона, телекса, телеграмм и репортеров. Но не так-то легко найти место для отдыха, которое бы отвечало всем условиям безопасности, с которыми все больше приходилось считаться, куда бы я ни отправилась. Иерусалим попросил израильского посла в Стокгольме подобрать мне место для отдыха недалеко от столицы и своевременно об этом нас предупредить. Перед самым моим вылетом из Израиля по телефону позвонил один из министров, который сказал, что очень жалеет, что не имеет возможности меня проводить, но должен сказать мне теперь же кое-что очень интересное. Мы поболтали минуты две, и я уехала в аэропорт.

В Хельсинки мне сообщили из нашего посольства в Стокгольме, что им не удалось ничего найти и лучше всего будет для меня провести эти два дня в Стокгольме и отдохнуть там в отеле, пока официально визит мой не начался. И тут я вспомнила о том телефонном разговоре в последнюю минуту перед отъездом и спросила Лу Кадар, к ее изумлению, не возражает ли она против уик-энда в Лапландии. «Лапландия!» Ей казалось, что я пошутила.

«Ну,— объяснила я,— я совершенно забыла раньше, а теперь вспомнила: нас приглашали пожить в прекрасном охотничьем домике, в сердце финской Лапландии. Домик принадлежит преданному другу Израиля, он обещал, что нам там будет очень хорошо, и я бы хотела туда поехать».

Посыпались возражения. Мои телохранители находили, что дом слишком изолирован и находится слишком далеко; Лу сказала, что у нас нет подходящей одежды и мы там закоченеем и умрем; финская и шведская службы охраны пришли в ужас при мысли, что я еду в дом, который всего в 100 км от советской границы; все согласились, что для двухдневного отдыха отправляться за 1 200 миль — чистое безумие. Но я хотела поехать — и мы поехали.

Разумеется, поездка была засекречена. Мы отправились в Стокгольм, а оттуда полетели в Лапландию на маленьком самолете и прибыли в Рованиеми, столицу финской Лапландии, днем, при ярком солнечном свете. Аэропорт там не больше теннисной площадки; и там нас ожидало несколько такси и мэр Рованиеми с женой. Ему сказали только, что приезжают важные гости, но не сказали кто. Оказалось, что тут еще находился и местный газетчик, который попал сюда случайно и заметил, что

жена мэра держит розу. А кто в Лапландии видит розы? Он присмотрелся к выходившим из самолета, поглядел на низенькую женщину в тяжелом пальто — видимо, ту самую особу, которой предназначалась бесценная роза,— сказал себе «не может быть!», но когда мы уже пробирались по снегам в охотничий домик, внезапно понял, что то была я, и немедленно послал телеграмму своему редактору.

Я чудесно отдохнула в Рованиеми, а когда, отдохнувшая, вернулась в Стокгольм, то узнала, что весь мир хочет выяснить все подробности моей тайной встречи с русскими. Зачем бы еще Голде Меир понадобилось ездить в финскую Лапландию? О чем мы с русскими говорили? С кем именно я встречалась? Никто в Скандинавии, да и во всем мире, не желал знать правду. Только когда за день до моего отъезда в Осло приехал замминистра иностранных дел СССР господин Царапкин и со мной не встретился, прессе пришлось признать, что все сорок восемь часов в Лапландии я только спала, ела, покупала сувениры из меха северного оленя для внуков и каталась по дивным и безмолвным замерзшим озерам.

Не раз за эти пять дней мне хотелось сбежать прочь, не потому, что мне изменяли силы, и не потому, что темп жизни был не по мне, а потому, что я устала повторять одно и то же снова и снова, без всякого результата. И мне надоело слушать про мои комплексы от людей, считавших, что вести себя следует определенным образом — что в конце концов привело бы к передаче Израиля Садату, а еще лучше — Арафату. То есть довольно мне вспоминать уроки прошлого; надо уговорить население Израиля, что поскольку в наш дом врывались уже один, два, три раза, то надо оттуда уезжать и отправляться куда-нибудь еще, а не ставить крепкие замки на двери и железные решетки на окна. Да, у меня были комплексы. Они зародились если не в Киеве, то на конференции в Эвиане [1] в 1938 году, и все, что с нами произошло потом, не могло их ослабить. Даже в самом Израиле находились люди, считавшие — и говорившие об этом громко,— что правительство «недостаточно» старается найти общую почву для разговора с арабами, хоть им и не удавалось предложить что-нибудь такое, чего бы мы уже не испробовали.

Была, кроме того, сравнительно небольшая, но очень шумная группа нашего населения, выступавшая, например, против правительственного решения после Шестидневной войны, по которому евреям позволялось селиться в Хевроне. Хеврон — город на западном берегу Иордана (в 35 километрах на юг от Иерусалима), в котором, согласно еврейскому преданию, погребены библейские патриархи и который был столицей царя Давида перед тем, как он перенес столицу в Иерусалим. Крестоносцы изгнали евреев из Хеврона, но при Османской империи некоторые евреи туда вернулись, и в городе была еврейская община до самого 1929 года, когда произошла страшная арабская резня и избежавшие ее евреи покинули Хеврон. После 1948 года иорданцы не разрешали евреям даже посещать гробницу патриархов, чтоб там помолиться. Но Хеврон остался для евреев священным, и накануне Пасхи 1968 года, когда он попал под контроль израильской администрации, группа молодых и активных ортодоксальных евреев не подчинилась военному запрету селиться на Западном берегу, вступила на территорию, занятую хевронской полицией, и осталась там без разрешения. Конечно, их поведение никуда не годилось и очень вредило репутации Израиля. Арабы сразу же подняли крик по поводу «еврейской аннексии» Хеврона, а мнение израильской общественности разделилось. С одной стороны, будущие поселенцы хотели создать «свершившийся факт» и принудить правительство Израиля к преждевременному решению судьбы Западного берега и израильских поселений там. С другой стороны, я, хоть и не одобряла их самоуправства, напоминавшего времена Дикого Запада, думала, что главное — не то, *что* они сделали или даже *как*, а нечто более серьезное.

Логично ли, спрашивала я себя и своих коллег, чтобы мир, и наши «голуби» в том числе, требовали от еврейского правительства такого законодательства, которое бы формально запрещало евреям селиться где бы то ни было?

Что произойдет с Хевроном в дальнейшем — я не знаю и знать не могу, как и никто не может. Но допустим, что с Божьей помощью мы когда-нибудь заключим мир с Иорданией и «вернем» Хеврон. Значит ли это, что мы согласимся, чтобы там никогда не жили евреи? Конечно же, никакое правительство Израиля не может взять на себя обязательство навсегда запретить евреям селиться в любой части Обетованной Земли. А Хеврон не обычный торговый город; для верующих евреев он многое значит.

[1] Международная конференция, посвященная проблеме еврейских беженцев.

Много месяцев мы обсуждали и дебатировали этот вопрос, рассматривая все «за» и «против», и наконец в 1970 году разрешили построить ограниченное количество домов для евреев на окраине Хеврона, которую поселенцы назвали Кирьят-Арба (другое древнееврейское название Хеврона, означающее «Город четырех»). Буря по этому поводу утихла. Но другие попытки нелегальных поселений пресекались более твердой рукой — хотя правительству было мучительно трудно приказывать израильским солдатам изгонять евреев из тех мест на Западном берегу, где они хотели поселиться. Кое-где мы селиться разрешали, но только если новые поселения соответствовали нашим политическим и военным интересам.

Еще внимание всего мира было приковано к святым христианским местам на Западном берегу и в Иерусалиме. И потому я была очень рада поехать в Ватикан в январе 1973 года, где я получила восьмидесятиминутную аудиенцию у папы Павла VI. Впервые премьер-министр Израиля получил аудиенцию у папы, хотя в 1964 году, когда Павел VI совершил однодневное паломничество в Святую Землю, он встретился с президентом Шазаром, Эшколом и, в сущности, со всем кабинетом министров. Это была не слишком приятная встреча. Папа подчеркнул, что его визит вовсе не означает признания Государства Израиль; штабом его на три дня стал не Израиль, а Иордания, и прощальное послание с борта самолета было предусмотрительно адресовано не в Иерусалим, а в Тель-Авив.

Отношения между Ватиканом и сионистским движением всегда были щекотливы, еще с тех пор, как Пий X, давший в 1904 году аудиенцию Теодору Герцлю, сказал ему: «Мы не можем помешать евреям отправиться в Иерусалим, но никогда не сможем это санкционировать... евреи не признали Господа нашего; мы не можем признать евреев». Другие папы были более дружелюбны. Пий XII дважды принимал Шарета — один раз даже как министра иностранных дел Израиля. Папа Иоанн XXIII относился к Израилю с сочувствием и даже с теплотой, и наш представитель был приглашен на его похороны и на коронацию Павла VI. В 1969 году Павел VI официально принял Аббу Эбана, и наши послы в Риме всегда поддерживали довольно близкие контакты с высокопоставленными особами в Ватикане. Ватикан, признавший все арабские государства, до сих пор не признал Израиля, и отношение Ватикана к проблеме Иерусалима все еще неясно. Но мне думается, что в конце концов Ватикан примирился с реальным существованием еврейского государства.

История моей аудиенции у папы началась не в Риме, а в Париже. Много лет я приезжала на заседания Социалистического Интернационала (вице-председателем которого я являюсь), где бы они ни проходили. В 1973 году встреча социалистического руководства была назначена в Париже — за полтора месяца до всеобщих выборов во Франции. Я, разумеется, собиралась поехать, как и главы других государств, где социалисты были у власти,— например, Австрии, Дании, Финляндии и Швеции, так же, как главы социалистических партий, находящихся в оппозиции. И тут, ко всеобщему изумлению, Жорж Помпиду обвинил меня в том, что я приезжаю в Париж для того, чтобы переманить и «еврейские голоса» (понятие, которого во Франции нет) на сторону социалистов. Во Франции поднялась буря, в результате которой Социалистический Интернационал, на который обычно обращают, к сожалению, мало внимания, получил неслыханную рекламу — не меньшую, чем непобедимая враждебность французского правительства к Израилю. Словом, так как я отправлялась во Францию, наш посол в Риме Амиэль Наджар предложил мне воспользоваться случаем и выполнить рекомендацию, которую не раз давали его друзья в Ватикане,— встретиться с папой. Я сказала, что сделаю это с удовольствием, и через некоторое время нам предложили испросить аудиенцию. Еще через несколько дней письмо, адресованное мне, пришло в наше посольство в Риме. Оно было из префектуры Ватикана и в нем стояло: «Ваше превосходительство, имею честь сообщить Вам, что Святой Отец предоставит Вам аудиенцию в понедельник 16 января 1973 года».

На меня огромное впечатление произвел — да иначе и не могло быть! — не только и даже не столько Ватикан, сколько сам папа, простотой и приятностью своих манер и проницательным взглядом своих глубоко посаженных темных глаз. Думаю, что я бы куда больше нервничала, если бы папа не начал разговора с того, что ему трудно понять, как это евреи, которые должны быть больше других народов расположены к милосердию, поскольку они так жестоко страдали, могут действовать с такой жестокостью в собственной стране. Этого разговора я просто не

переношу, особенно потому, что неправда, будто мы дурно обращались с арабами на территориях. В Израиле по-прежнему нет смертной казни, и вот самое большее, что мы делали: мы сажали террористов в тюрьмы, мы взрывали дома арабов, которые укрывали террористов, несмотря на неоднократные предупреждения, и иногда, когда другого выхода не было, мы высылали из страны арабов, открыто поддерживавших и подстрекавших террористов. И пусть те, кто нас упрекают, укажут мне точно, где и когда были проявлены жестокость и грубость. Мне очень хотелось спросить папу, какие у него источники информации, ибо его сведения слишком разительно отличались от моих, но я этого не сделала. Вместо этого я сказала, чувствуя, что мой голос дрожит от гнева: «Ваше святейшество, знаете ли вы, какое мое самое первое воспоминание? Ожидание погрома в Киеве. Разрешите заверить вас, что мой народ знает о жестокости все, что возможно, и о настоящем милосердии мы тоже все узнали, когда нас вели в нацистские газовые камеры».

Вероятно, с папой так говорить не принято, но я чувствовала, что говорю от имени всех евреев мира, и живых, и тех, кто погиб, когда Ватикан сохранял нейтралитет во время второй мировой войны. Я чувствовала, что это историческая минута. Мы смотрели друг на друга. Думаю, его удивили мои слова, но он ничего не сказал. Он просто смотрел мне прямо в глаза, и я не опускала глаз. Потом, очень почтительно, но твердо и немножко пространно, я сказала, что теперь, когда у нас есть свое государство, мы больше никогда не будем зависеть от «милосердия» других. «Это в самом деле историческая минута»,— сказал он, словно прочитав мои мысли.

Затем мы перешли к другим вопросам, в частности к статусу Иерусалима и Ближнего Востока. Надо было оговорить специальные условия для святых мест, и для этого надо было «продолжать диалог» между церковью и нами, о чем он говорил с энтузиазмом. Он также не жалел слов, говоря о том, как высоко ценит заботу Израиля о христианских святых местах. Я, со своей стороны, заверила папу, что мы сделаем все, что от нас потребуется, для охраны не только христианских, но и мусульманских святых мест в Израиле, но что столицей Израиля останется Иерусалим. Я попросила папу использовать свое влияние, чтобы добиться урегулирования на Ближнем Востоке, а также сделать все возможное, чтобы израильские военнопленные, томившиеся в египетских и сирийских тюрьмах со времен войны на истощение, которых арабские государства отказывались отпустить, были возвращены.

После напряженных первых минут атмосфера стала приятной и дружелюбной. Мы сидели в личной библиотеке папы, на втором этаже папского дворца и непринужденно беседовали — и потому особенно трудно было мне понять неприятный эпизод, непосредственно за этим последовавший. Профессор Алессандрини, папский пресс-атташе, кроме предварительно оговоренного обычного коммюнике, передал прессе необычное «устное сообщение». Это была явная попытка предупредить тревогу, которая могла возникнуть у арабских государств из-за моей встречи с папой. Объявив, что тут не было «оказано предпочтение или предоставлены особые привилегии», профессор Алессандрини сказал: «Папа исполнил просьбу г-жи Меир о встрече, потому что считает своим долгом воспользоваться любой возможностью, чтобы действовать ради мира и защищать религиозные интересы всех людей, особенно самых слабых и беззащитных, а прежде всего — палестинских беженцев».

Наджар немедленно позвонил в Ватикан и выразил энергичный протест против вводящего в заблуждение коммюнике. Я тоже не смолчала. В конце концов я не врывалась в Ватикан, о чем и сказала на пресс-конференции, которую провела в тот же день в израильском посольстве в Риме. Независимо от того, хотел или не хотел Ватикан принизить значение моей аудиенции у Павла VI, сказала я, «и я, и мой народ высоко ее оценили... По вопросам стремления к миру и доброй воли между папой и евреями существует полное единство взглядов».

На следующий день я получила из Ватикана прелестные подарки: серебряного голубя мира с надписью «Премьер-министру Израиля от папы», прекрасную Библию и — я истолковала это как примирительный жест, искупающий «неточность» профессора Алессандрини,— каталог древнееврейских изданий в Ватиканской библиотеке и по медальону для Лу и Симхи. Как бы то ни было, для меня эта встреча была чрезвычайно интересна и полна значения, и я надеюсь, что в результате ее Ватикан чуть-чуть ближе подошел к пониманию Израиля, сионизма и того, как относятся к Ватикану такие евреи, как я.

Надо сказать, что я вспоминаю весну и лето 1973 года без всякого удовольствия. Бывало, я падала в постель в два часа ночи и лежала без сна, и повторяла себе, что я — сумасшедшая. В семьдесят пять лет я работала больше, чем когда-либо в жизни, и ездила по Израилю и за его пределами больше, чем это здоро́во для кого бы то ни было. Я в самом деле очень старалась уменьшить число встреч и сократить количество работы, но себя переделывать было уже поздно. Несмотря на добрые советы близких — детей, Клары (которая регулярно приезжала теперь из Бриджпорта ко мне на две-три недели), Галили, Симхи, Лу,— я могла, раз уж мне пришлось, быть премьер-министром только по собственному покрою. А это означало — разговаривать с людьми, желавшими со мной разговаривать, и выслушивать людей, которые имели, что мне сказать.

Я не могла выступить на симпозиуме учителей, например, не подготовившись к нему хорошенько и задолго, а читать по бумажке было не в моих привычках. Заранее подготовленное и написанное выступление всегда оставляет у меня нерешенными вопросы, которые зачастую оказываются самыми важными. Меня очень беспокоило, что в новых городках много детей бросает школу, не окончив ее, и, так как учителя просили меня выступить у них на симпозиуме, я думала, что это и станет моей главной темой. Но я никак не могла получить точных цифр — ни от председателя профсоюза учителей, ни от министерства просвещения,— и это меня озадачивало. Как это так — никто не знает, сколько детей бросило школу в каждом городе? Если учителя сообщают директору, что такие-то больше не посещают школу, а директора докладывают об этом в министерство просвещения, почему же нет точных цифр? Чем больше я расспрашивала, тем яснее понимала и положение вещей, и то, как работают школы и министерство, и, главное, что такое жизнь в новых городах и каков там уровень преподавания. Поэтому, придя на симпозиум, я имела что сказать и о чем спросить и могла рассчитывать на ответы, которые подскажут необходимые меры для решения проблемы, жизненно важной для будущего Израиля.

И я не собиралась становиться недоступной для кого бы то ни было. Когда я приглашала евреев, только что эмигрировавших из Советского Союза после месяцев, а иногда и лет преследований и страданий, которые хотели и заслуживали общения с премьер-министром, я старалась провести с ними как можно больше времени. И когда по вечерам ко мне приходили партийные лидеры поговорить по политическим вопросам, я вовсе не стремилась сократить наши беседы. Одно из двух: или я — глава лейбористской партии или нет, но если да, то я им являюсь не для украшения. И я не собираюсь сокращать время, которое я проводила с делегацией «восточных» евреев, или со студентами, или с домохозяевами, или с кем угодно, кто хотел сказать мне, как плохо (а иногда даже как хорошо) я веду дела нации. Были и гости из-за рубежа, которые справедливо считали, что имеют право провести со мной полчасика. Среди них были американские евреи, много лет оказывавшие Израилю моральную и финансовую поддержку; европейцы, возможные инвесторы, в которых мы остро нуждались; люди, которых присылали другие люди, помогавшие нам в Соединенных Штатах, Африке и Латинской Америке.

Я с удовольствием встречалась с людьми и сознавала, что встречаться с людьми мой долг, но чем больше людей я принимала в своем кабинете и дома, тем больше всевозможных бумаг и почтовых поступлений оставалось мне на просмотр ночью. Как только предоставлялась возможность, я ездила обедать домой; порой это бывал официальный ленч, но иногда я часа в два уезжала вместе с Лу на машине, торопливо обедала и возвращалась в три для нового тура встреч и телефонных разговоров. В хорошие дни, когда ничего не было назначено на вечер, я уезжала из министерства часов в семь-восемь; приезжала домой, принимала душ, переодевалась и ужинала. У меня, конечно, была домработница. Она уходила, перемыв тарелки сразу после обеда (если это был официальный ленч, то ей в подмогу присылали людей), но обычно оставляла в холодильнике что-нибудь мне на ужин. Бывало, что я по вечерам оставалась дома и кто-нибудь с работы являлся с кучей корреспонденции, в которой надо было разобраться. А иногда — но действительно очень редко — я просто сидела в кресле, смотрела старый фильм по телевизору или возилась по мелочам, например, прибирала полки, что всегда меня успокаивает.

Часто заходил кто-нибудь из членов кабинета поговорить о серьезных проблемах в спокойной и непринужденной обстановке. Разумеется, это бывало неофици-

ально, и никакие решения тут не принимались. Но я убеждена, что эффективности работы правительства очень помогало то, что мы могли обсуждать важные вопросы за кофе и закуской вокруг моего кухонного стола. Каждые две-три недели Пинхас Сапир, мой министр финансов (потом председатель Еврейского агентства) приходил ко мне домой, чтобы основательно обсудить предложения, которые он собирался внести на заседании кабинета. Сапир — человек невероятной работоспособности и к тому же самый удачливый в Израиле и окрестностях сборщик средств. Когда Сапир встречает за границей еврея, он спрашивает: «Сколько у тебя денег?» И самое забавное: тот ему это сообщает. Главная его забота — улучшение жизни и, особенно, образования в новых городках, и для этого он сделал больше, чем кому-нибудь известно. Мы всегда работали дружно, несмотря на то, что по ряду политических вопросов находились на разных полюсах, и я просто вообразить не могу, как могла бы я без него возглавлять кабинет.

Другой совершенно необходимый член моего кабинета был Исраэль Галили, министр без портфеля, советам которого я всецело доверяла. Галили не только мудрый и необычайно скромный человек: он обладает талантом постигать суть самого запутанного вопроса и формулировать ее с предельной ясностью. Подозреваю, что я еще долго буду спрашивать Галили, что он думает, когда речь зайдет о важных вещах.

Вообще говоря, мне очень повезло, что вокруг меня были такие хорошие люди. Генеральный директор моего министерства, покойный Яаков Герцог, был один из самых образованных людей, кого я знала. И ни у кого не было более преданных помощников, чем Мордехай Газит, принявший дела после безвременной кончины Герцога, Исраэль Лиор, Эли Мизрахи и, конечно, Смиха Диниц и Лу.

В 1973 году произошло нечто, очень приятное для меня: Сарра решила взять в киббуце годичный отпуск и изучать английскую литературу в Еврейском университете, а это означало, что ночью я уже не была одна. Но платить за это приходилось тем, что мы по ночам разговаривали, главным образом о том, должна ли я снова возглавить партийный список на предстоящих выборах, назначенных на осень. Я очень даже подумывала об отставке, но отовсюду раздавались все те же аргументы, которых я наслушалась еще в 1969 году: проблема с моим «наследием» будет ничуть не менее острой, чем с наследием Эшкола; три элемента, составившие лейбористскую партию, все еще плохо сочетаются; военная ситуация — хотя после войны на истощение стало довольно спокойно — может ухудшиться в любую минуту; мои отношения с президентом Никсоном очень полезны, и вряд ли кто-нибудь сумеет за короткое время установить такие же; и т. д. и т. п. Я терпеть не могу быть предметом пересудов — согласится? не согласится? — но мне нечем было отразить эти аргументы, кроме того, что я чувствовала: я должна уйти в отставку ради себя самой. Всю весну шли переговоры с моими коллегами по партии, и пресса жадно следила за ними, словно у Израиля не было других забот. В конце концов я сказала: «Ладно. Нет смысла оттягивать решение, нам и без этого есть о чем подумать». Потом я с горечью соображала, что даже если бы тогда отказалась, я все еще была бы в октябре премьер-министром, потому что выборы были назначены только на ноябрь 1973 года.

В марте я опять посетила Вашингтон. Перед тем произошел несчастный инцидент, который мог бы бросить тень на мой визит: воздушные силы Израиля сбили ливийский «Боинг-727», заблудившийся над Синайским полуостровом, и погибло 106 человек. Это — одна из трагедий, которых не избежать, когда страна днем и ночью начеку. Нас предупредили, что готовится действие «камикадзе» против Израиля: где-нибудь на его территории будет посажен самолет, груженный взрывчаткой,— и мы не могли рисковать, хотя, если бы нам был сделан хоть намек, что на самолете есть пассажиры, мы все-таки пошли бы на риск. Но летчик игнорировал все наши попытки опознать самолет, как было доказано потом, когда был найден «черный ящик». И президент Никсон, и Комитет по иностранным делам палаты представителей сочувственно выслушали мое объяснение, как и почему все это случилось, и за те девяносто минут, что я провела с президентом, он снова горячо заверил меня, что американская помощь Израилю будет продолжаться и США будут поддерживать наши требования переговоров с соседями. Но мне хотелось объяснить нашу позицию и народам Европы, и когда председатель Европейского совета пригласил меня выступить на консультативной ассамблее в Страсбурге, я сказала, что охотно

туда приеду. В Париж я на этот раз не заехала. Я попросила нашего посла просто известить министерство иностранных дел, что я буду во Франции, но ни в коем случае, ни прямо, ни косвенно, не создавать у французов впечатления, что я хочу, чтобы меня пригласили в Париж. И я поехала прямо в Страсбург.

Но перед самым отъездом из Израиля я получила чрезвычайно неприятное сообщение. Арабским террористам удалось «убедить» австрийское правительство закрыть транзитный лагерь Еврейского агентства в замке Шонау, неподалеку от Вены. В течение ряда лет Шонау был необходимой остановкой на полпути из Советского Союза в Израиль. Но прежде чем рассказывать историю о том, как уступили шантажу и что я пыталась этому противопоставить, я хочу объяснить, как функционировал Шонау. Как теперь известно уже многим, храбрые советские евреи, отваживавшиеся подать заявление на выезд в Израиль, как правило, ждут разрешения годами. И когда его наконец дают, то никакого предварительного извещения не бывает. Приходит повестка, что получатель должен выехать из СССР в течение недели или, самое большое, десяти дней. Были, разумеется, и исключения: некоторым евреям говорилось, что если они хотят уехать, то они должны сделать это в течение нескольких часов. Но обычно будущим эмигрантам дается несколько дней на сборы, и они должны за это время: уложить, провести через таможенный досмотр и отправить то, что им разрешается увезти в Израиль; купить билеты; отказаться от советского гражданства... И еще пройти через кучу формальностей, да еще найти время, чтобы попрощаться с людьми, с которыми уже, вероятно, не придется встретиться никогда в жизни. Обычные эмигранты из других стран уезжают не так; это бесчеловечно и непорядочно — но только так, только как высылаемые преступники, могут советские евреи покинуть Советский Союз.

Первая остановка поезда, который увозит их на свободу, обычно через Прагу, маленькая станция на границе Чехословакии и Австрии, где австрийские власти тут же на месте ставят транзитные визы, дающие возможность эмигрантам въехать в свободный мир, а представителям Еврейского агентства, встречающим эмигрантов в Австрии, дающие возможность узнать имена и число евреев в данном поезде. От границы поезда — со специальными купе для еврейских эмигрантов — направляются в Вену, где уже ждут автобусы, чтобы отвезти эмигрантов в транзитный лагерь. Шонау, маленький белый замок, нанятый Еврейским агентством у австрийской графини, был не просто местом, где эмигранты могли отдохнуть и понять, что они находятся наконец на пути в еврейское государство. Это было место, где эмигранты, измученные и растерянные, получали первую информацию об Израиле; там выяснялись их профессии, там они получали самую первичную подготовку к новой жизни в новой стране.

Никто не задерживался в Шонау надолго. Обычные средние эмигрантские семьи проводили там два-три дня перед тем, как автобус доставлял их в аэропорт, откуда на самолетах Эль-Ал они прибывали к нам, усталые, но счастливые. За год перед тем я побывала в Шонау, видела своими глазами, в каком физическом и душевном состоянии прибывали из Советского Союза эти люди, и поняла, до чего необходимо это преддверие свободы. Знала я и то, что у советских евреев нет другого пути, кроме пути через Австрию, и знала, что для миллионов евреев, все еще находящихся в Советском Союзе, Шонау — символ свободы и надежды.

Но и арабские террористы все это знали тоже, и в конце сентября 1973 года два бандита ворвались в поезд, когда он пересек австрийскую границу, захватили семерых советских евреев, в том числе семидесятилетнего старика, больную женщину и трехлетнего ребенка, и нагло известили австрийское правительство, что если оно немедленно не прекратит оказывать помощь советским евреям-эмигрантам и не закроет Шонау, то не только будут убиты заложники, но и жестокие репрессалии будут приняты против Австрии. К нашему изумлению и ужасу, австрийское правительство, возглавляемое канцлером Бруно Крайским, тут же уступило, к восторгу обоих бандитов (немедленно переправленных в Ливию) и всей арабской прессы, которая с плохо сдерживаемым ликованием расписывала «успешный удар, нанесенный коммандос по эмиграции русских евреев в Израиль».

Я знала Крайского давно и довольно хорошо. Он несколько лет был министром иностранных дел Австрии, и мы встречались в Объединенных Нациях. Он также был социалистом, и последний раз я его видела на съезде Социалистического Интернационала в Вене за два года перед тем. Помню, я как-то пригласила его приехать

в Израиль, и он начал экать и мекать и имел при этом очень несчастный вид. «Я понимаю, что вы хотите сказать,— догадалась я.— Вы хотите сказать, что если ехать в Израиль, то перед этим вам надо поехать в Египет и другие арабские страны. Пожалуйста. Мы не имеем ничего против, пусть каждый едет сначала туда, а потом сюда — но приезжайте к нам!» Я увидела, что ему стало гораздо легче, когда я все это сказала за него.

«Хорошо, я приеду»,— сказал он. Он приехал. Как еврей господин Крайский не проявил к Израилю никакого интереса, хотя в 1974 году и посетил нашу страну в качестве главы делегации европейских социалистических лидеров.

В Австрии было много социалистов, евреев и неевреев, с которыми у нас были гораздо более близкие отношения. Но я хотела говорить с Крайским, лично объяснить ему, что значит закрыть Шонау и каковы будут последствия не только для Австрии, но и для русских евреев. Я попросила нашего посла в Вене выяснить, могу ли я встретиться с Крайским по дороге в Страсбург.

Для вящей справедливости надо отметить, что, хоть, по-моему, уступать террористам вообще непростительно, решение Австрии не было совсем уж неразумным. Во-первых, Шонау стал уж слишком хорошо известен, хотя мы все очень старались отбить у посетителей охоту туда ходить, а у прессы — охоту писать о нем слишком часто, потому что слухи о том, что террористы готовят нападение на Шонау, никогда не прекращались. Служба безопасности в Австрии была в самом деле хорошо поставлена: каждый поезд встречали; каждый автобус с эмигрантами по дороге в Шонау имел сопровождающих и эскорт; сам замок хорошо охранялся. Австрийцы прекрасно и эффективно нам помогали. Но если сейчас закрыть Шонау, то любое место, которое нам вместо него предоставят, окажется под угрозой такого же шантажа. Мне казалось, что если мне удастся обсудить все это с Крайским, то, может быть, удастся его переубедить. Я напряженно ждала ответа. В конце концов мне сообщили, что Крайский не сможет встретиться со мной, когда я буду по дороге в Страсбург, но сможет встретиться со мной, когда я поеду обратно.

Я приготовила речь для выступления на Европейском совете, в которой благодарила совет в целом и отдельные парламенты и политические партии Европы за то, что они подняли голос в поддержку требования разрешить эмиграцию советским евреям; я касалась и разных других вопросов — в частности, отказа арабских государств от переговоров с нами и перспектив еврейско-арабского сосуществования, как мы себе его представляли. Речь кончалась призывом помочь Ближнему Востоку «превзойти тот образец, который явил нам Европейский парламент» и цитатой из Жана Монне, великого европейского государственного деятеля: «Мир зависит не только от договоров и заверений. В основном он зависит от создания таких условий, которые, хоть и не меняют человеческую природу, по крайней мере, направляют поведение людей по отношению друг к другу в сторону миролюбия». Эти слова, считала я, лучше всего выражают то, чего Израиль хочет от арабов — и от остального мира.

Но когда я приехала в Страсбург, мне стало ясно, что читать эту речь — глупо. Теперь у меня были более срочные сообщения.

— Речь моя написана,— сказала я.— Вероятно, она лежит перед вами. Но в последнюю минуту я решила не помещать между вами и мной бумагу, на которой она написана, особенно в свете того, что произошло в последние два-три дня.

И я заговорила о решении австрийского правительства.

— Провалившись в Израиле, арабские организации при поддержке арабских правительств перенесли террор в Европу... Я понимаю чувства премьер-министра и других членов его кабинета, которые говорят: «Этот конфликт не имеет к нам никакого отношения. Почему это для подобных действий была избрана наша территория?» Я понимаю, что правительство может прийти к заключению, что единственное средство освободиться от этой напасти — сделать свою страну недоступной или для евреев (и, стало быть, для израильтян), или для террористов. Каждое государство сейчас стоит перед таким выбором... Но нельзя идти на сделку с террористами. В Вене впервые правительство пошло на соглашение с террористами. Основной принцип свободы передвижения для людей — во всяком случае, для евреев — оказался под вопросом, что само по себе большая победа для терроризма и террористов. Поверьте, мы глубоко благодарны австрийскому правительству за все, что оно сделало для десятков тысяч евреев, проехавших через Австрию из

Польши, Румынии и Советского Союза. Но если оно, вместо того чтобы разделаться с терроризмом, решило отпускать террористов на свободу и предоставлять им то, чего они хотят, то тем самым оно поставило на повестку дня вопрос: может ли любая страна позволить себе предоставить евреям право транзита через свою территорию...

Я провела в Страсбурге два дня и приняла участие во всех завтраках и обедах; но думала я только о Шонау, и, приехав в Вену, я прямо пошла в кабинет премьер-министра. Крайский перечислил причины, по которым его правительство капитулировало перед арабами, и спросил, почему это только Австрия должна отвечать за русских евреев? Почему не Голландия? Она тоже может стать транзитным пунктом для эмиграции. Я сказала, что Голландия готова разделить с его страной это бремя. Но это зависит не от голландцев; это зависит от русских. А русские согласились выпускать евреев через Австрию. И тогда Крайский сказал то, чего я проглотить не могла. «Мы с вами принадлежим к двум разным мирам»,— сказал он мне. При нормальных обстоятельствах я бы на этом прекратила разговор; но я была тут не ради себя, и мне пришлось его продолжать.

По вопросу о закрытии Шонау Крайский был непоколебим.

— Я не хочу отвечать за кровопролитие на австрийском вокзале,— повторял он.— Надо придумать что-нибудь другое.

— Но если вы закроете Шонау, вы дадите русским прекрасный повод не отпускать евреев. Они скажут: раз нет транзитных возможностей, мы не будем отпускать эмигрантов.

— С этим,— сказал Крайский,— я ничего поделать не могу. Пусть ваши люди принимают евреев сразу из поездов.

— Невозможно,— сказала я.— Ведь мы никогда не знаем, сколько в данном поезде людей. К тому же я не думаю, что безопаснее держать десятки людей на аэродроме в ожидании самолета Эль-Ал, который за ними прилетит.

Но я уже видела, что все бесполезно, что все мои разговоры ничего не могут изменить. Крайский прежде всего не желал неприятностей с арабами. Я поблагодарила его за прием и ушла.

Была назначена пресс-конференция, на которой я и Крайский должны были отвечать на вопросы. Но когда Крайский провел меня в комнату, где ожидали корреспонденты, и я их увидела,— я покачала головой.

— Нет,— сказала я,— мне нечего сказать прессе. Я сюда не войду.

Я и по сей день не знаю, отменил ли он пресс-конференцию или ответил на все вопросы сам; знаю только, что у меня было такое чувство, будто я наелась пепла и праха. «Мы с вами принадлежим к двум разным мирам». Снова и снова я вспоминала эти слова. Но, разумеется, я не подозревала, что ожидает меня в Израиле.

МЕСТО ГОЛДЫ МЕИР

Вот место Голды Меир
Мы прохлопали...

Владимир Высоцкий

Прохлопали, прохлопали: как ни хотелось привязать Израиль к советской колеснице, как ни хотелось превратить его в форпост «антиимпериализма» и коммунизма на Ближнем Востоке — ничего, решительно ничего не получилось. Роман между СССР и Израилем в 48-м оказался быстротечен и, несмотря на выдающиеся усилия кремлевских горцев вызвать со стороны израильтян стойкую ненависть и отвращение к России, сохранился в благодарной памяти людей, умеющих помнить добро,— редкое вообще запоминается лучше.

Но «место Голды Меир мы прохлопали» и куда в более широком смысле — как существенную часть мировой истории двадцатого века, как политическое и духовное движение, определившее, и определившее очень существенно, политическое лицо сегодняшнего дня.

Общеизвестно, и я на этом останавливаться здесь особо не буду, что ложь и ненависть разрушают прежде всего своих носителей. Манипуляторы ненависти в государственном и мировом масштабе, сами, судя по всему, ставшие жертвой созидаемого ими пропагандистского мифа (история, в сущности, вполне заурядная), превратили сионизм

в сознании так называемых простых людей в некоего песочного человека из ночных кошмаров — сионизмофобия стала синдромом широкомасштабного социального невроза, представляющего серьезную опасность для психического и духовного здоровья России. Сионизм может служить символом навязчивого состояния, иррационального страха, манихейского ужаса перед всемогущей темной силой, управляющей судьбами мира.

Иррациональное, как хорошо известно, питается недостатком информации. Положим, хватает и других причин, но эта — одна из главных. Так вот, давно пора бы рассказать читателям о сионизме, и «Иностранная литература» предлагает такой рассказ из первых рук — устами Голды Меир, «место» которой, по свидетельству одного из компетентнейших очевидцев, прохлопали в России. Я не случайно употребляю слова «рассказ» и «уста» — стихией этой женщины было именно слово, а не текст: свои речи она, за редким исключением, импровизировала, а воспоминания, названные ею «Моя жизнь», надиктовала на магнитофон.

Ее страстная и захватывающая книга, в которой семейные частности неразрывно и органично переплетены с магистральными сюжетами и проблемами двадцатого века, читается как авантюрный роман.

Нелегальная поездка в Амман в платье арабской женщины для встречи с королем Абдаллахом за пару дней до начала войны (последняя отчаянная попытка ее предотвратить) — без охраны и знания арабского языка. Бумажные цветы, подаренные детьми в концентрационном лагере на Кипре, раскаленный песок без единого дерева и травинки. Корабль в Атлантике с бунтующей командой: кок подмешивает в воду и питье морскую воду, машины выведены из строя, электроэнергия не подается, четверо матросов закованы в кандалы, пароходный холодильник разбит вдребезги, умер пассажир и его выбросили за борт, брат капитана сошел с ума, а капитан застрелился! Житье с двумя туберкулезными в стадии обострения в одной комнате. Конгресс руководства Социалистического Интернационала в Лондоне. Почему западные социалистические страны и их руководители — «старые товарищи» отвернулись от Израиля? Потому что это маленькая страна, а арабский мир обладает огромными территориями, людскими и природными ресурсами? «Все молчали. И тут кто-то позади меня... сказал очень ясно: «Конечно, они не могут говорить. У них горло забито нефтью». Мешок с тремя дырами вместо платья. Посол Израиля в Москве: в какие годы! «После того как танец закончился, двести женщин племени отвели меня в крошечную, душную соломенную хижину, где меня облачили в яркие одежды верховного вождя и произвели надо мной обряд тайного посвящения, о котором я распространяться не буду». Песах на Земле Обетованной — и нет денег купить мацы и вина. Премьер-министр Израиля. Ужас маленькой девочки, ждущей погрома и сознающей, что отец не в состоянии ее защитить.

Надо полагать, Голда Меир была бы поражена, если бы ей сказали, что непритязательное название ее мемуаров содержит весьма притязательную аллюзию. Она была слишком цельна и проста (не в комплиментарном и не в ироническом смысле, а как некая особенность внутреннего устройства), она была слишком погружена в свой сионизм, в свой Израиль, она была слишком самодостаточна, чтобы соотносить себя с Ганди. Между тем такое сопоставление было бы конструктивно и плодотворно — ведь и сионизм, и гандизм были наиболее впечатляющими национально-освободительными движениями двадцатого века; и в Индии, и в Палестине шла борьба против британского империализма; в обеих странах она увенчалась успехом примерно в одно и то же время, а проблемы, оставшиеся после британского господства, не разрешены до сих пор. Конечно, Голда Меир ни в коей мере не может служить символом сионизма в той же степени, как Ганди — гандизма, но ее фигура, ее жизнь во многих отношениях для сионизма чрезвычайно характерны, во многом выражают его в рамках, так сказать, отдельно взятой личности.

По сравнению с духовным и социальным движением, возглавленным Ганди, идеологические границы сионизма были существенно шире; признание общего главенствующего принципа о собирании евреев на «Земле Израиля» и устроении здесь еврейского государства вовсе не снимало острых противоречий в понимании характера этого государства, борьбы за его становление — противоречий, едва не вылившихся в гражданскую войну.

Но в этой идеологической неоднородности сионистского движения главная составляющая была, конечно, социалистической. Символы, к которым большая часть российского общества питает ныне живейшую идиосинкразию, были знаменем сионизма. И это был в значительной мере вынесенный из России социализм, социализм, так сказать, российского разлива с его страстной мечтой о социальной справедливости, о том, что те, кто был никем, могут и должны стать всем. Голда Меир — кухарка, крестьянка и прачка — действительно стала управлять государством, и управлять им очень успешно. Она реально осуществила в своей жизни то, что при восхищении и обожании зрителей призрачно совершили в кинематографических скорпионовых садах Любовь Орлова и Вера Марецкая.

Голда Меир доказала, что это действительно возможно. Точно так же, как израильский социализм, символами которого стали киббуц и Гистадрут, доказал, что лозунг

о социальной справедливости может быть не демагогией, что он может быть воплощен в реальность. Израильский социализм — без глобальной социальной лжи и насилия, без чудищ и монстров тоталитаризма. Я мог бы сказать: социализм с человеческим лицом, но это было бы хотя и верно, но чересчур общо и бессодержательно — у этого социализма было еврейское лицо, и в нем легко разглядеть черты Голды Меир!

Поднявшись с самых социальных низов к вершинам власти, став человеком, казалось бы, сугубо общественным, она (пример не частый) сумела сохранить в себе частного человека, она не дала общественному человеку этого частного человека в себе «съесть». Ее воспоминания полны сетований о том, что она не додала своим детям, занимаясь партийной (Господи, понимаю, как звучит, но вот — ничего не попишешь!) и государственной работой. Да и посвящение этой книги носит сугубо частный характер: «Моим сестрам Шейне и Кларе, нашим детям и детям наших детей».

В сущности, ее социализм был каким-то домашним: разве за семейным столом кому-нибудь придет в голову соотносить свою работу с размером тарелки? Она смотрела на Израиль как на большой киббуц, как на свою семью, где должно быть хорошо ее детям и детям ее детей. Она посвятила этим и еще не родившимся детям не только свою книгу — она посвятила им страну, одним из наиболее энергичных и талантливых авторов которой она была.

Она завершает свою книгу маленьким пророчеством, которое начинает сбываться на наших глазах:

«И тем, кто спрашивает: «А что будет потом?» — у меня только один ответ: я верю, что у нас будет мир с соседями, но я уверена, что никто не захочет заключить мир со слабым Израилем. Если Израиль не будет силен, мира не будет».

Надо полагать, что если посмертное существование не отбило у Голды Меир еще интереса к этой жизни, ей будет радостно видеть, что ее прогноз оказался верен, что мир на Ближнем Востоке близок, как никогда, и что на этом этапе изнурительного марафона эстафетная палочка у родной для нее социалистической партии!

Она повторяет свой вопрос: «Как я представляю себе будущее?»,— и продолжает на него отвечать:

«Еврейское государство, в котором будут селиться и строить евреи со всех концов света; Израиль, сотрудничающий со всеми соседями на пользу всех людей региона; Израиль, который останется процветающей демократией, а общество будет зиждиться на основах социальной справедливости и равенства.

Теперь у меня осталось только одно желание: никогда не утратить сознания, что я в долгу перед тем, что было мне дано с тех пор, как я впервые услышала про сионизм в маленькой комнатке в царской России, и потом, за пятьдесят лет здесь, где пятеро моих внуков выросли свободными евреями в собственной стране. Пусть никто не сомневается: на меньшее наши дети и дети наших детей не согласятся никогда».

МИХАИЛ ГОРЕЛИК

ЕВГЕНИЙ МАЕВСКИЙ

LINGUA UNIVERSALIS,
или Поучительная История Одной Попытки Усовершенствовать Природу

И сказал Господь: ⟨...⟩ Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.

Бытие, 11, 6—7

Menade bal — püki bal (Единому человечеству — единый язык).

Патер Иоганн Мартин Шлейер, создатель языка волапюк.

Этой идее почти четыре столетия, но она поразительно живуча. Казалось бы, времена для нее малоподходящие: какой уж тут всеобщий язык, когда в самых разных уголках мира то и дело распадаются федерации, отлагаются автономии и провозглашаются суверенитеты, когда то здесь, то там вдруг разгораются тлеющие угли национальной розни и поднимается волна безудержно агрессивного утверждения чьей-нибудь этнической самобытности. Но, видите ли, та lingua universalis, тот всеобщий язык, о котором мы здесь заводим разговор,— это ведь не язык той или иной империи, того или иного империализма, будь то Древний Рим, гитлеровский рейх или, скажем, сталинская Русь. Это светлая, чистая, благородная мечта: не просто всеобщий или международный, а именно искусственный международный язык, устроенный более разумно, чем языки естественные, а потому никем насильственно не насаждаемый — наоборот, повсеместно распространяющийся сам собой в силу того, что он лучше всех прочих.

Мечта, надо признать, завораживающая. Кого она только не захватила: от императрицы Екатерины II до художника Жана Эффеля. Одних лишь проектов такого языка известно не менее тысячи (если включить в это число около 700 зарегистрированных вариантов эсперанто), а уж энтузиастов из разных стран, находящих удовольствие в общении на эсперанто, интерлингве и других, не столь распространенных искусственных языках, насчитываются десятки и сотни тысяч. Это одна из утопий, прошедших все стадии развития: от кабинетного проектирования к массовому движению, от эйфории первых опытов к трудностям полномасштабной реализации — вплоть до разочарованной усталости, когда всё уже есть, но всё это не то и не так, как хотелось, а мир между тем уже давно шагает по совсем другой дороге.

Чем-то они ужасно трогательны, эти доныне попадающиеся, а некогда весьма многочисленные чудаки-идеалисты, выкраивающие и примеряющие корни и аффиксы, придумывающие небывалые слова для обычных вещей в твердой уверенности, что разработанный ими проект будет лучше всех прежних проектов, что они наконец-то найдут решение проблемы. Часто их сравнивают с искателями философского камня или конструкторами вечного двигателя. Но, по-моему, они больше похожи на ранних радиолюбителей,— помните? — тех, с громоздкими самодельными катушками-соленоидами, с «кошачьими усиками» кристаллических детекторов. Ведь в отличие от идеи вечного двигателя их идея осуществима. Создать искусственный язык можно, можно и ввести его в обращение. Другой вопрос: приведет ли это к счастью, тем более всеобщему и скорому? Радио, как известно, ни к чему такому не привело. Но они, изобретатели, искренне убеждены: вот придумать бы еще столько-то полезных суффиксов, и тогда уж... Они нисколько не сомневаются, что «всеобщий язык был бы всеобщим благодеянием и сильно способствовал бы единению и братству народов» (так сказано в резолюции одного из конгрессов I Интернационала). Заметьте: не единение народов повлекло бы за собой единство языка, а наоборот — сначала единый язык, только потом благодаря ему единение. Они, энтузиасты, полны жюль-верновского оптимизма и бескорыстной готовности служить человечеству, причем бескорыстие тут самое неподдельное: лингвопроектирование не из тех занятий, что приносят богатство и власть. Нет, они положительно славные люди... Вы

только взгляните, какие щемяще безыскусные стихи предпослал своему учебнику языка волапюк некто Дмитрий Чернушенко (было это в 1891 году):

Не злобная корысть меня тревожит
В превратной жизни ночь и день,
Но что истинно всех может
Поднять на высшую ступень.

В ПОИСКАХ ИСТИННЫХ ИМЕН

> Если система символов изобретается, а не принимается как данность, то ее можно сделать похожей по строению на ту действительность, которую она отображает. Структура скорояза (Speedtalk) была свободна от скрытых пороков английского языка: Новые Люди сделали все возможное, чтобы приблизить ее к структуре действительности.
>
> *Роберт Хайнлайн, «Бездна» (1949)*

> Лексика была сконструирована так, чтобы точно, а зачастую и весьма тонко выразить любое дозволенное значение, 〈...〉 а кроме того, отсечь все остальные значения, равно как и возможности прийти к ним окольными путями. 〈...〉 Выразить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего характера новояз (Newspeak) практически не позволял.
>
> *Джордж Оруэлл, «1984» (1949)*

Идея искусственного языка завладела умами в начале XVII столетия — в один из тех периодов истории Европы, которые были отмечены особой напряженностью духовного поиска и умственной жизни. «Все жаждали обновления, золотого века, Эльдорадо духа,— пишет об этом времени Умберто Эко.— Одни корпели над магическими текстами, другие трудились в кузницах, плавя металлы, третьи стремились подчинить себе звезды, а иные изобретали тайные алфавиты и универсальные языки».

Философы новой эпохи продолжали дело, начатое философами древности, поиск «истинных имен» вещей. Фрэнсис Бэкон, по-видимому, первым выдвинул идею «философской грамматики», некоей новой науки, призванной создать «вполне прекрасный язык, при помощи которого выражались бы должным образом мысли и переживания». Чуть позже эту мысль подхватил Рене Декарт. Известно его письмо от 20 ноября 1629 года, в котором обсуждается возможность искусственного создания «рационального языка» со строго единообразным «спряжением, склонением и построением слов». Характерно, что эта система виделась ему не столько как средство общения, сколько как способ «методического расположения всех мысле-идей, подобно методически установленному порядку естественного ряда чисел». «Я считаю,— писал Декарт,— что такой язык возможен и что можно установить науку, от которой он зависит; с его помощью крестьяне смогут судить о сущности вещей лучше, чем это делают иные философы. Но не надейтесь,— добавлял он,— когда-либо узреть его: это предполагает великие перемены в порядке вещей».

Как известно, знаки естественного языка принципиально произвольны; американцы называют хлеб бредом (bread), а Бога гадом (God), но сердиться на них за это не стоит, тем более что с их точки зрения русские, желая сказать «хорошо», говорят «жуткое зрелище» (horrorshow). Звуковое сходство слов «роза» и «рожа» вовсе не означает, что столь же сходны обозначаемые ими предметы; с другой стороны, роза и пион похожи, а слово «роза» и слово «пион» — не очень. Между звучанием слов и их значением в естественных языках нет никакой необходимой связи; в корневых (непроизводных) словах звучание не отражает семантику вообще, в производных словах — отражает, как правило, лишь отчасти: почему, например, головка — это лицо, шумовка — орудие, а тусовка — действие? И при чем тут зола или шум? (Для интересующихся: абсолютно ни при чем.) И существуют ли какие-нибудь тусы, коль скоро у людей в обычае тусоваться?

Знаки же «философского языка», то есть имена «истинные», врожденные, по Платону, от природы, а не данные «законом и обычаем», должны были бы самой своей формой отвечать свойствам обозначаемых вещей. В частности, сходные вещи следовало бы называть сходными словами. Лучше всего было бы представить все многообразие понятий, отображающих различные вещи, в виде различных сочетаний нескольких немногочисленных элементарных идей — как теперь часто говорят, семантических примитивов, подобно тому как все многообразие слов любого языка складывается из ограниченного числа фонем. Обозначим каждый «атом значения» своим «атомом звучания», и глубинная смысловая структура любого слова проявится с полной наглядностью. Смысл и звук сольются воедино: едва услышав, уже понимаешь; едва подумав, уже знаешь, как сказать.

Современники Декарта приступили к практической реализации этой теоретической программы с бестрепетной деловитостью Века Разума: слово перестало быть для них божественной данностью и сделалось, как и весь вещественный мир, объектом преобразовательской деятельности Человека. Похоже, что британцы раньше других взялись ответить на этот вызов делом, не ожидая особых «перемен в порядке вещей». В 1661 году публикуется проект шотландского учителя Джорджа Дальгарно, в 1668-м — весьма похожий на него проект английского епископа Джона Уилкинза.

Уилкинз разделил континуум понятий на 40 родов: общение, мир, травы, металлы,

болезни... Каждый из родов подразделялся далее на 10 видов, а каждый вид на 10 подвидов, что давало в итоге уже 4000 единиц классификации; автор проекта полагал, что этого достаточно.

Каждому роду, виду, подвиду сопоставлялась определенная комбинация абстрактных графических символов. Иероглифы Уилкинза произвольны и причудливы, но употребляются вполне последовательно. Кроме того, каждому роду присваивалось буквенно-звуковое обозначение из двух литер: например, «стихии» обозначались буквосочетанием De, «деревья» — буквосочетанием Go, «манеры» — буквосочетанием Te, и так далее. Виды указывались посредством добавления к этим двум буквам еще одной, непременно согласной, из числа десяти предназначенных для этой позиции. Так, если «стихия» вообще — это De, то «огонь» — Deb, «воздух» — Ded, «вода» — Deg, «земля» — Dep. Для указания на подвид добавлялась гласная: вид «вода» включал подвиды «облако» — Dega, «дождь» — Dege, «иней» — Degi и т. п. Так как в латинском алфавите гласных букв для этой рубрикации не хватало, пришлось добавить еще и строчные греческие. (Не правда ли, в этом есть что-то странно знакомое? Ну конечно же: перед нами прообраз классификаций, используемых в наши дни в библиотечных каталогах.)

Строго говоря, в проектах Дальгарно и Уилкинза еще не достигнуто полное соответствие между «атомами звучания» и «атомами значения» — хотя бы потому, что одна и та же буква в разных позициях (например, гласная в первом слоге и во втором) передает совершенно разные смыслы. Но уже в какой-то мере удалось добиться того, чтобы семантически далекие понятия имели несходную фонетическую репрезентацию, семантически близкие — сходную: Dega, Dege, Degi — все это разные виды воды. Некоторые лингвопроекты XX столетия продвинулись по этому пути значительно дальше.

На протяжении всего XVII, а затем и XVIII века философские языки множились и совершенствовались. Интерес к ним пробуждался вновь и вновь — особенно среди людей того склада ума, который мы теперь назвали бы физико-математическим. Над проектом такого языка работал Ньютон — правда, не в зрелые годы, а в студенческие. В самый разгар Великой французской революции конструированием философского языка занялся Ампер; он даже написал на нем несколько стихотворений. Впрочем, тогда он еще не был великим физиком, ему едва успело исполниться восемнадцать лет. Появляются подобные проекты и в наши дни. Англо-американские Suma (1957) и Loglan (1966), японские BABM (1960) и LoCoS (1973) — всё это звучит очень современно, почти как Алгол и Фортран, но это вовсе не прозаические языки программирования, а самые настоящие философские грамматики в духе тех столетий, когда каждый рыцарь знания, не ведая сомнения и страха, готов был приступить к созданию собственной Теории Всего с присовокуплением универсальных символов на все века для всех народов и племен. У нас в России тоже были такие проекты, хотя и не столь академически респектабельные — например, «звездный язык» Велимира Хлебникова: «Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием ⟨...⟩ Ч значит оболочка ⟨...⟩ Пэ — двигающее начало и сила».

Если философских языков так много, то почему же этим богатством никто не пользуется?

К сожалению, пользоваться им очень неудобно. Языкам такой структуры трудно обучаться. Хуже того: на них трудно общаться.

Поскольку слова искусственного языка не похожи ни на что знакомое, они с трудом запоминаются. Вы помните, что такое Deb? Наверняка не помните. Это «огонь» на языке епископа Уилкинза, а ведь этот пример приводился всего несколькими абзацами выше. Философский язык с точки зрения новичка ничем не отличается от любого иностранного: ему нужно учиться. А так как на нем практически никто не говорит, то еще задумаешься: стоит ли.

А как же словообразовательная прозрачность, наглядная делимость на «атомы значения» — разве это не решающее достоинство? Ведь нельзя утверждать, что слова философского языка ни на что не похожи: они похожи на самоё реальность. Языки этого типа специально конструируются так, чтобы «слова были подобием мира», так, что в самих «речениях есть опись хода дел» (пользуюсь выражениями Хлебникова). Разве это не помогает? Оказывается, не помогает. Вернее, помогает, но мало. Гораздо меньше, чем обещают умозрительные рассуждения.

Бэкон и Декарт, Дальгарно и Уилкинз видели в своих философских языках прежде всего орудие познания. Им хотелось помочь «крестьянам судить о сущности вещей». Дальгарно с учительским занудством подсказывал крестьянину: лошадь — Nyku, осел — Nyke, мул — Nyki, стало быть, это всё четвероногие (Nyk), составляющие одну из разновидностей животных (Ny), которые, в свою очередь, относятся к числу живых существ (N). Крестьянин почтительно принимал это к сведению, но в глубине души не без оснований полагал, что уж о скотном-то дворе он и так судит «лучше иных философов», а вот называть такую разную скотину такими похожими, едва различимыми именами как-то несподручно. Для прагматика крестьянина речь — в первую очередь средство общения, а не познания. В устройстве своего нехитрого сельского мира он давно разобрался без всяких философских языков...

Основная функция естественного языка — коммуникативная, и структура его в хо-

де развития приспосабливается к выполнению этой функции — приспосабливается более или менее неосознаваемо для говорящих, но зато с такой эффективностью, которой вряд ли удалось бы добиться при помощи сознательных усилий. Ибо в процессе этого приспособления природа учитывает и примиряет великое множество разнонаправленно действующих сил, многие из которых просто неведомы нам либо не поддаются нашему контролю. Результаты этой автоматической согласовательной деятельности всегда компромиссны. Обнаруживая в структуре языка различные «несовершенства», мы часто не понимаем, что это лишь плата за усовершенствование (тоже, конечно, относительное) чего-то другого. Так, досадная нерегулярность словоизменения и словообразования во многих случаях объясняется тенденцией к краткости выражения — попросту говоря, экономией усилий. Конечно, иностранцу нелегко усвоить, что сын должен исполнять сынОВний долг, а дочь — дочЕРний. Но дело в том, что в языке наших далеких предков слова «сын» и «дочь» были не такие короткие, они звучали несколько похоже на «сыноу» и «дочер», что делало производные формы совершенно логичными. Естественная эволюция языка укоротила эти слова, но выигрыш в краткости обернулся проигрышем в регулярности.

Требование, чтобы «слова были подобием мира», выполняется в естественном языке тоже не в полную меру, а ровно до того предела, за которым это стало бы помехой выполнению других требований,— например, пока это не мешает языку гибко адаптироваться к постоянно меняющимся условиям и содержанию коммуникации. На практике компромиссное решение лингвоэволюции выглядит так: у наиболее крупных языковых единиц семантика вполне определенна, но чем мельче единица, тем более расплывчато ее значение. Понятно, что такое теплица, орлица, землица; но что такое -ица? Суффикс места, суффикс женского пола, ласкательный суффикс? Или все это сразу вместе: что-то такое «уютно-женственно-нежное»? И совсем уж бессмысленно спрашивать, какова семантика звука Ц.

Именно диффузный, неспециализированный характер языковых знаков, именно возможность достраивать, домысливать их смысл применительно к каждой конкретной ситуации общения и делает естественный язык универсально применимым, позволяет говорить на нем о чем угодно, в том числе и о таких вещах, о которых еще никто никогда не говорил. «Философскому языку» такая гибкость недоступна. Он пригоден не для любых бесед, а лишь для изложения Единственно Верного Учения.

Принципы построения «философского языка» с успехом используются в специальных знаковых системах, отображающих те или иные узкие предметные области. Например, в физико-математической нотации. Символ m и понятие массы, символ v и понятие скорости — это яркий пример взаимно-однозначного соответствия «атомов звучания» (вернее, написания) и «атомов значения». Не случайно основы этой нотации складывались как раз в ту эпоху, когда Дальгарно и Уилкинз работали над своими искусственными лексиконами. Такое соответствие оказывается возможным благодаря тому, что содержание подобных узких областей знания относительно отчетливо и неизменно, оно определяется более или менее очевидным и устойчивым общественным договором.

Совсем иное дело мир в целом — и язык, призванный его описывать. Только что на этом языке говорили о чем-то одном — и вот уже ведут разговор на совсем другую тему. Более того: картина мира может быть разной у разных людей и существенно меняется от эпохи к эпохе, а от языка требуется, чтобы он оставался хотя бы отчасти общепонятным. «Философский язык» жестко привязан к определенной классификации мира; но ведь «не существует классификации мира,— заметил Х. Л. Борхес,— которая не была бы произвольной и проблематичной. Причина весьма проста: мы не знаем, что такое мир».

Тогда уж лучше не «философский», а обыкновенный язык с его семантически-диффузными знаками.

Если все-таки не пожалеть усилий и ввести какой-нибудь язык «философского» строения в повседневный обиход, то с течением времени он изменится, перестанет быть «философским» и превратится в естественный — со всеми неизбежными компромиссными неудобствами этого последнего.

Если же ценой совсем уж громадных усилий постоянно поддерживать в этом языке его «философские» качества, то он будет не столько помогать мышлению, сколько тормозить его, насильно загоняя мысль в заранее заданную схему. Что-то в этом роде демонстрируют все идеократические режимы. Читайте Оруэлла.

КАК ЖИВОЙ, ТОЛЬКО ЛУЧШЕ

Вы часто жалуетесь на препятствия, которые ставят успехам просвещения множественность и несовершенство языков. И вот язык в высшей степени правильный и простой, все слова которого пишутся, как говорятся, и произносятся, как пишутся. Правила этого языка немногочисленны и не имеют, никаких исключений, все слова, правильно образованные из небольшого числа корней, имеют совершенно определенное значение, грамматика и словарь так просты, что они содержатся в этой маленькой книге, и изучение этого языка так легко, что любой че-

ловек может научиться ему в четыре-пять месяцев.

Этьен Кабе, «Путешествие в Икарию» (1840)

Хорошо: пусть не философский язык, пусть просто международный. С течением времени содержание идеи Искусственного Всеобщего Языка постепенно, но неуклонно изменяется. По мере того как кабинетные опыты по электричеству и магнетизму пролагают дорогу электродвигателю и телеграфу, чаемая lingua universalis все реже воспринимается как инструмент философии, все чаще — как орудие политики и коммерции. Ее изобретатели начинают руководствоваться не столько потребностью представить в удобной знаковой форме ту или иную теоретическую картину мира, сколько желанием «наконец-то» дать народам удобное, общедоступное средство практического межнационального общения.

Неудивительно, что от проекта к проекту Всеобщий Язык становится все менее искусственным.

Ранние искусственные языки, точнее, лингвопроекты чаще всего подчеркнуто не похожи на какие бы то ни было живые наречия. В семнадцатом, восемнадцатом, да еще и в девятнадцатом столетиях многим казалось, что раз уж изобретать новый язык и вводить его в употребление, то следует вообще отрешиться от звуковой материи человеческой речи. Возможно, какую-то роль сыграло здесь то распространенное мнение, что жест и рисунок по природе нагляднее слова (что, в общем, верно); стоит также вспомнить, что в XVII—XVIII веках в Европе постепенно начали знакомиться с китайскими иероглифами, которым приписывалась непосредственная, как у рисунка, понятность (что совершенно ошибочно). Но все же главное, вероятно, в том духе времени, который обязывал носить парик и предписывал ценить регулярный сад выше натурального ландшафта. Привычное, природное казалось заведомо ничтожным, слабым, жалким. Усомнившись в Боге, человек эпохи Разума и Прогресса уверовал в Машину, перенеся на нее оставшиеся без носителя атрибуты совершенства и всемогущества. Тем более что поначалу никаких машин не было, изобретение их только ожидалось, и ничто не мешало возлагать на них самые радужные надежды.

Так или иначе, многие искусственные языки намеренно конструировались не в звуковой форме, а в виде пазиграфии, то есть «всеобщего письма», часто пиктографического, и не имели никакой иной формы, кроме письменной. Как-то само собой подразумевалось, что главной областью их применения будет академическая переписка (сразу приходят на ум чудаки ученые из современных мультфильмов и комиксов, ведущие напряженный диалог без единого слова, исписывая формулами огромные классные доски). А в первой половине XIX века француз Жан Франсуа Сюдр разработал музыкальный язык сольресоль, элементарными единицами которого служили семь нот; впрочем, смотря по обстоятельствам, их можно было заменять семью цветами радуги, сигнальными флажками или цифрами, а уж на самый худой конец просто произносить названия нот. Попробуйте спеть: дореми — день, дорефа — неделя, доресоль — месяц, дореля — год, дореси — столетие. (У вас, надеюсь, абсолютный слух? Си — да, до — нет).

Постепенно, однако, изобретательство в этой сфере приобретало более практические очертания. Во второй половине XIX века интерлингвистика не то чтобы утратила по природе присущий ей элемент высокого безумия, но сделалась более зрелой и сдержанной. Космоглоты — этим жутковатым для русского уха словечком одно время называли себя изобретатели всеобщего языка — стали склоняться к тому, что такой язык должен быть не априорным (попросту говоря, придуманным), а апостериорным, то есть извлеченным из натурального, уже существующего материала. Только этот материал нужно подвергнуть обработке: ввести строгую регулярность и единообразие.

Действительно, какую бы естественно сложившуюся языковую систему ни взять, в ней непременно обнаружатся те или иные отступления от здравого смысла, возможно, поддающиеся историческому объяснению, но с точки зрения современности утратившие всякое рациональное оправдание. Почему «клясть» — «кляНём», а «красть» — «краДём»? Почему в Лондоне живут лондонЦЫ, в Париже парижАНЕ, а в Москве москвИЧИ? И каково затверживать всё это коренным лондонцам или парижанам, решившим научиться русскому?

Но если язык создается заново, искусственным путем, то ничто не мешает с самого начала строить его на основе очень простой и строгой системы правил, где не будет никакой «исторической накипи» — нерегулярности, раздражающей своим алогизмом. Тогда можно рассчитывать, что язык этот будет нетруден для освоения, доступен без больших усилий — «демократичен по построению», как выразился в начале века советский эсперантист Э. Дрезен. Первый, классический учебник эсперанто содержал всего 16 правил. «У этого бесцветного языка, выдуманного варшавским зубным врачом Заменгофом,— писал Константин Паустовский в «Повести о жизни»,— было только то достоинство, что он был легок». Пропагандисты эсперанто часто цитируют слова Льва Толстого из письма к воронежским эсперантистам от 27 апреля 1894 года: «...Получив лет шесть тому назад эсперантскую грамматику, ⟨...⟩ я после не более двух часов занятий был в состоянии если не писать, то свободно читать на этом языке».

Первой получившей широкое признание попыткой склеить искусственную языковую

систему из реальных элементов естественных языков стал волапюк (1879). Его создатель, баварский католический священник И. М. Шлейер, пользовался и немецкой, и французской, и латинской лексикой, но большинство корней волапюка английского происхождения. Впрочем, эти непридуманные корни были втиснуты в совершенно искусственную грамматику и жестоко исковерканы. Грамматика требовала, чтобы корни непременно начинались и оканчивались на согласный звук, поэтому «аппетит» превратился в pötit, а «академия» в kadem. Корни предпочитались односложные, поэтому латинское matrimonium (супружество) преобразилось в mat, английское knowledge (знание) — в nol. Звук r «ввиду трудности его произношения для китайцев, стариков и детей» почти везде был заменен на l, поэтому вместо английского или французского crime (преступление) возникло klim, вместо английского proof или французского preuve (доказательство) — blöf. Само слово volapük сложено из корня vol (мир, от английского world) с окончанием родительного падежа (a) и корня pük (речь, от английского speak), так что это просто-напросто «мирояз». Несмотря на принцип апостериорности, тексты на волапюке звучат как марсианская речь из плохих фантастических боевиков: Fat obsik (читается «обзи́к»), kel binom in süm (Отче наш, иже еси на небеси).

Шлейер разрабатывал свой проект в твердом убеждении, что это и есть будущий единый и единственный язык человечества, но его последователи (в первое время на удивление многочисленные) отводили волапюку более скромную роль «международного языка торговли и практических сношений». На деле не получилось и этого. С наступлением XX века детище Шлейера тихо угасло, а его малоизящное название осталось нам на память синонимом тарабарщины, да еще фамилией комического персонажа в оперетте «Сильва» — мадам Воляпюк.

Создавая знаменитый эсперанто (1887), Людвиг Лазарь Заменгоф, должно быть, учитывал опыт Шлейера и старался не повторять его ошибок, ибо язык Заменгофа гораздо более (если воспользоваться принятым в интерлингвистике термином) натуралистичен. Это, по выражению Паустовского, шелуха, отвеянная от всех наречий мира: не только корни, но и многие аффиксы в нем заимствованы без существенных изменений из различных европейских языков, и вся структура слова в эсперанто знакомая, европейская, естественная.

Но лишь в известных пределах. Эсперантское словообразование настолько стеснено рамками непременной регулярности и единообразия, что из знакомых морфем по знакомым словообразовательным моделям то и дело строятся совершенно непривычные слова: например, cenzuristo (цензор), korektisto (корректор), guvernisto (гувернер). Целиком изобретены Заменгофом такие слова, как gladilo (утюг) и plugilo (соха), а также kolorilo (краска), sonorilo (колокол), direktilo (руль). Корневых, непроизводных слов в проекте Заменгофа всего около 900 — гораздо меньше, чем в любом естественном языке. Подразумевалось, что из этих корневых слов с помощью немногочисленных словообразовательных аффиксов со строгой регулярностью будут производиться все остальные единицы лексикона. В русском языке слова «мать», «жена», «дочь» — корневые, в эсперанто — чтобы запоминать поменьше корней — они производные: patrino (мать) от patro (отец), edzino (жена) от edzo (муж), filino (дочь) от filo (сын). Негодуйте, феминисты, радуйтесь, эсперантисты-новички.

Что же до словоизменения, то оно в этом языке почти такое же априорное, как в волапюке. Поэтому не следует думать, что тот, кто знает два-три европейских языка, сможет читать на эсперанто без подготовки. Что, например, означает фраза: Kiel belaj, kiel freŝaj estis la rozoj? Думаю, что читатель все-таки догадается, но наверняка не сразу: «Как хороши, как свежи были розы...»

Заменгоф опубликовал свой учебник 1887 года под псевдонимом, которому суждено было стать названием самого языка: Д-р Эсперанто, то есть Надеющийся. Если чьи-то надежды в интерлингвистике и сбылись, то именно его: лингвопроект Заменгофа быстро завоевал популярность и сделался более чем просто проектом. В наши дни из всех искусственных международных языков один лишь эсперанто насчитывает более миллиона говорящих, один лишь он располагает внушительным корпусом литературных произведений, в том числе оригинальных, и, видимо, только ему выпало стать для многих людей не вторым, а первым, родным языком: когда муж и жена — эсперантисты из разных стран, то их дети часто именно на эсперанто и произносят свои первые слова.

Но вот беда: лучшее — враг хорошего. На рубеже веков появляется множество новых проектов, частью призванных усовершенствовать эсперанто (как, например, язык идо, само название которого на эсперанто означает «потомок»), частью же совершенно новых, в большинстве своем еще более «натуралистичных». Так, в 1903 году итальянский математик Дж. Пеано выступает с проектом Latino sine flexione — «латынь без окончаний» (более поздний вариант этого языка получил наименование Interlingua). Еще одна «интерлингва», довольно похожая, была разработана в США в середине века. Вот образчик текста на языке Пеано: Interlingua non habe grammatica. Omni homo pote lege et scribe Interlingua cum auxilio de solo vocabulario. Не правда ли, в этом отрывке не так уж трудно сориентироваться? Каждый ведь знает «довольно по-латыне, чтоб эпиграфы разбирать». Вы, несомненно, уже всё поняли: «Интерлингва не имеет грамматики. Каждый человек может читать и писать на интерлингве с помощью одного лишь лексикона».

Языки такого типа уступают эсперанто в регулярности, но зато их слова у всех на слуху. Вот, например, прилагательные (в американской интерлингве): francESE — французский, nationAL — национальный, heroIC — героический. Может быть, это и неудобно, что у них разные суффиксы (в эсперанто соответствующие слова оканчиваются одинаково: francA, naciA, heroA). Но ведь именно в такой или похожей форме эти слова уже знакомы всем, кто знает один-два западноевропейских языка, между тем как эсперантские прилагательные надо еще специально запоминать.

Что же получается: начали с «философски» сконструированных, но непрактичных априорных лексиконов и грамматик, а пришли к апостериорным, даже «натуралистическим», малоотличимым от естественных, почти со всеми традиционными несообразностями этих последних. Так стоило ли огород городить? Может быть, лучше позаботиться о том, чтобы повсеместно было как следует налажено преподавание таких действительно международных языков, как английский?

УРОКИ УТОПИИ

> К тому времени появилось еще пять или шесть универсальных языков, которые должны были прийти на смену вавилонскому столпотворению и дать всему миру 〈...〉 единый общий язык; было много споров о том, какой из этих универсальных языков наиболее удобен для изучения, наиболее благозвучен и наиболее универсален. В конечном счете получилось, что в каждой стране пропагандировали свой собственный универсальный язык.
>
> *Карел Чапек, «Война с саламандрами»*

Похоже, что больше всего соперников появилось у эсперанто в первые полтора десятилетия нашего века. O belle époque интерлингвистики, o art nouveau лингвопроектирования, o названия языков-призраков, звучащие как имена потусторонних стран из символистской прозы. (А может быть, как названия патентованных препаратов или товариществ с ограниченной ответственностью?)

Окциденталь. Романаль. Новиаль. Идиом неутраль. Эксельсиоро. Эуроленго. Эуропео. Эуропан. Интерглосса. Интерлингва. Унилингва.

Идо. Антидо. Эспидо. Мезвойо. Монарио. Глобако. Перио. Непо. Нео. Улла. Утоки. Уропи.

Странное, однако, дело: при всей рекламной броскости наименований почти все эти проекты удручают своей гипертрофированной рациональностью, оставляющей впечатление чего-то скорее наводящего уныние и тоску, нежели прекрасного или романтического. Трудно отделаться от мысли, что их авторы стремились в сфере языка к тому же самому, чего добивались в сфере зодчества многие их современники — архитекторы первых десятилетий нашего века, призывавшие (из самых лучших побуждений) к уничтожению исторически сложившейся городской застройки и увлеченно проектировавшие рационалистические «солнечные» и «голубые» города. Теперь-то мы знаем, как называются эти города, когда они, наконец, воплощены в материале: фавелы и хрущобы.

«Утоки», «Уропи»... Вот оно, ключевое слово, странным образом (надо думать, случайно) проглянувшее сквозь последние два названия: утопия. «Космоглоты» в массе своей — типичные носители утопического сознания. Мир, как он есть, утописта решительно не удовлетворяет. Поэтому он старается построить внутри этого плохого мира другой, особый, как бы выгороженный мир, пусть маленький, в некотором роде даже игрушечный, зато хороший, и жить в этом выгороженном мире если уж не постоянно, так хоть по выходным. Старым, плохим миром утопист брезгует, искать в нем что-либо хорошее отказывается, терпеливо обустраивать его — и не подумает.

Существует глубокое внутреннее родство между интерлингвистической утопией (нашедшей наиболее яркое воплощение в эсперантистском движении) и утопией социальной (в классическом варианте — социалистической). Не случайно ведь эсперантистское движение быстро приобрело социалистическую окраску. «В последнее время,— писал Э. Дрезен в 1925 году,— в России эсперанто стали называть языком пролетариата, а за границей сплошь и рядом репрессии противного класса мотивируются тем, что это большевистский язык». В СССР эсперантистское движение поначалу официально поддерживалось как антибуржуазное и лишь позже, в эпоху великих репрессий, подверглось разгрому (Сталин, распростившись с идеологемой мировой революции и приступив ко всемерному укреплению своей «отдельно взятой» империи, расценил это движение как антиимперское).

На самом деле интерлингвисты-космоглоты безобидны. Их ряды всегда были чрезвычайно пестры, о какой-либо монолитной политической ангажированности тут и говорить не приходится. Есть лишь некоторое общее умонастроение, установка — впрочем, довольно отчетливая. Пусть кто хочет бережет то, что есть, пусть кто-то другой пользуется достоинствами и мирится с недостатками того, что случайно (случайно ли? — *Е. М.*) сложилось. А мы отринем. Отречемся, отряхнем прах с ног и радостно сбросим с себя ответственность за всё, не нами созданное.

Имманентный утопизм интерлингвистики очень верно почувствовала американская писательница Урсула Ле Гуин: ее роман «Обездоленные», одновременно (бывает же

такое чудо) и утопический, и тонкий, описывает колонию анархистов на суровой чужой планете, своего рода киббуц или фаланстер планетарного масштаба, и разговаривают ее колонисты на искусственном языке, в котором выражаются одним и тем же словом понятия «работать» и «играть», не существует местоимений «мой», «твой» и на первом месте по употребительности стоят два фундаментальных глагола: с хорошим значением — «делиться» и с плохим — «проявлять эгоизм». Между прочим, у этого языка любопытное, явно славянского корня, название: Pravic. Сразу вспоминается эсперантское слово prava, означающее «правый» (не в смысле «правых сил», а в смысле «правого дела»).

Мировое содружество эсперантистов очень напоминает такой вот фаланстер, только рассеянный по разным странам. В нем свои порядки (пусть нежесткие), свой фольклор (пускай зачаточный), своя литературная жизнь (скромная, конечно: самые-то талантливые пишут на других языках). Словом, вместо интернационального языка сложился как бы еще один национальный, причем со многими характерными признаками языка малой нации. А реальное международное общение между тем по-прежнему происходит на языках больших наций.

Интересно, что новые проекты искусственного Всеобщего Языка (неизменно очень похожие на прежние) время от времени появляются до сих пор. Но профессионалы из этой сферы деятельности ушли. Лингвисты заняты другим: методикой преподавания «обыкновенных» языков, разработкой алгоритмов машинного перевода, и это на сегодня, похоже, всех устраивает. Правда, когда об одном из новых интерлингвистических проектов несколько лет назад сообщила «Комсомольская правда», в редакцию пришло восторженное письмо из Магаданской области: «Наконец-то (!! — *Е. М.*) появился язык, который позволит свободно разговаривать людям с разных концов планеты».

Между тем в действительности нет никаких признаков того, что какой-либо искусственный язык типа эсперанто сможет в обозримом будущем хоть сколько-нибудь потеснить естественно сложившиеся языки международного общения.

Нет никакой возможности добиться того, чтобы какая бы то ни было языковая система выполняла все многочисленные и разнообразные функции человеческого языка существенно эффективнее, чем это делают естественные этнические языки.

Нет никакой надежды обхитрить мироздание и сделаться умнее Создателя.

Сокрушаться об этом не стоит. Следовало бы утешиться тем, что процесс формирования международного, всеобщего, всемирного языка реально происходит, и происходит естественным путем. Только не в плане выражения, а в плане содержания — что, в сущности, гораздо важнее. В процессе перевода с одного языка на другой языковые коллективы постоянно обмениваются понятиями, формируя общий круг идей. Чтобы понимать друг друга, главное — это иметь один и тот же предмет разговора, а какими звуками или буквами он обозначается — усвоить, право же, дело нехитрое.

Впрочем, вам никто не запрещает сесть и разработать свой собственный искусственный международный язык. Тысяча первый по счету.

■

Западная литература: взгляд изнутри

ЛЕВ НАВРОЗОВ

АЛЕК ДЕРУЭНТ ХОУП, ПОЭТ СТРАНЫ «САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ, САМОЙ ПУСТОЙ»

В 60-х годах, в Москве, я однажды слышал по английскому радио беседу о художественной выставке в Англии, и выступавший читал стихи, чтобы передать свои впечатления от выставленных картин. Когда он дошел до австралийского пейзажа, он сказал, что полотно напоминает ему стихотворение австралийского поэта А. Д. Хоупа «Австралия». Я даю подстрочник на русском языке, ибо гениальный перевод лучше подстрочника, но подстрочник лучше любого перевода, кроме гениального.

АВСТРАЛИЯ

Нация деревьев, блекло зеленых и уныло серых,
Одетых в форму защитного цвета современных войн.
Ты как разгаданный и разбившийся насмерть Сфинкс,
Уткнувшийся мордой в горы до горизонта раскинутых лап..

Про тебя говорят: молодая страна. Но это ложь:
Ты самая последняя, самая пустая!
У тебя девичья упругая грудь,
Но там глубоко в тебе утроба мертва.

Когда я объясняю англоязычным, как звучат на русское ухо стихи на русском языке, я пишу русские слова латинскими буквами, ибо кириллицу на Западе знают только профессора-слависты. Не вижу причины, почему бы, объясняя русскоязычным, как звучат на английское ухо стихи на английском языке, мне не писать английские слова на кириллице. В английском «три-и-из» («деревья») долгое, высокое и «сдавленное» «и», похожее на русское междометие «и-и-и». Через слово Хоуп опять дает это «и-и-и» в слове «зеленых» — «гри-и-ин». И опять в «фи-и-илд» — «форме защитного цвета», «фи-и-илд юниформ». Три-и-из... гри-и-ин... фи-и-илд... А затем следуют три «о». Во всех языках, мне известных, «о» — это стон-междометие, пришедшее, видимо, от рта, раскрытого от удивления, ужаса, боли. Может быть, и от восхищения тоже, ибо слово «о-о-о» («awe») в английском языке означает ужас, смешанный с восхищением, благоговейный ужас, ужас при виде, например, стихийного бедствия, которое в страховом деле стран английского языка до сих пор называется «деянием Бога». О Боже, ужасны и дивны дела Твои: о-о-о! Трижды подряд повторяет Хоуп «о»: «юнифо-о-орм оф мо-о-оден уо-о-з» — «форму современных войн», и последнее «о-о-о» в «уо-о-оз» — самое долгое, когда, о Боже, ужасны и дивны дела Твои, о-о-о, уо-о-оз! Современные войны! Есть ли что-либо более ужасное? Само это сочетание «современности» (прогресс, гуманность, порядок-порядочность) и все более кромешно адской войны: о-о-о! Оказывается, Горбачев (такой прогрессивный, гуманный, порядочный) разрабатывал сверхчуму в качестве наступательного сверхоружия. А «Австралия» была написана Хоупом в 1939 году.

Напомню, что, в отличие от русской, английская поэзия — это чередование не только ударных и безударных, но и длинных и кратких слогов. Первая строка: ӡ нӗйшн ов три-й-из, дрӡб гри-й-ин ӡнд дӗсо̄лйт грэ-ӡ-эй. Вторая: йн ӡӡ фи-й-илд юнйфо-о̄-м ов мо-о̄-одэн уо-

о-оз. Самая длительная долгота приходится на два слова: три-и-из и уо-о-оз, но последнее слово длительнее — оно грозит заполнить вселенную, оно рифмуется с «лап», и само как лапа, положенная на вселенную.

Позволю себе заметить (более века после Рембо, но все еще вызывая негодование профессоров-литературоведов), что истеричное английское «и-и-и» вызывает в сознании цвет жизни: зеленый. Но этот зеленый (и-и-и) блекл, перемежается с уныло-серым (цвет праха и пепла) и оказывается защитным цветом современных войн: о-о-, о-о-о, о-о-о. Слово «войн», «уо-о-оз» — это открытый раструб в ужас, стон, которому нет конца, последнее «до» в нижней октаве.

Строка подстрочника: «Но там глубоко в тебе утроба мертва» не передает музыки английского слова «уу-у-ум» — «утроба», «матка», «чрево». Совершенно то же созвучие — в начале слова «уу-у-уман», «женщина». Женщина — это матка (уу-у-ум) плюс мужчина (мэн), с чем Хоуп бы согласился, считая женщину творящим существом, а мужчину промежуточным придатком: женщиной без творящей матки. А в раннем переводе Библии на английский язык слово «у-у-ум» означало душу, и начиная с Шекспира оно означает колыбель, недра, источник рождения, происхождения, появления всего на свете: времени, дня, ночи, страны, истории, жизни. Оно рифмуется со словом «могила», «ту-у-ум» в ходячем выражении: «От у-у-ум (чрева матери) до ту-у-ум (могилы)». Хоуп — в царстве мертвых, где чрево матери (у-у-ум) — это чрево смерти (ту-у-ум).

Никто в советской России, из тех, кого я знал, об австралийском поэте не слышал. Никто не слышал о нем и в США. А когда я позвонил в австралийское консульство в Нью-Йорке, то библиотекарь-австралиец признался, что он тоже о нем никогда не слышал. «Но ведь он ваш первый поэт — первый поэт Австралии! — сказал я.— Согласно американскому справочнику «Современные авторы», он — «один из двух или трех лучших поэтов мира, пишущих на английском языке». «Возможно, сэр»,— сказал австралиец, открыв справочник «Кто есть кто в Австралии», содержащий длинный перечень наград и почетных званий Хоупа. «Впрочем,— утешил я его,— и в Америке мало кто сможет назвать первого поэта Америки — или вообще какого-нибудь ныне живущего американского поэта».

В 1993 году я позвонил уже не в австралийское консульство в Нью-Йорке, а в австралийское посольство в Вашингтоне. И опять никто не слышал о Хоупе. «Можете ли вы по крайней мере мне сказать, жив ли он?» — «Почему вы думаете, что он умер?» — «И младенцы умирают в чреве матери (у-у-ум), а он рождения 1907 года».— «Мы получили справочник 1993 года только вчера, и в нем не сказано, что он умер». Что ж, у-у-ум или ту-у-ум, какая разница? Там глубоко в тебе утроба мертва.

Хоуп никогда не жил с продажи своих стихов. Этого на современном Западе не бывает. Он был профессором английского языка, а с 1968 года стал почетным профессором. Поэт-профессор. Мне как русскому по культуре это неприятно. Представьте себе Блока в качестве профессора. Утро. В аудитории сидят молодые люди, которые слушают лекции о поэзии потому, что это часть гуманитарного образования — иначе не получишь диплома. Появляется заспанный профессор Блок. «В ресторане вчера (подавляя зевоту) сижу я у окна в переполненном зале. Написал даже об этом ночью стихотворение. Давайте сегодня разберем его (зевая) структуралистически». Блок назвал Россию с 1908 по 1916 год «страшным миром» («он для сердца тесен...»). Интересно, что бы он сказал, попав в положение поэта-профессора в Австралии? Сам Хоуп опубликовал еще в начале 60-х годов эссе «Литература против университетов». Бюрократизация литературы: превращение творца-пророка-юродивого не от мира сего в чиновника по ведомству образования. Замечу, что из сборников 70-х годов это эссе было исключено. Ссориться с университетами нельзя.

Согласно Хоупу, культура подобна природе в смысле сложности законов и взаимодействий, лежащих в ее основе. «Искусства возникают, цветут и приходят в упадок, как расы человека или биологические виды». Шпенглер? Нет, Хоуп. Шпенглер не нравится Хоупу. Шпенглер видит каждую культуру как единый целостный замкнутый организм, Хоуп — как природу, например, растительность, флору, лес. Подход Шпенглера — это подход немецкого идеолога, который познал жизнь, или жизнь познала в нем себя, и который, следовательно, знает все, что будет. Подход Хоупа — это подход английского эмпирика, который не знает, что будет, а лишь отмечает то, что было и есть. Вот буйно растет лес. Затем высокие могучие деревья уступают кустарникам. В конце концов лес гибнет. Местность превращается в полупустыню, а затем, возможно, и в пустыню. Согласно Хоупу, культура Запада — полупустыня. Почему? Никто не знает. Что будет дальше? Неизвестно. Растений мало, и они карликовые, хотя и выносливые — способные извлекать жизненные соки из,

казалось бы, бесплодной почвы. Одним из них Хоуп считает себя.

В природе законы, а в искусстве каноны. В поэзии — размер и рифма. Как и Пастернак, Хоуп не написал в своей жизни верлибром и двух строчек. Размер и рифма — это для него законы поэзии. Подобно тому как нарушение биологических законов ведет к гибели органической жизни, нарушение канонов — например, исчезновение размера и рифмы в поэзии — ведет к гибели культуры — в данном случае поэзии. Хоуп куда строже, консервативнее и нетерпимее, чем законодатели советской поэзии в конце жизни Сталина: самые глухие годы советского периода. Даже они не высказывались столь решительно против верлибра как западного распада (загнивания) культуры. Но не будет же Хоуп отрицать, что часть гениальной западной и русской поэзии XX века написана верлибром? Да, но если узаконен верлибр, то каждый может писать стихи: истинная поэзия тонет в миллионах стихотворений верлибром. Размер и рифма требуют мастерства. Мастерство препятствует проникновению в искусство всех кому не лень. Конечно, мастер может быть и не гением, а, как говорят, лишь ремесленником. Но все равно доступ к искусству, таким образом, ограничивается. Попробуй стать хотя бы ремесленником в искусстве. Ведь и на это надо положить жизнь. Немногие на это пойдут. Но писать стихи верлибром, или быть компьютерным или магнитофонным композитором, которому не требуется даже знания нот или умения сыграть «Чижик-пыжик» на рояле, или подвизаться в изобразительных искусствах, которые могут ничего не изображать,— это занятие для всех кому не лень, и искусство, которое происходит на всех языках от слова «искусный», погибает, как искусно и искусственно выращиваемые культурные растения погибают от буйного роста бесконечного множества сорняков, отнимающих у культурных растений все жизненные соки, свет и воздух, заглушающих, зарастающих, «заживающих» их своим ничем не ограниченным ростом.

То есть, согласно Хоупу, экология культуры так же сложна, противоречива и часто непредсказуема, как экология природы. Полагать, что для цветения культуры необходимо и достаточно, чтобы каждый свободно выражал себя,— это для Хоупа не менее наивно, чем полагать, что для экологии природы необходимо и достаточно, чтобы человечество делало все, что ему заблагорассудится в условиях свободы каждого делать все, что ему заблагорассудится.

Хоуп считает, что в культурных условиях полупустыни или пустыни в поэзии наиболее жизнеспособна сатира. Само это слово лишь собьет русскоязычных с толку и требует перевода с английского, который я и даю ниже в виде исторического экскурса.

В XVIII веке французская литература господствовала в материковой Европе, от Лиссабона и Стокгольма до молодого Санкт-Петербурга. Ее сутью было красноречие, и она была дискурсивна, или, как говорят в России, сюжетна. Красноречие Корнеля или Расина во французском исполнении поражает и сейчас, причем становится ясно, что хотя все народы материковой Европы этому красноречию подражали, никто не сумел его перенять: вне Франции это красноречие превращалось в пафос, выспренность, ходульность, в то время как во Франции оно — накал страсти, искусство страсти, музыка страсти. Как все мы читали и слышали бесчисленное число раз, в 1882 году Верлен призвал поэзию свернуть шею красноречию, ради музыки прежде всего. В России, да и вообще вне Франции, свертывать шею было особенно нечему. Верлен считал красноречие немузыкальным или антимузыкальным. Под музыкой он понимал слова, выбранные не за их прямые сознательные значения, как в сюжетной поэзии, а за их звучание и метафоричность, создающие подсознательный эмоциональный лад, подобный гармонии-мелодии в музыке. Сам Верлен считал, что без рифмы поэзии нет, но во Франции рифма была вскоре отброшена как нечто стесняющее словесную музыку прежде всего. А поскольку сама музыка вскоре перестала быть музыкой-мелодией, мелосом, «песней без слов», то стремление поэзии к музыкальности (Верлен: «Песни без слов») потеряло смысл. Основной поток западной поэзии превратился в таинственные загадки, которые может задавать каждый в неограниченном количестве, как якобы обращенные к подсознанию. То, чего страшился Хоуп еще в 30-х годах, разрослось в конце века до размеров мирового стихийного бедствия, разрушая, по его мнению, экологию культуры до основания и превращая ее в пустыню.

В России после 1917 года всесильное государство все более косо смотрело на верленовский вид поэзии и все более рьяно насаждало сюжетную поэзию, и в частности сатиру, для обличения в стихах глав иностранных государств или нерадивых управдомов и для других подобных государственных или общественно полезных целей. Тем самым все эти виды сюжетной поэзии были лишь скомпрометированы, а верленовский

вид поэзии в России первой трети XX века стал цениться еще больше.

С другой стороны, английская поэзия находилась вне сферы французского влияния, которая испытывала материковая Европа. Если русский или португальский дворянин говорил по-французски иногда лучше, чем на своем родном языке, образованный английский аристократ часто не знал ни одного французского слова (но знал латынь и древнегреческий, разумеется). Возрождение шло в Англию непосредственно из Италии, без посредства Франции. После второй мировой войны французский язык в России стал заменяться английским: культурное влияние стран английского языка усилилось. Переводчик английской поэзии на русский язык Иосиф Бродский стал писать стихи в духе английской (а не верленовской) поэзии. Для русского уха это было нечто новое даже в 60-х годах, хотя в странах английского языка Джон Донн, глава английской метафизической поэзии, оказывал наибольшее влияние на поэзию в 20-е и 30-е годы. Достаточно открыть наугад книгу стихов Бродского 60-х годов, чтобы увидеть то, что англоязычные называют дискурсивной (сюжетной) поэзией, и в частности сатирой. Часть стихотворений — это сюжеты из английской жизни и английской поэзии. Однако возьмем любое стихотворение с чисто русско-советским содержанием: «Э. Ларионова. Брюнетка. Дочь/ полковника и машинистки. Взглядом/ напоминала взгляд на циферблат./» Конечно, это не верленовский вид поэзии. Это — сатира в английском смысле этого слова.

Но, разумеется, Хоупу не надо было стать в 60-е годы переводчиком английской поэзии, чтобы ее открыть. Он сам был английской поэзией, причем как поэт он сложился уже в 30-х годах. Он считает XVI век и первую половину XVII века самым буйным цветением английской поэзии, после которого она увядала, превращаясь в XX веке в пустыню. Разумеется, в буйном цветении Хоуп выделяет Донна. Судьба Донна подобна судьбе Баха. Бен Джонсон называл Донна первым поэтом мира. Подобно тому как в XIX веке в Европе произошло возрождение Баха, в первой половине XX века в странах английского языка произошло возрождение Донна, когда он стал цениться в этих странах больше, чем он ценился даже при жизни. Поэзия Донна дискурсивна, как и поэзия Драйдена, Попа, Мильтона, Байрона, Теннисона и самого Хоупа. Теннисон описал в своей поэзии дарвиновское происхождение видов — до «Происхождения видов» Дарвина. Для Хоупа научное знание обязательно для поэта — как во времена Возрождения. Но как ясно из приведенных мной в начале этого эссе первых двух четверостиший стихотворения Хоупа «Австралия», дискурсивная поэзия не обязательно перестает быть верленовской музыкой прежде всего. Ясные, сознательные значения слов дискурсивной поэзии отнюдь не означают отсутствия игры аллитераций и подсознательных эмоциональных смыслов, как в европейской музыке до того, как она перестала быть мелосом. Для Донна и всей английской метафизической поэзии важно остроумие — слово, которое означало в английском языке в то время и остроту ума и сам ум, ибо ум — разве не вид остроумия? В это остроумие входило сплетение, казалось бы, самых разнородных явлений, конкретность, ирония, оригинальность, парадокс, умственный разбор чувств: вспомним Гамлета — и Фальстафа. Донн трагичен и весел, глубоко религиозен и циничен, универсален и личен, страстен и рассудителен, учен и разговорен, сухо-прозаичен и певуч. Донн — сатирик, но его сатира — это не то, что понималось под сатирой в России. Сатира Хоупа — это сатира Донна и других дискурсивных английских поэтов, но только теперь эта сатира произрастает в стране Хоупа как карликовое растение в полупустыне — тянется корнями к живительной влаге в стране, «самой последней, самой пустой»:

Врач любит больного,
А больной — свою кровать.
В ней хорошо родиться,
А лучше еще — умирать.

■ Великобритания

ВЗГЛЯД НА ОБИТАТЕЛЕЙ ТИХОГО ОМУТА

Как известно, Властитель тьмы оставил заметный след в истории литературы, не раз вдохновляя художников и ученых. Об этом свидетельствует и состав необычной антологии «Книга о дьяволе», выпущенной издательством «Чатто энд Уиндус»: отрывки из Мильтона, Данте, Гёте, Фрейда, Булгакова... Наряду со знаменитостями представлены авторы, мало знакомые не только иностранцам, но и самим англичанам. Например, Джордж Синклер, собравший трактаты о колдовстве и проделках дьявола в книге «Незримые бесы открытого мира» (1685).

В целом, Средневековье представлено в антологии намного шире, скажем, XX века. И хотя в конце 1960-х годов увлечение чертовщиной достигло апогея, составитель сборника Ф. Спаффорд считает отношение современников к дьяволу несолидным и недостаточно серьезным. Впрочем, это касается и его самого: первый раздел антологии озаглавлен «Очень рад познакомиться с вами», а предисловие написано от лица Люцифера, который благодарит людей за интерес к своей особе, не преминув пожурить их за предвзятость.

При подборе материалов Ф. Спаффорд учитывал самые разные точки зрения, вплоть до противоположных. Под одной обложкой соседствуют проповеди К. С. Льюиса и острые саркастические высказывания П. Б. Шелли о христианах, «которым понадобилось придумать чёрта, дабы приписать кому-то гадости, творимые Всевышним».

Черти встречают грешников в аду

(Еженедельник «Нью-Йорк ревью оф букс»)

Заключительный раздел, озаглавленный «Несчастье», рассказывает о всех тех бедах, которые люди причиняли себе и другим, либо служа выдуманному врагу рода человеческого, либо безжалостно искореняя все, связанное с ним. Но, похоже, «Книга о дьяволе» более подтверждает мысль Блейка: «У жестокости — сердце человека».

■ Ирландия

КОГДА РЕАЛЬНОСТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ МИФОВ

Издательство «Пикадор» недавно выпустило в свет весьма солидный 500-страничный том под названием «Современная ирландская проза». Его составитель Дермот Болджер пишет в предисловии, что Ирландия начала выходить из кризиса и приспосабливаться к непростой роли независимого государства к концу 60-х годов. Именно этот период служит точкой отсчета для нового поколения ирландских авторов, способных отбросить прежние стереотипы ради возрождения национальной культуры.

Одной из главных тем, конечно же, остается проблема Ольстера, однако Д. Болджер подчеркивает, что она отнюдь не является обязательной для всякого произведения современной ирландской литературы. Состав сборника подтверждает наличие конфликта, но не столько между католиками и протестантами, сторонниками и противниками британского влияния, сколько между молодежью и старшим поколением. И эта книга задумана как отражение не горьких моментов далекого прошлого, а крупных перемен за последние четверть века.

Антология издательства «Пикадор» в определенном смысле революционна, ибо разрушает немало мифов о литературе Изумрудного острова. Например, о том, будто жанр рассказа — традиция ирландской литературы. И хотя в сборник включены новеллы таких известнейших авторов, как Уильям Тревор, Джон Макгахерн, Шон О'Фаолейн, Мэри Лейвин

и Брайан Мур, сделано это, скорее, для того, чтобы отдать должное мастерам, которые высоко подняли планку художественности и поныне являются примером для начинающих и молодых писателей. Составитель привлекает читательское внимание к безусловно великому ирландскому роману: семнадцать отрывков или глав из современных произведений этого жанра украшают сборник. Среди авторов-романистов Колм Тойбин («Ярко цветущий вереск»), Джон Бэнвилл («Мефистофель»), Молли Кин («Хорошее поведение»), Фрэнсис Стюарт («Черный список, раздел Х»), о котором тепло отзывался У. Б. Йейтс, и, наконец, сам Дермот Болджер («Путь домой»).

Рушится и еще один миф — о некоей изолированности и отдельности ирландцев и их культуры. Напротив, эмиграция многих писателей установила связь с Европой и пробудила у европейцев желание узнать и понять Ирландию. Кроме того, процесс сближения идет в обоих направлениях — ирландские авторы все чаще расширяют географию своих книг, все смелее экспериментируют со стилем (например, Себастьян Барри или тот же Джон Бэнвилл). Все 46 участников антологии — каждый по-своему — как бы говорят: «Мы раздвинули границы до самого горизонта».

Испания

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДРАМА ХУАНА МАРСЕ НА ЭКРАНЕ

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» — такая формула, казалось бы, говорит в пользу исключительно визуальных видов искусства, в частности кино. Однако именно слова — то есть литература — рождают в человеческом сознании сотни образов. Похоже, испанский кинорежиссер Висенте Аранда хорошо понял, насколько плодотворен союз литературы и кинематографа. «По-моему, литература — это мать кино; она тождественна театру. Кино — просто более недавнее изобретение, но основа у него все-таки литературная»,— сказал он в одном из интервью.

В. Аранда уже неоднократно снимал фильмы по романам своих соотечественников: это и «Время молчать» по книге Мартина Сантоса, две экранизации романов популярного современного писателя Хуана Марсе — «Девушка в золотом трико» и «Если тебе скажут: упади!». В прошлом году режиссер вновь обратился к творчеству Хуана Марсе, сняв фильм по роману «Двуязычная любовница». Эта психологическая драма повествует о любви Жуана, мужчины не слишком высокого социального происхождения, и Нормы — дочери богатых родителей из Каталонии, сотрудницы государственного учреждения, связанного с языковыми проблемами. Хуан и Норма вступают в брак, однако общественное неравенство дает себя знать, и их семейная идиллия рушится. Вскоре после развода с Хуаном происходит несчастный случай, в результате которого его лицо оказывается обезображенным, а затем постепенно до неузнаваемости меняется и его мышление. Воссоздали литературные образы на экране — под руководством Висенте Аранды — испанские актеры Иманоль Ариас и Лолес Леон, а также звезда европейского кинематографа итальянская актриса Орнела Мути.

Кадр из фильма «Двуязычная любовница»
(Журнал «Камбио 16»)

ХАВЬЕР МАРИАС — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ КРИТИКИ

В галисийском городе Ла-Корунья состоялась церемония вручения Премий критики (Испанской ассоциации литературных критиков), ежегодно присуждаемых наиболее заметным прозаическим и поэтическим произведениям, написанным на четырех основных языках Испании. Среди романов были отмечены «Камфора» Марии Барбал из Каталонии («четкая, емкая, мастерски созданная проза»); «Тайны господина Д'Алльера» — первое прозаическое произведение талантливого галисийского поэта Сальвадора Гарсиа Боданьо; и «Амалау» — посвященная сельской жизни книга баскского писателя Ксабьера Мендигурена. По разделу поэзии премии получили Антони Пуигверд (каталанский язык), Хавьер Родригес Баррио (галисийский) и самая юная среди лауреатов Амайя Итурбиде (баскский).

Что касается собственно испанского языка, то лучшей книгой стихов признана «Ночь к нему милостива» известного мастера Хосе Агустина Гойтисоло. В решении жюри выражена не только высокая оценка конкретной книги, «отражающей новейшие направления в испанской лирике», но и «всей творческой деятельности поэта».

Особое внимание привлек, конечно же, испаноязычный роман, удостоенный Премии критики,— «Такое пустое сердце». Его автор, сорокадвухлетний Хавьер Мариас,— один из самых известных и почитаемых современных писателей Испании. Достаточно вспомнить, что, по данным крупнейшей газеты «Паис», в списке пятнадцати лучших испанских романов, опубликованных с 1975 года, второй значится его книга «Все души». Новый роман Хавьера Мариаса трактует вечную тему любви через ее противоположность — отчуждение и ненависть. Общественные условности искажают и уродуют любовь, делают ее фальшивой — эта идея движет повествованием. Главный герой расследует преступление, кото-

рое его отец совершил в отношении своей первой жены, и в финале приходит к полной утрате любви, утрате всего. Но этот вакуум лишен трагизма, ибо, как считает Х. Мариас, в конце XX века человек превратился в пошлое, задавленное условностями существо, чей удел — бесконечное погружение в ничто.

Италия

«НОКТЮРН» В ИСПОЛНЕНИИ Д'АННУНЦИО

...Венеция, ноябрь 1915 года. Здесь, любуясь местными красотами, ведет дневник Габриеле Д'Аннунцио. Написанные, на первый взгляд, для себя, эти мемуары поражают отточенностью стиля и наводят на мысль о явном предназначении читательскому кругу. Однако выйти в свет им суждено лишь сейчас, когда издательство «Электа» решило восполнить этот пробел. Впрочем, получился он отчасти и по воле самого автора, который неизменно исключал эти материалы из числа отбиравшихся для публикации (Мелитта — героиня этих глубоко личных воспоминаний — была женщина замужняя).

Кстати сказать, путь к читателю прочих дневниковых записей Д'Аннунцио также оказался изначально не гладким. И на первое — по возвращении из Венеции — и на последующие обращения поэта к своему давнему финансовому покровителю, издателю газеты «Коррьере делла сера», последовал отказ. Синьор Луиджи Альбертини предпочитал публиковать поэзию и не проникся интересом ни к одной из дневниковых строчек — даже тех, что были написаны вслепую: в январе 1916 года Д'Аннунцио потерял зрение, последующие месяцы пролежал в постели с забинтованными глазами, однако лечение оказалось безуспешным — спасти правый глаз не удалось. Именно в этот период поэт вплотную занялся своими мемуарными архивами, составившими уже 153 папки под общим заглавием «Новый взгляд на смерть». Выбор этого несколько экстравагантного названия тем не менее вполне понятен: ведь многие страницы появились в минуты тяжелых переживаний автора и посвящены его скончавшимся друзьям (среди них и Джузеппе Миралья, посетивший вместе с ним Венецию). Впрочем, впоследствии Д'Аннунцио нашел другое, музыкальное название своим дневникам — «Ноктюрн», под которым они и остались в его творческом наследии, хотя современные издатели изменили и это название.

Мексика

ЛЮБОВЬ И КУХНЯ

Современная мексиканская писательница Лаура Эскивель стала весьма популярной после выхода в свет ее романа «Как вода для шоколада» (в русском переводе — «Шоколад на крутом кипятке»). Этот международный бестселлер недавно экранизировал мексиканский режиссер Альфонсо Арау, и успех фильма оказался не меньшим, чем у его литературной основы. Хотя действие любовной мелодрамы разворачивается в эпоху мексиканской революции, ее перипетии, скорее, камерного свойства. В обыкновенной деревне обыкновенный парень по имени Педро хочет жениться на любимой девушке — Тите. Однако та не может уйти из дома и лишить состарившуюся мать помощницы. В конце концов Педро принимает решение жениться на старшей сестре Титы, чтобы всегда быть возле своей любимой...

По мнению писательницы, фильм и книга прекрасно дополняют друг друга, и успеху в значительной степени способствовали актеры Марко Леонарди, Луми Кавасос и Рехинар Торне, а также, разумеется, режиссер Альфонсо Арау. Любопытно, что поначалу он не хотел снимать этот фильм, полагая, что у женщины-режиссера это выйдет лучше. «Но и у него неплохо получилось,— говорит Лаура Эскивель.— Он понял мой замысел, ведь он меня хорошо изучил: как-никак Альфонсо — мой муж».

Вообще история создания книги с самого начала была тесно связана с кинематографом. У Лауры Эскивель накопилось немало невостребованных — из-за сложного состояния киноиндустрии Мексики — сценариев. «И тогда я в страшной досаде решила написать идеальный сценарий, по которому никто никогда не смог бы поставить фильм. Этот сценарий постепенно перерос в роман «Как вода для шоколада». Такое «кухонное» название Л. Эскивель выбрала не случайно: она считает, что кухня — святое место, а у плиты женщина превращается в жрицу, властвующую над четырьмя основными элементами — землей, водой, воздухом и огнем. Приготовление пищи — это исполненный любви ритуал, а совместная трапеза позволяет нам лишний раз почувствовать себя просто людьми, считает Лаура Эскивель.

Кадр из фильма «Как вода для шоколада»

(Журнал «Камбио 16»)

США

КУКЛА БАРБИ — КТО ОНА?

На этот вопрос пытаются ответить составители антологии «Мир Барби» Л. Эберсол и Р. Пибоди. В сборник вошло около 30 поэтических и прозаических произведений, на которые их авторов вдохновила игрушка, популярная в Америке уже 30 лет. Среди них есть и пока малоизвестные литераторы, и уже успевшие заявить о себе — такие, как Элис Макдермотт, Мардж Пирси, Филип Левин, Сандра Сиснерос. Тематически книга делится на две большие части: в первой Барби предстает как очеловеченный персонаж, играющий ту или иную социальную роль; во второй она — просто кукла.

Чем только не занимается Барби в «человеческой жизни» — начиная от светских развлечений и кончая приобретением гроба! Ее можно превратить в кого угодно; вероятно, именно поэтому в подборке из первой части не найти однозначного ответа на вопрос об истинном «я» Барби. В этой связи вторая часть ближе к разгадке тайны. Особенно впечатляет рассказ о Барби, содержащийся в главе из романа Э. Макдермотт «Той ночью» (1987). Видимо, Барби — это блистательный посредник в передаче определенного женского опыта от старшего поколения к младшему. Этот опыт — палка о двух концах: с одной стороны, он касается необъяснимой власти женщины над мужчиной, отчасти сексуальной, отчасти эмоциональной; с другой стороны, обладая ею, женщина сама оказывается в ее тенетах.

Справедливости ради надо отметить, что красавица блондинка пользуется популярностью не у всех: у феминисток она не в чести. Зато модельеры оделяют ее особым профессиональным вниманием; благодаря их изощренной фантазии нынешний гардероб Барби по-королевски роскошен.

Барби в платье для благотворительного вечера, образец 1992 года.
(Журнал «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

СУДЬБА ПОЭТЕССЫ

Крупнейшая американская поэтесса XX века Элизабет Бишоп при жизни опубликовала лишь три тонких сборника (около 100 стихотворений). По выражению ее друга и коллеги Джеймса Меррилла, она оставалась «поэтом для поэтов» (для поэтов) — Настолько узок был круг ее избранных почитателей и ценителей. После смерти поэтессы в 1979 году ее творчество заняло подобающее ему место в литературе США. Увидели свет «Полное собрание стихотворений» (включая посмертно изданные произведения) и сборник прозы; стихи Элизабет Бишоп стали неотъемлемой составляющей поэтических антологий; ее творчество изучают в колледжах и университетах по всей стране, ему посвящена ежегодная конференция во флоридском городе Ки-Уэст, где поэтесса жила несколько лет.

Вообще же большую часть жизни Э. Бишоп провела за пределами США, и на родине, как ни странно, почти ничего не знали о ней как о человеке. И вот недавно этот пробел был восполнен: издательство Калифорнийского университета в Беркли выпустило биографическую книгу «Элизабет Бишоп: Жизнь и память о ней». Ее автор, литературовед и культуролог Бретт Миллиер, сумела максимально подробно и вместе с тем тактично, без сенсационности, обрисовать непростую судьбу Э. Бишоп.

Будущая поэтесса родилась в 1911 году в Вустере (штат Массачусетс) и к пяти годам практически осиротела (мать девочки так и не оправилась от нервного потрясения, вызванного смертью мужа). За душевными травмами детских лет последовало медленное и трудное осознание того, что в романтическом и чувственном плане женщины ей ближе. Элизабет Бишоп ревниво оберегала свою личную, интимную жизнь от досужего любопытства посторонних, поэтому биографическая книга Б. Миллиер и в этом смысле раскрывает немало нового. В сорок лет Э. Бишоп влюбилась в прекрасного человека — небогатую бразильскую аристократку по имени Лота де Маседу Соареш. Она взяла Бишоп под крыло, дала ей кров в своем загородном имении в Петрополисе, окружила ее вниманием и заботой. То были спокойные и счастливые годы для Элизабет: именно тогда она написала лучшие свои стихи и перестала испытывать тягу к спиртному (хотя всю жизнь боролась — зачастую безуспешно — с алкоголизмом). Смерть Лоты в 1967 году стала величайшей трагедией для Э. Бишоп.

Пожалуй, главная ценность книги Б. Миллиер в том, что поэтесса предстает в ней такой, какой она была на самом деле.

Ведь Элизабет Бишоп отчасти осознанно, отчасти по наитию играла роль вполне обычной респектабельной дамы, которую окружающие называли «мисс Бишоп» и уважали за степенность. Однако с близкими друзьями она была совсем иной. Поэтесса прислушивалась только к голосу собственного сердца, и это давало ей возможность сохранять независимость. Будучи автором самых феминистских стихов современности, она отказалась быть включенной в чисто «женские» поэтические антологии, ибо хотела, чтобы о ней как о поэте судили не по признаку пола, а по ее таланту.

■ Франция

ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ РОМАНИСТ

На родине Жюля Верна в городе Нанте продолжает выходить начатая в 1981 году издательством «Шерш-миди» серия «Библиотека Верна». Особенность ее состоит в том, что публикуются неизвестные ранее произведения писателя. В частности, недавно вышел в свет первый роман Жюля Верна «Священник в 1839 году» — автору на момент его создания было всего девятнадцать лет.

Этот роман мало похож на столь популярные в разных странах фантастические и приключенческие книги Ж. Верна, хотя сюжетная канва извилиста и причудлива. В Нанте при большом стечении народа, собравшегося послушать знаменитого проповедника, рухнула колокольня; множество людей убито и покалечено. Во время катастрофы молодой адвокат-стажер Жюль и его друг Мишель спасают красавицу Анну, а затем еще раз приходят ей на помощь, когда ее пытаются похитить и увезти в фиакре два подозрительных типа. Жюль и Мишель начинают расследование и выясняют, что падение колокольни — результат преступных махинаций, а похищение затеяно зловещим трио: старой нищенкой Сарабой (в действительности она — ведьма Абракса), ее правой рукой негодяем Мордоммом и бывшим священником Пьером Эрве. Именно он, Пьер, безумно влюбившись в Анну и стремясь завладеть ею, продал душу ведьме. Жюль также влюбляется в Анну, но их взаимному чувству препятствует отец Анны, напыщенный буржуа...

Сюжетные хитросплетения перемежаются рассказами Пьера о своем прошлом — это грустная история о том, как семья заставила его учиться в семинарии и стать священником. Эта сторона повествования, как и некоторые другие, автобиографична: сам Жюль Верн также промыкался два года в нантской семинарии. Неудивительно, что религия в романе едко высмеивается и ее приверженцы показаны жестокими и эгоистичными лицемерами. Заметен отпечаток и иных обстоятельств жизни молодого автора (натянутые отношения с отцом, не желавшим видеть сына писателем; бисексуальность Жюля Верна, проявлявшаяся в частых и драматических влюбленностях). Кроме того, «Священник в 1839 году» содержит немало явных или зашифрованных ссылок на «Мемуары» некоего Пьера Франсуа Ласнера — писателя, мошенника и убийцы, бывшего семинариста. В этой весьма нашумевшей в середине XIX века книге авантюрист рассказывает о том, как и почему он шантажировал и грабил случайных партнеров, а также о своем детстве, которое во многом походило на детство Жюля Верна.

КАК АХМЕД СТАЛ ЗАХРОЙ

«Я очень доволен»,— так франкоязычный марокканский писатель Тахар Бен Джеллун отозвался об экранизации своего романа «Священная ночь», удостоенного в 1987 году Гонкуровской премии (см. «ИЛ», 1988, № 6). По мнению автора, режиссер Николя Клоц сохранил самое главное — атмосферу, тон этой истории, реальной и фантастической одновременно. По прихоти богатого старика отца, жаждущего иметь наследника, его дочь, красавица Захра, вынуждена выдавать себя за сына — Ахмеда. Пройдут годы, прежде чем она сможет сбросить с себя мужскую одежду и обрести свой настоящий облик.

Амина Аннаби — исполнительница главной роли в фильме «Священная ночь»
(Журнал «Тайм»)

Режиссер не стремился «снимать фразу за фразой»; в центре его фильма — персонажи романа в идеально воссозданной обстановке (съемки велись в марокканском городе Касабланка). Тахар Бен Джеллун отмечает, как аккуратно и осторожно, с безусловным уважением к арабскому миру Николя Клоц изображает мусульманское общество. Это, как считает Т. Бен Джеллун, ему удалось благодаря некоторой отстраненности, прекрасно выбранной дистанции. В главной роли Ахмеда-Захры снялась восходящая «звезда» Амина Аннаби. Уроженка Туниса, она известна во Франции как исполнительница арабских песен в современной обработке.

По материалам газет «Обсервадор», «Паис» (Испания), «Стампа» (Италия), еженедельников «Таймс литерари сапплмент» (Великобритания), «Нью-Йорк таймс бук ревью» (США), журналов «Камбио 16» (Испания), «Тайм» (США), «Лир», «Магазин литтерер» (Франция).

❖ АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

УЛЛА ХАН (ULLA HAHN; род. в 1945 г.) — немецкая поэтесса. Автор книг стихов «Играющая» («Spielende», 1983), «Огонь радости» («Freudenfeuer», 1985), «Климат для ангелов» («Klima für Engel», 1993), романа «Мужчина в доме» («Ein Mann im Haus», 1991).
Стихи Уллы Хан в русском переводе печатались в сборнике «Вести дождя. Стихи поэтов ФРГ и Западного Берлина», М., 1987). Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Сердце над головой» («Herz über Kopf». Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1981) и «Неуслышанная близость» («Unerhörte Nähe», Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1988).

ЛЮЧАНО ДЕ КРЕШЕНЦО (LUCIANO DE CRESCENZO; род. в 1931 г.) — итальянский писатель, режиссер, сценарист. По образованию инженер-электронщик. Начал печататься в 1977 году. Автор ряда книг, в том числе «Неаполь Беллависты» («La Napoli di Bellavista», 1979), «История греческой философии» («Storia della filosofia greca», 1983), романов «Елена, Елена, любовь моя» («Elena, Elena, amore mio», 1991), «Мифы о героях» («I miti degli eroi», 1992), сценариев для кино и телевидения. Книги Л. Де Крешенцо переведены во многих странах мира. Писатель удостоен нескольких литературных премий Италии, в том числе премии Банкарелла. Публикуемые фрагменты взяты из книг: «Диалоги» («Oi dialogoi. I dialoghi di Bellavista» Milano, Mondadori, 1, 1985), «Так говорил Беллависта» («Cosi parlò Bellavista», Milano, Mondadori, 1986).

КОНСТАНТИН ПАВЛОВ (род. в 1933 г.) — болгарский поэт и кинодраматург. Окончил юридический факультет Софийского университета. Автор сборников стихов «Сатиры» («Сатири», 1960), «Стихи» («Стихове», 1965), «Элегический оптимизм» («Елегичен оптимизъм», 1993), сценариев фильмов «Воспоминание о сестре-близнеце», «Услышь петуха», «Белая магия» и др.
Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Появление» («Появяване», София, Факел, 1989), «Агония сладостная» («Агонио сладка». София, Факел, 1991) и из книги избранных произведений «Старые вещи» («Стари неща». София, Български писател, 1983).

ГОЛДА МЕИР (Мейерсон; 1898—1978) — государственный и политический деятель Израиля. Родилась в Киеве, в 1906 г. вместе с семьей эмигрировала в США. Окончила педагогическую семинарию в Милуоки, преподавала английский язык в школе. Участвовала в сионистском движении в США и Палестине, куда приехала в 1921 г. В 1946—1948 гг. работала в Еврейском агентстве (международная сионистская организация для Палестины). В 1948—1949 гг.— посол Израиля в СССР, в 1952—1956-м гг.— министр труда, в 1956—1966-м гг.— министр иностранных дел Израиля. В 1966—1968 гг.— генсек социал-демократической сионистской партии МАПАЙ. В 1969—1974 гг.— премьер-министр Израиля. Книга Голды Меир «Моя жизнь. Автобиография» в двух томах вышла в Израиле, в издательстве «Библиотеки — Алия», в 1990 году.

МАЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ (род. в 1944 г.) — кандидат филологических наук, прозаик, японовед, переводчик. Автор научных работ по лингвистике.

■ Переводчики

ДВИН ФРИДЭНГА МИХАЙЛОВНА — переводчик с итальянского. В ее переводах вышли книги Э. Петри «Рим в 11 часов», Н. Палумбо «Налоговый инспектор», романы Д. Буццати «Татарская пустыня», Дж. Понтиджи «Исчез перед рассветом», Л. Малербы «Греческий огонь» и «Змея». В «ИЛ» напечатаны книга Ф. Феллини «Делать фильм» (1981, № 9—11), сценарий Ф. Феллини и Т. Гуэрры «И плывет корабль» (1984, № 9), фрагменты книги Микеланджело Антониони «Тот кегельбан над Тибром» (1985, № 7), сказки А. Моравиа (1990, № 4), рассказы Л. Малербы (1991, № 11). Лауреат премии «ИЛ» (1985).

ТАРАСОВА МАЯ ВИКТОРОВНА — переводчик с болгарского. В ее переводах издавались: романы «Прощай, Акрополь!» И. Давидкова, «Двойная игра» А. Карасимеонова, «Дикие рассказы» Н. Хайтова и др. В «ИЛ» напечатаны повести П. Вежинова «Барьер» (1978, № 1), «Черные лебеди» Б. Райнова (1979, № 9), «Баллада о Георге Хениге» В. Паскова (1989, № 11).

ИНДЕКС 70394